



ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 10

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

ИСФАНДИЯР, ЭРНСТ БУТИН. Расплата. Роман. Книга вторая 7

ПОЭЗИЯ

ВЯЧЕСЛАВ КОСТЫРЯ. Воля — разговор с болью 3

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ДМИТРИЙ ПЕТИН. Кинулись волосы со лба. Влюбленность. После ссоры. Взгляд	55
ИРИНА ЛЕОНОВА. Дефицит. Будущее	56
РАНО КАРИМОВА «Пускай ты покинут и всеми забыт...». «Блаженства странного минуты...»	57
ВЯЧЕСЛАВ ПЛЕХАНОВ. Душе Эдгара. «Занесенный ветром...» Самообладание	58
ЯКОВ ВЕРХОВСКИЙ. «Я слушаю всю ночь...». «Крупные капли ворон...»	59
ЛЮДМИЛА НАЗАРОВА. «То был не ад...»	59
ЕВА ШАМАЕВА. «Я как-то раз спросила...»	59
ГАЛИНА ГЛАЗКО. Когда б мы знали... Рассказ	60
ЕВГЕНИЯ ЖИЛЬЦОВА. Степные зори. Рассказ	64
ТАДА НИКИТЕНКО. Молния. Рассказ	69
ВАЛЕРИЙ МАТРЕНИН. «Земля французская — Париж...». «Одиноким никто не покинет...». «Три красные гвоздики...»	82
АЛИШЕР АБДУГАНИЕВ. «Свои черные мысли...». «Вспомню эллинов древних...». «Этот век не терпит Христа...». «Густая ночь вселенную охватит...»	82
ЕВГЕНИЙ ПТАШКИН. Диалог с Ностальгией. «Тихо все...»	84
АНДРЕЙ КУДРЯШОВ. Ночь. Прибой. Ветер. Лес	85
САДРИДДИН САЛИМОВ. Глаза внука. Весна в степи. «В страхе мечутся, стонут ветки...». «Дед мой дремлет на арбе...» Перевод с узбекского К. Николаева	85
СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА. «Подбираю чужие слова...». «У свечи такое маленькое пламя...». «Тревожный миг чужих стихов...». «Я не люблю больших зеркал...». «Старинная веселая игра...»	86
ВИКТОРИЯ ЛУЗАН. Обручальное кольцо. Бабочка	87
АНДРЕЙ СТУЛОВСКИЙ. Остерегайся полнолуния! Повесть	88

ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

И. АЛЯБЬЕВА. На переломе. Субъективные заметки 115

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ВУЛИС. Поэтика «Мастера». Книга о книге 130

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

А. МАР. Новые имена	137
Л. ЗАХАРОВА. Необычность обыденности	138
Б. АХМЕДОВ, Д. ЮСУПОВА. За дымкой веков	139

К 460-ЛЕТИЮ «БАБУРНАМЕ»

ФЛОРА ЭННИ СТИИЛ. Венценосный скиталец. О т р ы в о к и з р о м а н а . Перевод с англий- ского А. Атакузиева	141
--	-----

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

РУБЕН САФАРОВ. До последнего дыхания	147
--	-----

НЕРАЗГАДАНЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА

АНАТОЛИЙ ЕРШОВ. Дорогой тысячелетей. Продолжение	157
--	-----

КОРАН

Сура 15. Ал-хиджр.	164
Сура 16. Пчелы	166
Комментарии	170

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

ГЕННАДИЙ ГОЛОВИН. Оборотни. П о в е с т ь	174
---	-----

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

В. ПАК. Живопись бухарцев	206
О наших авторах	208

В:

Главный редактор **С. П. ТАТУР.**

Редакционная коллегия: **В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА** (отв. секретарь), **А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР** (зам. главного редактора), **Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАИБЕРГАНОВ.**



Вячеслав Костыря

ВОЛЯ — РАЗГОВОР С БОЛЬЮ

Нет клича хуже,
чем «Ремни потуже!»
Для ждавших к изобилию ключей...
Растерянность и злоба — мутью в душах,
Обманутых посулами речей.

1. ДРАМА ЗАСТОЯ

О, сколько страхов пережито,
Словам геройским вопреки,
За теплый хлеб и в нем корыто,
За состязанье в поддавки,
Когда победа — это право
При пораженьях не краснеть
И выглядеть довольно браво,
До злата начищая медь.
Подобным Истины вершине
Казался пастырей резон:
Достигнутое нами ныне —
Цель всех народов и времен,
Лишь с ней, мол, бедная планета
Вздохнет счастливо в тишине,
Поскольку цели той примета:
Уверенность в грядущем дне!..
О, если бы она была-то,
Хотя б для пастырей сполна,
А то: ослаб — и в виноватых,
И потешается страна..
А уж сама-то, без надзора,—
Покруче градусов спиртных

Ее корезит брага спора,
Что костоломней войн иных,
Затеянных по недоумью
Все той же мощи показной,
Что тем сильней в фанфары дует,
Чем аховей дела с казной!..
Любое дело до абсурда
Благополучно доведя,
Она всё супостатов судит,
В грехах не каюсь никогда.
Превеличайшее величье
Присвоив,— обрела покой,
Забыв, что это паралично:
Болотом стать, зовясь рекой!..
Сама ж и перегородила
Себя и вдоль и поперек,
И вот хрипит, вертятся,— от ила,
Точь-в-точь как «хэви-метал»-рок.
Что ж, современной драма —
Задача не для простака:
Не биться в стенку лбом упрямо,
А сделать шаг — из тупика!

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Ах, как же мы провинциальны,
Твердя, мол, мы — принципиальны!..
А всё-то дело в том, что сверху
Еще не вытащили веху,
Приведшую страну в тупик,
Еще лишь споры-оры, крик,

И страх, и горечь, и оглядка,
И жажда старого порядка
У виноватых за итог...
Но час уж пробил! Дай-то Бог!..
Глядишь, и мы, как все, пойдем
Цивилизованным путем,

Внося свой опыт опозданий
В кубышку общую, как вклад,—
Творя отсрочку от страданий,
Что в «ад» преобразят «распад»...
Иронизировать охота
Не от хорошего житья,
Давно творится с нами что-то —
То ль от битья?.. То ль от питья?..
Неужто девственно почием,
Не разумея, что к чему,

Под черныбыльской кирпичиной,
Ближайшей самой по уму?..
Иначе как понять упрямство
Реанимировать заскок
В боязни всесемейной распри,
Как пули в собственный висок?..
Чего бояться выяснений,
Твердя, что помыслы чисты?..
Была бы Истина! Лишь с нею
Крепки в грядущее мосты.

3. ТЫ — ТОЖЕ...

В делах державный муж-то
Вне гордости давно...
Прощаем, потому что
Иного не дано.

Прощаем, поелику
Единым хлебом жив
И малый, и великий,
Ну, а слова — ножи.

Сметёт потемки утро —
Шаг к ночи: генный код...
И предстает как мудрость
Насилия исход.

Глухая и слепая
Стихия пекл и пург...
Но, это понимая,
Ты — тоже демиург.

4. ЧТОБ ОТВРАТИТЬ ОТ САМОМНЕНЬЯ...

Непредсказуемость — опасна,
Но в ней же и надежд вагон,
И лучше ли, когда все ясно:
Все будет так, как «до того»:
Застой, бесправье, загнивание,
Замшелой глупости диктат,
Бумажное соревнованье
И потолочный Госкомстат?..
Не парадокс ли: к общей пользе
Рост дефицитов и долгов,
В герои вышел мафиози
За прочищение мозгов
Той диалектикой, что в дышло
Переиначила закон,
Которое наружу вышло,
Устроив мафии разгон?..
Непредсказуемость, конечно,
Грозит и честным схлопотать,
Покуда дышло безупречно
Не сможет вновь законом стать.

Но что поделять? Старше Трои
У толп, то бишь у «охлос», трон,
И главное: уж так устроен
Его властитель — охломон:
Он и велик, и безрассуден,
И острословец, и тупарь,
Определяя судеб судьбы,—
Он — пламя, а в ночи — фонарь,
Он — порождение народа,
Собачий пост сторожевой:
Как самочувствие?.. Погода?..
Он — извержение его,
Как рвущийся в куски реактор,
Когда уж больше невтерпеж,
Он прошлого финальным актом
Являет лица в крике рож,
Чтоб отвратить от самомненья
Того, в ком нового зерно,
И радиации затменья
Смогло преодолеть оно.

5. А МЫ-ТО...

Хоть уж не милости, а козни
Таит Земля в реестре дат,
Животные религиозно
На нас по-прежнему глядят.
А мы-то?

Мы-то?!

Мы-то!

Мы-то...

Ее волтузя, как жену,
Нечесано и неумыто
Поглядываем на Луну.

6. ВЫБОР

Хоть и нередки в норме сбои,
Но четко делится народ
На тех, кто жертвует собою,
И тех, кто жертвы те берет.

Жизнь потребителя счастливей:
Там, где бессонье, пот и бред,
Ему — брильянта переливы
И выбор выверенных кред.

Однако, нет, не променяю
Дерзаний ад на этот рай,
Скорей — на мяч: его пинают,
Но в нем жив гол! Как ни карай...

Карающей лжи —
Отравой в генах:
«Не враг?! Докажи!» —
Но только ОНИ-то
В ответ ни гу-гу,
В румянах ланиты,
Рок-группы в мозгу.
Все сызнова вроде,
Короче — с нуля?..
В своем повороте
Все та же Земля?..

И встреча с усами
Не исключена?..
Варенка — их саван,
Как в те времена,
Когда шинелишка
Для нас им была?
Но это уж слишком:
Зола да зола!..
В неведение легче
Попасть в дураки.

О, дух неокрепший
И крепкость руки!
Не вы ли добыча —
С восторгом в глазах!—
Той силищи бычьей,
Что в чых-то усах,
Когда вслед за нами —
Черед есть черед —
«Мы сами с усами!»—
Безусость орет?

10. СКАЗОЧКА ПРО СЧАСТЬЕ

В топоре — идея удара.
В тупаре — идея кошмара.
Вот тупарь, решив, что пришла пора,
Спрашивает у топора:
«Ты почему это, себя не ценя,
Не ошастливливаешь меня?!»

Тут топор — прыг в руку тупаря
И по нему же пошел гулять почем зря,
Приговаривая: «И эх!..
Уж сейчас-то
Вытешу... счастье
Для всех!»

11. ВОЛЯ — РАЗГОВОР С БОЛЬЮ

Ум растят не косность
И не твердь руки,
Парализируют
Даже тумачи.
Задубеет совесть —
Подлость тут как тут,
Шторы и засовы
Дела не спасут.
Вырубится память —
Истине запрет:
Бочкой дегтя в пламя
Демагогов бред.
Тем ценней остаток
Мудрости зерна:
Против сулостана
Вырастет стена!
Воссияет колос
Темени в укор,
Устыжая голость
Тех, кто вправду гол.
Огненной геенны
Сбить стремясь накал,
Рушит перемены

Сноб-лентяй-нахал.
Сутью триединой
Держит свой редул
С помощью дубины...
Первый потный труд!
Дурака науськав,
Скрытен паразит,
Лишь на тропке узкой
На ухо рычит:
«Вот дождусь депешу,
Дескать, врежь врагу,
Я тебя повешу
На твоём флагу!»
Стало быть, на флаге...
Главное же в том:
Воля — на бумаге
Писана кнутом,
Та, сестра подвоха,
Что едва видна
И с царя Гороха
В нас утверждена
Как узда гиганта,
Чтоб себя забыл,

Как распад таланта,
Втоптанного в пыль...
Но всегда противен
Честной силе «Стоп!»—
Радиоактивен
Каждый изотоп.
Не удар по шее
Им противовес,
А каскад свершений
Без пустых словес,
Тот каскад, что делом
Сразу становясь,
Даст простор умелым,
А мудрейшим — власть.
Воля — это с болью
Дельный диалог,
Чтоб на раны солью
Сыпать враг не мог.
Ум растят не косность
И не твердь руки,
Парализируют
Даже тумачи.

12. ОДНО СЕМУ ЛЕКАРСТВО...

Жить в братской дружбе с дурью —
Заведомо жить зря...
Внизу ль, на верхотуре,
Час Истины — заря!
Та самая, вполнеба,
Которой быть пора
Всенасыщеньем хлеба,
Всемильостью добра.
Пусть будет хоть вечерней,
Коль утро позади
Во всей красе пещерной...

Заря-то — в нас, в груди,
В решенье совестливом,
Когда свой интерес
Чужому справедливо
Определяет вес,
Чтоб завтра слов лукавство
Не обратилось в боль...
Одно сему лекарство:
Вне мести жить изволь!
Не смажь чьей-либо кровью
То, что зовешь любовью.

Исфандияр
Эрнст Бутин

РАСПЛАТА

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

1

Вахид, подоткнув под спину жиденькую комковатую подушку, откинулся к шипастой, оштукатуренной «под шубу», стене и невидяще смотрел на сокамерников, которые играли в домино за столом, отполированным до костяного блеска локтями сотен и сотен побывавших здесь. Пожилые — болезненно одутловатый, с оплывшими веками Иван Афанасьевич и щупленький, с несчастным лицом Абдурахман — черные костяшки выкладывали без интереса, с задержками, словно заторможенные: видно было, что в думах они далеко отсюда. Третий, Загвозов, — губастый, с серым, нездорового цвета лицом, с руками, так густо изукрашенными наколками, что они казались сплошь покрытыми синяками, играл азартно: ерзал, матерился то восторженно, когда получалось задуманное, то с отчаянным сожалением, когда задуманное срывалось, орал на партнеров: «Ну ты, лесобаза, телись!.. Кого ставишь, кого ставишь, кишлак?» — косился на Вахида, давая понять, что без него, без четвертого игрока, ни черта не клеится дело.

— Студент, кончай, в натуре, клопа давить. Подсаживайся! — не выдержав, опять пригласил он Вахида высоким, пронзительным голосом. — Ты да я да мы с тобой запросто этих пассажиров на пайку накажем.

Вахид тускло поглядел на него и закрыл глаза, чтобы не видеть выжидательную, нагло-несмелую рожу Загвозова.

Прошло уже почти трое суток — две ночи здесь, — и чувства притупились, прочно охватила апатия. Сначала, еще в камере райотдела, накатывали то бешенство («За что взяли, гады? Ведь не виноват, не виноват я!»), то ощущение тупика, безвыходности («Не выкрутятся! Упекут!»), то нарастающая уверенность, что скоро выпустят, — и в книгах, и в кино милиция справедливая, честная. Бывают, конечно, недоразумения, но обязательно находится опытный старший начальник, седой, с мудрыми усталыми глазами, который попросит прощения за произвол подчиненных, а потом, оставшись с ними один на один, устроит им разнос, возмущенно заклемит за нарушение созаконности: это ведь, дескать, преступление, это аморально, а о душевной травме невинно пострадавшего вы подумали, а за то, что дискредитируете наши нравственные принципы, завоевания Октября, политико-социальные устои, — не стыдно? Вахид считал, что именно так и будет еще и потому, что мать тоже работает в милиции, а значит, пусть не все, пусть только часть ее коллег обязаны быть похожими на нее. Оттого и не просил позвонить ей: был

Первая книга опубликована в №№ 7—8 за 1989 год.

убежден, что недоразумение разрешится само собой. А вот чтобы отец узнал об аресте, хотел — это другое дело, тут материя тонкая: в присутствии Буриевой Талгатовича Латыпова, под его строгим, презрительным взглядом, извинения милиционеров будут более пылкими, интонации более виноватыми. Но время шло, а опытный седоголовый спаситель-начальник что-то не появлялся.

Не появлялись и отец, и сейчас Вахид согласен был и на ее помощь, хотя и знал, как она переполошится, — ведь если милиция знает его отчество и фамилию, то знает и чей он сын. Он встревожился, догадываясь уже, хотя и гнал от себя эти мысли, боялся их, что в райотделе до него никому никакого дела нет, что попал он в шерстенки тупой, равнодушной машины, которая перемелет его, даже не заметив. «Как же это? Почему?..» Ему стало жутко. Он заметался, потом подскочил к двери, принялся колошматить в нее кулаками, пятаками.

Вскоре дверь открылась, сонный Зияев кивком приказал: выходи!

Все тот же дежурный старший лейтенант опять пододвинул какой-то протокол: «Распишись!» Вахид, не читая и даже не взглянув, что это за бумага, торопливо расписался и, боясь, что оборвут, стал умолять:

— Позвоните, пожалуйста, в горотдел капитану Латыповой. Это моя мать. Скажите ей, что я здесь. Или отцу. 67-35-79. Буриевой Талгатович. Но лучше матери. Очень прошу, позвоните!

Старший лейтенант, глядя равнодушно, протянул Вахиду его пачку сигарет.

— Можешь закурить. — Щелкнул зажигалкой Вахида, поднес огонек к сигарете. Подбросил зажигалку на ладони. — Я возьму ее? — заявил скорей с утвердительной, чем вопросительной интонацией. — Все равно в тюрьме «заиграют».

Вахид подавился дымом, закашлялся. «В тюрьме? Как в тюрьме? — панически заметался в голове. — Значит, меня в тюрьму?»

Старший лейтенант, размеренно подбрасывая на ладони зажигалку, повысил зазвучавший уже раздраженно голос:

— Договорились? Ты — зажигалку, я — позвоню матери.

— Конечно, возьмите. Дарю! — выкрикнул Вахид. — Только обязательно позвоните, не обманите.

Старший лейтенант усмехнулся и, глядя в список под стеклом на столе, водя по нему пальцем, потянулся к телефонной трубке. Но в это время в дежурку вышел из коридора невысокий, массивный майор. Бегло и без интереса оглядел Вахида с головы до ног.

— Почему он еще здесь? — отрывисто спросил у вскочившего при его появлении старшего лейтенанта.

Тот начал оправдываться, что и подменить-то его некому, и фургонзак с конвоем не приехал, но майор не дослушал.

— Подменит Зияев. Отвезешь в патрульной. — Напыжился, опустил недовольно уголки губ. — Вольничаеть, Батыров. Распоряжения начальства для тебя пустой звук, да? — Мотнул головой в сторону Вахида. — Не позвонил еще?

Старший лейтенант стал что-то объяснять, но Вахид не слушал: фургонзак, конвой?..

— А надолго меня в тюрьму? — вырвалось у него сорвавшимся, каким-то писклявым голосом.

— Сколько заслужил, столько и отсидишь! — коротко взглянув на него, отрубил майор. — Давай, давай, выводи его, — буркнул сердито Батырову.

Старший лейтенант, сунув в карманы бумажник, платок, ключи Вахида, схватил со стола жиденькую папочку, выскочил за дверь. «А ты подожди», — Зияев удержал Вахида за плечо и не отпускал, больно вцепившись, пока Батыров опять не показался в двери и не позвал кивком за собой. Потрясенный Вахид послушно вышел, послушно влез в «газик». Покорно сел на узкую скамью, сумрачно поглядывая на старшего лейтенанта, который, не развязывая, стаскивал с рукава красную повязку. Снял, сунул Зияеву. Одним движением нырнул в тесный кузовок «газика», уселся напротив Вахида. «Все. Конец. Посадили».

Способность думать, соображать, замечать и анализировать вернулись лишь тогда, когда дверца открылась. Старший лейтенант выпрыгнул наружу, небрежно отдал честь какому-то равнодушному, нелюбопытствующему прапорщику. Вахид, уже приобретающий опыт, не шелохнулся — ждал, когда позвонят. Ждать пришлось, как показалось, очень долго. «Выходи, — разрешил, наконец, прапорщик и, когда Вахид выбрался, потребовал: — Руки за спину!»

Иронически скривившись, Вахид выполнил приказ, и бесправное, унижительное положение это — руки за спиной — вызвало вдруг острое и нелепое чувство, будто он и впрямь преступник. Человек, не имеющий ничего общего ни с прапорщиком, ни с Батыровым, который, поджидая, стоял в светлом проеме какой-то двери.

Внутри здания было светло и по-тюремному гнетуще: коридор с бетонным полом и черными, толстенными даже на вид, дверями; узкая лестница на второй

этаж, перекрытая до потолка решеткой; деревянный барьер, отгораживающий широкий стол, на краю которого, у стены, телевизор с каким-то пультом, поблескивающим тумблером. На синеватом рябеньком экране тоже коридор с темными пятнами дверей, по коридору смутной тенью бредет кто-то — надзиратель, наверное. Невзрачный, унылого вида капитан с красной повязкой на рукаве, сидевший за столом, что-то переписывал в серого цвета карточку, изредка поглядывая в раскрытую папочку, ту, которую привез Батыров. На барьер навалились двое: рыжий, веснушчатый настолько, что казался измазанным в горчице, щупленький старшина и немолодая, плоская, как доска, женщина в берете и несвежем белом халате. Капитан лишь на миг взглянул на Вахида, точно на пустое место, и продолжал писать; старшина развернулся, подбоченился, смерил Вахида взглядом; женщина тоже, как и капитан, посмотрела на Вахида коротко, хотя в глазах ее мелькнуло нечто похожее на интерес. Откачнулась от барьера, вздохнула неглубоко: «Ступай за мной, драчун». И, передернув затекшими, видно, плечами, поджав осуждающе бледно и неряшливо накрашенные губы, не спеша направилась в глубь коридора. Вахид потащился за ней.

Женщина открыла самую дальнюю дверь, пропустила в нее Вахида. «Хоть ты и домашний, — заметила назидательно, — все равно прошпарься. А то натащишь еще нам клопов, или, того хуже, вшей». Вахид покорно начал раздеваться в этом похожем на подвал предбаннике. Поеживаясь, пошел было к покоробившейся двери в моечное отделение, но старшина удержал: «Сядь!» — сжимая и разжимая, словно кистевой эспандер, ручки машинки для стрижки волос, отчего ее мелкозубчатые челюсти хищно щелкали, показал взглядом на скамью. Вахид послушно сел, и сразу же от соприкосновения с металлом побежала по телу крупная волна озноба. Глянув исподлобья на старшину, увидел и женщину. Опомнился, прикрыл пах ладонями и по ударившему в щеку жару понял, что густо покраснел. Неодобрительно поджатые губы женщины усмешливо дрогнули, но Вахид уже не смотрел на нее — наморщив лоб, поднял глаза вверх: машинка, азартно похрустывая, уже поползла ото лба к макушке. «Ну все, вот ты и стал настоящий алла-бисмилла. Можешь подмываться! — закончил работу старшина и несильно шлепнул Вахида по макушке, но когда тот, одеревенев от оскорбления, начал подниматься, приказал голосом, ставшим опять лающим: — Только сначала кудри свои подбери!» Вахид, чувствуя себя из-за легкости на голове особенно голым, встал, не отрывая ладоней от паха. Отвернувшись, потянулся за плавками, но женщина беззлобно прикрикнула: «Ладно уж, иди парься, красна девица. Сама уберу».

Когда, кое-как вымывшись, он вновь вышел в предбанник, женщины уже не было. Не было и волос на полу.

«Быстро ты что-то, — вяло заметил старшина, развалившийся на скамье. — Ваш брат сам сюда просится, едва выгонишь потом, а ты...»

«Это не наш брат, а ваш, — огрызнулся Вахид, вытираясь рубашкой. — Для нашего брата здесь шампунь не тот, а вашему и так сойдет». «Выступаешь? — удивился старшина. — Зубки показываешь?» Он, словно бы нехотя, выпрямился и вдруг резко выкинул кулак, метя Вахида в живот. И... потеряв равновесие, едва не свалился на пол — рука рассекла воздух: в секции «Плаван» до автоматизма отработали как готовность к таким вот коварным, неожиданным-негаданным ударам, так и контрприемы. Поэтому Вахид ничего еще сообразить не успел, а тело его вильнуло, прогнулось, рубаха отлетела в сторону, правая рука намертво стиснула запястья старшины, крутанула, левая рука поддернула за локоть, и старшина, с деревянным стуком упав на колени, сунулся носом к полу. Обомлев от страха, Вахид разжал пальцы, резко опустил на корточки, хотел попросить прощения, объяснить, как все получилось, помочь подняться, но рефлекс продолжал инерцию, и в лицо старшине выдохнулось беспощадно: «Еще тронешь, глотку перегрызу!» Старшина вскочил, взметнулся и Вахид. Они застыли лицом к лицу, и Вахид — теперь надо было выдерживать роль до конца — буравил старшину взглядом, проверяя его нервы на прочность, а в голове билось испуганно: «Все, пропал, теперь — конец!» Старшина отступил на шаг, коричневые веснушки на его лице пожелтели. «Так, борзой, с тобой все ясно, — не отрывая тяжелых глаз от Вахида, он потоптался на рубашке, вытер об нее подошвы. — Через месяц ты мои ботинки языком чистить будешь. Понял?» — И носком швырнул рубашку в сторону Вахида. Вахид, тоже пристально следя за старшиной, поймал ее. «Через месяц?.. — внутри все сжалось, точно всосалось в холодную пустоту под ложечкой. — Неужто я буду здесь целый месяц? А потом что? Через два месяца? Через год?» Расправляя, встряхнул рубашку. Замер на миг и — с треском разодрал ее на две половинки. Скомкал, швырнул, не глядя, в ведро с половыми тряпками. Все так же наблюдая за старшиной, быстро оделся, обулся, оставшись лишь в шелковой майке-безрукавке. Без напоминания заложил руку за спину, вышагнул в приоткрытую старшиной дверь. Хотя и был начеку, а потому в коридоре сделал короткий рывок, старшина все-таки отыгрался — его

пинок под зад, пусть и по касательной, но все же зацепил. Вахид, мотнув головой за спину, полоснул старшину взглядом; однако сдержался — женщина в халате и прапорщик, стоящие у барьера дежурного, смотрели в эту сторону. И чем ближе подходил Вахид, тем вопросительней становились у них лица. «А где же рубашка твоя?» — удивился капитан. Вахид объяснил, что порвал нечаянно, когда одевался, и оставил в предбаннике. Капитан с сомнением поглядел на старшину. Тот подтвердил, что да, мол, так и было — этот, показал подбородком на Вахида, разволновался, дергаться стал, ну и порвал. «Так, может, он псих? Может, его на экспертизу надо?» — задумчиво спросил капитан. «Нет, нет, он здоровый, — поспешно заверил старшина. — Это у него от нервов. В первый раз к нам попал, вот и распереживался». «Бывает, — согласился капитан и скучным голосом попросил прапорщика: — Начинай. Может, успеете до ужина, а то этот герой, наверно, с утра не ел».

Сосредоточенный, серьезный прапорщик отвел Вахида в какую-то комнату с шкафом, состоящим из выдвижных, как в абонементном отделе библиотеки, ящичков, и там снял отпечатки пальцев, сфотографировал анфас и в профиль, занес в карточку описание примет Вахида. Вахид послушно выполнял все, что безучастным голосом предлагал сделать прапорщик.

Закончив все процедуры, старшина подвел Вахида к решетке, перекрывающей лестницу на второй этаж, и поинтересовался бодро: «Куда его, товарищ капитан? В тридцать седьмую? Лады?» «Зачем это? — дежурный поднял от бумаг на столе рассеянный взгляд. — Он не задержанный по подозрению, а арестованный по обвинению. Выдай постель и — в двадцать вторую». Старшина выматерился шепотом, ткнул ключом меж ребер изогнувшегося от боли Вахида, толкнул его в сторону душевой, куда уже отправилась ленивой походкой женщина в халате. Она открыла какую-то комнатку, выдала Вахиду полосатый красно-белый матрас в бурых, слабо пахнущих кислотой пятнах, набитый, казалось, камнями, завернутыми в вату, подушку, комковатую и плоскую, серое потертое одеяло, желтоватые застиранные простыни и наволочку. Все это Вахид принял на вытянутые руки и, отворачивая лицо от едкого, до рези в глазах, запаха хлорки, пропитавшего постельное белье, вернулся к зарешеченной лестнице. Подождал, пока старшина откроет замок, и, невольно сжавшись, побрел по ступенькам.

В коридоре, куда Вахид, чуть не растеряв постельное белье, протиснулся сквозь узенькую дверь и остановился, чтобы осмотреться, старшина гаркнул жестяным голосом: «Лицом к стене!» Вахид подчинился. Покосился на старшину. Тот отвел в сторону надзирателя — светленького, ясноглазого, с девичьим румянцем и комсомольским значком на кителе младшего сержанта — и начал что-то объяснять ему. Младший сержант, сосредоточенно сдвинув белые бровки, понимающе кивал. Посмотрел на Вахида то ли удивленно, то ли в раздумье, встретился с ним взглядом. Расслабленным взмахом руки позвал за собой.

Заглянул в глазок двери под номером двадцать два, открыл ее, и Вахид, напружинившись — каких только жутких историй не слышал о тюремных нравах! — медленно вошел в камеру.

Зарешеченное окошечко, закрытое со стороны улицы дощатым коробом. Под окном койка. Справа и слева у стен тоже койки — двухъярусные. Посередине стол. Около него трое. Один — худенький, с напуганными чуть раскосыми глазами, с пегой от седины короткой бородкой клинышком. Второй — толстый, водянистый, с тяжелым, словно набухшим, в красных жилках лицом. Третий — губастый парень с жидкими сальными волосами и нездоровой, землистого цвета кожей человека, давно не видевшего солнца.

Старшина, сжав Вахида за плечи, слегка сдвинул его в сторону и решительно подошел к койке под окном. Властно, размашисто сбросил с нее постель на пол. «Спать будешь здесь», — с дружеской интонацией объявил Вахиду, и тот увидел, как жестко отвердело лицо губастого парня, как расширились по-кошачьи и медленно сощурились его бесцветные глаза. Вахид еле заметно усмехнулся, подошел к правой двухъярусной кровати. Забросил на верхнее свободное место свою постель, но разложить, расправить ее не успел — старшина не дал. Подскочил, сгрел в охапку и матрас, и белье. Ступая по раскиданным по полу простыням, одеялу, вернулся к койке под окном. Бережно положил на нее постель Вахида. «Вот твое место, — заметил ему внушительно. — Устраивайся, располагайся. А ты, — презрительно посмотрел на губастого, — собирай свое барахло и — на верхотуру!» Парень нехотя поднял матрас, швырнул его на верхнюю кровать. Сверху положил комом белье, подушку. Вахид, не расправляя постель, устало сел на край койки. «Встать!» — грозно рявкнул младший сержант от двери, но старшина, удержав Вахида за плечо, разрешил покровительственно: «Ничего, отдыхай, — и, склонившись к нему, заметил ласково: — Если понадобится чего, постучишь в дверь, мне передадут. Ну пока. Не грусти». Подмигнув, вышел. Следом вышел и младший сержант.

Даже дураку было ясно, что они затаились за дверью. Но губастый ждать не стал. Он глядя вбок, стал лениво, вразвалку приближаться к Вахиду. «Свой среди чужих, да?.. Мазу кум за тебя держит, да?— И вдруг, резко растопырив украшенные татуированными перстнями указательный и средний пальцы, сунул их в глаза Вахиду.— А ну, дергай отсюда!» Договорить не успел — шепелявое, приблатненно-сюсюкающее шипение его закончилось визгливым, сразу же оборвавшимся вскриком: Вахид, левой рукой цапнувший и заломивший от себя эти грязные, с потрепавшимися заусеницами, пальцы, кулаком правой коротко и безжалостно ударил парня в солнечное сплетение. Вскочил, оттолкнул переломившегося в пояснице губастого — испугался, что может убить его: все накопившиеся за день унижения, оскорбления, издевательства, на которые нельзя было ответить, вылились в такую, затмившую глаза, вспышку ярости, что Вахиду самому стало страшно. А уж сокамерникам-то и особенно, наверное, пострадавшему — тем более: он, плюхнувшись на задницу, немо хватая ртом воздух, вытаращив глаза, часто-часто отталкиваясь ладонями и пятками, проворно пополз подальше от Вахида. Пожилые, кивнувшие к парню, взглянув на Вахида, тоже попятились.

К круглой дыре в двери припал чей-то глаз, и дверь распахнулась. «В чем дело, Загвозов?— нахмурившись, спросил младший сержант.— Драка? Самосуд?» «Все в норме, начальник,— поднимаясь с пола, простонал парень.— Все тихо-тихо. Ну, споткнулся, ну, нырнул малость. Какие дела?» Жадные, радостные глаза старшины за спиной младшего сержанта поскуцнели, стали разочарованными. «Латыпов,— негромко окликнул он.— Давай-ка, дружок, на выход, на пропуску пора».

Вахид не торопясь встал, забросил руки за спину и, перехватив злорадный взгляд Загвозова, опустил голову. В коридор вышел осторожно. Ярость еще не угасла, но была уже не той ослепляющей, неконтролируемой, а превратилась в настроженную, звериную, на уровне инстинкта, собранная, когда каждая жилка, каждая клеточка ждет опасности и готова к ней. «Избивать себя не дам!»— твердо решил Вахид. Выжидательно посмотрел на сосредоточенно-угрюмого младшего сержанта и, не расслабляясь, готовый к любым неожиданностям, пошел за ним, затылком, спиной ощущая сзади старшину. Младший сержант проворно отомкнул тридцать седьмую камеру, старшина сильно пихнул Вахида в спину. Он, падая, вбежал внутрь, дверь захлопнулась, и — спасла настоженность — успел отпрыгнуть: кулак какого-то мужика с покатыми плечами, перед которым оказался, просвистел у самого лица. «Ий-я-а!»— выдохнул Вахид почти восторженно, потому что успело мелькнуть радостное: эти не милиция, за этих много не дадут, напряжение же требовало освобождения, выплеска. А тело уже взвилось в винтовом прыжке, левая нога, взметнувшись, нанесла в голову нападавшего страшный удар пяткой; правая рука еще в полете сделала замах, и как только Вахид опустился, ребро ладони обрушилось на шею второго, который, пригнувшись, раскинув, точно вратарь, руки, изготовился сбоку. Он качнулся, оторопел. Вахид, не давая ему опомниться, изо всей силы ударил его кулаком в челюсть, одновременно боковым зрением фиксируя третьего — гибкого, тонкого, который ошалело моргал, стоя за плавно, как в замедленном кино, опускавшимся покатоплечим. Не оглянувшись на второго,— незачем: глубокий нокаут!— Вахид высоким прыжком перескочил через тело первого и, развернувшись в воздухе, стремительно согнув-разогнув правую ногу, саданул ступней в грудь третьего. Тот отшатнулся, но подошва кроссовки Вахида все же достала его, и парень отлетел на дощатые голые нары под окном. Однако успел отбить ногу Вахида, и тот изогнувшись, рухнул лицом вниз. Выкинул руки, самортизировал, но полностью погасить инерцию резкого падения не удалось — ткнулся скулой в бетонный пол. Вскочил. Оскалившись, рыча, растопырив скрюченные пальцы над горлом лежащего на нарах, навис над ним. Парень, елозя на спине, пытался вжаться в доски, хватал запястья Вахида, выкрикивал испуганно: «Хорош!.. Харэ, харэ! Чего на меня-то тянешь?! Я вне игры, падлой буду!»—И большеглазое, красивое лицо его было чуть ли не зеленым от страха. Вахид, остывая, распрямился, сжал в кулаки скрюченные судорогой пальцы. «Ну ты, гляжу, беспредел из беспределов,— вымученно улынулся парень. Медленно, словно с усилием, сел. Судорожно похлопал по карманам брюк. Достал полпачки «Астры», коробку спичек. Показал взглядом за спину Вахида.— Теперь эти загрызут тебя. Для начала очко порвут, опедерастят, а потом... Очухаются, что делать станешь?»— прикуривая, поднял уже спокойные и слегка насмешливые глаза. «Буду вырубать, пока не поумнеют,— серьезно, точно клятву давал, сказал Вахид. Прислонился спиной к стене, чтобы в поле зрения были и парень, и лежащие у входа.— За что они на меня накинулись?» Парень неопределенно шевельнул бровями. «Стучать меньше надо. Разведка доложила: по камерам гуляешь, вынюхиваешь.— Сплюнул табачную крошку.— Получил крытку, ну и тяни. Думаешь, если выслужишь зону, там тебе легче будет?» Выпятил губы, начал выталкивать колючим дым, с интересом наблюдая за ним. «Какую крытку? По каким камерам? — возмущился Вахид.—

Меня только сегодня забрали». Парень перевел глаза на него. «И уже обкорнали черепушку?— поизучал голову, лицо Вахида недоверчивым взглядом.— Совсем, что ли, фраер? Ни приводов, ни заходов не имел?— А когда Вахид подтверждающе кивнул, сморщил нос, почесал его кончик.— Выходит, купились мы?— Весело засмеялся.— Это мы от скуки подловились. Ясно ведь, если ты получил крытую, у тебя должна быть постелька, а не этот голяк,— похлопал он по парам.— Хотя... тут закон не писан. А если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Все может быть.— Широко зевнул, потянулся, вскинул кулаки к плечам.— Что-то вертухай долго не возникает. Пора бы ему и заглянуть, посмотреть, как тебя уделали».

Нокаутированный застонал, приподнял голову, огляделся бессмысленно. Вахид, почувствовав, что лицо стало мертвель, быстро облизнул пересохшие губы, вытер о бедра вмиг вспотевшие ладони.

«Пора кончать эту бодягу»,— парень, снисходительно покосившись на отшатнувшегося от него, защитно взметнувшего руки к груди Вахида, лениво поднялся с нар. Перешагнул через тоже застонавшего, шевельнувшегося покатоплечего. Властно заколошматил в дверь. Когда она открылась, отступил в сторону. «Принимай меры, командир,— игривым тоном предложил младшему сержанту. Кивнул на Вахида.— Убирай этого, если не хочешь иметь в своем дежурстве хмурика». Младший сержант, остекленевшими глазами уставившись на тела у ног парня, густо покраснел, потом побелел. Дернув головой, проглотил слюну. «А ну, выходи!»— приказал Вахиду. Хотел, чтобы прозвучало устрашающе, но осевший голос сорвался на петушиный фальцет. Вахид, благодарно взглянув на парня и обрадовавшись, что нет старшины, радостно забросил руки за спину, вышел с облегчением в коридор. «Турышев, что у тебя там за экскурсии, что за хождения?»— обрушился сверху недовольный бас. Вахид поднял на голос глаза и только теперь заметил под лотолком трубу телекамеры, поблескивающий объектив которой был направлен прямо на него. Младший сержант, только-только замкнувший дверь, опять покраснел до цвета перезрелой вишни и дернулся было к столику с телефонным аппаратом, но удержался. «Шагай к себе!— заорал на Вахида окрепшим, дрожащим голосом, а когда Вахид остановился около показавшейся теперь чуть ли не родной двадцать второй камеры, рявкнул вовсе уж свирепо:— Мордой к стенке!» Вахид выполнил. Потом, не обернувшись, а лишь передернувшись презрительно, когда младший сержант ткнул кулачком под лопатку, вошел в дверь. С порога отметил, что его постель так и лежит рулоном на койке под окном — уже легче, одной проблемой меньше, а то неизвестно, как вести себя: отстаивать права на лучшее место, если Загвозов снова занял его, или смириться? Сокамерники с нескрываемым любопытством воззрились на Вахида. Он обвел их тяжелым взглядом, прошел к своей кровати. Сел, осторожно пощупал ссадину на скуле. Загвозов ехидно фыркнул и демонстративно развязно рухнул на нижнюю койку, около которой стоял. Сунул ладони под затылок, затаил негромко какую-то унылую песню. Пожилые опять уселись за стол; пригнулись к шахматной доске, выцарапанной на столешнице,— снова принялись за прерванную, видимо, появлением Вахида игру в шашки, вылепленные из хлебного мякиша.

До Вахида только сейчас стало доходить, от какой опасности ускользнул. Он сплел пальцы, до боли сжал их: не расслабляться, не расслабляться! Неизвестно, какую еще подлость придумают старшина или вот этот, в наколках, Загвозов. Но сил держать себя в напряженной готовности уже не было — сначала стала бить мелкая дрожь, потом всего, от ногтей до макушки, охватила слабость. Накатило отупляющее, обезволивающее безразличие ко всему на свете, и к себе тоже. Загвозов меланхолично тянул все то же, пожилой русский ворчал на партнера; как понял Вахид из реплик, звали его Иваном Афанасьевичем, его напарника — Абдурахманом. Абдурахман почти беспрестанно вздыхал горестно и время от времени начинал уныло рассказывать про какого-то раиса Ахмаджона, но каждый раз Иван Афанасьевич обрывал возмущенно: «Кончай ныть, надоело!»

Ужин — кучку разваренных крупных зерен на дне алюминиевой миски, тепленький желтый, слегка подслащенный чай, ломтик черного, вязкого, как размятый пластилин, хлеба,— Вахид, в другое время воспринявший бы такую пищу как издевательство, заставил себя съесть: и потому, что не хотел выглядеть в глазах Загвозова изнеженным, и потому, что, как только Абдурахман начал бегом носить еду от квадратного окошечка в двери к столу, почувствовал в животе такие рези голода, во рту такую липкую слюну, что затошнило, замутило до головокружения.

После ужина Вахид, все еще устало ждавший, что вызовут на расправу, понял, что пока, до ночи во всяком случае, тревожить не будут. Разобрал постель, заправил койку, лег поверх одеяла лицом в подушку.

Он засыпал и опять просыпался так же неожиданно и враз — словно его вышвыривало из забытья: тело, как распрямившуюся пружину, подбрасывали внезап-

ные конвульсии. В один из таких проблесков сознания отметил, что Абдурахман и Иван Афанасьевич уже лежат в постелях; в другой проблеск сознания услышал чей-то густой, с переливами, храп, чье-то похожее на поскуливание всхлипывание; в третий проблеск не услышал ничего — в камере было тихо. И Вахид наконец-то уснул по-настоящему. Глубоко, без сновидений, точно умер.

На следующий день, в субботу, его тоже никуда не вызвали и ничего не произошло. Только утром, когда была пересменка наряда, новый контролер — смуглый, с орлиным носом сержант — долго и пристально смотрел на Вахида. Но за этим ничего не последовало. Ни плохого — мести старшины, ни хорошего — весточки от матери или отца. Вахид не терял надежды: кто-нибудь из родителей обязательно даст о себе знать. Но время шло — уже и завтрак, и обед миновали — а ни от отца, ни от матери — ничего. Чтобы заглушить нарастающую на них обиду, чтобы отвлечься от горьких мыслей, что родители предали, что, оказывается, они эгоисты, любят только себя, а о нем забыли, Вахид согласился даже сыграть в домино.

Так же тяготно, как и суббота, проползло воскресенье, и Вахид, все ждавший, что вот-вот вызовут на свидание с отцом или матерью, к отбою совсем приуныл. О старшине, а тем более о Загвозове, который, может, только притворяется, усыпляет бдительность, чтобы напасть врасплох, уже не думал. Укладываясь в постель, обиженно-желчно, но твердо решил, что до суда откажется от встречи с родителями, а на суде отречется от них. И уснул, как в черную пропасть упал.

Проснулся от странного чувства, будто кто-то настойчиво и ласково зовет, и, удивившись, не открыв еще глаза, прислушался. Уловил еле различимый, похожий на шелест листьев шепот, который, как понял, и разбудил. «Ля иляха илля-ллах ва Махаммадун расулюллах»,¹ — донеслось чуть погромче, поотчетливей — напевно, с нежностью и убежденностью. Вахид осторожно поднял голову. И застыл.

Лицом к стене, на сложенном квадратом, как молитвенный коврик, одеяле, стоял на коленях Абдурахман, с головой, повязанной полотенцем, точно чалмой. «Аллаху акбар, ля хауля ва ля куввата илля биллах, таввакюльту' аля-ллах»,² — истово прошептал он; провел по лицу ладонями, соединил их у клинышка бородки и уткнулся лбом в пол.

«Ну да, будет слушать тебя Аллах, Вахид хотел было иронически улыбнуться и... не смог; вместо легкого презрения к Абдурахману, которое пытался вызвать в себе, появилось вдруг и мгновенно окрепло неожиданное, похожее на признательность, ощущение близости и даже родства с этим плаксиволицым жалконьким дехканином — ведь их, братьев по крови, только двое в этой вонючей, давящей камере с чуждым им Иваном Афанасьевичем, с неприняемо противным, как жаба, как тарангул, Загвозовым. Речитатив Абдурахмана с непонятными арабскими словами, жаркая молитва эта отозвалась вдруг в душе Вахида неподозреваемым до этого, каким-то глубинным, генетическим узнаванием — точно подали голос из тьмы веков предки: подбодрили, успокоили.

2

По ту сторону двери заскрежетал ключ, лязгнул засов, и Вахид резко открыл глаза — сердце болезненно сжалось: невозможно все-таки привыкнуть, остаться равнодушным, когда кто-то собирается войти в камеру. Кто? Зачем? Пересменка наряда уже была. На допрос? А может, на свидание? Вахид торопливо встал с койки, оправил постель.

Доминошники тоже — Абдурахман проворно, Иван Афанасьевич не спеша, Загвозов с лендой — поднялись из-за стола. По их выжидательным позам Вахид понял, что сокамерникам тоже не по себе.

— Иншалла³, — негромко сказал он.

Все оглянулись на него: Загвозов с подозрением, Иван Афанасьевич непонимающе, Абдурахман чуть испуганно. Задержал на лице Вахида изучающий взгляд, неуверенно улыбнулся и опять, как и другие, повернулся к двери. Та широко открылась.

Облапив, крепко прижимая к груди матрас с завернутым в него постельным бельем, уверенно вошел парень, которого Вахид не тронул в тридцать седьмой камере.

— Стас! Анапа! — Загвозов, слегка присев, восторженно хлопнул себя по бед-

¹ Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник его (арабск.)

² Аллах велик, нет силы и могущества, кроме Аллаха, я полагаюсь во всем на Аллаха (арабск.).

³ Иншалла — все в руках Аллаха, все будет, как он предпишет.

рам. Мелко рассмеялся.— Ну ты даешь, в рот парход!.. Опять влетел! А клялся-божился, что больше тебя не заметут!

— А ты, Гвоздь, видать, все так и ходишь по кругу: КПЗ — зона, зона — КПЗ? Что-то я тебя на воле давненько не видел.— Стас пренебрежительно смерил его взглядом, равнодушно посмотрел на сокамерников, в том числе и на Вахида — словно на незнакомого, словно и не встречался никогда.

Вахид, растерявшись на миг от такого безразличия, отвел торопливо глаза от Стаса, поглядел на сержанта. С надеждой. Может, по его лицу удастся прочесть хоть что-то, удастся уловить обнадеживающий намек: есть, мол, у меня сведения, что с тобой все будет хорошо, поэтому, дескать, не беспокойся, не волнуйся, сказать-то, сам понимаешь, открыто об этом не могу, но — не унывай, скоро, скоро... Однако каменное лицо сержанта было, как и утром, при пересменке, непроницаемо враждебным.

— Смотрите у меня, чтоб порядок был!— угрожающе напомнил он.

Обвел всех тяжелым взглядом, не задержав его на Вахиде, и вышел.

Стас уже положил постель на верхнюю незанятую койку.

— Чей станок?— небрежно ткнул ногой нижнюю.

— Мой,— с вызовом ответил Иван Афанасьевич, и мясистое лицо его побагровело.— А что?

— Может, уступишь место мне, малокровный?— Стас скучающе покосился на него.— Тебе наверх порхать полезно для разминки.

— Ты, Стас, лучше шконку Студента займи,— угодливо предложил Загвозов и мстительно посмотрел на Вахида.— Законное место, самое то...

— Не учи отца баб щупать и не шестери!— Стас, круто повернувшись к нему, ощерился на миг. Но тут же успокоился, посоветовал насмешливо:— Поменяйся сам со Студентом, если нравится под окном, разрешаю. А мне там не климат, дует,— и впервые открыто, в упор посмотрел на Вахида. Потом вразвалку приблизился к столу, ласково похлопал Ивана Афанасьевича по обвисшему животу.— Ну что, худенький, забьем козла? А то истосковался я по культурному досугу.— Сел, принялся старательно перемешивать домино.— Закрой пасть,— попросил недовольно Загвозова, у которого от удивления отвалилась челюсть. Прорекламирровал издевательски:— Как вспомнишь, бывало, раскроешь хлебало, а галки летят и летят.— Подмигнул ему, замурылкал вполголоса, изучая доставшиеся костяшки домино.— Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу...

— ...и там я всю жизнь просiju на соленом, как слезы, пляжу,— подхалимским тенорком подхватил Гвоздь. Проворно пристроился за столом.— Ну, что сопля жуете?! Ждать вас, что ли?!— прикрикнул повелительно на Ивана Афанасьевича и Абдурахмана, и когда те нехотя сели на свои места, выкрикнул ликующе:— У меня «азик»! Я заходчик!

Вахид снова опустился на койку. Выбрал такое положение, чтобы Гвоздь перекрывал Стаса — не хотелось встречаться с ним взглядом,— и, опять подсунув под спину подушку, откинулся к стене.

Сухо пощелкивали костяшки, негромко напевал про Анапу Стас, фальшиво подтягивал ему Гвоздь, иногда обрывая себя и торжествующе вскрикивая: «Вот так вас! Прокатись, дешевка, прокатись, тварина!.. Как мы их делаем, Стас, а!»

— Что нового на свободе?— напряженным и слегка заискивающим голосом спросил Иван Афанасьевич.

— Что нового... новенького?— задумчиво протянул Стас.— Что там может быть новенького? Деловые, наверно, как всегда, бабки гребут, мужики вкалывают, девочки цветут и пахнут. Все по-старому. Получай пятерочного!— Припечатал к столу костяшку домино.— Откуда я знаю, что там нового, дорогой ты мой дистрофик. Я ведь здесь тоже уже почти месяц торчу. По соседству с вами на нарах загорал...

— Так ты не с воли?— удивился Гвоздь.— Под подозрением ходил?— И не смог скрыть злорадство.— А теперь, значит, срок корячится?

— Срок не должок, получать не к спеху,— со снисходительной назидательностью заметил Стас.— Я не ты, могу и подождать. Навешаю новому следователю лапшу на уши, прогоню ему дуру,— голос его стал мечтательным,— глядишь, и проскочу соучастником. А то и вовсе свидетелем. Это бывшая моя... волчица, ну и волчица!.. паровозом меня сделать хотела. Как бульдог вцепилась, наглухо. Все улики выискивала, одну к другой подгоняла. И ведь почти дожала, сука, почти схватила.— Опять со стуком выжегил на стол костяшку домино. Залился приглушенным, лающим смехом.— Теперь лафа, теперь выскользну. Новому лишь бы дело скинуть, ему и моего «чистосердечного» выше плечи хватит.

— Тебе, чего, по ходу следователя сменили?— засомневался Гвоздь.— Век такого не бывало, чтоб при твоей статье...

— А это, Гвоздик ты мой ржавый, кому как повезет. У меня пруха поперла,—

голос Стаса был откровенно счастливым.— Моя следовательша в аут выскочила. Вальты у нее загуляли.

— Как ее фамилия?— насторожился Иван Афанасьевич.— Не Латыпова?— Вахид вздрогнул.— Жалко, если это она,— огорченно продолжал он.— Понравилась мне она, добросовестная.

— Она, она самая,— желчно подтвердил Стас.— Она, голубушка, Гульнора Саматовна. Рыба-пиранья. Обгложет до косточек и не поморщится...

Вахид качнулся в сторону, чтобы видеть его лицо.

— От добросовестности, видать, и соскочила с катушек, — Стас удовлетворенно заулыбался. Шлепнул себя по лбу, резко повернул ладонь. — Шизанулась. Сейчас в дурдоме права качает.

— Как шизанулась? Как в дурдоме? — хрипло выкрикнул Вахид.

— Как! — Стас недоуменно посмотрел на него. — Откуда я знаю, как. Чокнулась и все. — Вид Вахида, наверное, озадачил его. Он выпрямился, в глазах появилось раздумье. — Ты что, тоже за ней числишься?

Развернувшийся боком Гвоздь поглядывал то удивленно на Вахида, то вопросительно на Стаса. Мелко сморщил лоб, прикидывая что-то в уме.

— Слушай, Студент, а может, она твой родич? — спросил насмешливо. — Ты Латыпов, она Латыпова. А?.. Выкладывай, не темни.

Страдальчески скривившийся Вахид смотрел мимо него. Дернул головой, словно стравивал что-то.

— Чего? — Взгляд его стал осмысленным. — А, да... Это моя мать.

— В натуре? — Гвоздь растерялся. Хихикнул недоверчиво, глянув ошарашенно на Стаса, потом опять на Вахида и, поняв, что тот не шутит, ожесточился лицом. Стал плавно приподниматься. — Ах ты падла, ах ты фраер воючий, подсадочка тухлая. Да я щ-щас тебе за такую родню глаз на копчик натяну.

Его вновь зашепелявивший голос выражал такую ненависть и угрозу, что Иван Афанасьевич качнулся назад; побелевший, вскинувший молитвенно ладони к лицу Абдурахман тоже отшатнулся.

Вахид, вцепившись обеими руками в край кровати, предупреждаясь поднял ногу, согнул ее в колене.

— Сядь! — Стас потянулся через стол, дернул Загвозова. — Не возникай. Сын за мать не в ответе. — Воровато глянул на Вахида, дернул уже резче, злей. — Сядь, сказал! Не по делу выступаешь! — Потеряв равновесие, Загвозов плюхнулся на свое место. Не отрывая презрительных глаз от Вахида, передернулся всем телом, точно от омерзения.

— Мусор поганый, шнырь ментовский, — раздувая ноздри, шипел он. — Тот смелый был, кулаком махал, оперов за погоны хватал — знал, мамаша прикроет. Облажался ты, паскуда, не прикроет теперь, не выдернет из статьи. Гнить тебе у параша полный срок...

— Кончай, Гвоздь, — миролюбиво попросил Стас, все так же, словно раздумывая о чем-то, изучавший взглядом Вахида. — Чего прискребываешься? Видишь, малый и так поплыл.

У Вахида действительно, утратив четкость и ясность, все плыло и качалось перед глазами. В голове вместе с толчками крови гулками ударами пульсировало только одно: «Мать в психбольнице. В психбольнице. Мать. Из-за меня? Мать в психбольнице — из-за меня».

Очнулся Вахид лишь тогда, когда опять скрежетнул ключ, опять распахнулась дверь.

— Лапытов, с вещами! — приказал, не заходя в камеру, сержант.

— А-а, сучья пасть! — Гвоздь швырнул на стол костяшки домино с такой яростью, что они запрыгали, посыпались с сухим стуком на пол. — Вытащила все-таки мамаша сыночка!

— Может, в другую камеру? — предположил Иван Афанасьевич, тоскливо наблюдая за Вахидом, который не спеша поднялся и начал старательно сворачивать матрас.

— Кого в другую? Чего мозги пудришь?— взвизгнул Гвоздь.— По чистой уходит, выпускают его! Ты на рожу вертухая посмотри, на ней все написано!

— А ну заглохни! — рявкнул сержант и угрожающе вскинул кулак с позвякивающими на кольце огромными ключами. — Я тебе, шпана мокрозада, покажу «рожу», покажу «вертухая»!.. А ты, Лапытов, шевелись! — прикрикнул свирепо, чтобы все поняли, что никакого особого расположения к нему не испытывает. — Копаешься, как жук в навозе!

Вахид, плотно сжав губы, чтобы не прорвалась радостная улыбка, — «Неужто правда? Неужто освобождают?» — подхватил скрученную в рулон постель. Остановил взглядом дернувшегося было наперехват Загвозова и без суеты, не торопясь, направился к двери.

— Крестничкам твоим что передать? Когда снова влетишь? — скрывая зависть в голосе, заерничал Стас. — Они ждут не дождутся тебя.

Вахид, не посмотрев на него, насупил.

— Мамане привет от меня передай, — вовсе уж глумливо попросил Стас. — Скажи, Анапа очень переживает, беспокоится... как бы не выздоровела, — и довольно, с всхрюкиванием, заржал.

Радость, распиравшая Вахида, погасла, точно прихлопнули ее, — забыл на секунду о матери, напомнили, как в душу плюнули!

Сержант проводил до лестницы, а дальше Вахид пошел один. На площадке, свернув на ведущий вниз марш, поднял глаза и — запнулся: у открытой уже решетчатой двери первого этажа поджидал рыжий старшина.

Мимо него Вахид прошел боком, медленно, но старшина глядел на него скучающе, будто и не встречались никогда, будто не было между ними ничего два дня назад. Только спросил вяло, сквозь зевоту:

— Ну что, доложил тебе Родионов о твоей матери?

Вахид стиснул зубы, опустил голову. А на душе стало нехорошо, тревожно. «Ясно. Хочет, чтоб я сломался, раскис. И то, что отпускают, надувательство, подвох, наверное. Когда окончательно поверю и обрадуюсь, вернет в камеру. Чтобы взвыл, чтоб не сопротивлялся, чтоб мог со мной расправиться, как хочет. Не выйдет!»

Смена была та же, что и в пятницу. Приказав себе не думать об освобождении, Вахид безучастно сдал постель, расписался в толстой канцелярской тетради, получил свои вещички — бумажник, часы, ключи, платок. И выжидательно посмотрел на капитана: что дальше? Тот потянулся к пульту телевизора, щелкнул каким-то переключателем, и на голубовато-белесом экране вместо коридора второго этажа, где одиноко и сиротливо сидел за столиком сержант, появился пустой двор с легкой машиной. Милицейской, судя по горизонтальной полосе. Дверца открыта, сидящий за рулем читает газету.

Капитан кивнул прапорщику. Тот не зло, почти приятельски положил ладонь на плечо Вахида.

— Идем, — и показал взглядом на входную дверь.

Вахид, забросив руки за спину, настороженно оглянулся на старшину: ну, в чем твой замысел, твоя хитрость, твое коварство? Старшина, привычно навалившись грудью на барьер, деланно зевнул и отвернулся к экрану телевизора.

Прошли через тот сумрачный, желтоватый от электрических лампочек бункер, куда в пятницу въехал «газик»; прапорщик, обогнав, открыл калитку в огромных железных воротах, и Вахид чуть не ослеп от ударившего в глаза солнца.

— Давай в машину, — прапорщик подтолкнул его.

Он нехотя открыл глаза, и улыбка тотчас исчезла, словно сдернули ее, — прямо на него уставился с высоты второго этажа круглый прозрачно-лиловый глаз телеобъектива.

По-прежнему стараясь не суетиться, Вахид подошел к машине — желтым с синей полосой «Жигулям». Шофер, милицейский старший сержант, тускло взглянул на него, принялся складывать газету, но тут же посмотрел еще раз, уже удивленно, озадаченно. Высунувшись из машины, повернул выжидательно голову к прапорщику. Тот покивал: все, дескать, правильно, все в порядке — езжайте. Шофер втянулся в кабину, перевалился к правой дверце, открыл ее, и Вахид, опустив глаза, чтобы не видеть ни прапорщика, ни телеобъектива, который, повернувшись на оси, наблюдал за ним, влез, не торопясь, в «Жигули».

Ехали молча. Шофер оказался не любопытствующим, не приставал с разговорами, расспросами. Вахид тем более: куда везут, зачем — какая разница? Скоро все станет ясно.

«Жигули» остановились около горотдела милиции, и Вахид, набычившись, не смог сдерживать длинный тяжелый вздох — опять вспомнил о матери. Шофер посмотрел сочувственно, хотя и с легкой усмешкой.

— Не унывай, — успокоил снисходительно. — Все обойдется, выпустят. Если не по чистой, то под подписку. Видать, крепкая у тебя лапа наверху, мохнатая. — И в голосе скользнули не то уважение, не то неприязнь. — Никого еще с таким шиком не возили к следователю. Так что, все будет в ажуре. Выходи!

Но как только вылезли из машины, старший сержант стал невесть с чего начальнически крикливым — таким же, как те, в изоляторе-тюрьме.

— Вперед!.. Не оглядываться! — хотя и не перед кем было красоваться, рявкнул он, когда Вахид, уже не замечая этого движения, заложил руки за спину и пошел к подъезду, но тут же замедлил шаг, чтобы разглядеть номер белой «Волги» в сторонке: кажется, служебная отца?

Так под рявканье: «Прямо!.. Направо!.. Стой!.. Лицом к стене!» — Вахид, опять ожесточившись, стиснув до боли в висках зубы, миновал дежурку, свернул в кори-

дор, остановился, когда приказали, развернувшись и почти уткнувшись носом в потемневшую от времени и пыли штукатурку. Старший сержант заглянул в дверь.

— Товарищ старший лейтенант, ваше приказание... — начал чеканить по-армейски и, не договорив, сменив тон на вежливый, почти елейный предложил Вахиду: — Заходите.

Первым, кого увидел Вахид, был... тот самый крепенький старший лейтенант, который арестовывал в бильярдной и отвозил в райотдел. Он монументально восседал за столом, положив кулаки на знакомую серенькую папочку. Сидевший напротив него отец, как всегда элегантный и вальяжный, развернувшийся на рапорт старшего сержанта, уже поднимался со стула, уже улыбался счастливо. Но улыбка, не успев расцвести, превратилась в растерянную, жалкую гримасу — взгляд Буриной Талгатовича заметался: по стриженной голове сына, его хмурому, осунувшемуся лицу, задержался на скуле с подсохшей коростой, скользнул на майку.

Вахид нечетко видел отца — не мигая, пораженно глядел на старшего лейтенанта. Тот еле заметно усмехнулся, цокнул языком: так делают, чтобы избавиться от застрявшей в зубах крошки.

— Здравствуй, сынок, здравствуй, мальчик мой, — Буриной Талгатович обнял Вахиду, но он, качнувшись вбок, чтобы отец не заслонял старшего лейтенанта и не отрывая от того взгляда, вывернулся.

— Что же ты не поздороваешься с товарищем следователем? — Буриной Талгатович немного смутился. — Не ожидал от тебя такой невоспитанности. Нехорошо, некрасиво.

— Он еще не знает, зачем его вызвали. Я для него пока что враг, — строго заметил старший лейтенант. Приосанился, принял многозначительный, торжественный вид. Откашлялся, объявил казенным голосом: — Согласно статье шестой уголовно-процессуального кодекса уголовное дело против вас, Латыпов Вахид Буринович, прекращено в связи с изменением обстоятельств. — Развернул какую-то бумагу текстом к Вахиду. — Распишитесь.

Вахид не шелохнулся и продолжал пристально глядеть на старшего лейтенанта.

— Ты что, не понял, сынок? Тебя отпускают, ты свободен, полностью свободен! — Буриной Талгатович потянул его за руку к столу. — Распишись и пойдем домой. Потерпевший забрал свое заявление, написал, что не имеет к тебе никаких претензий. Райпрокурор уже отменил санкцию о твоём аресте, вынес постановление об освобождении. Понял? — Он довольно улыбнулся, заглядывая в неподвижное, одеревеневшее лицо Вахиды, голос был радостный, булькающий. — Поблаговари же товарища следователя, сынок. Он так много сделал для тебя.

Старший лейтенант и при этих словах не смутился, не отвел глаза, смотрел самоуверенно и смело. И Вахид не выдержал:

— Я знаю, сколько он сделал для меня, — вырвалось у него: голос звенел от ненависти, — и я... — Но тут же осекся, потому что хотел сказать: «... отблагодарю его при случае один на один». — И ты, наверно, уже отблагодарил его.

Увидел, что выражение глаз старшего лейтенанта изменилось — они стали выжидательно-напряженными, и испугался — а вдруг старший лейтенант рассердится и отменит освобождение? Тогда — опять тюрьма?

Вахид торопливо нагнулся к столу, схватил ослабевшими пальцами ручку, расписался в том месте, куда ткнулся широкий, обкусанный ноготь следователя. Тот взял подписанное, положил в папочку.

— Надеюсь, выводы из случившегося сделал? — спросил назидательно. — Пусть это послужит тебе хорошим уроком. Можешь идти! — приказал пренебрежительно. — Но учти: попадешь к нам еще раз, возбудим и это дело. Ясно? Усек?

Стараясь не смотреть на отца, осуждающе поджавшего губы, Вахид нарочито медленно развернулся. Вышел. Аккуратно прикрыл за собой дверь. Так же медленно, еле сдерживаясь, чтобы не кинуться со всех ног, пошел по коридору.

Старший сержант, навалившийся на такой же, как в тюрьме, барьерчик и праздно болтавший с дежурным, подбоченился, и позой своей настолько напомнил рыжего старшину, что Вахиду стало жарко. Однако смотрел старший сержант не как старшина и даже не так, как некоторое время назад, когда привез сюда, а по-новому: с любопытством и удивлением. «Узнал, чей я сын. О матери говорили», — понял Вахид, потому что и капитан посмотрел на него не равнодушно, как на случайного посетителя, а с явным интересом, чуть ли не сочувственно.

— Ну вот видишь... А ты боялась, дуручка, — непонятной, но, очевидно, расхожей, привычной шуткой встретил старший сержант Вахиду. — Я же говорил, что тебя выпустят.

— Да, да, все обошлось... До свидания.

Опасаясь, что начнутся всяческие расспросы-разговоры, да и за улыбочку чувствуя к себе отвращение, выскочил на улицу.

И опять чуть не задохнулся от обилия солнца, воздуха, простора. Скорым шагом, почти бегом, подошел к белой «Волге». Действительно отцовская. Правда, без шофера. Еще бы. Зачем афишировать, что приехал спасать от суда сына.

— Ну вот, все кончилось, все позади, — порывисто, чего Вахид никак не ожидал, поцеловал его в висок отец.

Но когда отъехали, счел все-таки нужным поворчать:

— Некрасиво ты вел себя со следователем, сынок, невежливо. Даже, я бы сказал, враждебно. Не ожидал от тебя такого. Ведь этот Зуфаров ничего плохого тебе не сделал, наоборот...

Вахид, прижавшийся к его плечу, чтобы видеть себя в зеркальце заднего обзора, и с недоумением, еле узнавая, разглядывавший свое отражение, резко отодвинулся. Жестко оборвал отца:

— Гад он, этот твой Зуфаров. Давить таких надо.

Скрипнул зубами, задышал тяжело и часто. Уловил боковым зрением, как удивленно вытянулось лицо у отца, понял, что тот ждет объяснений. Закрыв глаза, помолчал, успокаиваясь. И ровным, лишь вначале чуть задрожавшим голосом рассказал о происшедшем в бильярдной, о Зуфарове, о том, как тот арестовывал, отвозил в райотдел, и о том, что было там.

Машина сбавила скорость, а вскоре и вовсе остановилась.

— Мерзавцы, — свистяще протянул Буриной Талгатович, когда Вахид смолк. — Я ведь читал твоё дело. Был убежден, что ты действительно виноват. И этот Зуфаров, пешка, мелкий шакал, страсти нагнетал. Цену себе, как теперь понимаю, набивал... Фу, как грязно и мелко! — Сильно зажмурился, потер ладонями лицо, словно стирая паутину. Закрыв пальцами глаза. — Подлецы, ну и подлецы! Ничего святого! Чтобы расправиться с матерью, готовы были ни за что, походя, растоптать тебя, мальчишку...

Вахид вздрогнул, повернулся к нему.

— Как это случилось? — спросил отрывисто и хрипло.

Буриной Талгатович отодвинул ладони от лица, глянул настороженно.

— О чем ты?.. Что, «как случилось»?

— Я о матери. Почему она попала в психбольницу?

Буриной Талгатович плавно опустил руки на руль, уперся в него, откинулся назад.

— Уже знаешь? — усмехнулся вымученно. — Откуда? — Не дождался ответа, вздохнул удрученно. — Пыталась покончить с собой.

— Мать? — поразился Вахид. — Покончить с собой? — Он растерянно заморгал. — И ты веришь этому?

Буриной Талгатович неопределенно дернул плечом.

— Кто ее знает. Вообще-то на нее не похоже. Не тот характер... Но... оказалась вот на Барангуловской. — Осторожно покосился на сына. — У нее были крупные неприятности по службе. Она задела интересы очень могущественных людей. — Говорил Буриной Талгатович, раздраженно кривясь, желчно и словно бы нехотя, с усилием. — Ее предупреждали, просили, чтобы умерила пыл. Не послушалась.

— И тогда эти люди поместили ее в сумасшедший дом? — выждав, не добавит ли чего отец, натянутым, на грани срыва, голосом спросил Вахид.

Буриной Талгатович опять неопределенно шевельнул плечом.

— Формально, разумеется, нет. Могли, конечно, довести до депрессии, состояния безысходности. Но ведь убить-то себя она хотела сама. — Задумался, пожевал старчески губами. — Если откровенно, если совсем честно, — и снова исподтишка глянул на сына, — не верю, чтобы она даже в отчаянии решилась на такое. То, что есть ты, удержало бы ее. Ты для нее... — Покрутил восхищенно головой, тяжело развернулся к Вахиду, засмеялся натянуто. — Выкинь все из головы, сынок. Дело это темное, нам в нем не разобраться. Будем радоваться, что она попала всего лишь в психбольницу, а не на тот свет.

Хотел приобнять сына, но тот ускользнул, прижался к дверце.

— И ты так спокойно говоришь об этом? — Он во все глаза смотрел на отца. — Мою мать, твою бывшую жену, которую ты любил — ведь ты любил ее? — могли убить, ее отправили в дурдом, а ты... Ты! — Облизнул посеревшие губы. — Кто эти люди? — выкрикнул визгливо. — Кто?

— Откуда я знаю, — неуверенно начал Буриной Талгатович, но Вахид не дал закончить:

— Знаешь! Ты сам сказал, что кто-то хотел упрятать меня в тюрьму, чтобы разделаться с матерью. Это они. — Подался к отцу, впился в него требовательным взглядом. — Кто они?

— Какое это имеет значение? — Буриной Талгатович устало вздохнул. — Повторяю, это очень сильные люди, — поднял глаза вверх, давая понять, что те, о ком

речь, чуть ли не небожители. — Сильные и властные. Вернее, всеильные и всевластные. Больше ничего не скажу, не спрашивай.

Вахид медленно выпрямился.

— Ладно. Если боишься этих тварей, не говори, — и в голосе скользнуло презрение. — Я все равно узнаю, кто они.

— И что это тебе даст? Зачем тебе их фамилии? — иронически полюбопытствовал Буриной Талгатович. — Будешь мстить? Обратишься в прессу? К своему адвокату или депутату? Выступишь по радио, по телевидению? Словом, устроишь наш, узбекский, Уотергейт? — фыркнул и, посерьезнев, потребовал жестко: — Оставь свои бредни. Ничего этим людям сделать нельзя. И исправить ничего нельзя. Тем более, что — запомни и пойми это! — твоя мать сознательно шла к такому финалу. И заслужила его.

Вахид быстро глянул на него, и такая неприязнь была в глазах сына, что Буриной Талгатович на миг растерялся, а Вахид, пригнув голову и осмотревшись, чтобы сориентироваться, где остановилась «Волга», уже распахнул дверцу, подался наружу.

— Куда ты? — Опомнившийся Буриной Талгатович, резко наклонившись, почти упав, успел вцепиться в плечо сыну, вдернул его назад. — Что еще за выходки? Как это понимать?! — Включил двигатель. Плавно отъехав от бровки тротуара, объяснил уже спокойней: — Думаю, пока твоя мать в больнице, тебе лучше пожить у меня. И Юлдуз так считает, настаивает на этом...

— Чего? Юлдуз? — Вахид, расслабленно обмякший на сиденье, подскочил, словно его током ударило. Схватил отца за руку. — Разворачивайся, вези меня домой! У меня есть свой дом, своя квартира! «Юлдуз так считает!» — передразнил возмущенно. — Ни к какой Юлдуз я не поеду!

Он чуть не взвыл от негодования: в то время, как мать в больнице, говорить о какой-то Юлдуз, девчонке, укравшей его, отца, бывшего мужа матери! Хотел все это выложить, но такие слова, как «бестактность», «оскорбительность», «издевательство», которые могли бы объяснить состояние, не приходили в голову, да если бы и пришли, Вахид не решился бы их произнести — слишком уж высокопарно, ныпыщенно звучат. И он, потрясенный, только повторял взбешенно:

— Юлдуз! Ну и придумал: «Юлдуз настаивает!» Нужна мне твоя Юлдуз!

Буриной Талгатович, растерянно смотрел на сына.

— Волчонок! Неблагодарный! Тебе хочешь как лучше... — Буриной Талгатович, нарушая все правила, круто свернул в переулок.

Когда все остановились около пятиэтажки, в которой жили сын и Гульнора, хотел выйти из машины, но Вахид резким тоном попросил:

— Не ходи со мной, ладно? — Собирался было объяснить: «Мне надо побыть одному» — но показалось, что это будет выглядеть очень уж красиво, мелодраматично. — Я сразу спать завалюсь. Устал.

Буриной Талгатович, уже остыв и чувствуя себя виноватым перед сыном, закивал:

— Понимаю, понимаю, ты столько перенес ни за что. Отдыхай, мешать не буду. Я просто хотел посмотреть, есть ли у вас какая-нибудь еда? — Увидел, что сын страдальчески скривился: что ж, мол, ты нас обижашь, совсем, что ли, нищими считаешь? — смутился. — Знаю, твоя мать хозяйственная, но ведь за это время все, пожалуй, зачерствело. А тебе после тюремной пищи — как она там называется — баланда? — хочется, наверно, чего-нибудь свеженького, вкусенького? Может, если не хочешь ко мне, поедем в ресторан? Переодевайся и поедем. Я такой обед заказу — эмиры, шахи позавидуют...

Вахид, не дослушав, вылез из машины. Направился к подъезду.

— Деньги-то есть? — приоткрыв дверцу, спросил Буриной Талгатович, и когда сын, не обернувшись, отмахнулся: есть, дескать, все есть, крикнул: — Позвони вечером! А лучше, как проснешься!

Вахид, не оглянувшись, кивнул.

Дома первое, что увидел: странное отражение в зеркале. «Ну и рожа: настоящий ээк», — Вахид отвернулся.

Яростно сорвал с себя майку, провонявшую, казалось, камерой. Скомкал ее, швырнул в угол к стиральной машине. Так же зло, не расшнуровывая, скинул кроссовки; содрал джинсы, плавки, носки и тоже комом с омерзением отпихнул ногой в угол. Влез в ванну — чистенькую, беленькую, сверкающую.

Остервенело, будто собираясь содрать кожу, начал оттирать тело мочалкой. Густо намыливался и снова — мочалкой, мочалкой!

Наконец выключил воду. Вылез из ванны, потянулся за полотенцем, и — пропали картины тюрьмы, всплыло перед глазами лицо матери: на крючке рядом с полотенцем висел ее бирюзовый махровый хаат, трогательно и как-то жалко обвисший, маленький, застиранный, с проплешинами на локтях.

Вахид быстро оделся, прошел в свою комнату. Помрачнел еще больше — у ма-

тери явно было помутнение рассудка. Здесь она явно что-то искала! Тетради и книги сдвинуты, лежат в стопке сикось-накось, верхний ящик стола немного выдвинут, чего никогда не бывало. Вахид дернул его. «Рылась!» Конспекты, блокноты, конверты, авторучки лежали как попало. Заглянул в средний ящик, магнитофонные кассеты, пачки сигарет расшвыряны. «И тут копалась!» Опустившись на корточки, сунул руку в нижний ящик, пошарил под журналами «Америка» и, негромко присвистнув, встал — денег не было. «Хорошо, если она их на дело, на хозяйство или покушки пустит. А то ведь может из неприязни к отцу порвать, выбросить. Особенно, если и вправду заболела». Огорченный, что остался только с рублем и мелочью в кармане, Вахид почесал затылок и, наткнувшись пальцами на щетину, вспомнил, что забыл побриться. Подосадовал на себя, отправился снова в ванную, но непроизвольно свернул в кухню. Вынул из настенного шкафчика плоскую, уже облупившуюся жестяную коробку из-под халвы, в которой хранились квитанции уплаты за квартиру, газ, какие-то справки, свидетельства и прочий хлам. Вахид знал, что под этими бумагами мать прятала свои сбережения, то, что удавалось ей сэкономить. На дне коробки лежали две новенькие десятки и несколько пятерок. Вахид ошеломленно смотрел на деньги и почувствовал, как защипало глаза, запершило в горле: «Елки-палки, и это все ее капиталы?.. А отцовские она, значит, все же того... уничтожила?» И хотя не мог понять, представить такой глупости, поверил... поверил, что мать заболела. Долго не решаясь, чувствуя себя воров, взял все-таки деньги. Пятерки. Их оказалось шесть штук. Вахид хотел было оставить себе только две, а остальные положить на место, но, поколебавшись, зажал в кулаке все тридцать рублей. «А, пятеркой больше, пятеркой меньше, какая разница? Все равно ведь взял. Да и не узнает она. А завтра попрошу у отца, тогда все и верну».

Почти бегом бросился в ванную. Наспех побрился, выскочил в коридор. Сунул ноги в туфли, вылетел за дверь.

Сбежав на несколько ступеней, остановился так резко, что даже качнулся вперед. Поразмысляя, глядя под ноги. Решительно вернулся наверх, принялся названивать соседке: может, она видела, как мать увозила, может, объяснит что-нибудь? Но у Евы Семеновны было тихо, к двери никто не подошел. «Ясно, на работе. Потом заскочу к ней в магазин», — Вахид выметнулся на улицу.

Сел в первую же остановившуюся машину — допотопный, карликовый «Запорожец». Попросил владельца подвести до бывшей Барангуловской дачи — ныне областной психиатрической больницы.

На месте, выйдя из «Запорожца», огляделся. Подгоняя себя, заставляя идти, потому что ноги стали тяжелыми и еле переступали, приблизился к бетонной ограде и побрел вдоль этой высокой, серой, без единого просвета стены. Около железных, окрашенных обшелушившимся кое-где суриком, ворот остановился, припал к щели между створками. Боязливо оглядел все, что позволял обзор. Ничего, оказывается, жуткого: утоптанные дорожки, скамейки, беседка, подстриженные кусты, деревья, за ними, в глубине, там и сям темно-кирпичные, фасонной, до-революционной еще кладки дома. Приободрившись и осмелев, Вахид поднялся по трем нешироким ступенькам и вошел в деревянную проходную. Ткнулся в невысокую калитку, дернул ее — не поддается, заперта. Посмотрел в окно будочки. Там сидел мосластый мужик в светло-коричневой вылинявшей больничной куртке, читал какую-то растрепанную, засаленную книгу. Он нехотя поднялся из-за стола, появился в двери.

— Ну? Чего ломишься? — спросил хмуро. — Не знаешь, что ли, что неприемный день!

Не знаю. Откуда мне знать? Я в первый раз пришел. — Вахид почувствовал, как губы сами собой складываются в просительную улыбку. — Мне бы мать увидеть. Меня не было, когда ее увезли сюда. Можно пройти, пропустите, а?

— Она кто, алкашка или шизичка? — равнодушно спросил мужик.

У Вахида заняло сердце, к горлу подкатил колючий комок. Так непринужденно, так буднично говорит о его матери — его матери! — такие страшные, дикие слова, словно она в самом деле... словно можно допустить, что она может быть такой!

— Сказали, что она... что у нее... — покраснев, начал Вахид тихим голосом. — Нет, она не пьет! — закончил решительно и с вызовом.

— Тогда бесполезно, — уверенно заявил мужик. — Если б из наших, из «керосинщиц», тогда попробовал бы позвать. А так — пустое дело. — Достал из кармана висящей на нем мешком куртки мятую пачку «Севера». — У дуриков строго, под замком, за железными дверями сидят.

Тряхнул пачку, чтоб из дыры на углу ее выскользнула папироска. Протянул пачку Вахиду. Тот, похолодевший от услышанного, машинально взял выползшую наполовину папиросу. Мужику, видимо, было скучно, и он рад был поболтать. Тем

более, что представилась возможность показать себя сведущим. Опять тряхнув пачку и захватив губами выскользнувшую папироску, посоветовал поучающе:

— Приходи в среду. Лучше с утра, с десяти. Дольше покалякаете,— прикурил, сложив ладони лодочкой.— Погодь, погодь! Ты вроде сказал, что в первый раз?— И когда Вахид, затаившись противным кисло-сладким дымом, кивнул, мужик крикнул.— Ничего не выйдет. Не получится в среду. Сначала тебе надо побывать у главврача, попросить разрешение на свидание. Может, у твоей матери бзики и ей нельзя встречаться с тобой. А по таким вопросам Низамов принимает в пятницу и субботу. И получается, что раньше воскресенья ты мать не увидишь.

— А нельзя сейчас пройти к главврачу?— приунывший было Вахид встрепнулся.— Может, разрешит все-таки сегодня? Как исключение?

— Чего?!— протянул мужик и смерил Вахида презрительным взглядом.— Да Низамов с тобой и разговаривать не станет. Много чести!

— Ну пустите, пожалуйста, ну что вам стоит,— принялся упрашивать Вахид, но мужик рассердился.

— Пропустить?! Чтоб меня турнули отсюда?— показал взглядом на окно будочки.— Ладно, если только в санитары переведут, а если в ЛТП¹? Вполне могут. Припишут нарушение режима и — аля-улю — поеду я в «пьяную зону»...

И не договорил. За стеной послышалось приближающееся урчание автомобильного двигателя. Мужик, спрятав окурки в кулак, подскочил к двери, ведущей во двор, приткрыл ее. Повернул к Вахиду встревоженное лицо.

— Во! Это он. Низамов! Поговори, может, получится,— и выбежал.

К проходной подкатил серый старенький «Москвич»; мужик уже метался около ворот — отбросил брякнувший засов, начал распахивать створку.

Вахид выскочил на улицу. Схватился за вторую створку ворот, дернул на себя и, пока она плавно плыла, расширяя проезд, подошел к «Москвичу». Наклонился к приспущенному со стороны водителя стеклу.

— Здравствуйте. Вы главврач?.. У меня к вам огромная просьба: разрешите, пожалуйста, повидаться с матерью.

— В среду!— Низамов, пожилой, с сухим интеллигентным лицом, с холеными, тщательно подстриженными бородой и усами, даже не повернулся.

— Дело в том, что ее увезли без меня, и я даже не знаю...— заглывая слова, начал объяснять Вахид, но главврач оборвал:

— В пятницу. Ко мне. С двух часов. На беседу.

Включил скорость. «Москвич» сорвался с места, и Вахид, который, сам того не замечая, вцепился, оказывается, в края оконного проема дверцы, чуть не упал. Удерживая равновесие, пробежал несколько шагов, спотыкаясь и взмахивая руками. Остановившись, раздул ноздри, глядя вслед «Москвичу».

Вахтер подошел к Вахиду, тоже посмотрел на удаляющуюся машину.

— Я же говорил — бесполезно. У него все, как по нотам, распорядок железный. Не было еще случая, чтоб отступил, поблажку сделал.

— Врач, называется,— Вахид, постукивая кулаком в ладонь, передернулся.— Не выслушал, не поговорил. Хоть бы сказал, что там с матерью, как она... Гуманисты липовые.— Прищурился.— Вы не знаете, где этот Низамов живет?

3

Напевая негромко мелодию танца «дойра-ракс», которая ревом карнаев, рокотом, мелкой россыпью бубнов все еще звучала в ушах, Низамов в самом прекрасном настроении возвращался поздно вечером домой. Не осрамился Шухрат, хорошую свадьбу, богатую устроил своему сыну. Гостей человек сто, два оркестра: эстрадный — для молодежи и национальный — для тех, кто любит настоящее, родное.

Сегодня был уже последний акт торжества, закат пиршества, и завтра начнутся будни. Для большинства, правда, они уже начались нынче с утра. Потому и пришлось лишь около ста человек — только приятели, сокурсники молодых да самые близкие друзья Шухрата и его сослуживцы, точнее, подчиненные Зухритдинова Шухрата Зухритдиновича, главного санитарного врача города: осмелились бы не прийти! Поэтому же и на то, что он, Низамов, появился без жены, не обиделись. Поохали, понятно, поохали, посочувствовали: «Заболела?.. Мигрень?.. Как жаль, как обидно!»

Во всех окнах его дома горел свет, и Низамов поскуцнел. «Ждет. Нет, чтобы спать завалиться».

Вглядываясь озадаченно в смутно белеющий на скамейке у калитки силуэт —

¹ ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий.

парня, похоже, какого-то,— Низамов, сам того не замечая, принявшийся, при мыслях о жене, меланхолично напевать «Мунаджид», вывернул «Москвич» к воротам. Лучи фар замерли на не окрашенных еще железных створках, слабо высветив и сидящего на скамейке — верно, парень, скорее, парнишка. Тот вскочил, потоптался и неуверенно подошел к машине.

— Еще раз здравствуйте,— он застенчиво улыбнулся.— Это опять я. Помните, днем, в больнице, разговаривал с вами? Просил разрешить повидаться с матерью.

— А, да, да, припоминаю,— Низамов закивал.— Но я же сказал тебе: приму в пятницу. А там видно будет.

Хотел обойти Вахида, но тот, мелко переступая, загородил дорогу.

— Как «видно будет»? Что «видно будет»?— спросил встревоженно.— Она что, в очень плохом состоянии? Ее фамилия Латыпова,— пояснил торопливо.— Гульнора Саматовна Латыпова. Капитан милиции.

— Следователь Латыпова?— Низамов задержался. Поглядел на Вахида с интересом.— Ах вот вы к кому, вот чей вы сын...— Попятился, оценивая осмотрел его с головы до ног.— Не беспокойтесь, молодой человек, вашей маме уже лучше. Полагаю, послезавтра, в среду, можете... Хотя нет,— потерев в задумчивости бородку.— Лучше все-таки в воскресенье. Мне надо посоветоваться, получить разрешение. Вдруг не смогу, не успею до среды?

— Какое разрешение? От кого?— насторожился Вахид.

— Что? Разрешение?— Низамов, соображая, наморщил лоб. Отвел глаза.— Нет, нет, я неточно выразился. Просто хочу собрать небольшой консилиум, проконсультироваться... Дайте пройти!— потребовал сердито.

— Не спешите, успеете,— нехорошим голосом протянул Вахид.— С кем вы хотите посоветоваться, с кем вам надо проконсультироваться? С теми, кто поместил мать к вам? Да?

— Молодой человек, позвольте пройти!— Низамов повысил тон, подчеркнуто-гневно нахмурился, но посмотреть на Вахида не решился.— Будете так нагло вести себя, не позволю свидание и в воскресенье!

— Ага, значит, вы сами решаете: позволить или не позволить?.. Так с кем же вы хотите встретиться до среды? И зачем?— Вахид, пристально глядя в лицо главврача, стал медленно приближаться к нему, а тот так же медленно начал отступать к машине, по-прежнему избегая смотреть в глаза.— Кто эти люди?.. Как вы узнали, что мать решила покончить с собой? Ведь самоубийцы все делают тайком, если настроены всерьез. А уж моя мать-то, с ее характером, с ее волей... Кто вызвал «скорую»?

— Понятия не имею,— Низамов уперся спиной в дверцу «Москвича».— Надо спросить у дежурного врача или посмотреть в журнале...

— И вы не спросили? Не посмотрели?— Вахид издевательски засмеялся. Подался корпусом к главврачу, выдохнул ему в лицо.— Кто приказал поместить мою мать в больницу? Ну?!

— Я не знаю, я ничего не знаю, честное слово,— забормотал Низамов, и взгляд его испуганно заметался из конца в конец темной улицы.— Нам позвонили, бригада выехала, вот и все!— Глаза его задержались на освещенных окнах родного дома, и главврач, слегка мотнув головой, словно отгоняя наваждение, наконец-то посмотрел на Вахида: открыто, возмущенно и высокомерно.— А, собственно, что это за допрос? Кто дал тебе право так со мной разговаривать?! Мальчишка!— Непридуманно всунул руку в открытое окошечко дверцы, потянулся к кнопке сигнала.— Ничего я тебе не скажу, потому что ты...

Клаксон успел вскрикнуть только раз, пронзительно и плаксиво: Вахид схватил главврача за чепан на груди, дернул его к себе так сильно, что с головы Низама слетела тюбетейка.

— Не скажешь?! Скажешь, никуда не денешься!— Вахид кривил губы, дышал прерывисто и мелко.— Вижу, знаешь, кто упрятал мою мать, вижу, ты с ними заодно. Выкладывай, кто эти люди?!

— Отпусти! Сопляк, щенок! Отпусти сейчас же!— Низамов пытался вырваться.— Ты что, в милицию захотел? В тюрьму?

— В тюрьму?— В памяти Вахида ярким просверком мелькнули рыжий старшина, Гвоздь, Анапа, камера.— Меня в тюрьму хочешь? Ах ты гад! За что в тюрьму?— И чуть не задохнувшись, тряхнул главврача, точно мешок.— Я тебе покажу тюрьму!— Поддернул его вплотную к себе.— Кто хочет разделаться с матерью? Кому она помешала? Отвечай! Быстро!

— Хулиган! Дебил!— Низамов, изловчившись, ударил Вахида по щеке; тот, перехватив его за запястье, дернул вниз, и Низамов, оседая вслед за рукой, закричал неожиданно визгливо:— Помогите! Убивают!

— Не ори!— Вахид зажал ему рот ладонью, встревоженно оглянувшись: за спиной, как эхо, только более истошно и пронзительно, взвилось:

— На помощь! Спасите! Убивают!

От калитки летела разъяренная жена Низамова. Отбросив главврача, Вахид рванулся в сторону, но женщина, словно безумная, не соображая, видимо, что делает, метнулась наперехват, обхватила его, сжала в объятиях.

— Ограбил! Разорил! Держите его! Милиция! Милиция! — резанул по ушам ее отчаянный крик.

Вахид испуганно заозирался — по всей улице за оградами сначала прокатился волной, а потом широко расплеснулся яростный, многоголосый собачий лай; яркими прямоугольниками света стали разрываться ночь, то тут, то там, окна темных домов. Вахид вырвался и, сторбившись, выляя зачем-то из стороны в сторону, точно под пулями, бросился со всех ног прочь и от машины, и от главврача с его женой, которые уже в два голоса орали:

— Держи его! Милиция!

Тяжело, загнанно дыша, Вахид перешел на шаг тогда лишь, когда истаяли вопли Низамовых, а потом стал еле слышен и азартный собачий брех. Огляделся — куда занесло, где очутился? Оказалось, выскочил к городскому парку.

В лиловатом свете уличных фонарей празднично топталась у центрального входа кучка подростков; около диспетчерской будки на остановке переминалась кучка ожидающих автобус; в сторонке от них, обнявшись или взявшись за руки, лицом к лицу — несколько парочек. И все эти люди, и парочки, и те, что на остановке, и пацаны, с подозрением, готовые наброситься и схватить, как почудилось Вахиду, усталились на него.

Он, не замедляя хода, взял вправо, туда, где потемней; еле сдерживаясь, чтобы не побежать, направился вдоль железных копий ограды парка. Не раздумывая, проскользнул в первую же брешь — один из этих остроконечных стержней то ли был выломан, то ли выпал, перержавев, — и так же быстро, со стороны могло показаться, что целеустремленно, пошел по утоптанной тропке. Она привела в густые заросли низкорослого ивняка на берегу Сарысу и закончилась крохотной полянкой под толстым деревом с текучими, как темные струи, ветвями. Над гладкой и недвижной поверхностью речушки лежал прозрачный слабенький свет. Вахид недоуменно посмотрел на воду — как попал сюда? Осмотрелся. Полянка была, очевидно, любимым местом выпивох: смутно белели кружочки пивных пробок, фольга плавленных сырков, обрывки бумаги, окурки.

Длинно, с постаныванием выдохнув, Вахид тяжело опустился под дерево, уперся затылком в корявую кору, устало вытянул широко раскинутые ноги. И тотчас же властно накатило обволакивающий, парализующий страх, который, пока бежал, шел через парк, затаился, почти не давал о себе знать. «Сгорел... Спекся», — тупо билось в мозгу. «Так. Надо что-то делать. Что?.. Меня на Регистанской не было? Низамова видел только на Барангуловской?.. Допустим, около своего дома он толковал с кем-то другим. Валит на меня. Зачем, не знаю. Я весь вечер был... Где я был?» И сразу первая же мысль была об отце: выручит, спасет, выгородит, скажет все, как надо, найдет и свидетелей, что сын и ужинал и ночевал у него. Юлдуз свою, в случае чего, подключит. Вахид подтянул ноги, уперся ладонями в землю, чтобы встать, но сделал это неуверенно, неохотно — у-уф, если б можно было обойтись без отца! Тот всего лишь сегодня так радовался, так торжествовал: «Все кончилось, сынок, все позади!», — а сынок... Как некрасиво, как нехорошо получилось, как тяжело и стыдно перед отцом.

Вахид обхватил ноги, уткнулся лбом в колени. «Может, поговорить с Рустамом?.. Не пролезет. Родители». И представил, как переполошатся отец и особенно мать друга, когда того вызовут свидетелем.

Так сидел он до тех пор, пока звезды не поблекли, гигантская темно-синяя чаша неба не вылиняла, не подернулась внизу предрассветной голубизной. От речушки еще сочилось накопленное водой за день тепло, но от парка подползала по земле, тянулась, настаиваясь, утренняя прохлада.

Вахид тяжело поднялся на ноги. Взбадривая затекшее тело, зябко передернулся и вяло побрел по тропе к дыре в ограде.

Серенькое утро окончательно вытеснило ночь, когда Вахид добрался до своего дома. Подходя к нему, невольно постарался ступать бесшумно — показалось, что в тишине, сейчас, здесь, стук каблучков по асфальту звучит чересчур громко и вызывающе.

Около дальнего подъезда стоял невзрачный, обшарпанный, похожий на броневик, «ГАЗ-69», и Вахид придержал шаг, готовый тотчас же кинуться прочь. Не подходя к машине, с подозрением оглядел ее: нет, не милицейская, сельская какая-то — наверное, кто-нибудь из района в гости к родственникам приехал.

Озираясь, крадучись, Вахид вошел в свой подъезд и, замирая чуть ли не на каждом шагу, медленно поднялся на третий этаж. На лестничной площадке с облегчением перевел дыхание. Глянул вверх вдоль марша на четвертый этаж, по-

смотрел через перила вниз — никого, тихо. Осторожно подошел к двери в свою квартиру, прижался к ней ухом — тоже тихо. Повеселев, вставил ключ в замочную скважину, вошел и остолбенел.

За столом по-хозяйски сидели двое крепких, мускулистых парней. Перед ними пиалушки с недопитым чаем, вазочки с конфетами, печеньем, чайник, блюдце с окурками: давно, видать, поджидают и чувствуют, судя по всему, себя уверенно — на кухне свойски пошарили, все, что надо к чаю, на стол выставили. Вахида точно парализовало: не мог ни шелохнуться, ни голоса подать.

— Ну ты, малый, и загулял, — укоризненно протянул один из парней, светло-волосый. — Мы уж беспокоиться начали. Вдруг, думаем, сорвался?

«Где-то я его видел, — мелькнула неуверенная мысль у Вахида. — Где?.. В рай-отделе? В горотделе?»

Сидевший спиной к коридору второй парень, пониже, покряжистой, черноволосый и смуглолицый, посмотрел через плечо на Вахида.

— Нэхорошо, бичо, — заметил с сильным кавказским акцентом и осуждающе покачал головой. — Жыдат сэба засытывлаеш!

«И этого, кажется, видел. Ну да — вместе с тем, белобрысым. Но где, когда?»

Испуг, сковавший Вахида, отхлынул жаркой волной, ударившей в голову, в ноги. Он круто развернулся, распахнул дверь, чтобы выскочить, и... отлетел назад. Кто-то, черным силуэтом выросший на пороге, толкнул в лоб с такой силой, что в шее хрустнуло, а голова чуть не оторвалась. Сзади цепко сдавили Вахида локти, удержали его, не дали упасть. Он оглянулся: держал смуглолицый. Светлоголовый, прижимая плечом к уху телефонную трубку, одной рукой заканчивал набирать номер, а другой подносил к губам пиалу.

— Взяли, — без интонации сказал он. Отхлебнул чай. — Выезжаем.

Стоявший в дверях уже отступил на шаг, лампочка снаружи осветила его — тоже кавказец: короткие волосы, четко вылепленное лицо, — и, равнодушно поглядев на квартиру соседки, стал спускаться по лестнице. Пальцы, сжимавшие локти Вахида, разжались, и он, понуро опустив голову, заложив руки за спину, нехотя вышел.

«Как все буднично. словно между прочим, словно скуки ради, от нечего делать», — с горечью подумал он.

Вяло, вразвалку, сошел по ступенькам к подъездной двери. Толкнул ее плечом, вывалился наружу. «Удрать?..» — робко шевельнулась мысль, когда увидел, что тот, который не дал убежать, ленивой походкой направляется к «газику». И тут же сопровождающий снова крепко взял за локоть, будто в клещи зажал.

— Убежат охота, да? — спросил насмешливо. — Нэ мэчытай, малчик, и нэ шали. А то бырасылытики надэну.

«Газик» стремительно подкатил задним ходом, остановился сразу и намертво. Подогнавший машину все так же лениво выбрался из кабины. Открыл заднюю дверцу, поманил пальцем Вахида и не торопясь влез внутрь автомобиля.

Зажатый между двумя кавказцами, Вахид обреченно и тупо смотрел через плечо светловолосого, который бодренько, довольный видно, что операция закончилась, устроился за рулем.

Машину он вел лихо — «газик», почти с места набрав скорость под сто с лишним и не снижая ее, обгонял, плавно вильнув, редкие утренние грузовики, выскакивая на другую сторону дороги, так же изящно, играючи, ускользя от столкновения со встречными машинами, качнувшись и заюзив, срезая, вопреки всем законам физики, углы на поворотах. «Как в детективах. И чего выпендривается? Тут ехать-то всего-ничего», — невольно обмирая на каждом выраже, раздраженно подумал Вахид. Но кавказцы были невозмутимы, и он постарался не подавать виду, что страшновато от такой гонки.

И вдруг его швырнуло назад, придавило к спинке сиденья — машиной будто выстрелили, так резко, скачком, взвинтила она скорость.

— Куда мы едем? — хрипло спросил, почти выкрикнул Вахид, а в голове металось панически: «Похищение? Киднэппинг?.. Дурь? Что у нас, Штаты? Да и какой за меня выкуп?.. Ну, выкуп-то, положим, с отца можно содрать приличный. Значит, знают, чей я сын?.. Да нет же: глупости, чушь, ерунда, идиотство — у нас такого не бывает! А если бывает? Выходит, схватили не из-за Низамова? Совпадение, что появились сегодня? Нет, нет, они из-за врача, они же боялись, что я смоюсь из города. А сбегать я мог только из-за Низамова...»

— Куда надо, туда и едем, — снисходительно ответил сидевший слева, тот, который толкнул в лоб. — Там все узнаешь, не дергайся.

— Один человек хочет с тобой познакомиться, — пояснил насмешливо шофер. Обернулся на миг, улыбнулся самодовольно. — Золотой человек.

И по этой улыбке Вахид сразу узнал его: когда за день до того, как забрали в бильярдной, выходил с Рустамом из дома, столкнулся у подъезда с этим белобры-

сым. «С ним был еще какой-то парень, — Вахид быстро поглядел на соседа справа. — Он? Точно, он!..Значит, они уже тогда искали меня? Почему же не схватили в тот раз? Не знали в лицо? Да зачем я им? Зачем?!» И сразу вспомнилась ночная, на кухне, беседа с матерью, когда та призналась, как боится за него, как ей страшно, что с ним кто-то расправится; вспомнил и разговор с отцом в машине о каких-то властных людях. Но ведь всеильные живут в городе, так зачем же везут неведомо куда?!

— Что за человек, какой еще человек? — сердито спросил он. — К кому вы меня везете?

— К хозяину, — раздраженно отрубил тот, что справа. — И затыкнись, загылохни! Надоел!

«К хозяину?.. — Вахид растерялся. — Жаргон, тон, манеры — уголовники какие-то». И пришла неожиданная мысль, что случившееся не связано ни с Назамовым, ни с матерью, а, скорей всего, с Гвоздем или шпаной из тридцать седьмой камеры: кто-то из них сумел, наверно, передать весточку на волю, и вот их приятели по коdle решили... «Так зачем им везти-то меня? Они могли бы попытаться отметить в квартире!»

Устав от размышлений, запутавшись в нелогичности всего, что приходило в голову, Вахид решил больше не думать о том, куда, к кому, зачем везут: придут — увидит, сориентируется по обстоятельствам, как вести себя, что делать, что говорить.

Шоссе сначала плавно, а потом петляя все круче и круче, стало вползать в горы. Машина легко, без надсадного рева двигателя, мчалась по этому серпантину, даже не сбросив скорости, и оттого ее так отжимало к обочине, что «газик» едва не цеплялся боком за столбики ограждения. Он плохо знал область, смутно представлял, где, какие поселки и кишлаки, все-таки показалось ему, что дорогу, по которой едут, знает: кажется, по ней в прошлом году везли в колхоз и обратно? Когда машина выскочила на перевал и ринулась вниз, Вахид чуть не выкрикнул: точно, она самая! Перед глазами широко, до дальних синих гор, над которыми разлилась прозрачная и чистая лимонно-желтая заря, раскинулась долина: пепельно-серые поля, огромное зеленое пятно со светлыми прямоугольниками домов — столица знаменитого на всю республику объединения «Сангам». Сейчас по сторонам должны быть алычевые сады, образующие собой лозунги. Вахид подался вперед, поглядел, насколько мог, влево и вправо. Ага, вот они! «Слава родной КПСС!» и «Народ и партия едины!»

...«Газик», пролетев по тоннелю из высаженного по обе стороны дороги тутовника, проскочил мимо веселеньких домов окраины, вырвался на площадь с бронзовым Лениным посередине и, обогнув его, въехал, снизив наконец-то скорость, в какую-то улицу с высокими тополями. Свернул по бетонному мостику к зеленым воротам в длинной и высокой кирпичной стене. И сразу же массивные створки поползли в стороны; машина, не дожидаясь, когда закончится это движение, скользнула в расширяющийся проем. Прошуршала по песку просторной аллеи и, лихо развернувшись, застыла рядом с белой и черной «Волгами» на асфальтированной площадке перед двухэтажным, похожим на санаторий, особняком. Шифера и кавказцы проворно выскочили наружу. Тот, который сидел слева от Вахида, быстрым шагом направился к подъезду, украшенному тонкими колоннами. Перемахнул через длинные и широкие мраморные ступени, скрылся за резной дверью. Ставший серьезным и сосредоточенным, белобрысый водитель так же быстро направился за ним. На ходу недовольно посмотрел на Вахида, который, переминаясь, поглядывал на «Волги», чтобы запомнить номера — вдруг пригодится? Второй кавказец схватил его за руку, дернул вперед: шагай, дескать, чего топчешься?

В обширном вестибюле с прихотливо узорчатым паркетом оказался еще один парень-здоровяк, вольготно развалившийся на топчане около лестницы, ведущей на второй этаж, он молча показал пальцем на правый коридор. Кавказец, подтолкнув Вахида, устремился в указанном направлении. В конце недлинного коридора он торопливо провел ладонью по голове, приглаживая волосы; вытирая ноги, шаркнул подошвами, словно собака задними лапами, и почтительно постучал в темную двустворчатую дверь, совсем уж немисливо изукрашенную сложнейшей резьбой. Створки плавно отпахнулись внутрь.

Первое, что пришло в голову Вахиду, — он оказался каким-то чудом переброшенным во времена эмиратов-халифатов; потом мелькнула мысль, что, может, попал на съемку исторического фильма и стал свидетелем сцены из придворной восточной жизни; потом, когда изумленный взгляд успел отметить детали, понял, что все это реальность, только странная какая-то, фальшивая, несочетаемо соединившая Азию и Европу, красоту и безвкусицу, изыск и пошлость. К примеру, вовсе уж неожиданным выглядели здесь современные, даже супермодерные, теле-радио-

агрегаты и огромная, уместная лишь в каком-нибудь богатом Дворце культуры, хрустальная замысловатая люстра со множеством разнокалиберных висюлек. Но самое поразительное было в противоположной от двери стороне. Золотисто-парчовый балдахин с золотыми кистями и бахромой, высоко вознесенный на витых столбиках, около которых застыли: слева какой-то морщинистый старичок с толстой потрепанной тетрадью под мышкой; справа, скрестив на груди могучие волосатые руки, тот самый кавказец, который первым ушел в дом. А между ними, на возвышении под балдахином, на объемистых подушках из той же золотистой парчи и с такими же золотыми кистями и бахромой, развалился кто-то, похожий на невероятно большой кокон из-за того, что был одет в златотканый, словно кованный и оттого негнувшийся халат. На голове у этого чудака — зеленая, как у хаджи, чалма с переливающейся, лучистой брошью; на ногах — смешные, с острыми загнутыми носками, желтые сапоги; в руке — чубук большого, усыпанного разноцветными, искристыми камешками кальяна; перед возвышением, на скромном красном ковре, — ажурный низенький столик с фруктами, сладостями, чаем. «Оперетта. Гарун аль Рашид с визирем в рублевых сандалетах и начальником дворцовой стражи в джинсах», — ошеломленный Вахид едва не хмыкнул иронически, но сдержался, лишь слегка поджал с презрением губы.

— Подойди ближе, мальчик, — возлежащий под балдахином поманил Вахида расслабленной ладонью. — Хочу тебя получше рассмотреть.

Вахид, набычившись, не шелохнулся, но кавказец и белобрысый оба враз сильно дернули его за руки, швырнув вперед, и он, чтобы не упасть, сделал несколько торопливых, спотыкающихся шагов. Исподлобья установился на подозвавшего — круглолицего, с коротким, насмешливо вздернутым носом. И вдруг узнал его. Хабибов! Директор, или как там называется его должность — управляющий? — производственного объединения «Сангам». В прошлом году он как-то заглянул на день в Бошбулок, где родился. Все жители, кто добровольно, кто стараниями переположившегося местного начальства — заведующего отделением, парторга, всяких бригадиров, учетчиков, депутатов кишлачного Совета, — высыпали, приодевшись, чтобы порадоваться приезду знатного земляка. Студентам, собиравшим здесь хлопок, тоже приказали быть на митинге в честь приезда товарища Хабибова. А кто не захочет идти, должен выполнить на поле двойную норму — «за себя и за того парня». За того, который пошел. Дураков, чтобы вкальвать, когда выпала неожиданная-негаданная возможность отдохнуть, не оказалось. Студенты, все до единого, собрались перед конторой и, одуревшие от счастья, что не надо быть на поле, восторженно ревели «Ура!», «Да здравствует!» — и до тех пор бешено аплодировали, благодарные товарищу Хабибову за щедрый подарок — день безделья, — пока улыбающийся товарищ Хабибов не вышел на крыльцо, к народу...

Хабибов, задумчиво изучая взглядом Вахида, поднес к губам мундштук чубука, неглубоко затянулся.

— Ты почему так плохо ведешь себя, мальчик? — выпустив облачко ароматного дыма, спросил лениво по-узбекски. — Доктора избил, машину его поломал. Нехорошо, очень плохо. — Покачал скорбно головой. — Доктор твою маму лечит, а ты?.. Ху-ли-ган, — он с трудом, по слогам, выговорил это слово. Опять пососал мундштук, опять выпустил дым, на этот раз струйкой в сторону Вахида. — Хочешь, чтобы Зуфаров снова занялся тобой? Снова в тюрьму хочешь? Хочешь, чтоб на этот раз судили?

Вахид пораженно заморгал, с трудом проглотил слюну.

— Удивляешься, что про Зуфарова знаю? Про то, что тебя только вчера из тюрьмы выпустили, знаю? — Хабибов, довольный, заважничал. — Я все про всех знаю. Знаю, что Буриной любит тебя, балует, гордится тобой. Вижу, не зря. Ты смелый — в тюрьме не побоялся бандитов, побил их. Скромный — по ресторанам не шляешься, деньги отца не швыряешь зря. Гордый — и в райотделе, и перед Зуфаровым не унижался. Умный — учишься хорошо. И то, что мать любишь, молодец. Хорошие дети сейчас редкость. — Смолок, бесцеремонно, словно взвешивая или оценивая что-то, оглядел Вахида с головы до ног острым взглядом. — Ты мне нравишься, — заявил твердо, как покупатель, сделавший выбор. — Настоящий узбек. Даже подстригаешься достойно правоверного. Не то что эти... длинноволосые, чуждые нам люди.

У Вахида от его незлого голоса, интонации словно бы вслух размышляющего человека немного отлегло от сердца, ожидание неведомого, страшного чуть-чуть отпустило, и он, сам того не ожидая, нервно рассмеялся. Получилось дерзко, вызывающе. Хабибов удивленно приподнял брови.

— Если вы такой всезнающий, то должны бы знать, что подстригли меня наголо в тюрьме.

Хабибов нахмурился. Тяжело шевельнулся, потянулся к столику. Отщипнул от

виноградной грозди ягоду, бросил в рот. Медленно, нехотя шевельнул нижней челюстью. Выплюнул изжеванную виноградинку.

— Всем ты хорош — подтвердил угрюмо. — Одно плохо: к старшим непочтителен. Вот это уже не по-нашему, не по-узбекски. С доктором некрасиво себя вел, а ведь он старше тебя. Со мной держись, будто равный, в лицо смеешься. Плохо это. Придется маленько поучить тебя.

Слабо, как монарх, разрешающий начинать, махнул рукой. Вахид, догадавшийся по голосу, а потом и по жесту Хабибова о какой-то угрозе, успел напрячь мышцы, собраться, как перед прыжком, поэтому резкий, точно выстрел, удар белоголового под ложечку выдержал и даже сумел, не раздумывая, нанести ответный — снизу, в челюсть, отчего белобрысый крепыш, не ожидавший этого, запрокинулся назад, изумленно выкатив глаза. Это было последнее, что увидел Вахид, — от затылка в мозг хлестнула боль, и обрушился мрак.

Когда сознание начало возвращаться и Вахид сперва стал ощущать себя, а затем и соображать, он, увидев, сначала как в тумане, потом четко, ворс ковра перед самыми глазами, понял, что стоит на коленях, а по тому, как мучительно ныли плечевые суставы, догадался, что его держат за раскинутые и неестественно заданные руки. Он шевельнулся, с трудом приподнял гудевшую голову и увидел край столика.

Руки Вахида отпустили, и они безжизненно упали вдоль тела ладонями вверх, а сам Вахид, потеряв равновесие, ткнулся лбом в ковер. Но тут же его дернули за плечи вверх и назад, и он кулем сел на свои пятки. Белобрысый с флегматичным видом умело схватил Вахида за подбородок, стиснул его, повернув голову лицом к Хабибому.

— Видишь как плохо, когда бьют? — равнодушно заметил тот. Попросил скупаяще: — Больше не дерись. И забудь о докторе, не пугай его. Он выполнял мой приказ. Поместить твою мать в больницу велел я.

Вахид вздрогнул, словно его током ударило. Впился взглядом в лицо Хабибова. «Неужто этот клоун... один из тех всеильных, о которых говорил отец?»

— Я, я, мальчик, — сдерживая зевоту, покивал Хабибов. — Я не облздрав, не начальник милиции, не исполком, не обком. Но я — Хабибов! И у меня есть телефон. Этого достаточно. — Всунул в рот мундштук.

— За что вы ее? — подождав, не скажет ли он еще чего, сипло спросил Вахид. — Чем моя мать вам не понравилась?

— Как она может мне нравиться или не нравиться, если я ее даже не видел никогда? — удивился Хабибов. Окутался облаком дыма. — Говорят, твоя мать хороший человек, — добавил по-русски и вопросительно посмотрел на того кавказца, который стоял рядом с ним. Кавказец с достоинством медленно опустил-поднял подтверждающе голову. — Мне не мать твоя, а следовательно Латыпова не понравилась, надоела, — уже раздраженный и снова по-узбекски объяснил Хабибов. Поднял руку, шевельнул указательным пальцем, повел глазами на столик, и старичок, сладко жмурившийся слева, схватил чайник, стал наливать из него в пиалу — Очень самостоятельной хотела быть следовательно Латыпова, — сделав глоток, продолжал Хабибов, насмешливо глядя в глаза Вахида. — Моих людей на допросы вызывать вздумала. Настроение им портила, расстраивала их. Ей сказали: некрасиво так поступать, нельзя так. Не послушалась. Объяснили: будут неприятности. Не поверила. Предупредили: примем меры. Не обратила на это внимания. Вот я и решил: пускай отдохнет в больнице, подумает о своем поведении, — И, смакуя, принялся прихлебывать чай, пытливо посматривая на Вахида.

— Вы хотели, чтобы она закрыла какое-то дело... — понимающе начал тот, но Хабибов перебил окриком:

— Я хочу, чтобы каждый знал свое место! — Он резко, так что чай плеснулся из пиалы на подушку, выпрямился, и его точно подменили: вместо вальяжного сибарита сидел под балдахинном властный, решительный человек, привыкший повелевать. — Все знают свое место: Рахимов, Насыров, он, — не глядя, ткнул большим пальцем через плечо в сторону старичка, — он! — мотнув головой на кавказца рядом, — он, он! — показал указательным пальцем слева и справа от Вахида: на белоголового и второго кавказца. — Твой отец, Буриной, свое место знает! А следовательно Латыпова знать не хочет! Следовательно Латыпова решила бороться за так называемую справедливость, решила, что она Закон! — Засмеялся, точно закудахтал, широко открыв белые, плотные зубы, но глаза оставались холодными. — На самом деле следовательно Латыпова всего лишь маленький слуга, работник закона. Да и не закона даже, а всяких указов, постановлений, кодексов, инструкций, которые написаны для ленивых, слабых и глупых людей. А закон, настоящий закон, — это сила, власть, деньги и все, кто силу, власть, деньги имеют. Запомни мои слова, мальчик. Ты человек не глупый, не слабый и, думаю, не ленивый. Выбирай свое место в жизни.

Размашисто протянул вбок пиалу, которую тут же проворно и услужливо принял старичок. Попытался подняться, но толстый, негнувшийся халат сковывал движения. Оба кавказца одновременно бросились к Хабибову, почтительно подхватили его под локти, водрузили на ноги.

Вахид, хотя ему и было не до смеха, потому что внутри все заледенело от услышанного — особенно о матери, — невольно фыркнул. Очень уже нелепо выглядел этот типичный хозяйственный и администратор, претендующий на роль всемогущего сверхчеловека, — словно дурацкий золотой колокол вырос под балдахинем. Кавказцы враз посмотрели на Вахида, потом — выжидательно — на Хабибова. Лицо у того стало жестким.

— Мне начальник милиции звонит ночью, спрашивает, что делать с тобой. Сажать? — тягуче, почти не шевеля губами, сказал он. — Я ответил: успеем. Сначала посмотрю на него, сына Буриевой. Посмотрел. Теперь знаю, правильно говорил Насыров: твое место в тюрьме. — И, не сменив интонации, приказал по-русски: — В зиндон его.

Кавказец, бывший до этого рядом с Вахидом, подхватил столик, второй кавказец сдернул в сторону толстый красный ковер, лежащий под столиком, открыв решетку, сквозь которую пробивался из-под пола жиденький электрический свет. Деловито и привычно откинул ее, точно крышку на шарнирах. Вахид попятился, но белобрый, захлестнув ему горло согнутой в локте рукой, опрокинул его назад, кавказцы схватили за взбрыкнувшие ноги. Р-раз, и Вахид, не успев еще ничего сообразить, уже летел вниз, в какой-то бетонный бункер. Мягко, по-кошачьи, приземлился, ткнувшись в пол ступнями и ладонями, и сразу же подскочил, точно подброшенный. Выгнувшись в прыжке, как баскетболист под щитом, попытался ухватиться за край люка, но не дотянулся. И лишь снова опустившись, увидел, что не один в этой квадратной яме: около узкой и тоже решетчатой двери сидел на корточках заросший густой щетиной, изможденный, похожий на мумию, мужик. Он, кутаясь в мятый дешевый пиджачишко, подслеповато жмурился от ударившего с потолка света. Вахид на него глянул мельком; задрав голову, стиснув зубы, он смотрел вверх. Над кромкой замерцало слабое сияние златотканого халата — Хабибов, упершись руками в колени, наклонился к яме.

— Ты веселый человек, мальчик, — глухо, точно чревовещатель, сказал он. — Хихикать очень любишь. Подними настроение моему счетоводу, а то он грустит. — Перевел тяжелый взгляд на сидящего у двери. — Ну что, Фахрутдин, вспомнил, кому еще, кроме Рашидова, писал? И о чем?

Мужик сморщился, пытаясь разглядеть лицо Хабибова на фоне люстры.

— Скоро узнаешь, Ахмаджон, — ответил зло. — Скоро кончится твоя власть. Так что, суши сухари, Ахмаджон Хабибович!

— А тебе и сухари не понадобятся, — насмешливо ответил Хабибов. — Будем считать, что ты объявил голодовку протеста.

Исчез. Громыкнув, упала решетка, на нее быстро, точно черную штору задержали, напоз ковер — показалось, что стены в слабом свете тусклой лампочки сразу же надвинулись прыжком, сжав и без того непросторный объем бункера. Вахид тоже спустился на корточки — медленно, заторможенно. Тот, кого Хабибов назвал Фахрутдином, задержал взгляд на его майке, брюках. Полюбопытствовал:

— Из города?.. Не корреспондент, случайно?

Вахид отрицательно помотал головой. Стараясь дышать ртом, покосился в угол, покрытый светлыми по контуру пятнами, — оттуда аммиачно пахло мочой, и запах этот становился в душном, сгущающемся воздухе все тяжелей, тошнотворней. Что-бы не видеть Фахрутдина, не вступать с ним в разговор, Вахид низко опустил голову, уткнув подбородок в грудь. «Ахмаджон... Ахмаджон Хабибович. Что-то знакомое». И вдруг всплыло в памяти: камера, Абдурахман, стоящий на коленях, его страстный, горячечный шепот, мольба к Аллаху покарать раиса Ахмаджона, обрушить на него все муки и кары, какие только возможны и упоминаются в Коране.

— Вы не знаете такого человека, Абдурахмана? — вскинув голову, спросил у Фахрутдина. — Его Хабибов отдал под суд за то, что он машину дынь украл. Вы ведь в правлении работали? Должны помнить такой случай.

— Украл? Машину дынь? — изумился Фахрутдин. И приглушенно засмеялся. — Не знаешь ты Ахмаджона, парень. Он украть может. Хоть миллион, хоть два. А вот чтобы кто-то другой в его хозяйстве?! Даже ишачий помет подобрать нельзя, голову оторвут. — Засмеялся совсем уж весело, но захлебнулся сухим, лающим кашлем. Откашлявшись, спросил, задыхаясь от одышки: — А из какого кишлака этот твой Абдурахман?

— Без понятия, — хмуро признался Вахид.

И, не уточняя, где встретился с Абдурахманом, отрывисто, словно анкету заполнял, рассказал все, что поведал ему Абдурахман.

— Нет, не знаю такого, — улыбнулся виновато, когда Вахид замолчал. —

В сельхозсекторе «Сангама» шестнадцать больших и маленьких кишлаков. А это — тысячи дехкан. Так что, сам понимаешь... — Вздохнул неглубоко. — Единственный, кто может помочь тебе, — сам Ахмаджон. Но ведь у него не спросишь. Да и не помнит он, уверен, какого-то там Абдурахмана. Растоптал, погубил человека и тут же забыл о нем. Еще удивительно, что какой-то милиционер появился, что дело завели. Обычно Ахмаджон сам направляется, он здесь и прокурор, и судья, и — разговор приведен в исполнение. — Поежился, запахнулся посылней в пиджачишко. — Меня не уничтожил только потому, что я написал самому Андропову. Ахмаджон догадывается, а может, и знает об этом. Бойтся, если приедет московская комиссия и спросит: а где автор письма? Что скажет им?... Разбираться начнут. Если б не это, если б не КГБ, которым Андропов командовал, не быть бы мне...

Опять вздохнул, но уже тяжело, горестно и стал рассказывать о своих друзьях, вместе с которыми писал Рашидову: одного избили неизвестные, — какие там неизвестные, джигиты Ахмаджона и избили! — да так, что друг до сих пор в больнице лежит, инвалидность, наверно, получит; второй — старик уже, ветеран войны, два ордена, четыре медали — упал лицом в арык и захлебнулся. Фельдшерша написала, что пьяный был, а он ничего, кроме чая, не пил никогда. Третий пропал, и ничего о нем неизвестно; четвертый сбежал, скрывается где-то в Киргизии или Туркмении...

За решетчатой дверью зажегся свет, сделав видимыми скрытые до этого в полумраке стены коридора, неровные, бугристые, с отпечатками досок опалубки; слышались неторопливые, уверенные шаги. Фахрутдин, не поднимаясь с корточек, перебрался, покачиваясь, переваливаясь, подальше от входа. Вахид же не шелохнулся, позы не изменил, только голову повернул выжидательно к двери. По ту сторону ее появился светловолосый с мятым алюминиевым бидончиком в руке, и Вахид насторожился. Плавню встал, прижался спиной к стене, покрепче утвердился на ногах. Но белобрысый посмотрел на него сквозь решетку равнодушно. Позевывая, отпер замок, открыл дверь. Поставил бидончик на пол.

— Это тебе, обличитель, — пояснил глумливо Фахрутдину. — Тут тебе, товарищ Салтыков-Щедрин, товарищ «не могу молчать», и завтрак, и обед, и ужин. А ты боксер, — повернул голову к Вахиду, — выходи. Антракт закончился, представление продолжается.

Пока он так же лениво замыкал дверь, Вахид сквозь решетку смотрел на Фахрутдина. Похожий на узника концлагеря из какого-то документального фильма, тот вымученно улыбался, и в огромных глазах его было выражение тоски, отчаяния и зависти.

Белобрысый, не спеша и не оборачиваясь, направился по коридору, и Вахид, с трудом оторвав взгляд от Фахрутдина, поспешил следом. Прошли мимо еще трех отсеков — два справа, один слева. В первом справа были кетмени, грабли, лопаты и прочий хозяйственный скарб; во втором — бочки, ящики; в том, что слева, не было ничего, если не считать старого тюфяка на полу. Бетонный коридор, сделав поворот, продолжался, видимо, еще далеко — оттуда тянуло теплым и затхлым воздухом. Белобрысый туда не пошел. Поднялся по крутым ступенькам слева на небольшую площадку. Толкнул дверь. Придержал ее, пропуская Вахида. И он оказался в знакомом уже вестибюле, под лестницей, ведущей на второй этаж. Здоровяк, который все так же вольготно развалился на топчане, нехотя повернул голову к Вахиду, посмотрел на него без интереса.

Перед подъездом не было уже ни белой, ни черной «Волги», но зато около «газика» стоял какой-то песочного цвета новенький «жигуленок» с еще бумажными номерами, наклеенными на лобовое и заднее стекла. У открытой передней двери этой машины поджидал, щурясь от низкого, но уже яркого солнца и праздно помахивая... наручниками, тот кавказец, что ошивался рядом с Хабибовым.

— Я все переиграл, Вадим, — сказал он скучающе. — Нам вдвоем нет смысла ехать. Там и одному-то делать нечего. — Слегка приподнял наручники, показал на них взглядом. — Наденем для профилактики?

— Да ну, зачем это? — поморщившись, пренебрежительно отмахнулся блондинчик. — Мы ссориться не будем. — Приятельски подмигнул Вахиду. — Верно, боксер? Ты ведь не самоубийца, не дурак безмозглый? — Сел за руль и, когда Вахид устроился рядом, попросил деловито: — Застегни ремень, чтоб гаишники не цеплялись, не портили кровь.

«Жигули», взревев мотором, рванулись назад; замерли на миг, снова взревели и, завалившись набок так, что левые колеса оторвались, наверно, от земли, вывернули в аллею. Вылетели в открытые уже ворота, около которых топтался второй кавказец.

Пока ехали через поселок, Вадим, изредка дружелюбно посматривая на Вахида, молчал. Но как только вырвались на шоссе, поинтересовался с улыбочкой, о чем

рассказывал Фахрутдин, на что жаловался. Вахид, даже не покосившись на него, презрительно поджал губы.

— Ясно, так и доложим: Юстус — Центру. Вербовка провалилась, клиент сотрудничать отказался, — Вадим весело засмеялся. — Характеристика на клиента: характер азиатский, выдержанный. Правда, не всегда. Может, не задумываясь, съездить по морде, что говорит об импульсивности и неумении оценивать ситуацию. К сексотству не склонен. Мыслитель: все время о чем-то думает. Наверное, об ерунде, о смысле жизни, о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Но, скорей всего, о том, на кой хрен его возили к товарищу Хабибову?

Вахид шевельнулся — он действительно думал об этом: для чего Хабибов велел доставить к себе? Зачем устроил весь этот спектакль?

— Тайна сия велика есть, — ернически продолжал Вадим. — Даже для тех, кто хорошо знает товарища Хабибова!.. Все, конец связи!

«Может, действительно хотел, чтобы я стал подсадкой для Фахрутдина, — не слушая шофера, мучился Вахид. — Вряд ли. Очень уж сложно, замысловато. Для этого мог подsunуть в подвал кого-нибудь из местных. Да и держать меня в таком случае рядом с Фахрутдином надо было подольше... Нет, тут что-то не так, не то. Отец?.. Может, хотел что-нибудь про него вынюхать?» Но отверг и эту мысль — Хабибов про отца не расспрашивал. Подумав об отце, тут же вспомнил вообще-то примитивные, но не лишённые логики рассуждения Хабибова, даже не вспомнил, а сосредоточился на них, потому что циничные утверждения эти — мир делится на богатых и бедных, сильных и слабых, умных и глупых — не забывались ни на секунду, они были созвучны и представлениям отца, и, чего уж перед собой-то хитрить, его, Вахида, мыслям.

Со все возрастающей неприязнью думал он об отце: неужто он дружит с такой тварью, как Хабибов? Дружит — не дружит, а приятельствует или, во всяком случае, знаком накоротке, точно: этот новоявленный бай почти фамильярно называл отца Бурибоем. Что у них общего, что их связывает? Отец — умница, с широким кругозором, с разнообразными интересами, а Хабибов... А что, если он и вправду тот всеильный и страшный, кого отец боится? Постарался припомнить интонации Хабибова, выражение его лица, опять вспомнил Абдурахмана и Фахрутдина и согласился — да, пожалуй, это страшный человек. «Так зачем же, все-таки, он велел притащить меня к нему?.. Только, чтоб продемонстрировать, какой богатый и всемогущий? Но зачем, для чего ему это нужно?»

Машина, снизив скорость до шестидесяти, катила уже по городу.

Когда «Жигули» остановились около дома, Вахид, еле сдерживаясь, чтобы пулей не вылететь из машины, заставил все же себя не спешить. Стараясь не мельтешить, не суеетиться, открыл дверцу, вылез, так и не взглянув ни разу на Вадима.

К подъезду направился тоже нарочито медленно, вялой расслабленной походкой. Но на свой этаж взлетел на одном дыхании — скорей, скорей, к себе, в свою квартиру: запереться, спрятаться в родных стенах от всего, что за ними, от всего, что пережил в эти страшные сутки. Не осторожничая, торопливо открыл замок, проскользнул в коридор, захлопнул за собой дверь. И обессиленно уткнулся в нее лбом: все — ни воли, ни энергии храбриться, держаться независимо и с достоинством не осталось, кончился завод, как у механической игрушки, которая только что бодро ползала, и вот — вмиг остановилась.

Вяло оттолкнувшись, Вахид побрел в комнату. Недоуменно посмотрел на светящийся экран телевизора. Догадался, что блондинчик Вадим и кавказец включили его ночью как источник света, чтобы не шарашиться в темноте. Выключил телевизор. Пошел на кухню. Достал из-под раковины мусорное ведро. Равнодушно смахнул в него все лекарства, что так и лежали ворохом на столе под настенным шкафчиком. Вернулся в комнату, вынес и брезгливо кинул в ведро блюдце с окурками, пиалушки, вазочки с конфетами и печеньем. И даже чайник. Отнес ведро на место. Тщательно вымыл руки, оттирая, точно врач, каждый палец. Отправился было в ванную, чтобы принять душ, снова, как и после следственного изолятора, чувствовал себя так, точно в дерьме вывалялся или с головы до ног залеплен паутиной. Но на полпути увидел, что на диване сбит, измят материн плед: наверное, кто-нибудь из хабибовских холоуев трогал его. Свернул к дивану, поправил, разгладил ладонью плед и внезапно почувствовал такую неодолимую потребность не думать ни о чем, не делать ничего, что чуть ли не с облегчением, чуть ли не с радостью опустился на диван. Спать, спать, все остальное потом! Уже с закрытыми глазами, плавно уплывая в забытье, обхватил, как подушку, обеими руками плед, вжался в него щекой...

...Проснулся от телефонного звонка. Сна как не бывало. «Милиция?.. Проверяют, дома или нет?» — встревоженно уставился на аппарат. И обозлился на себя: «Что же это — так и буду всего бояться, так и буду всегда дрожать?.. А может, это отец?» Решительно схватил трубку.

— Квартира Гульноры Саматовны Латыповой? — жизнерадостно спросил бодрый мужской голос. — А вы ее сын? Вахид?.. Это говорит Низамов, главврач областной психбольницы. Можете повидаться со своей мамой... Нет, сегодня. После трех вам удобно? У них до трех послеобеденный тихий час... Хорошо, пожалуйста. До свидания.

4

Время остановилось для Гульноры Саматовны с той минуты, когда сквозь глазок в двери камеры Ахунбабаевскоо райотдела увидела она сына, несчастного, обреченного. Сознание ее по-прежнему отмечало окружающее — лица, обстановку, предметы, голоса, — но все это не задерживалось в памяти, забывалось сразу же, как только исчезало из поля зрения или переставало звучать, заслоняемое, вытесняемое одним: скрючившись, обхватив ноги руками, уткнувшись лбом в колени, сидит Вахид; вот он поднимает голову — взгляд пустой, мертвый. Вахид на сером квадрате бетонного пола; медленно поднимает голову, смотрит прямо в глаза и не видит ее, свою мать... Потом была, кажется, соседка Ева, что-то говорила, металась; потом — провал, мрак, черная яма. Затем — какая-то странная больничная палата с зарешеченными окнами. И — снова затмение.

...Даже когда Гульнора Саматовна поняла, что оказалась в психбольнице, не испытала ни удивления — как попала сюда? — ни тревоги: что будет, когда выпишут, как быть с работой, куда, кем устраиваться? Все мысли были о сыне. Испугавшись, что неотступные мысли эти могут перерасти — особенно здесь, в гнетущей обстановке, среди душевнобольных — в навязчивую идею, психическое расстройство, Гульнора Саматовна пыталась думать о другом: о том, что дела лучше всего передать Зуфарову — надо будет объяснить ему ситуацию с Родионовым-Анапой, изложить версию по делу Белова... хотя, нет, его наверняка уже закрыли; думала даже и о Джеке Руби, Буриове, Рахимове, чтобы вызвать в себе пусть отвращение, пусть страх, пусть неприязнь — неважно: лишь бы отвлечься, лишь бы переключить сознание. Бесплезно. Ничего не получалось, все ухищрения и уловки были напрасны — чувства угасли. Лишь раз вспыхнули они острой болью радости, верой и неверием в чудо.

Ее уже перевели в общую палату, на койку рядом с хрупкой, моложавой, но седой женщиной, которая все время счастливо улыбалась, прислушиваясь к чему-то, одобряюще кивая, млея от радости, и которую Гульнора Саматовна замечала и помнила, лишь пока смотрела на нее, а потом забывала напрочь. На второй день, после завтрака — да, после завтрака, помнится, ели что-то за длинным столом, — когда Гульнора Саматовна, как обычно, скрючилась на своей постели, чтобы, оставшись наедине с Вахидом, постараться забыть в полудреме, что стало для нее обычным состоянием, — кто-то бесцеремонно затормозил ее за плечо. Она нехотя открыла глаза. На нее безучастно смотрела пожилая санитарка. «Ты Латыпова?.. Вставай, к тебе на свидание пришли». «Ко мне? Кто? — Гульнора Саматовна села на постели и только сейчас увидела, что день-то, оказывается, не серенький, что палату с двумя рядами коек заливает сквозь окно щедрое солнце. Гульнора Саматовна сообразила, догадалась, что нынче воскресенье, день встречи с родными, а сердце уже заколотилось беспорядочно и сладко, хотя разум не верил, что то, о чем сразу подумалось, возможно, вероятно. — Кто? Кто пришел? Сын? Вахид?» «Не-е, девушка какая-то молоденькая, красивая такая, — объяснила санитарка. — Юлдуз Латыпова. Сестра твоя? А может, дочка?» «Кто-о-о? — поражено выдохнула Гульнора Саматовна, и сразу померк свет. — Зачем она здесь? Для чего? Не надо! Не хочу! — Голос натянулся, становился все тоньше, визгливей. — Скажите ей, чтоб не смела!.. Чтоб уходила! Сейчас же!» И оттого, что рухнула, пусть и нереальная, мечта увидеться с Вахидом, захохотала, заплакала, давясь смехом, слезами, обрывками фраз.

Те женщины, которые были рядом, попытались: санитарка, властно крикнув что-то в дверь, решительно и сильно схватила Гульнору Саматовну за плечи, опрокинула ее на постель. Гульнора Саматовна извивалась, дергалась, пытаясь вырваться, но возникшие невесть откуда, заметавшиеся в белых халатах схватили за руки, за ноги, точно сковали. Желание освободиться подбросило еще несколько раз тело, пробежало по нему судорогой, затихающей волной, и Гульнора Саматовна затихла. Безразличная ко всему, дала перевернуть себя на спину, сдернуть до пояса толстый байковый халат, казенную, пахнущую хозяйственным мылом просторную рубаху, проводила равнодушным взглядом плавно, по дуге, скользнувший по воздуху шприц с янтарно-прозрачным жидким столбиком внутри.

Остаток дня и ночь проползли в изнуряющем чередовании периодов то пол-

ного беспамятыства, то отупелого, без единой мысли, полубодрствования, заполненного пульсирующим болевым фоном в пустой голове.

Ночью сны мешались в бредовой калейдоскопичности, все они были жуткие вызывающие приступы чувства незащитности и затравленности: то — неизвестно почему, давно этого не было — видела Вахида пятилетним, потерявшимся на Алайском рынке в Ташкенте, и задыхалась от накатившего, как и тогда, много лет назад ужаса, то на сына снова нападали какие-то люди, мужчины, двое или трое. Среди них был и тот жуткий кавказец Джек Руби, и сын испугался — испуг его передался и ей, превратившись в животный страх, когда над Вахидом стало зловецше нарастать что-то золотистое, тучеподобное, вязкое.

Проснулась Гульнора Саматовна разбитая, опустошенная. И снова потянулся безрадостный день, по-прежнему заполненный мыслями о Вахиде.

Позавтракала, опять на замечая и не вспомнив потом, что ела, да так и осталась, сгорбившись, глядя вниз, одиноко сидеть за длинным столом, пока убирала посуду, пока готовили для трудотерапии миски с клейстером и пачки заготовок из серой рыхлой бумаги. Увидев их рядом с собой, Гульнора Саматовна принялась аккуратно, методично, точно машина, клеить конверты и заготовила уже внушительную стопку, когда почувствовала чей-то пристальный взгляд. Подняла глаза. На нее смотрел невысокий, в белом халате, мужчина с ухоженными, тщательно подбритыми усами и бородкой. Кажется, однажды утром видела его здесь? А может, и нет. Может, показалось. «Какой-то главный», — догадалась Гульнора Саматовна, потому что стало непривычно тихо. Почтительно молчали в белых халатах полукольцом стоявшие за мужчиной; молчали, перестав работать, съездившись обычно что-то бормочущие, нашептывающие больные, глядя на бородатого. Он встретившись взглядом с глазами Гульноры Саматовны, стремительно развернулся свита монолитно сомкнулась, прикрыв его белыми спинами, тронулась к кабинету заведующей отделением и, поредев, распалась около двери — медсестры и санитарки распались по палатам, дежурный врач вернулась к столу, принялась раздраженно и нарочито громко отчитывать неумех за брак.

Гульнора Саматовна опустила голову и снова принялась за дело — работала так же размеренно, старательно и... бездумно. Но успела склеить только около десятка конвертов. Ее окликнули. Молодятся, с тщательно выполненным макияжем — голубоватые тени на веках, подкрашенные губы, легкий румянец — женщины в солидных очках («тоже какая-то начальница, может, заведующая отделением?») — вспомнилось, что она появлялась в палате), глядя ласково, почти сладко позвала с собой.

Провела мимо одной палаты, мимо другой и, предупредительно открыв какую-то дверь, вежливо пропустила вперед Гульнору Саматовну. Войдя, та даже растерялась немного — оказалась в уютной, просторной комнате: тюлевые шторы на окнах во всю стену; розовые, с тисненными цветами, гардины; из того же материала обивки стульев, двух кресел, скатерть, покрывала на четырех безупречно заправленных деревянных кроватях; перед кроватями коврик, в изголовьях светлые тумбочки; в дальнем углу телевизор. Не больничный закуток, а гостиничный номер люкс, правда, на четверых.

Две женщины, уютно расположившиеся друг против друга в креслах, — одна похожая формами и лицом на Еву Семеновну, только жгучая брюнетка, с белой полосой вязанье в руках; другая, худощавая, с лиловатыми, окрашенными под платиновую блондинку, волосами и книгой на коленях — повернулись к двери. Но не встали при появлении врача — выжидательно и несколько удивленно смотрели на нее. Она слегка заискивающе улыбнулась им.

— Познакомьтесь: Гульнора Саматовна Латыпова, — покровительственно положила ладонь ей на плечо. — Прошу любить и жаловать... Выбирайте любую. Гульнора Саматовна, — плавным жестом показала на кровати у левой стены. — Устраивайтесь, — ласково похлопала и вышла.

Платиновая блондинка поизучала недолгим взглядом Гульнору Саматовну и приподняв книгу, стала читать ее, а брюнетка пренебрежительно бросила на стол вязанье, не беспокоясь, что петли могут распуститься. Легко поднялась с кресла, всплеснула пухлыми ладошками, поспешила к двери.

— Гульнора Саматовна, как я рада, что вас наконец-то перевели к нам! — Непринужденно взяла ее за кисти рук, слегка сжала, встряхнула, заглядывая доброжелательно в глаза. — Я уж удивлялась, можете спросить у Евгении Львовны, — показала взглядом на платиновую блондинку, которая, не шелохнувшись сосредоточенно читала. — Почему это, говорю, Латыпову к нам не положили? Каково, говорю, ей, вам то есть, среди всех этих шизофреничек, дур ненормальных всяких слюнявых старух? Бр-р-р, — с омерзением передернула толстыми плечами. Бережно подвела Гульнору Саматовну к столу, усадила за него, склонилась участливо. — Кушать хотите?.. Или чайку? Я мигом организую.

— Нет, нет, спасибо, — Гульнора Саматовна, озадаченная таким приемом и та

ким напором женщины, которую видела впервые, натянуто заулыбалась. — Не беспокойтесь, пожалуйста, мне ничего не нужно.

И отвернулась к окну. Получилось, конечно, невежливо, но, что поделать, не до приличий. Общительная незнакомка — Гульнора Саматовна осторожно покосилась на нее: нет, никогда не встречала раньше, — навяжет, скорее всего, разговор, примется расспрашивать, выпытывать, в душу лезть — ни к чему это. Не хочется никого ни видеть, ни слышать.

— Ну что ж, понимаю вас, — без обиды ответила брюнетка. — Не буду назойливой. — Помолчала, спросила с легким сочувствием, проследив, вероятно, за взглядом Гульноры Саматовны, которая без интереса смотрела на длинный красно-кирпичный дом за пыльными кустарниковыми шпалерами. — Туда хочется?.. И не мечтайте. Там, конечно, роскошней и обслуживание на высшем уровне, не то, что в нашей богадельне, но... Но... не для нас, простых смертных, тот флигелек. Для шишек, «только для белых», так сказать.

— Лариса Яковлевна, следите за собой! — возмутилась платиновая Евгения Львовна. — В ваших словах есть нечто настаораживающее.

— А в ваших — вызывающее жалость к вам, — огрызнулась брюнетка. — Знаю, отчего вы такая... кислая. Обидно, что вас сюда, а не туда, — кивнула за окно, — не к избранныкам поместили? Ага?

Евгения Львовна негодуя фыркнула. Гульнора Саматовна, опять покосившись, теперь уже на нее, увидела, что платиновая блондинка гневно выпрямилась в кресле, олицетворяя собой оскорбленность, и глаза ее уничтожающе сверлили брюнетку. Но та, видимо, привыкла к такому: походя взяла свое рукоделье, опустилась в свободное кресло. Рывками распустила два-три последних ряда вязанья — корявого, узловатого шарфа, — и шевеля губами, принялась неумело, но старательно работать спицами, низывая на них нить.

За окном струился, переливался, точно жидкое стекло, раскаленный воздух жаркого солнечного дня, отчего казалось, будто красный флигель для привилегированных плавно покачивается, меняет очертания. Евгения Львовна восторженно о чем-то рассказывала, но Гульнора Саматовна не прислушивалась. Снова думала о Вахиде.

Голос Евгении Львовны стал резким, обличительным, и Гульнора Саматовна невольно вздрогнула от ее гневного и презрительного: «Судить таких надо! Беспощадно!» Очень уж этот вскрик показался намеком: так, пожалуй, закончит государственный обвинитель свое выступление на процессе над сыном. «Неужто про Вахиду? Откуда она знает про него?» — испугалась Гульнора Саматовна, но тут же у нее отлегло от сердца: платиновая блондинка говорила о более серьезном и страшном — об антисоветчиках, и Гульнора Саматовна, решившая до этого, что Евгения Львовна учительница литературы, подумала сейчас, что нет, пожалуй. Скорей всего из отдела культуры или пропаганды горкома, а может, и самого обкома — слишком уж по-профессиональному убежденно, наступательно клеймит идеологических врагов. Слегка успокоившись оттого, что не о Вахиде речь и даже осердившись на себя за мнительность, Гульнора Саматовна опять погрузилась в думы о сыне: попыталась вспомнить то, что было написано в протоколах Ахунбабаевского райотдела. Если только неповиновение работникам милиции, тогда, может, все обойдется штрафом или административным арестом, если же оказание сопротивления при задержании, тогда — уголовная ответственность, лишение свободы сроком до года, а при отягчающих — и до пяти. Но формулировки задержания и обвинения забылись начисто. Гульнора Саматовна попыталась сосредоточиться, чтобы всплыв в памяти текст, и тогда удается, как бывало не раз, прочитать забытое, но размеренные, точно капель, фразы Евгении Львовны — «...подрыв морально-политического единства... покушение на идеалы... посягательства на завоевания социализма...» — отвлекали, мешали восстановить в воображении написанное дежурным райотдела. «Что со мной? О чем я? — опомнившись вдруг, чуть не застонала в отчаянии Гульнора Саматовна. — Какое имеет значение поведение при задержании?! Дебош в бильярдной был? Был! За это и накажут». И опять все внутри у нее похолодело, омертвело.

Так, то впадая в беспросветное уныние, то, опять и опять начиная верить в возможное чудо и тогда ненадолго взбадриваясь, изводилась она, глядя невидяще в окно. Отвлек ее от невеселых дум злой, презрительно возмущенный голос Ларисы Яковлевны. Брюнетка, как можно было понять, полностью разделяла негодование платиновой блондинки и, получив возможность высказаться, яростно обрушилась на «сволочей», «паразитов», «отщепенцев» и «предателей» — в выражениях она не стеснялась, — которых давить мало, потому что не ценят, в какой стране живут, всем недовольны, все критикуют и даже дошли до несусветной наглости: утверждают, будто на Западе — это при капитализме-то! — жить лучше. С такими, дай им волю, можно дойти до кошмара, до ужаса. Как в Польше! В голове не укладыва-

ется, что там творилось: забастовки, беспорядки, бесчинства, какая-то наглая «Солидарность», с потрохами купленная ЦРУ!

Забиться, отключиться от этого, ставшего металлическим, голоса было невозможно, и Гульнора Саматовна невольно вынуждена была слушать, о чем говорила Евгения Львовна, но думала не о ее словах.

Когда в коридоре послышался радостный гомон и Гульнора Саматовна поняла, что принесли обед из столовой, она нехотя встала и, хоть есть не хотелось, направилась к двери: неудобно заставлять себя ждать. Посмотрела приглашающе на Евгению Львовну и Ларису Яковлевну: идете? Те, негромко и заинтересованно беседовавшие уже об ином («Тщательно взбить три желтка, добавить ложку сметаны...» — «Столовую или чайную?»), поглядели на нее недоуменно.

— Куда вы? — удивилась Лариса Яковлевна. — Нам сюда принесут.

Обе лениво поднялись с кресел. Лариса Яковлевна принялась выставлять из холодильника на стол банки с соленьями, маринадами, вареньями. Евгения Львовна, мимоходом включив конфорку под чайником, открыла шкаф, в бельевом отделении которого оказались посуда, пакеты с фруктами, конфетами, сахаром, всяческой стряпней.

— Помогите, пожалуйста, — дружески улыбнулась Гульноре Саматовне, подавая ей тарелки и пиалы. — Осваивайтесь, чувствуйте себя как дома.

В дверь вежливо постучали, и вошла молодая санитарка с двумя большими, один на другом, судками. Поставила их на стол, пожелала приятного аппетита и, не задерживаясь, выскользнула из комнаты.

Обед — Гульнора Саматовна впервые обратила внимание на то, чем кормят, — выглядел вполне прилично: наваристая шурпа, тушеная с мясом картошка. Но и Лариса Яковлевна, и Евгения Львовна сделали недовольные и презрительные лица. Однако свои порции, пусть и похмыкивая, демонстративно вздыхая, съели без остатка. Чтобы не выглядеть капризной и привередливой, Гульнора Саматовна тоже отведала и первое, и второе.

После чаепития Гульнора Саматовна помогла убрать со стола, вымыла посуду и, не разбирая постель, легла на кровать, извинившись перед Ларисой Яковлевной и Евгенией Львовной. Те, принявшись обсуждать какой-то очередной кулинарный рецепт, заперебивали друг друга:

— Да, да, конечно. Пожалуйста, спите. И по распорядку положено — мертвый час. Мы сейчас тоже ляжем. Надо отдохнуть.

Гульнора Саматовна отвернулась к стене, закрыла глаза и — опять Вахид, Вахид, измученный, изможденный, угасший...

Проснулась оттого, что кто-то осторожно притронулся к спине. Испуганно повернулась набок. Санитарка, приносившая обед, прижав палец к губам — потише, мол, не разбудите, — кивком пригласила за собой. «Что? Куда? Зачем?» — Гульнора Саматовна поспешно поднялась с кровати. Смутилась, увидев, что и Лариса Яковлевна, и Евгения Львовна спят под простынями — обе одинаково: разметавшись, закинув головы, широко и страшно раскрыв рты, точно пьяные. Виновато поглядывая на санитарку, Гульнора Саматовна торопливо оправила постель и, запахнувшись в халат, шаркая большими, не по размеру, тапками, вышла вслед за девушкой. В коридоре спросила шепотом:

— Куда вы меня? — И только сейчас вспомнила, что ведь с ней так и не побеседовали ни разу медики. — На прием к врачу?

— Велено вывести вас на прогулку, — в полный голос, хотя проходили мимо палат, в которых спали или делали вид, будто спят, больные, ответила равнодушно санитарка. — Распоряжение главного, Низамова. А зачем — откуда мне знать? Может, для леченья надо.

Отомкнула квадратным ключом, какие бывают у железнодорожных проводниц, обитую белой жестью дверь, выпустила Гульнору Саматовну в небольшую приемную-тамбур, где поджидал худосочный унылый парень. Он таким же, как у санитарки, ключом отворил наружную дверь, придержал ее, пока Гульнора Саматовна выходила на улицу. За порогом она невольно глубоко и судорожно вздохнула — чувство свободы, оказавшееся неожиданно сильным и радостным, высокое светлое небо, теплый вольный воздух ошеломили, заставили зажмуриться на миг. За спиной хлопнула дверь, щелкнул язычок замка; парень, не оглядываясь, сутулясь и косолапя, пошел не спеша по дорожке мимо утопанной квадратной площадки, высоко огороженной крупнейшей металлической сеткой. Гульнора Саматовна, опомнившись, заторопилась за ним. На широкой аллее, образованной низко подрезанным кустарником, куда привела дорожка, парень, вяло осмотревшись, сел на ближайшую скамейку, похлопал рядом с собой. Гульнора Саматовна удивленно огляделась — слева, недалеко, ворота с будочкой; справа, в конце аллеи, тот самый, но фасадом сюда, корпус для избранных, он же, наверное, и административный: над входом и по бокам его выгоревшие транспаранты, перед

зданием фургончик «скорой помощи» и две легковые машины. Она, недоумевающая, робко присела на краешек скамьи.

Парень лениво, редкими затяжками выкурил сигарету, все так же понуро глядя под ноги и ни разу не посмотрев на Гульнору Саматовну; она, чувствуя все большее и большее беспокойство, решила было уже спросить, что все это значит, развернулась к парню, и — обомлела. Из двери будочки около ворот высочил... Вахид? Ну конечно, Вахид! С двумя сумками в руках. Сосредоточенный, серьезный. Только чем-то странный, непривычный. Ах, да... — «Но почему, зачем это?» — остриженный наголо. Следом появился какой-то мужчина, что-то говорит, показывает рукой в сторону ее, Гульноры Саматовны, корпуса; сын, быстро кивая, — понял, дескать, понял, — изредка поглядывая на него уже идет торопливо по аллее. Приближается. Гульнора Саматовна ойкнула, тихо, почти беззвучно, засмеялась, рванулась со скамьи и пошатнулась: ноги не держали. Пришлось, чтобы не упасть, схватиться за плечо парня. Мельком, прося взглядом прощения, посмотрела на него, снисходительно, одной стороной рта, усмехнувшегося, и опять все внимание — на сына. Он увидел ее. Запнулся, но тут же ускорил шаг, почти побежал. Глаза радостные, губы кривятся, дергаются — сдерживают улыбку. Вот он уже рядом, вот он вплотную. Разжал пальцы — сумки тяжело плюхнулись на землю, — обнял: частый стук его сердца в до боли прижатом к его груди ухе, легкий, такой родной, запах его пота, его ладони на спине, его крепкая, с каменными валиками мышца, с глубокой ложбинкой, поясница. Живой, здоровый. Реальный!

— Сынок, дорогой, милый. Вот радость-то, вот счастье. Я так измучилась... — Вскинула глаза и опять удивилась, а потом и встревожилась: — Почему так острижен? Судили, вынесли приговор! Сбежал? Тебя отпустили? Освободили насовсем? Или?..

— Насовсем, мама, насовсем, — Вахид быстро и неловко погладил ее по голове. — Я ни в чем не виноват. Произошло недоразумение. Разобрались. Ко мне никаких претензий, все кончилось, все позади. — Покосился на парня, который с безучастным видом смотрел в сторону ворот, спросил осторожно: — Ты-то как себя чувствуешь?

— Теперь хорошо. Даже замечательно, просто великолепно, — Гульнора Саматовна весело засмеялась. Откинулась назад, чтобы видеть лицо сына, и мучительно нахмурилась. — Ссадина... — осторожно коснулась пальцем коричневых штришков коросты. — Пострижен... Это там тебя так?

— Да нет, я сам, — Вахид разжал руки и, отведя взгляд, тоже пощупал скулу. — Случайно. А волосы?.. Жарко, вот и постригся. — Чувствуя, что объяснение прозвучало неубедительно, и не решаясь смотреть матери в глаза, засуетился. — Я привез тебе все, что нужно. Тебя ведь... — и чуть не вырвалось: «запрятали сюда, не дав собраться». — Ты ведь с собой ничего не взяла. — Схватил сумки, поставил их на скамейку рядом с парнем. — Тут вещи, туалетные принадлежности: мыло и прочее, — шлепнул по одной сумке, а потом по другой. — А тут еда всякая.

Гульнора Саматовна подтянула к себе ближнюю, раскрыла, и парень, искоса глянув в сумку, деликатно отвернулся. Потом лениво встал, перешел на другую сторону аллеи и так же лениво уселся там на скамейку. Сумка была плотно забита снедью: бутылочки с гранатовым соком, полиэтиленовые пакеты с фруктами, ягоды, сыры, колбасы, твердокопченая и казы, баночки с тресковой печению.

— Спасибо, сынок, спасибо, мой мальчик, — Гульнора Саматовна подняла на него изумленные глаза. — Но ведь все это можно купить только в коопторге. Где же ты деньги такие взял? — И сообразила. Лицо ее очерствело. — Отцовские? — Заметила, как надулся Вахид, улыбнулась: не стоит огорчать его, не время сейчас настаивать на своих принципах. — Пришлось тебе в свой тайник залезть, потратить сбережения?

Вахид быстро взглянул на нее, тоже улыбнулся — вымученно, неуверенно. «Значит, не она в столе шарилась, не она деньги взяла? А может, не помнит? Вряд ли. Если б забрала деньги, сделала бы это до того, как... Должна помнить. А как попала сюда, помнит?» Это не давало покоя, это было главное, что хотелось знать, — кто был исполнителем приказа Хабибова? Добраться бы до того человека... Надо решиться.

— Кто вызвал «скорую», мам? — спросил глухо. Помялся, пояснил: — Ну, чтоб тебя сюда привезли...

В глазах Гульноры Саматовны появилось удивление — все эти дни не задумывалась... «Действительно, кто?» Хотела сказать: «Может, Ева Семеновна?» — но по напряженно-выжидательному взгляду Вахида поняла, что соседку упоминать не стоит: сын вообразит невесту что, начнет выпрашивать Еву, поставит и ее, и себя в неловкое положение. «А все же — она? Поговору с ней, когда выйду».

— Кажется, я сама, — сказала растерянно. И сделав вид, будто поразмышляла, завершила обрадованно: — Конечно, сама. Пришла расстроенная, сразу, тут же при-

няла излишнюю дозу успокоительного, и... почувствовала себя плохо («Только бы отвести подозрение от Евы, только бы он не стал что-то выяснять у нее»). Кажется, в этот момент и позвонила... О, да ты, смотрю, новый халат мне купил! А платье-то зачем? — засмеялась неискренне, перебирая вещи в другой сумке. — И полотенца новые! И даже... — покраснела, вынув на секунду и тут же сунув назад трусики. — Еще раз спасибо. Все предусмотрел, не ожидала от тебя такой обстоятельности, — снова засмеялась, вовсе уж натянуто. — Совсем разорила я тебя, заставила по-растрести копилку этими покупками.

Вахид поерзал — ничего он не покупал. После телефонного разговора с Низомовым, пометавшись по квартире — что нужно, что можно нести в больницу? — и, обнаружив, что холодильник пуст, позвонил отцу. Посоветоваться. Тот сначала обрадовался, а потом наорал: «Ты где пропадаешь?! Я названивал тебе, названивал, даже приезжал вчера после работы! Соседка, Ева Семеновна, сказала...» Вахид перебил: «Это потом, это не к спеху. Я к матери собрался, так вот, не знаю...» — и рассказал о своих затруднениях. «Жди меня, — распорядился отец. — Я сейчас приеду». И минут через двадцать был уже около подъезда с этими вот самыми, уже упакованными, сумками. Он и сюда привез, и сейчас ждет в «Волге» за воротами.

— Какие ты лекарства принимала? — хмуро спросил Вахид. — Откуда они у тебя взялись?

— Лекарства как лекарства. Из нашей домашней аптечки, — Гульнора Саматовна непонимающе посмотрела на него. И насторожилась. — А что, в чем дело? Зачем тебе это знать?

Вахид глубоко вздохнул.

— Я знаю, кто отправил тебя сюда. Виделся с этим человеком.

— Что-о-о! — Гульнора Саматовна, раскрывшая новенький несессер с туалетными принадлежностями и делавшая вид, будто любит уложенными в гнездышки зубной щеткой, пастой, мыльницей, флакончиками, чуть не выронила эту изящную, плоскую, обтянутую кожей, шкатулку. — Когда? Где? В милиции? Или когда уже вышел?

Вахид кивнул, и она, задумавшись на миг, обреченно ссутулилась.

— Все-таки пошли и на это: решили воздействовать через тебя. — Со страхом заглянула сыну в глаза. — Они не били тебя?

— Да нет, ничего такого не было, — Вахид как можно непринужденной усмехнулся. — Мы просто побеседовали.

— Что у тебя с ними общего, о чем ты мог с ними беседовать? Вернее, они с тобой? — вяло возмутилась Гульнора Саматовна. — Что они хотели от тебя, чего добивались? — Помолчала, спросила с усилием, но твердо: — Какие условия они велели передать мне?

Вахид, жвав губы так, что они превратились в бескровную узкую полоску, смотрел, прищурившись, вдаль.

— Никаких, — он раздраженно дернул плечом. — О тебе почти и не говорили. Сказали только, что ты, как следователь, им в чем-то помешала, но... Ведь теперь-то ты, — щека его дернулась, в горле булькнуло, словно он пытался и не смог что-то проглотить, — теперь тебя, я так понимаю, отстранили от работы, так что... Какие могут быть условия? Ты для них не опасна. И неинтересна им.

— И они больше не будут тебя преследовать? Пообещали оставить в покое? — обрадовалась Гульнора Саматовна. Вздохнула облегченно, расправила плечи, лицо ее просветлело. Но почти сразу же опять осунулось. — Это страшные люди, сынок. Чудовища! Хорошо, что все так удачно кончилось.

— Удачно? — Вахид скрипуче засмеялся. Сжал кулаки, пристукнул ими по коленям. — Ничего себе удачно! Ты сидишь здесь, а они в президиумах, ты... — усмехнулся, вспомнив слова Хабибова, — работник, слуга закона, объявлена сумасшедшей за свою честность, а они плюют на законы, и портреты их в газетах, ими гордятся, с них берут пример...

— Это все временно, сынок, — так громко, что унылый парень на той стороне аллеи повернул к ней голову, выкрикнула Гульнора Саматовна. — Такое не может долго длиться, сынок, — снизив голос почти до шепота, горячо продолжила она. И хоть сильно сомневалась в том, о чем говорила, постаралась вложить в интонацию всю свою былую убежденность: испугалась, что сын разуверится в идеалах и, что самое страшное, начнет завидовать тем людям — врагам; нет, нет, хватит и развращающего примера отца! — Зло не может быть вечным. Наступит время, скоро, очень скоро наступит, и этих оборотней, преступных перерожденцев разоблачат, их отдадут под суд!

— Как была ты идеалисткой, так ею и осталась, — Вахид иронически и пренебрежительно скривился. — Какое разоблачение? Какой суд? Ну уберут одного, если споткнется, переведут на другое тепленькое место второго, если зарвется. Но ведь вместо них найдутся сразу же десятки других, не лучше. И что изменится?

Ничего! Потому что такая система. Сис-те-ма! — он твердо посмотрел ей в глаза. — Политическая, идеологическая, экономическая — государственная! Наша, советская, социалистическая. Чтобы победить этих людей, надо изменить систему, иначе — ничего не получится, ничего не выйдет!

Гульнора Саматовна отшатнулась, лицо ее посерело от страха.

— Сын, опомнись, что ты говоришь?! — еле вымолвила она. — Это же... идеологическая диверсия, если не хуже, — расширившиеся глаза ее переполнились ужасом, — это антисоветчина, это... это... — Не найдя слов, задохнулась; лицо ее некрасиво, мученически сморщилось. — Откуда у тебя такие мысли? Где ты их набрался?.. Не смей так думать, не смей! Прошу, запрещаю! С такими взглядами нельзя жить!

— Успокойся, мама, — Вахид торопливо поймал ее взметнувшуюся, словно отталкивающую его руку; сжал ее в ладонях, быстро и успокаивающе погладил. — За мысли у нас не сажают, так что ничего со мной не будет. Сажают за слова. Но ведь я никому не скажу, о чем думаю, поэтому не бойся за меня. Я понимаю, все понимаю, — он заглядывал ей в глаза, улыбался искательно, — я ведь у тебя не дурак, правда? Знаю, кому и что можно говорить. — Почувствовал, как напряглась рука матери, понял, что она и такие мысли не разделяет, считает: говорить нужно все, что думаешь, а вот думать... думать, как он, недопустимо. Зачастил, уверяя: — Я не то сказал, не так, неточно выразился. Знаю, что наш строй — самый-самый, верю в это, убежден в этом, не сомневаюсь ни капельки... Да черт с ней, политикой этой! — выкрикнул в отчаянии, увидев, что в глазах матери не исчезли испуг и недоверие. — Система сама по себе, я сам по себе, мне до нее никакого дела нет...

Отвел взгляд, и на лице его появилось смешанное выражение страха, безразличности и нездорового любопытства — на обнесенную сеткой площадку около больничного корпуса вышли из торцевой двери женщины в толстых, как на матери, халатах, грязно-серых и бледно-коричневых, линялых, длинных, до пят, или коротких, открывающих голые белые, то костлявые, синюшные, то отечно-толстые ноги. Некоторые разбрелись парами и поодиночке, другие сбились в кучки, они топтались на месте, тыкались в сетку ограждения, тупо, как неодушевленные.

— Для меня главное, чтобы те, кто расправился с тобой, ответили за это, — не отрывая глаз от прогулочного дворика и не думая о том, что говорит, продолжал Вахид, — чтобы не радовались, не считали, будто им все можно, все позволено, будто они неуязвимы.

— К сожалению, они пока неуязвимы, — желчно подтвердила Гульнора Саматовна. — Уж я-то знаю, можешь мне поверить. — И вдруг встревожилась. — Или ты затеял что-то в обход закона? Я не позволю тебе даже и думать об этом! — Дернув-шись через сумки, выкинула руку, повернула голову сына лицом к себе. Гневно свела в переносице брови. — Слышишь: не позволю!

Вахид, откинув назад голову, уклонился от ладони матери.

— Да ты что? Я ни о чем таком не думал. Просто мне обидно, что эти люди торжествуют, что они останутся безнаказанными...

Смолк, словно подавившись, заморгал пораженно: от здания в глубине аллеи подъезжали «Жигули» песочного цвета с бумажным номером на лобовом стекле — те самые, в которых блондинчик привез его в город. За рулем горделиво восседал Низамов. Машина притормозила, главврач, изо всех сил стараясь выглядеть равнодушным, прополз отсутствующим взглядом по Вахиду, по его матери, пригнувшись, чтобы видеть в другое окошечко кабины парня, что-то негромко сказал ему. И укатил в уже распахнутые услужливо ворота.

— Кончай беседу, — тусклым голосом потребовал парень.

Пока он лениво, медленно поднимался, Вахид уже вскочил. Поглядывая на «Жигули», которые свернули за будочку, туда, где стояла «Волга» отца, нетерпеливо схватил сумки. Гульнора Саматовна тоже встала, быстро пошла к своему корпусу. Вахид, опустив голову, чтобы не видеть женщин на огороженной площадке, шел вплотную за матерью. Около двери в здание она круто развернулась и, пока парень доставал из кармана ключ, пока вставлял его в квадратную дыру замка, стремительно обняла сына и, привстав на цыпочки, поцеловала его.

— Не голодай, деньги в шкафчике на кухне, в коробке из-под халвы, — сминая слова, торопливо наставляла она. — Мало будет, бери отцовские из своих сбережений, чего уж теперь-то, раз так получилось...

— Ладно, мам, ну ладно, ты сама ешь побольше, — голос Вахида срывался. — Не экономь, я еще принесу.

— Готовься, сынок, к экзаменам, не шалопайничай, у тебя сейчас трудное время, — не слушая его, говорила Гульнора Саматовна. — Я скоро вернусь домой, меня, наверно, не сегодня-завтра выпустят, я же здорова, меня сюда поместили, чтоб нейтрализовать, а теперь — дело сделано — зачем я здесь? Так что... ско-

ро... на днях... — Враз опустила руки, сделала шаг назад. — Все! До свидания! Давай сумки! — приказала отрывисто.

Взяла их, решительно вошла в тамбур, где поджидал ее с тоскливым видом парень. Дверь закрылась.

Вахид с силой потер ладонью лоб и, глядя в землю, побрел назад, к аллее. Поднял голову и вздрогнул. Сквозь сетку ограждения ему, вывалив толстый мокрый язык, улыбалась слюнявая беззубая старуха с всклокоченными бурыми волосами и маленькими, как у мыши, веселыми глазами. Он замычал, точно от боли, и со всех ног бросился к воротам.

5

Отец момент не упустил, не стал высокомерничать при виде какого-то там «жигуленка», догадался на всякий случай остановить его (а может, главврач сам остановился около отца, такого представительного, рядом с такой солидной, явно начальнической, «Волгой»?) и сумел завязать с Низамовым разговор, даже, пожалуй, знакомство: беседовали они, судя по всему, почти přátельски.

Пристально глядя в спину главврача, демонстративно нахмурившись, напустив на себя мрачный, неприступный и ожесточенно-непроницаемый вид, Вахид, словно через силу, словно нехотя, медленно направился к «Волге».

Низамов оглянулся, проследив за взглядом собеседника, и веселое лицо главврача стала смущенным. Он проворно и несколько угодливо пожал протянутую руку Буриевой Талгатовича, дернул головой, прощаясь. Резво влез в «жигуленок», избегая встречаться глазами с Вахидом, который все так же пристально, не мигая, смотрел на него; машина фыркнула, выплюнула голубоватое прозрачное облачко дыма из выхлопной трубы и укатила.

— Ну, как она себя чувствует? — с озабоченным и скорбным видом поинтересовался Буриевой Талгатович, когда Вахид подошел.

Но тот не ответил. Сел в машину. Буриевой Талгатович, устраиваясь за рулем, поглядывая выжидательно на сына, вынужден был повторить вопрос, только требовательней и жестче. И добавил:

— К кому обращаюсь? Что, не считаешь нужным разговаривать со мной?

— Как можно чувствовать себя в сумасшедшем доме? — сквозь зубы ответил Вахид. — Если бы видел, кто ее окружает, не спрашивал бы.

— Впечатление такое, будто в том, что произошло с ней, ты обвиняешь меня, — тоже сквозь зубы проворчал Буриевой Талгатович, включая зажигание. — Хотя прекрасно знаешь, что твоя мать...

— Знаю, знаю, — раздраженно перебил Вахид. — Она стала жертвой всеильных и страшных людей, — голос его стал издевательски-ерническим, — людей, которые фамильярно называют тебя Буриевой. Так что... если виноваты твои дружки, виноват и ты! — закончил жестко.

— Какие дружки? — насторожился Буриевой Талгатович. — О ком ты?

— О Хабибове! — выпалил Вахид. — Знаешь такого?.. Сытый индюк из районной шарашки «Сангам». Знаком с ним? — и зло засмеялся.

«Волга» дернулась, резко сбросив скорость. Буриевой Талгатович испуганно оглянулся, словно проверяя, не подслушивает ли кто за спиной. Повернул к сыну изумленное, вытянувшееся лицо.

— При чем тут Хабибов? — спросил с искренним удивлением и даже растерянностью. — Насколько я знаю, твою мать... Неужели Хабибов? — протянул потрясенно, и глаза встревоженно забегали. — Вот это новость!

Сдвинув в глубоком раздумье брови к переносице, дернул рычаг скорости, и машина прыжком рванулась вперед.

— Подожди, а откуда ты знаешь про Хабибова? — словно очнувшись, спросил недоверчиво. — Откуда такие сведения?

— Он мне сам сказал, — ровным голосом ответил Вахид.

— Хабибов разговаривал с тобой? — еще больше поразился Буриевой Талгатович. Всем телом повернулся к сыну, отчего «Волга», вильнув, чуть не вылетела на пешеходную дорожку. Приказал: — Выкладывай! Когда, о чем, где он с тобой говорил?

Вахид развалился на сиденье, поглубже утонув в нем, и короткими, отрывистыми фразами рассказал о событиях ночи.

Буриевой Талгатович слушал сосредоточенно, не перебивая. Долго молчал, когда сын закончил рассказ, потом, словно размышляя вслух, заметил вполголоса, не считаясь с тем, что сказанное может обидеть Вахида:

— Странно. Обычно он такую мелочь, как ты и твоя мать, не замечает. А тут...

В психушку отправил, до беседы с тобой снизошел. Очень странно. Надо выяснить, обязательно выяснить, что за этим кроется. — Опять помолчал, хмурясь и покусывая верхнюю губу. — Говоришь, он упоминал Насырова?.. Придется еще раз поуплыбаться этому милицейскому ничтожеству, позондировать деликатненько: может, знает, в чем дело?

— Лучше поинтересуйся у него, есть смысл мне подавать заявление, что нас обокрали, или это бесполезно? — сердито спросил Вахид.

— Вас обокрали? — Буриной Талгатович с веселым удивлением глянул на него. — Я не заметил этого. — Хмыкнул пренебрежительно. — Да и что у вас брать? Разве что аппаратуру? Но она на месте. — Перехватив вопросительно-непонимающий взгляд сына, объяснил: — Я был вчера у вас. Ключ взял у Евы, ей его медики «скорой» отдали. — И, чтобы уйти от щекотливой темы (некрасиво все-таки, что заходил в квартиру: может сложиться впечатление, будто что-то высматривал, вынюхивал тайком), полюбопытствовал подчеркнуто насмешливо: — Так что же у тебя украли? Дневник, самиздатовскую литературу?

— Деньги. Все, что ты мне давал, — мрачно буркнул Вахид. И неуверенно предположил: — Может, Ева Семеновна взяла? Когда мать возили...

— Нет! — решительно отрубил Буриной Талгатович. — Ева глупая, завистливая женщина. Конечно, на работе она ворует, хотя и не считает это воровством. Но вне работы она законопослушная, благонамеренная дура. И я удивлен, что ты не понял этого. Это, во-первых. — Сделал паузу. Продолжил поучительным голосом: — Во-вторых, Ева трусиха. Мирок ее, как мирок всякой обывательницы, ограничен. Чтобы заполнить информационную пустоту, живет она сплетнями и слухами о грабежах, убийствах, драках, на худой конец: чем страшней, тем лучше. Поэтому она даже и не входила в вашу квартиру. Позеленела от страха, затряслась. «Нет, нет, Буриной Талгатович, вы уж один, пожалуйста, — вкочущим голосом передразнил соседку. — Там Гульнора Саматовна умирала, так мучилась, так страдала — не могу, и не просите».

При этих словах у Вахида отлила от лица кровь, он сцепил на коленях пальцы, до боли стиснул их. Но отец не обратил на него внимания.

— Я видел: Ева не притворялась, она действительно боялась, — убежденно подчеркнул Буриной Талгатович. — Сказала мне, что даже с милиционером, который проводил расследование, к вам не пошла. Она отдала ему ключ, а в квартиру... — И смолк. Лицо стало напряженно-задумчивым, ноздри дрогнули, губы сложились в презрительную усмешку. — Я спрошу у Насырова, — пообещал угрожающе, — непременно спрошу... — чуть не сказал: «кому он поручил дознание о твоей матери», но вовремя удержался: зачем вызывать у сына подозрения, настаивать его против милиции, он и так из-за их произвола пострадал, — ... стоит ли подавать заявление? Боюсь, что дело это бесполезное, — добавил с сомнением. — Скажут: а были ли деньги, а не дурачим ли мы их, а почему жулики из вещей ничего не взяли? Конечно, заставить начать расследование можно, но... — И только сейчас сообразив, высоко взметнул брови. — Постой, постой, так ты без единой копейки остался, что ли?

Вахид вяло пожал плечами.

— Фу ты! — Буриной Талгатович выругался. — Болтаю неведомо о чем, лекции о психологии обывателя читаю, когда сын... когда сыну... — Достал из кармана пиджака бумажник, протянул Вахиду. — Возьми. На первое время, думаю, хватит... Все, все бери! — прикрикнул, увидев, что сын неуверенно вытянул из бумажника лишь одну пятидесятирублевку.

Вахид поразмышлял, потом неуверенно, несмело забрал все ассигнации. Приторно нахмурился, чтобы скрыть радость: с деньгами порядок, теперь осталось выяснить, насколько отец обаял главврача, сумеет ли, если понадобится ради матери, перекрыть влияние Хабибова?

— Прости меня, — извиняющимся тоном попросил Буриной Талгатович, сунув пустой бумажник обратно в карман. — Совсем я что-то поглупел. Ты ведь, наверно, со вчерашнего для ничего не ел? Проголодался, пожалуй, как варан, а мне и дела нет. Поехали в «Урюкзор» к Сухробу? Пообедаем, поговорим вволю.

«Волга» пылила уже по Хамзинской, и Буриной Талгатович начал было притормаживать, чтобы свернуть в боковую улицу и укатить в свой любимый ресторан, но Вахид, положив ладонь на руку отца, удержал его.

— Потом. Как-нибудь в другой раз, хорошо? — Сделал озабоченное лицо. — Мне в институт надо. Два дня не был. Боюсь, на ковер вызовут.

Буриной Талгатович уважительно глянул на него, посерьезнел.

— Институт — дело святое. Снимаю предложение. Потом позвони мне.

За квартал до института остановил машину: сын не разрешал подъезжать ближе, не любил, как он выражался, пижонить.

Вахид, раздумывающий о том, надо ли еще раз, уже как сыну самого Буриной

Талгатовича Латыпова, встретиться с Низамовым, чтобы узнать, какой диагноз придумали матери, чем это ей грозит, или намекнуть отцу, пусть тот сам выяснит у главврача, неуверенно открыл дверцу.

— А что будет с матерью, когда ее выпишут? — спросил резко. — Она так и будет считаться... больной?

Буривой Талгатович пошевелил, поиграл пальцами, сжимающими руль.

— Из органов ее, скорее всего, попросят, — предположил неохотно. — А все остальное... Я договорюсь с Низамовым, он даст справку, что у твоей матери было просто нервное переутомление. И никаких «психических расстройств»! Доброжелательное заключение врачей гарантирую, так что, на работу она устроится! — пообещал твердо. — В крайнем случае, если Низамов заупрямится, нажму через Хабибова. Он, если я тебя правильно понял, против твоей матери, против нее лично, ничего не имеет. Это хорошо, — голос его стал замедленным, тягучим: Буривой Талгатович перебирал вслух варианты. — То, что велел привезти тебя к себе, тоже обнадеживает, хотя в этом, учитывая его взгляды, и есть что-то нелогичное. Одно бесспорно: к тебе он настроен не враждебно, даже, может, лояльно. — Оживился, заерзал возбужденно. — А что? Надо будет использовать и это. Скажу: ты переживаешь за мать, скажу: как же ты будешь жить, если она, побывав в психушке, не сможет найти приличную работу?

— Скажи ему еще, что он, как пишут в школьных сочинениях, мой идеал, герой, с которого хочу брать пример. — Вахид негромко, издевательски засмеялся. Высунулся наружу, глухо, без выражения, пробормотал, не обернувшись: — Я много, я долго думал. Если ты дружишь с такими людьми, которые мать... которые меня, то... — перевел дыхание, закончил вовсе уже еле слышно: — не знаю, смогу ли я теперь называть тебя отцом.

Выскользнул из машины, хотел захлопнуть дверцу, но Буривой Талгатович, упав набок, уперся в нее ладонью.

— Что ты сказал?! Мальчишка! — выдохнул он пораженно. И, свирепея, взвинул интонацию: — Я тебя от тюрьмы спас, а ты!

— Спас? — Вахид пригнулся к кабине, люто поглядел отцу в глаза. — А кто меня туда засунул, кто мать в дурдом упрятал? Твои приятели! Я их ненавижу, а значит, разговаривать с тобой...

Уловив момент, когда отец негодуя вскинул ладонь, приказывая замолчать, с силой хлопнул дверцей. И, опустив голову, ссутулясь, быстро пошел по тротуару, ни разу не оглянувшись.

Успокоился только во дворе института. Удивился: почему оказался здесь, что тут делать? На душе было погано. «С чего нахамил отцу? Его не переделать. Да и не виноват он, что приходится общаться со всякой сволотой. Если так устроена жизнь, если без этого нельзя, при чем тут он?»

— Вахид! — негромко и радостно окликнули его.

Он оглянулся на голос. Со скамьи под тополем быстро, точно подброшенная, поднялась Майрам — тоненькая, гибкая, в легком светлом платье, лицо сияет. Сделала непроизвольный, порывистый шаг навстречу и смутилась.

— О-о, Маечка, — Вахид заулыбался, придал голосу восторженную интонацию, как делал, уже не замечая этого, всегда, разговаривая с девушками, даже с теми, кого видеть не хотелось. — Привет! — С развязной непринужденностью подошел к ней. — Как ты кстати. Ты-то мне как раз и нужна. — («Чего мелю? Зачем она мне?») И нашелся. Спросил озабоченно: — Рустама здесь, в институте?

— Да. Хотя, не знаю. До обеда был. А потом не видела. — Майрам несмело подняла глаза. Задержала взгляд на стриженной голове Вахида, и зрачки ее расширились. — Ой... а где ты пропадал? Я... то есть мы с девочками, — поправились торопливо и покраснела, — звонили тебе, даже приходили к вам. — Понирила голос до шепота. — И Рахмона Хашимовна тобой интересовалась, спрашивала, где ты? Я вот... сижу здесь, чтобы предупредить. — Покраснела еще больше, поинтересовалась обеспокоенно: — С чего бы это она? У тебя что-нибудь случилось?

— С чего ты взяла? У меня все в ажуре, — Вахид беззаботно засмеялся, хотя сердце обложило холодком: зачем он понадобился деканату? — Рустама увидишь, передай, что он мне нужен, — попросил деловито. — Скажешь ему, что я жду у дяди Жоры.

— Передам, — с готовностью пообещала Майрам. — О чем задумался? — голос ее стал обеспокоенным. — Что случилось?.. У тебя глаза стали какие-то... нехорошие, недобрые.

— Глаза? — Вахид перевел на нее взгляд. — Не выдумывай, психолог. Глаза как глаза. — Положил ладонь ей на плечо, слегка сжал его. — Пока!

И направился со двора. Нарочито медленной и праздной походкой, потому что знал — Майрам напряженно и вопросительно смотрит вслед и будет так смотреть, пока он не скроется из виду, но мысли его были уже не о ней и не о Рустаме даже.

Думал о бильярдной, и сердце тревожно-сладко обмирало — наверняка встретит там двух приبلатненных, которые дали против него показания в райотделе, а может, и провокатора Трофимыча. И что тогда? Сделать вид, будто ничего не было? Не замечать их? Посматривая этак высокомерно, гонять как ни в чем не бывало шары? Или проучить этих подонков?

Он был уже около бильярдной. Замедлил шаг, поколебался: может, все-таки не стоит ничего затевать? Уловив слабый запах дымка и жареного мяса, обрадовался: «Надо подкрепиться. Сколько же можно голодать, я ведь не йог». Свернул в боковую аллею, направился на запах, но чем ближе подходил к кафе-павильону «Отдых», тем сильнее ухудшалось настроение — понимал, что, несмотря на взывавший аппетит, на самом-то деле просто-напросто тынет время. Обозлившись на себя за это, Вахид хотел было уж вернуться, заглянуть в бильярдную, посмотреть, там ли те двое приبلатненных. Если да, то... видно будет по обстоятельствам; если нет, перекусит с чистой совестью. Но пахло так вкусно, «Отдых» был совсем рядом. «Ладно. Расслаживаться не стану. Перехвачу что-нибудь наскоро и уйду».

Через балюстраду большой открытой веранды с алюминиевыми столиками видно было, что очередь к кассе и окну раздачи — минут на двадцать. Вахид шепотом выругался. Неохотно подошел к мангалу. И насторожился — к буфетной стойке подошел худой, патлатый парень. Во рту у Вахида пересохло. «Один из тех?.. Точно! — Вахид вытер о брюки вмиг вспотевшие ладони. — Значит, судьба».

— Скажете, что я за вами, — негромко попросил, неизвестно зачем, женщину и, не посмотрев на нее, чувствуя, как накачивает хищноватый азарт, как напряжились мышцы, быстро пошел на веранду.

Остановился рядом с патлатым, обвел праздным взглядом буфетные полки — коньяк, папиросы, печенье, конфеты, — покосился на парня: да, все верно, тот самый, папиравый. Повернулся боком к стойке, навалился на нее, упершись локтем, и бесцеремонно усталился на патлатого. Тот, ожидая буфетчика, скучающе постукивал ребром металлического рубля. Равнодушно и мельком взглянул на Вахида, потом, почти сразу же, еще раз — уже внимательней, пристальней.

— Кентуха, ты? — Он неуверенно заулыбался и, убедившись, что не ошибся, радостно всхрюкнул: — Отмазался? Выскочил? Я сначала тебя из-за черепушки не узнал. — Хотел погладить Вахида по голове, но тот, качнувшись назад, отбил руку, и парень перестал улыбаться. — Ты чего, в обиде, что ли? — Он нахмурился. — Права качать собрался?

— А где твой приятель? — отрывисто спросил Вахид.

И, проследив за взглядом патлатого, увидел второго, стриженного. Тот, подергивая плечом, чтобы поправить ляжку замызанной спортивной сумки «Авторалли», выскочил из очереди к раздаточному окну. Заторопился сюда, к буфету. Поза угрожающая, брови сдвинуты, глаза свирепые. На миг в них появилась растерянность, и Вахид понял, что стриженный узнал его: он распрямился, пошел спокойней.

— Что за дела, Серый? — снисходительно, втягивая поинтересовался у патлатого, не глядя на Вахида. — О чем базар?

— Да вот, малый вроде бы возникает. — Серый явно почувствовал себя уверенней. — Бочку, как я понял, катит на вас. Помнишь его, Чомбе?

Стриженный медленно повернул голову, дерзко уставился в глаза Вахида, но тот взгляд выдержал. Усмехнулся.

— Я читал ваши показания в ментовке, — сказал как можно спокойней. Цокнул презрительно языком. — Меня, значит, подставили, а сами сквозанули, дешевки?

— Ну ты, стремный. — Лицо патлатого налилось кровью, отчего прыщи взбухли и побагровели. — Давно пачку не получал? Могу устроить.

Растопырив пальцы, стал медленно поднимать руку, но стриженный резко стукнул по ней.

— Заглохни! — Оглянулся на раздаточное окно. — Н-ну, сука, очередь подходит. Иди, встань вместо меня, — приказал Серому. — Мой поднос вон у той телки. Видишь?.. А мы пока потолкуем. — Подождал, когда растерявшийся, недоуменно оглядывающийся патлатый отойдет, развязно попросил Вахида: — Давай без обиды, кореш. Я же не спецом тебя сдал.

«Надо было сразу, без разговоров, звать их на улицу. Сейчас они начнут жрать, и что же, ждать их?» — Вахид представил, как терпеливо сидит в сторонке, чтобы, когда эта парочка насытится, деловито отправиться с ними, бить их. А может, угаснуть? «К врагам матери, к Хабибову тоже, может, угаснуть? — чтобы не расслабиться, не потерять настроя, язвительно спросил себя Вахид, и... дыхание перехватило, в ушах зашумело. — Хабибов!.. Чомбе, Серый и Хабибов!» Он испуганно глянул на стриженного, как будто тот мог догадаться об осенившем, озарившем его. Но шпаненьши смотрел в сторону — следил за своим дружком, цедя все тем же пренебрежительно-покровительственным тоном:

— Век лес валить, если вру: зажали меня менты, в угол приперли. Я только-только откинулся, еще воли толком не хлебнул и опять на нары? Опять на какую-нибудь стройку века, опять БАМ по мозгам? Ну и подмахнул на тебя бумагу...

«Выгорит? — лихорадочно прикидывал Вахид. — Если аккуратно, без пережима, должно получиться. Только некрасиво как-то, нечестно. А они со мной честно? — прикрикнул на себя. — Жалеть их, шваль всякую?»

— За такое, знаешь, что бывает? — поинтересовался подчеркнуто зловеще. — Да тебя в зоне за такие подлянки...

— Но ведь ты не сел, выплыл, — стриженный страдальчески скривился, отчего лицо его пошло частыми и глубокими морщинами. — Давай забудем. Вмажем мировую, — хлопнул по сумке, — и разлетимся полюбовно.

— Я пью только с друзьями, — придав голосу неуверенность, словно бы раздумывая, словно бы готовый согласиться, сказал Вахид.

— Делов-то... — стриженный с облегчением засмеялся. — Всадим, глядишь, может, еще первыми, самыми лучшими, корефанами станем. До гроба.

— Чего вам? — тенорком спросили за спиной.

Вахид и стриженный враз оглянулись: молодой, толстый буфетчик равнодушно смотрел на них.

— Отвали, колобок, а то я тебя съем. — Стриженный схватил со стойки стакан, улыбнулся буфетчику. Кивнул Вахиду. — Поканал? Видишь, Серый уже на понос исходит.

Придерживая сумку, заспешил к дальнему столику, на который патлатый, поглядывая в сторону буфета, выставлял еду. Вахид вынул из кармана бумажник, достал рубль, положил его перед буфетчиком.

— За стакан. Прости того дурака, друг, — повел головой в сторону стриженного. — Обижаться на всякую скотину — здоровья не хватит.

Не торопясь, двинулся к Чомбе и Серому. Оценивающе глянул на стол: три пустых стакана, тарелочки — дряблые ломтики желтых огурцов, все самое дешевое, копеечное. «С деньгами у них жидковато», — отметил удовлетворенно. Сел верхом на стул, положил руки на спинку.

Насупившийся патлатый, настороженно посмотревший на него, когда он подходил, снова пригнулся — открывал зажатую в коленях бутылку.

— Ну, что делать будем, стукачи? — насмешливо спросил Вахид. — Заложили меня, надо расплачиваться.

Патлатый вскинул голову так резко, что волосы взметнулись; прыщи на опять побагровевшем лице его заалели.

— Все, ты меня заколебал! — Он через стол сунул стриженному бутылку двухрублевого вермута, решительно встал. — Пошли! Разборка так разборка. Посмотрим, какой ты крутой на деле.

— Не гоношись, Серый! — прикрикнул стриженный. — Хоть крути, хоть верти, а мы продали его. Прикрылись им. Узнает кто, на вилки поднимут. Но и ты, корешок, — поднял на Вахида тяжелый взгляд, — не баклань. «Дешевки», «стукачи» — этим не разбрасывайся. Учти на будущее. Твое счастье, что мы замазаны, а то бы... — И начал разливать вермут в стаканы. Закончив, подтолкнул один к Вахиду. — Давай делай, всаживай. За мир и дружбу, — и снова изобразил улыбку, обнажив порченные зубы.

Вахид посмотрел вино на просвет, понюхал его, отставил стакан.

— Брезгуешь? — стриженный набычился. — За падло считаешь с нами? Спецом заводишь нас?

— Этим только травиться, — Вахид щелкнул по стакану. — Если уж пить, так что-нибудь путное.

— Ну так поставь путевое, — нагло потребовал патлатый.

— Поставлю, — Вахид лениво поднялся со стула.

Барственной вальяжной походкой подошел к буфету.

— Сейчас я буду спаивать тех гадов, — серьезно сказал парню за стойкой, который задумчиво смотрел на Чомбе и Серого. — У меня с ними свой разговор. Так что ты, друг, не вмешивайся и своим скажи, чтобы не приставали. Дай для начала бутылочку коньяка и на закуску... — Посмотрел на витрину. — Мяса вон того нарежь, колбасы, сыру. — Достал отцовские деньги, поднял их над стойкой, отметив удовлетворенно, что буфетчик уважительно покосился на пачечку. Протянул ему пятидесятирублевку. — Если еще и сможешь, организуешь на кухне что-нибудь съедобное, ну, то, что для себя готовите, — шашлычок там, плов, домляму, что сможешь, спасибо скажу. — Положил на стойку двадцатипятирублевку. — Это повару. — Взял услужливо поданную бутылку. — Остальное, не в службу, а в дружбу, принеси, пожалуйста, сам. Мне надо, чтоб у тех шакалов шары на лоб полезли и от жратвы, и от сервиса. Понял?

— Хорошо, брат. Понимаю. — Буфетчик прижал ладонь к сердцу, слегка поклонился. — Все сделаю, как надо, не беспокойся.

Вахид заговорщически подмигнул ему.

Вернулся к столику. Патлатый со стриженным, конечно, уже выпили, правда, вермут в третьем стакане не тронули и теперь жадно, неопрятно ели свои огурцы, кильки, котлеты — все сразу, тыча вилки то в одно, то в другое. Появление коньяка встретили радостно.

Вахид сжал губы, чтобы не усмехнуться. Буфетчик подошел с уставленным подносом. Чомбе и Серый захихикали.

— Вы ешьте, ешьте, — серьезно попросил Вахид. — А то развезет.

— Не бойсь, глупенький Буратино, — забубнил сонно Серый: его заклинило на сказке про деревянного человечка. — Это первый приход, щас ровный кайф покатит. — Дернулся от отрыжки, принялся ловить пальцами ломтик буженины. — А ну-ка, фраерок Буратино, раскальвайся, где золотой ключик? — Язык его заплетался, но Вахиду показалось, что патлатый притворяется: переигрывает. — С тобой?.. И бабки, которые бородатый хмырь, как его?.. Баркас-Карабас для папы Карлы дал, тоже с тобой?

«Так. Пора. Ключули». Вахид поглядел назад. Прищелкивая пальцами, помаhal рукой, чтобы привлечь внимание буфетчика, который наливал сок двум девочкам. Буфетчик увидел, мотнул головой: понял, понял.

— А тебе что, бабки нужны? — повернувшись к столу, снисходительно поинтересовался Вахид у патлатого, но следил искоса за стриженным. — Могу выдать. Только их ведь просто так, за красивые глаза не дают.

Чомбе, лениво жевавший колбасу, перевел взгляд с куска на Вахида, и в глазах его появилось любопытство; Серый опять вскинул голову.

— Можешь? Без балды? — кривя рот, ехидно спросил он. — Рубчик на бедность отвалишь? А два на бомбу краснухи можешь?

— Могу и рубчик, могу и два, — смакуя нарзан, спокойно ответил Вахид. — А вот если больше... Больше надо заработать.

Лениво потянулся к бутылке. Стал неторопливо наливать в стаканы стриженного и патлатого, ожидая, когда до них дойдет сказанное.

— Кого-нибудь на уши поставить? — первым сообразил Чомбе.

Вахид поощрительно улыбнулся: в точку, мол, попал.

— Есть один боров, — он неглубоко и грустно вздохнул. — Цеховик. Мы с ним на пару скальмили, а при дележке он меня киданул.

Патлатый, пьяно приоткрыв рот, не мигая, уставился на Вахида, а стриженный перекачнулся на стуле, заелозил.

— Цеховик? Наваристый? — И когда Вахид, закатив глаза под лоб, разведя руки, всем видом своим показал: нет, дескать, слов, Чомбе, тихо, вкрадчиво засмеялся, точно замурлыкал. — Давай наколку на своего подельника, — потребовал, оборвав, точно откусив, смех. — Ходы-выходы, подход.

— А бабки? — Серый тряхнул головой, отгоняя сонную одурь. Прилежно нахмурил лоб, чтобы выглядеть грозным. — Мы что, будем пахать на твой интерес за это вот? — пренебрежительно повел рукой над столом.

Вахид, откинувшись, полез в карман, и в это время подплыл буфетчик с подносом. Лицо его было ласковым и предупредительное. Пока он ставил перед каждым тарелки с расплюснутыми, золотисто-коричневыми курами, истекающими соком, исходящими дразнящим запахом и жаром, пока пристраивал на середине стола большую салатницу с соусом, Вахид достал отцовские деньги — медленно, демонстративно, чтоб стриженный и патлатый могли прикинуть, сколько в пачечке. Сработало! Серый протрезвел, быстро облизнул губы, прыщи его побелели; у Чомбе раздулись ноздри, словно он принюхивался, под мочками приплюснутых ушей вздулись желваки. Буфетчик, приотвернувшись так, чтобы его видел только Вахид, сделал неодобрительные, предупреждающие глаза, но Вахид посмотрел на него беззаботно, безмятежно. Положил на поднос очередную двадцатипятирублевку...

— Еще бутылку, пожалуйста. Сдачи не надо. — А когда буфетчик, еле заметно покачав с осуждением головой, отошел, Вахид вытянул из пачечки две сторублевки. Одну припечала к столу около Чомбе, другую положил рядом с тарелкой Серого. — Аванс. Остальные вот эти все, — тряхнул пачечкой, чтобы деньги распушились, — получите потом, когда отработаете. Завтра. — Спрятал деньги в карман. Приподнял свой стакан, притронулся им к стаканам стриженного и патлатого. — Будьте здоровы!

Исподтишка поглядывая по сторонам — не встревожится ли кто за соседними столиками, не станет ли подслушивать? — Вахид скучающим тоном, с остановками, пока пережевывал, пока попивал нарзан, рассказал о Хабибове, умолчав, разумеется, о его могуществе: есть, мол, недалеко отсюда, в районном городишке, началь-

ник-фирмач, миллионами ворочает, живет одиноко, за высоким забором, в доме-дворце.

— Собак держит? — быстро и не скрывая испуга, спросил Чомбе.

Вахид сосредоточился: напоминало ли что-либо о собаках во дворе Хабибова? Серый, наливавший коньяк себе и Чомбе, понял молчание по-своему. Нехотя протянул бутылку к стакану Вахида, но тот прикрыл его рукой.

— Держит, — он улыбнулся. Решил сказать все, что знает, чтобы потом не было, как ляпнул один из этих вот, «претензий». — Только двуногих, кавказцев каких-то...

— Чего? — презрительно оборвал Серый. Он, обрадованный, что Вахид откалзился от выпивки, повеселел. — Кавказцы? Турки? Месхи? Да мы у этих петухов все перья выдерем!

— Точняк. С этим нема делов, — самоуверенно подтвердил Чомбе. — Возьмем на хак. Они только на вид короли, а чуть что — очкуются.

«Что ж, завтра посмотрим, у кого какое очко», — насмешливо подумал Вахид и, чувствуя все-таки угрызения совести, посоветовал не рисковать, а где-нибудь на улице подкараулить Хабибова, — и опять воровато огляделся, но на них не обращали внимания: посетители ели, пили, беседовали о чем-то, — покараулить и напугать, бить не надо, только напугать, ну, в крайнем случае, дать разок-другой по роже, и смываться, обязательно смываться, тут же, сразу же. Парни только фыркали, похмыкивали, хихикали. Они вдвоем прикончили уже бутылку, принялись за вторую, которую принес буфетчик, жрали все подряд, вытирали ладонями жирные губы, курили, гася окурки в тарелках. Вахид забеспокоился: пора, пожалуй, отправлять парочку, созрели уже — в дороге дойдут до полной кондиции; если поддерживать, могут и закапризничать, стать неуправляемыми. Оглянулся — на месте ли буфетчик? Может, согласится найти или вызвать такси? Встал.

— Ты за пойлом, Буратино? — бессмысленно улыбающийся Серый радостно осклабился. — Тащи сразу пару флаконов, не жмись.

— Я за папиросами. Курево кончилось, — Вахид показал на скомканную пачку «Беломора» в тарелке с обглоданной курицей.

Вернулся он быстро. Кинул на стол пачку сигарет «Прима», папиросы «Любительские». Опять сел верхом на стул, вцепился в спинку.

— Надо сваливать, — и придал голосу озабоченность. — Шнырь, — слегка повел головой в сторону буфета, — сказал, что скоро менты заявятся. Они, сказал, точные, как часы, не опаздывают: кормятся здесь.

Подчеркнуто встревоженно посмотрел на вход, словно ожидая милиционеров.

— Значит, так. Встречаемся завтра, — негромко, но по-командирски твердо распорядился Вахид. Задумался на миг: надо в институт, потом, может, к отцу заскочить. — После трех у... — и как только вспомнил об отце, вырвалось непроизвольно: — у Сухроба. Ресторан «Урюкзор».

— Схвачено: кабак «Урюк» у сугроба, — Чомбе, набросив со второго раза ремень сумки на плечо, с трудом встал, пошатнулся. Поднял голову. — Чего лешишь, какие летом сугробы? — С подозрением посмотрел на Вахида, потом, исподлобья, на патлатого. — Знаешь, где это?

— Само собой, — Серый неумело изобразил бывалого.

Обнявшись, натыкаясь на столы, сшибая пустые стулья, побрели они вслед за Вахидом.

Ни такси, ни частники, сколько ни вытягивал руку Вахид, даже не снижали скорости — наверное, водителей смущала, настораживала подозрительная парочка: Чомбе и Серый. И лишь когда Вахид попросил парней отойти в сторонку, наконец-то остановилась голубоватая «Волга» с загадочной надписью «технологическая» на борту. Вахид, заискивающе глядя в лицо шофера, объяснил, куда надо ехать и, когда в глазах водителя появилось сомнение, готовое вот-вот вылиться в отказ, торопливо пообещал оплатить дорогу в оба конца.

Патлатый и стриженный суетливо полезли в машину, уважительно поглядывая то на шофера, то на Вахида. Он захлопнул за ними дверцу, и «Волга» умчалась.

Вахид с облегчением проводил машину взглядом. Жалости к Чомбе и Серому не испытывал — он предупредил, сказал о телохранителях Хабибова: не вняли, раздухарились, поэтому пусть выкручиваются сами. И вдруг мелькнула мысль: а что, если приоблаженной парочке все-таки удастся напасть на Хабибова, а потом благополучно ударить? Допустим, сумеют подкараулить его одного, шарахнут какой-нибудь железякой или камнем, оглушат, обшарят и — безнаказанно скроются. Хабибов наверняка обвинит в этом его, Вахида. Впрочем, он в любом случае — удастся или не удастся хоть что-то Чомбе и Серому — будет убежден, что это его, Вахида, затея, его месть.

Ему стало не по себе. «Зря я, пожалуй, все это заварил, — подумал безрадостно. — Но... тепер уже ничего нельзя изменить».

Увидев приближающееся такси, непроизвольно поднял руку.

Поехал домой, но, волей-неволей прикидывал, что же предпримет Хабибов — скорей всего, опять придет на квартиру своих мордovorотов, — хотел было свернуть к отцу, чтобы запрятаться у него, отсидеться, и вспомнил, что поссорился с ним.

Устав, измучившись от этих дум, Вахид расплатился с таксистом, уныло побрел в подъезд и только теперь вспомнил, что назначил Рустаму встречу в бильярдной. Обрадовался — друг обеспечит алиби, скажет, что весь день были вместе. Но тут же опять сник: а Чомбе и Серый скажут, что был вместе с ними. И не оставляющие, не покидающие мысли о шпане, о Хабибове опять пошли по кругу.

На лестничной площадке Вахид, подумав недолго, позвонил соседке — надо все доводить до конца. Но когда дверь не открылась, не очень огорчился, даже, скорей, обрадовался — и разговаривать с Евой Семеновной не хотелось, и выяснять, если честно, нечего: и мать, и отец без колебаний заявили, что Ева ни при чем.

У себя Вахид бесцельно поспонялся по квартире, оттягивая время — надо бы позвонить отцу, извиниться, помириться.

Нехотя взял телефон, сел на диван. Нехотя набрал номер. Длинные гудки. И — юный женский голос:

— Квартира Латыповых... (Вахид, точно ожегшись, чуть не бросил трубку, но сдержался. Может, Юлдуз окликнет: «Буриджон, это вас, наверно».) Вахид, это ты?.. Почему молчишь, я знаю что это ты... У тебя все в порядке?.. Откуда ты звонишь? Что передать папе?

Вахид положил трубку. Сдержал стон — представил молодое, почти девчачье лицо Юлдуз, потом осунувшееся, в круге теней вокруг ввалившихся глаз, лицо матери, потом снисходительно-уверенное лицо отца. Он, наверное, задремал, потому что увидел, как лицо отца приближается, надвигается, неуловимо превращаясь в лицо Хабибова, искаженно выпяченные, толстые, растянутые — так бывает в кино- и телесъемках, когда камера с сильным объективом подвезжает почти вплотную к говорящему — губы сложились в толстое, мясистое кольцо, принялись выталкивать короткие, пронзительные вскрики...

Вахид, проснувшись, тупо посмотрел на трезвонивший телефон.

— Да! Слушаю! — И обрадовался. — Я, я, мам! Конечно, я, кто же еще? Голос? — переспросил непонимающе. Выслушал, засмеялся. — А, это... Сижу, занимаюсь, к экзаменам готовлюсь, одурел совсем, вот и перехватило горло, охрип... Да нет же, нет, все в порядке, ничего не случилось. Что может со мной случиться?..

Но Гульнора Саматовна, опасаясь, что сын начнет фыркать, хмыкать осуждающе — ты, мол, как темная бабка, в какие-то предчувствия веришь, — не стала объяснять, что часа полтора назад почувствовала беспокойство, переросшее в убежденность: с ним, Вахидом, что-то неладно, что-то не так. И ведь сама понимала, что это глупость, что вроде бы нет причин волноваться — сын на свободе, арест его не повлечет, очевидно, плохих последствий, деньги у него есть, а значит, голодать не будет, — но с каждой минутой становилось вся тяжелей на душе.

— Все, сыночек, до свидания, — заторопилась Гульнора Саматовна. — Мне из любезности разрешили позвонить, нехорошо злоупотреблять... Да, да, и ты тоже... Спасибо, родной, не беспокойся, не буду, не буду... До свидания, мой мальчик, до свидания, дорогой. — Положила трубку.

...В палату Гульнора Саматовна вернулась, неся и на лице, посвежевшем, помолодевшем, и в душе успокоенность: у сына все хорошо, сидит дома, к экзаменам готовится, сказал, что происшедшее с ним решил вычеркнуть из памяти, забыть, словно ничего и не было, а значит, — можно не бояться за него, не мучиться; жизнь, так нелепо и страшно взорванная в пятницу злыми силами, возвращается в свое русло, жизнь продолжается.

Чтобы остаться наедине со своими новыми, бестревожными думами о Вахиде, Гульнора Саматовна опять легла на кровать — вытянулась расслабленно лицом вверх, руки вдоль тела, на губах улыбка, глаза устремлены в потолок. И уснула. И впервые за все дни, проведенные в больнице, не видела снов...

Заснул и Вахид. После разговора с матерью он без колебаний выдернул штепсель телефонного шнура из розетки: пусть и отец, и хабибовские головорезы, если захотят позвонить, чтобы узнать, дома ли он, думают, что его нет. Устал держать себя в напряжении, выдохся. Сутки были, как ежесекундное балансирование на острие лезвия, как непрерывное испытание на прочность нервов, — столько оказалось в эти двадцать четыре часа намешано, натолкано: одно опасней другого. Хватит! Гори все синим пламенем, надо отдохнуть, перевести дух.

Он прошел в свою комнату, плюхнулся плашмя на постель, лицом в подушку. И — словно в черную, беспросветную яму провалился.

Требовательный звонок подбросил Вахида. Он ошалело озирался: где, что трезвонит? Но уже в следующую секунду, сообразив, что находится в своей комнате, вспомнил все, и внутри, под ложечкой, словно оборвалось: «Спекся! Пришли!.. Кто? Милиция? Хабибовцы? Отец?» Взгляд мимоходом зафиксировал, что за окном буйствует солнце — значит, утро уже, новый день. «Долго же они собирались, — тут же отметил мозг и, обретя ясность, мгновенно выдал анализ: если хабибовцы, — могли бы войти сами, как в прошлый раз; если отец, — может взять ключ у Евы Семеновны».

Звонок смолк. Потом потренировал еще несколько раз, но уже не так уверенно и бесцеремонно.

Вахид сорвался с постели, бесшумно выскочил в коридорчик. Прижался ухом к двери: пойдет звонивший или звонившие, если их несколько, к соседке, значит, это отец или милиционеры, которые вдруг да захотят поинтересоваться у Евы о нем, Вахиде. Впрочем, к ней могут заглянуть и хабибовцы: старший кавказец в ту ночь явно у нее был.

Одиночные шаги затихали, удаляясь, — кто-то спускался по лестнице.

Вахид метнулся в кухню. Спрятался за шторкой, вытянул шею, глядя вниз за окно. Из-под бетонного козырька подъезда вышел парень: черный шар головы, желтая рубашка с погончиками, серые брюки. «Рустам?.. Ну точно, конечно, он!» Рустам развернулся, задрал голову и, прижав ладонь ребром над глазами, посмотрел сюда, на окна Латыповых. Вахид, облегченно выдохнув, распахнул створку, высунулся наружу, замахал рукой, приглашая войти. Друг расплылся в улыбке, кинулся назад, в подъезд.

Уже в коридорчике он, восторженно облапив Вахида, будто сто лет не виделись, затараторил: где, мол, ты пропадал, куда запропастился? Разжал руки, захохотал, показывая пальцем на голову Вахида.

— Что это у тебя с башкой? Рокером, что ли, стал? А может, панком? Тогда надо было ежик оставить, такой, знаешь: волосы дыбом, будто фильмов ужасов рассмотрелся. Вот бы все укатались со смеху...

— Ты чего в такую рань? — Вахид развернулся, направился в ванную.

— Какая рань?! На часы посмотри. Полдень уже!

Рустам следовал за Вахидом и, перескакивая с одного на другое, принялся болтать без умолку. О том, что достал классные кассеты — сейчас на Западе набирает силу новое, у-у, обалдеешь, направление: хард-рок и хэви-металл; о том, что звонил-звонил все эти дни, вчера даже приходил сюда, Рахмона посылала, велела узнать, почему на занятиях не появляешься: о том, что набрался нахальства, позвонил даже Буривою Талгатовичу, «чтобы узнать, что с тобой», но секретарша не соединила, хотел было уже, совсем обнаглев, записаться к нему на прием, но вчера встретил Маечку, она успокоила.

— Кстати, почему в бильярдную не пришел? — вспомнил он. — Я ждал почти до закрытия. Спросил у дяди Жоры: был ты или нет? А он дурачком прикинулся, сделал вид, будто не знает тебя, а глазенки так и бегают. С чего бы это он? Какая между вами контра произошла?

Вахид, чистивший зубы, покосился на Рустама в двери, пробубнил что-то невнятное; Рустам умолк на миг, приоткрыл рот, пытаясь разобрать сказанное, но через секунду-другую, забыв, видимо, о своем вопросе, опять завел восхищенно, взхлеб, о хард-роке, о каких-то металлистах...

— Так что ты там говорил про деканат? — сильно вытираясь полотенцем, бесцеремонно перебил друга Вахид.

Рустам, точно подавился, отвел глаза, смущенно почесал макушку.

— По-моему, они за что-то взъелись на тебя. — Он удрученно вздохнул. — Нафиса сказала, что если сегодня не придешь, напишет приказ о твоем отчислении. Говорит, за прогулы... Какие прогулы?! У нас половина группы не ходит, и никого это не волнует.

«Неужто деканше капнули на меня из милиции? — испугался Вахид. — Или на мать?.. Сошла, дескать, с ума. Вот и зашустрили. Но при чем тут мать? Мать-то при чем?!» Он посмотрел на себя в зеркале — глаза смятенные, но лицо неподвижное, бесстрастное; подался к отражению, пощупал уже еле заметную ссадину, провел ладонью по щекам.

— Скажи, что видел меня, — попросил глухо. — Скажи, что болею.

— Говорил, не верят, — отмахнулся Рустам. — Рахмона так прямо взвилась, вруном меня обозвала. Приказала готовить собрание, чуть ли не образцово-показательный процесс по твоему вопросу. «Какому вопросу?» — спрашиваю. «Там

узнаете, — заявила, да так злорадно. — Сама доложу!» Может, Основной Закон телегу на тебя наката?

— Может быть, — равнодушно согласился Вахид, размешивая кисточкой в стаканчике крем для бритья, и едва не усмехнулся. Как давно это было: лекция по политэкономии, дурацкая реплика про прибыль, нотация Раджабова. — Хотя, не должен бы. Обещал замять.

— Не должен бы... — Рустам презрительно фыркнул. — Нашел кому верить! Ты что, Хафиза не знаешь? Ему выпал такой редкий шанс идеологическую диверсию обезвредить, политическое дело раздуть, а ты — обещаешь! Наверняка он подгадил. Тем более, что ты — сам же рассказывал, — в дискуссии с ним ввязался, в лужу его посадил. Основной Закон этого ни за что не простит!

Вахид, намыливая пушистой, невесомой пеной щеки, подбородок, быстро взглянул на друга, и тот, поймав этот взгляд, насторожился.

— Или тут что-то другое? Может, чего-нибудь натворил за эти дни? — Округлил глаза, только сейчас догадавшись спросить: — Подожди, а где ты пропадал все это время? Уезжал куда-то?

— Уезжал... Увозили, — Вахид осторожно провел бритвой от виска вниз. Склонив голову к плечу, полюбовался на чистую, четкую полосу обнажившейся кожи. — В тюрьму. — И опять глянул на друга.

У того дернулся кадык, словно Рустам хотел, и не мог что-то проглотить.

Вахид скучным голосом, с долгими паузами, рассказал обо всем случившемся с пятницы. В том числе, постаравшись, чтобы голос звучал уверенно, без сомнений в правоте, и о вчерашней встрече с Чомбе и Серым, о том, что направил их к Хабибову. Изредка поглядывая на Рустам, видел, что тот сначала неуверенно улыбался — не разыгрывает ли друг? — потом на лице его появилась веселая заинтересованность и даже легкая зависть, как у человека, слушающего о лихих приключениях.

— Да-а-а, ну ты и дал... — неопределенно, не зная, очевидно, восхищаться или сочувствовать, протянул он, когда Вахид умолк. Глубокомысленно нахмурился, давая понять, что обдумывает услышанное. — Вряд ли Нафиса и Рахмона из-за этого, из-за милиции, на тебя ополчатся, — предположил уверенно. — Они в понедельник с утра задержались, а к тому времени бумаги на тебя вряд ли пришли. Помнишь, когда Хамид попал, в институте только через месяц узнали... Да не переживай ты, не грусти, — принялся успокаивать, когда Вахид, промывавший бритву, кисло, сам того не замечая, усмехнулся. — С тебя ведь все обвинения сняли, так что о чем речь? Да и мы, если чего, заступимся за тебя, скажем: прекрасный товарищ, скромный, дисциплинированный, ни в чем предосудительном не замечен, отличный комсомолец, принимает активное участие в общественной жизни, ну и все такое...

Вахид делал вид, что не слушает, — плеснул на ладони одеколон, принялся морщась, протирать лицо, пристально глядя на свое отражение, но на душе стало легче, настроение немного улучшилось. Для того, чтобы услышать такие вот бодряческие заверения друга, потому что неосознанно хотелось утешения, поддержки, дать себя убедить, что в деканате не ждет ничего драматического, и поведал Рустаму о том, о чем следовало бы помалкивать.

— Драка это — чушь, мелочь, — жизнерадостно продолжал Рустам. — Это не Основной Закон. Вот если он наклепал, тогда фигово. — Покачал удрученно головой, но, сообразив, видимо, что упоминание о Раджабове может опять вызвать у Вахида мрачные мысли, поспешил перевести на другое. Спросил озабоченно: — А тебе не кажется, что затея с приблатненными — авантюра? Судя по твоему рассказу, Хабибов такая акула, такая зверина, что... — Поежился, точно от озноба. — Не завидую той шпане.

— Я тоже, — насмешливо, чтобы скрыть раздражение, буркнул Вахид. Аккуратно разложил и расставил на полочке бритвенные принадлежности, одеколон. — Так им и надо, — и закончил почти мечтательно: — Чем сильнее намнут бока этим кретинам, тем лучше... Пропусти-ка.

Скользнул мимо посторонившегося, по-новому, удивленно и растерянню, поглядывая на него Рустам.

— Конечно, этих сволочей, парней этих, надо проучить, но ты... но так хладнокровно, продуманно, как ты... Н-не знаю, — друг явно растерялся.

— Оказался бы на моем месте, натыкали бы тебя мордой в дерьмо, знал бы! — свирепо отрезал Вахид. — Махатма Ганди нашелся! Значит, по-твоему, получил по одной щеке, подставь другую? А всякая погань будет торжествовать, так? Ну уж нет, не дождутся! От меня, во всяком случае. Пошли, христосик, гуманист доморощенный!

Решительно направился к двери.

Свернув с площадки второго этажа, чуть не налетел на Еву Семеновну. Она вскинула глаза на него и отпрянула в сторону, прижалась к стене: в глазах — точно

смерть свою увидела, мясистые щеки вспыхнули пунцово. Вахид обрадовался — можно наконец-то хоть что-то выяснить о матери, но сразу же и отказался от этой мысли: не будешь ведь при Рустаме расспрашивать. Замедлил шаг, воспитанно, чопорно поздоровался с соседкой. Та прижала ладони к массивной груди.

— Ну и напугал же ты меня, паршивец! — Тяжело покрутила головой. И просияла, заулыбалась елейно. — Здравствуй, Вахидик, здравствуй, милый. Что-то долго тебя дома не было, ваш почтовый ящик прямо разбух весь, вот-вот лопнет, у папы живешь, да? — Она сделала умильное лицо, осторожно, бочком, поднялась по лестнице. Поравнявшись с Вахидом, вдруг ойкнула, засмеялась радостно. — Что это я, глупая баба, о главном-то молчу?! Про твоего папу ведь в центральной прессе напечатали. Вот, смотри, — лихорадочно расправила зашуршавшую страницу, потыкала пальцем в большую статью «Маяк среднеазиатского общепита». — Очень интересно, содержательно написано, я так рада за Бурикова Талгатовича... Вы «Совторговлю» выписываете? Нет? Тогда забирай эту, мою. — Принялась совать газету Вахиду. — Бери, бери, я на работе читаю.

— Спасибо, неудобно как-то... Я, может, в киоске куплю, — пряча заинтересованность, вежливо улыбаясь, сухо ответил Вахид. Но не смог перебороть себя: взял «Советскую торговлю». — Вечером верну, не беспокойтесь. — И, теперь уже не торопясь, пошел вниз.

— Не надо, оставь себе! — с задержкой выкрикнула вслед Ева Семеновна. — Меня вечером не будет! Я уйду. Я уезжаю. В отпуск.

Но Вахид не прислушивался к тому, о чем говорила соседка. Медленно спускаясь по ступеням, он выхватывал взглядом первые попавшиеся строчки: «волшебство восточной кухни... непередаваемый аромат, пикантный вкус... терпкие пряности, очарование...» — ну, это пустое, лирика; «соцсоревнование... плановые показатели... объем реализации...» — это вообще бодяга; «возглавляемое т. Латыповым Б. Т.», — ага, вот оно! Так, что тут? — «Идеальный руководитель, редкостный профессионализм, виртуозный организатор, глубокие знания, фантастическая работоспособность...»

Вахид посмотрел на фамилию автора внизу статьи — м-да, поусердствовал П. Родин.

Рядом сопел, заглядывая сбоку в текст, Рустам, и Вахиду, хоть ему и было приятно, что отца так высоко и лестно оценили, стало отчего-то стыдно за дифирамбы журналиста. Свернул «Советскую торговлю» в трубку — когда останется один, прочтет обстоятельно, не спеша, — и легко, чуть ли не вприпрыжку, сбежал на первый этаж.

Уже на улице приказал Рустаму прийти к двум часам в «Урюкзор» и Хамида с Шавкатом с собой привести.

— Мало ли что, — пояснил в ответ на вопросительный взгляд друга. — Вдруг да понадобится, как свидетели хотя бы. Заодно и отдохнем, начало сессии отметим.

— Не обещаю... как получится... консультации, — начал было несмело Рустам, но Вахид так посмотрел на него, что он поспешно закивал. — Хорошо, приду, можешь рассчитывать на меня, — пообещал почти твердо и помялся: — А почему сам не пригласишь Хамида и Шавката? Проще ведь.

— Я еще не знаю, что ждет в деканате. Могут и не допустить до занятий, — раздраженно ответил Вахид. — А толкаться по институту до звонка да еще и шептаться с парнями — информация к размышлению для Нафисы.

Оседая на рессорах, подкатил дряхлый автобус. Вахид скользнул внутрь переполненного автобуса, стал отвоевывать пространство для Рустама.

— У нас проездные. Студенческие, — выдохнул удушенно.

На каждой остановке приходилось, пятясь, выбираться наружу, чтобы выпустить выходящих, а потом, стараясь оттереть жаждущих попасть в автобус, снова втискиваться в зазоры между пассажирами.

Когда взмокшие, измочаленные, вывалились перед институтом, газета в руке Вахида оказалась изжужжанной, тут и там надорванной, и от того настроение, и без того паршивое, стало вовсе отвратительным. Расправляя «Советскую торговлю», складывая ее так, чтобы можно было засунуть в карман, Вахид, внешне решительно, а в душе полный недобрых предчувствий, пересек дворик, прошел мимо вахтерши, поднялся на второй этаж.

Рустам все время семеня рядом, говорил что-то успокаивающее, обнадеживающее, но что именно — Вахид не слышал. Так и не положив газету в карман, вошел он со все тем же решительным видом в деканат — без колебаний, без раздумий, чтобы не расслабляться, и, остановившись лишь на миг — постучать в дверь, сделал глубокий вдох-выдох.

Вот не повезло, так не повезло! Кроме декана и секретаря, в кабинете были еще и два преподавателя. «Ну Фэмэ — шут с ним. Его, кроме Достоевского, ничто не интересует, а вот Основной Закон — это плохо: может влезть в разговор. Начнет

клеить, поливать, а то и, чего доброго, кляузничать, политическую оценку мне давать».

Все одновременно посмотрели на Вахида: Владимир Яковлевич, сидевший, забросив ногу на ногу, на диване и с кислым видом изучавший какую-то ведомость, — рассеянно; Хафиз Руфатович, с пухлым портфелем на коленях пристроившийся на стуле у открытого окна, по-бабьи раскинувший руки, чтобы продувало подмышки и обмахивающийся платком, — недовольно, видно было, что рассказывает что-то веселое, и тут прервали; Нафиса Сабитовна, всегда улыбчивая, с ласковым прищуром, с интересом слушавшая, очевидно, Раджабова, в первый момент, пока поворачивала голову к двери, еще хранила на увядающем, с дряблой кожей лице то выражение игривого лукавства, которое предназначалось доценту, но уже в следующий миг, когда увидела Вахида, стала неприязненно-серьезной; Рахмона Хашимовна, что-то переписывающая за своим столом и которую вообще никто никогда не видел улыбающейся, сейчас, когда лишь слегка подняла голову и оттого смотрела исподлобья, выглядела особенно грозно — жгуче-черные, как у колдуньи, глаза из-под широких, дорисованных над переносицей насурьмленных бровей сверлили Вахида сурово, испытующе. И, конечно же, глаза всех задержались на голове Вахида.

— Ну и откуда ты, прекрасное дитя? — пропела Нафиса Сабитовна, когда Вахид поздоровался. Полюбовалась на ногти. — Объяснительную принес?.. Где у нас проект приказа, Рахмона Хашимовна?

Та колыхнулась назад, бумажки прилипли к ее потным могучим рукам. Она привычно, не раздражаясь, оторвала эти бумажки, достала из стола красную картонную папку.

— Я болен, — четко и с вызовом сказал Вахид.

— Вот как?.. ОРЗ? Простудился там, где... отдыхал? Или травму — бытовую? — нечаянно там получил? — Нафиса Сабитовна смерила Вахида уничижительным взглядом. — Принеси справку. Не позднее завтрашнего утра, иначе... — и многозначительно постучала сверкающим ноготком по листку, который Рахмона Хашимовна положила перед ней на стол.

— Принесу. До свидания, — Вахид повернулся, чтобы выйти, но Владимир Яковлевич, подняв от ведомости лицо, задержал.

— Латыпов, вы почему не были в понедельник на зачете по Федору Михайловичу? — холодно спросил он. — Если завтра не сдадите, не допущу до экзамена. И учтите: за то, что манкируете, буду не только по «Преступлению и наказанию», как у вас выражаются, гонять, но и по... пусть будут «Записки из Мертвого дома». Это как раз то, что нужно, то, что вам может быть интересно.

Вахид, не решаясь смотреть ему в глаза, глядел на его огромный лоб с длинными залысынами в седых курчавых волосах и кивал в такт словам: понял, дескать, виноват, приду, сдам.

Еще раз попрощался. Декан и секретарь не сочли нужным ни ответить, ни даже посмотреть в его сторону.

— Всего доброго, — пожелал все так же холодно Владимир Яковлевич. — Повторяю: не сдадите зачет, не допущу...

Но Вахид уже выскользнул за дверь. «Я уже сдал свой зачет. И по преступлению, и по наказанию. И как раз в понедельник. Тебе бы такой зачет у Зуфарова», — издевательски и дерзко ответил мысленно он, хотя в этот момент ничего, кроме признательности, не испытывал к ФЭМэ, который, конечно же, слышал, о чем говорила деканша, понял, что назревает неизбежное отчисление студента Латыпова из института, и все же о будущем экзамене заявил как о реальности: лучшего способа успокоить не придумать! «А почему он считает, будто «Записки из Мертвого дома» как раз для меня? Это ведь, кажется, что-то про тюрьму, про дореволюционных эзков? Намекает, что тоже знает, где я был?»

Рустам, присев на подоконник, ждал с потерянными видом. Вскочил, встревоженно заглянул в лицо: ну что, мол, как дела?

— Не подведи: к двум у Сухроба, — сухо напомнил Вахид.

Отстранил друга рукой и, невозмутимый, уверенный, направился к выходу из института.

Остановился у первого же телефона-автомата. Позвонил отцу. Неудача. Отца в кабинете не оказалось. Пришлось звонить секретарше: может, знает, куда ушел, надолго ли?

Лолочка, придав голосу сожалеющую интонацию, сказала, что Буривоя Талгатовича нет и, вероятно, не будет сегодня, так как приехал, судя по всему, какой-то большой начальник, отменил все намеченные мероприятия, объяснив, что у него важная деловая встреча, а где и с кем — не поставил в известность.

«Плохо дело, — повесив трубку, подумал тоскливо. — Придется звонить к не-

му вечером домой, объяснять по телефону. А что, если задержится с приездом до ночи? Как же тогда справка? Успеет сделать?»

Прикидывая, где сейчас может быть отец — в гостинице «Центральной»? в «Советской»? На обкомовских дачах? — Вахид понуро вышел из будки и... замер от внезапной мысли: конечно же, отец, как положено, пригласит гостя отобедать, а так как тот, судя по словам Лолочки, важная шишка, то, само собой, повезет его отец к своему любимому Сухробу. Вахида прошиб холодный пот: может, отец уже у Сухроба? Или заказал обед и приедет туда как раз к трем часам? «Надо узнать и, в случае чего, — назад, сюда, к Рустаму, чтобы все отменить, переиграть».

Выскочив чуть ли не на середину улицы, пританцовывая от нетерпения, он остановил первое же такси. В машине сидела страдальческого вида женщина с квелой, печальноглазой девочкой, но «Урюкзор», как и аэропорт, считался у таксистов точкой доходной — пассажиры не жадничают, копейки на ладошке не считают, — поэтому шофера, разбитного парня с перстнем-печаткой, упрашивать не пришлось.

— Садись, — он кивнул на место рядом с собой. — Только сначала этих, — мотнул головой за спину, — подбросим. Не против? Это по пути.

Когда добрались в конце концов до «Урюкзора», зеленой, радующей, как эдем в пустыне, рощицы на берегу Сарысу, Вахид барственно попросил шофера подождать. Может, объяснил, придется возвращаться, если фирмач, с которым должен встретиться, уже уехал.

Еще подъезжая, Вахид увидел, что на бетонной площадке около дороги стояли только двое «Жигулей», и «Москвич», а «Волги» отца, ни личной, ни служебной, не было. Вахид приободрился. И все же на всякий случай, не отходя от такси, придерживаясь за открытую дверцу, обвел исследующим взглядом посетителей, которые в тени старых и от того раскидистых урючин попивали чай, лакомились фирменными сухробовскими кушаньями, степенно беседовали. Вахид даже на цыпочки привстал, чтобы разглядеть тех, кто на дальних топчанах, — а что, если отец с начальником прикатили на исполкомовской машине и, отпустив ее до определенного часа, все обедают в «Урюкзоре»? Конечно, маловероятно, чтобы ели здесь под деревьями, открыто, где их все видят, но кто знает, всякое может быть — вдруг этот самый начальник любит играть в демократа или решил опроститься, быть поближе к народу и настоял, чтоб им накрыли дастархан на воздухе, как всем, как простым трудящимся.

Отца не было. Огибая топчаны, изредка выныривая из голубоватой тени деревьев в вертикальные струи ослепляющего света и сразу же контрастно попадая из слабой прохлады в сухое пекло, Вахид направился к зданию ресторана — веселому бело-зеленому домику с обширной верандой над гладкой поверхностью небольшого пруда, заполненного, казалось, столовским суррогатным кофе с молоком. Приосанился, увидев Сухроба.

— Салам алейкум, Сухробджон-амаки, — почтительно поздоровался Вахид.

Ресторатор медленно и совсем чуть-чуть, только чтобы видеть краем глаза поприветствовавшего, повернул голову, нахмурился недоуменно. И вспомнил: лицо его словно осветилось изнутри, стало радостным, почти счастливым.

— Вахид! Дорогой! Прости, что не узнал тебя: заботы, огорчения всякие, вот и задумался. Не обижайся, — обнял его могучими руками, прижал к необъятному животу, по спине похлопал. — Рад, очень рад видеть. Давно что-то ты ко мне не приходил, и папа твой почему-то совсем забыл меня. Как был с писателем из Москвы, так больше и не порадует. Может, он обиделся? — Откинулся назад, отодвинул от себя Вахида на вытянутые руки, и глаза стали встревоженными. — Может, доволен чем-нибудь, сердится на меня? Не знаешь?

— Нет, нет, он всегда о вас хорошо отзывается, — горячо заверил Вахид. — Вчера к вам собирался, меня звал: поедем, говорит, к моему лучшему другу Сухробу-ака, пообедаем, побеседуем...

— Правду говоришь, так и сказал: «к лучшему другу»? — Сухроб расцвел в улыбку. — Спасибо тебе за такие хорошие слова. И папе твоему спасибо за то, что так хорошо ко мне относится. Пусть аллах до бесконечности продлит его дни. Кушать приехал? — спросил вдруг деловито. — Один? С компанией? Девушки будут? Могу пустить в банкетный зал, его на сегодня никто не заказал. Ну а если что, если кто неожиданно приедет, уйдете, да? А я для тебя постараюсь: барашка зарежу, сам, что закажешь, приготавлию...

— Спасибо большое, Сухробджон-амаки, — Вахид растерялся, застеснялся, потому что с ближних топчанов на него стали посматривать: с удивлением, с любопытством, с завистью, — но, пожалуйста, никакого банкетного зала, никакого барашка.

И объяснил, что ему надо что-нибудь попроще, вон там, например, — показал на самое непрестижное место под деревом у дороги, — и обед хорошо бы поскромней («Хватит эту погань, Чомбе с Серым, цыплятами кормить», — подумал мсти-

тельно.), так как приедут друзья, студенты, и не хочется, чтобы они чувствовали себя скованно, а тем более, чем-то обязанными, и особенно не хочется, чтобы считали, будто их решили поразить, показать превосходство.

— Пусть принесут то, что есть: самое обычное, дежурное, — обретая уверенность, попросил Вахид уже тоном завсегда. — Ну и выпить что-нибудь. Лучше «Столичную». Можно и пива, если есть, закуску на ваше усмотрение.

Вахид важно, с достоинством вынул деньги из кармана, протянул сторублевку. Пояснил с усмешкой:

— Чтоб потом не отвлекаться, не ждать официанта, если захотим уехать, — всунув ассигнацию в ладонь делавшему негодующее, оскорбленное лицо, отглатывающему руку, Сухробу, уточнил: — Стол на... четверых. — Поколебался секунду, попросил: — Если позвонит отец, захочет заказать обед, предупредите, пожалуйста.

— Хорошо, не беспокойся, все сделаю, — Сухроб понимающе улыбнулся. Поглядел лукаво. — А если позвонит кто-нибудь другой? Спросит о тебе?

— Кто другой? Какой другой? — у Вахида перехватило горло («Хабибов? Узнать, пришел на встречу с Чомбе и Серым или нет?») — Кому я нужен? Кому какое дело до меня?

— Не знаю, я просто так спросил, на всякий случай, — посмеиваясь, ответил Сухроб.

С подчеркнутой поспешностью Сухроб направился в здание. Если б Вахид догадался и к тому же сумел незаметно проследить за ресторатором, то видел бы, что тот, не отвлекаясь, не задерживаясь, скрылся в своем кабинетике, где не присаживаясь к столу, снял телефонную трубку, набрал номер. Но Вахиду было не до Сухроба, — озадаченный и встревоженный его вопросом, он вернулся к такси.

Мелькнула мысль — сесть в машину и укатить в город, сбежать от недоброго предчувствия. Но как объяснить Рустаму и парням, что не был в «Урюкзоре», что обманул их? И потом, может, Сухроб спросил действительно без намека, без какого-либо умысла, поэтому удирать, заплатив за обед, значит и самому выглядеть глупо, и репутацию отца опорочить перед подчиненным: ну и сынок у Буривоя Талгатовича, подумает Сухроб, разбрасывается папиными сотнями, заказывая обед и не дожидаясь его, совсем избаловался, отца своего позорит.

Отпустив таксиста, Вахид принялся терпеливо ждать, посматривая в сторону облюбованного места, где уже шустрил молодой гибкий официант — раскладывал, расправлял синие стеганные матрасы-курпачи; закончил, взял из рук стоявшего рядом мальчишки глазурованное блюдо с чайником, пиалами, вазочками и блюдечками, пристроил его посередине топчана, оглянулся на Вахида. Спросил с утвердительной интонацией, когда он подошел:

— Подавать, как только друзья приедут?

Вахид кивнул. Сбросил туфли, сел на курпачу, сложив калачиком ноги. Налил в пиалу чай. Сделал глоток, другой. Чай был отменный — терпкий, душистый, и легкое чувство голода, которое появилось, как только приехал сюда, пропало. Чтобы не захотелось есть, пока не появятся друзья, Вахид сунул в рот кусочек халвы, начал меланхолически жевать, глядя в сторону дороги из города. Раздумывая о разговоре с Сухробом, вспоминая его слова о писателе из Москвы, вспомнил и о газете. Торопливо вытер пальцы полотенцем, оставленным официантом, выдернул из заднего кармана «Советскую торговлю». Любовно, ласковыми движениями расправил ее, положил меж колен и застыл.

Шестое чувство, а может слабый рык набирающего скорость автобуса заставили Вахида поднять глаза. И сразу же он опустил их — от обочины дороги (остановка автобуса по требованию) осторожно, крадучись, приближались Рустам и Шавкат: собирались, застав врасплох, или подшутить, или напугать. Когда они подошли достаточно близко, Вахид, сложив газету и сунув ее под себя, спросил спокойно:

— А почему Хамида не захватили? — и насмешливо посмотрел на друзей.

На их лицах появилось разочарование, но тут же оба заулыбались. Рустам принялся восхищаться бдительностью Вахида: у тебя-де редкое чувство ситуации, на уровне инстинкта; Шавкат, конечно же, задержал взгляд на голове Вахида, стал объяснять, что Хамид не смог приехать потому, что настроен рьяно готовиться к экзаменам — «сам знаешь, какое у него положение». И по его быстрому вопросительному взгляду, по тому, как посмотрел Рустам, наливавший себе и Шавкату чай, Вахид понял, что друзья хотят узнать и о его положении, о том, чем закончился разговор с Нафисой. Притворно позевывая, он успокоил скучным голосом: все, дескать, нормально, все в ажуре.

Подошли официант с подносом, уставленным закусками, и мальчишка-помощник, тащивший, пыхтя от усердия, ведро с водой, в котором покачивались, постукивали куски льда и откуда торчали горлышки двух водочных и около десятка пив-

ных бутылок. Пока официант сноровисто ставил на топчан касы с салатом, зеленую, говорили о пустяках: о погоде, о жаре, о том, что хорошо бы сейчас искупаться.

Когда он ушел, Рустам, открывая «Столичную», вздохнул: зря, мол, ты, Вахид, водку заказал, лучше бы бутылочку какого-нибудь сухого, как бы не одуреть, и Шавкат поддержал, добавив, что могли бы и пивком обойтись. Однако и тот и другой выпили охотно: за то, что учебный год — ура, ура! — кончился, за то, чтобы сессия — тыфу, тыфу! — проскочила гладко. Особенно политэкономия.

— И мой зачет по Достоевскому! — добавил Вахид.

Друзья замычали с набитыми ртами, поддакивая: конечно, дескать, кто спорит — это дело серьезное. Прожевав, Шавкат посоветовал Вахиду хотя бы полистать «Записки из мертвого дома» и запомнить какой-нибудь персонаж или эпизод, потому что, объяснил, сам он сразу же получил зачет, как только рассказал о дагестанских татарах и особенно об Алее. Рустам подхватил: да, да, очень важно прочитать текст или хотя бы иметь о нем представление, так как ФЭМэ знает «Записки...» почти наизусть.

Сосредоточенно насупаясь, подув в ложку и заранее сморщившись от того, что можно обжечься, Вахид боязливо втянул в себя прозрачно-золотистую, густую юшку знаменитой Сухробовой шурпы.

Чтобы как-то разговорить друзей, Вахид попросил рассказать все, что знают, — о содержании, персонажах, идее и прочем — ну хотя бы «Преступления и наказания».

— Разве мне за сегодняшний вечер две книги, и «Преступление...» и «Записки...», одолеть? — объяснил, изображая удрученность.

Шавкат и Рустам помялись: что ты, мол, старик, — здесь, сейчас? — да и надоед нам этот Достоевский, свалили, слава богу, зачет, нет никакой охоты больше вспоминать. Но постепенно, когда выпили еще граммов по пятьдесят водки, когда закончили с шурпой и разомлели, начали, потягивая пивко, то один, то другой, слово за словом, рассуждать о Раскольникове, Порфирии Петровиче, Свидригайлове, Сонечке Мармеладовой...

Неслышно возник и исчез официант, захватив грязные касы и оставив блюдо домлямы, горячей, в отличие от шурпы, источающей аромат баранины, сочные, соблазнительные куски которой были столь обильны, что казалось, будто блюдо заполнено только ими. Шавкат и Рустам оживились, но беседу не прекратили — увлеклись. Они горячились, забывали на время о домляме и пиве, и опять принимались за еду, за «Бархатное», и опять спорили, сердились друг на друга, забыв, казалось, о Вахиде. А он был только рад этому. Тоже ел, пил, чтобы друзья не отвлекались, не обращали на него внимания, делал вид, что внимательно слушает, хотя ничего не понимал, и украдкой поглядывал на часы: 2.45... 2.48... 2.53...

Когда на зеленоватом табло высочили черные прямоугольные цифры 3.00, Вахид медленно распрямился, осторожно, чтобы не заметили ни Рустам, ни Шавкат, поглядел в оба конца дороги. И застыл: сердце сжала и отпустила мягкая сильная лапа, в ушах зашумело от прихлынувшей крови, голоса друзей зазвучали глухо, как сквозь вату, слились в разновысокий по тональности гул — со стороны гор стремительно приближался знакомый «газик» хабибовцев и двое, один за другим, голубых «Жигулей».

«Газик» вдоль самой бровки дороги проскочил мимо — Вахид успел разглядеть за рулем второго, не главного, кавказца, — и, вывернув на середину шоссе, остановился поперек его; «Жигули» одновременно затормозили напротив топчана, одновременно же и параллельно, точно зеркальное отражение друг друга, набрали с ускорением задний ход, разворачиваясь радиаторами к «Урюкзору». Задержались на миг и так же параллельно ринулись через обочину, прямо на них, на застолье, как показалось Вахиду. Около самого топчана машины, вильнув одна влево, другая вправо, намертво замерли. «Спектакль, дешевое кино для нервных», — Вахид попытался усмехнуться, и не смог, лицо будто одеревенело: все, что происходило, выглядело совсем не дешево, а эффектно и вполне устрашающе, даже зловеще.

Кавказец подал «газик» к бровке. Что происходило за спиной, Вахид не видел: не оборачивался — смотрел на «Жигули». Задние дверцы машин враз открылись, и одновременно из них вылезли два незнакомых парня в голубых эластичных, как у велогонщиков, майках, обтянувших рельефные, накачанные мускулы. Парни, теперь уже не так слаженно, опять всунулись в машины и легко, играючи, выдернули оттуда: один — Чомбе, другой — Серого. И у Вахида полезли на лоб глаза: шпаненыши были в голубых, кокетливо повязанных косынках, нарумяненные, с покрашенными губами. Хабибовцы со скучающими, неподвижными лицами взяли их, словно нехотя, одной рукой за шиворот, другой сзади за брюки, без усилий оторвали от земли — и стриженный, и патлатый сразу стали одинаково похожи на нашкодивших котят: покорно смотрят вверх, колени подтянуты к животу, руки

с безвольно повисшими кистями прижаты к груди. Брезгливо швырнув Чомбе и Серого к топчану, голубые здоровяки вмиг, словно их и не было, исчезли в машинах; «Жигули» взревели, устремились задним ходом на дорогу, где синхронно развернулись и, еще раз взревев, умчались в город.

Вахид проводил машины глазами, перевел настроженный взгляд на кавказца, который подошел лениво и остановился между Чомбе и Серым. Те, поднимавшиеся с земли, увидев его, опять повалились: втянули головы в плечи, крепко зажмурились, скорчились, не шелохнулись — точно жуки-притворяшки, которые, чтобы спастись, прикидываются дохлыми.

— Болшэ, малчкы, так нэ шалы,— кавказец внушительно погрозил Вахиду пальцем. Протянул сложенный пополам небольшой листок глянцевого бумаги.— Чытай. Тэбэ написано.

И так же неторопливо, вразвалку, отправился назад к «газику».

Онемевшие Рустам и Шавкат сидели, точно парализованные, только глаза остались подвижными — мечутся испуганно: на удалявшегося кавказца посмотрят, на опять зашевелившихся стриженного и патлатого, на Вахида, и снова на кавказца, на шпану, на Вахида. Он деревянными пальцами развернул как можно непринужденной бумажку.

Отпечатанный типографским способом гриф «Начальник производственного объединения «Сангам» Хабибов А. Х.», и ниже — коряво, крупными буквами, по-русски («Наверное, чтобы и абрек мог прочитать?»): «Сынок ти мена очин пависил давно я так нисмиялся».

У Вахида расслабилось напряженно затвердевшее лицо. Он аккуратно сложил записку по старому сгибу, засунул ее в карман, задумчиво глядя на кавказца, который подходил к своей машине. Серый тоже осторожно посмотрел в ту сторону. Встал на колени, сорвал с головы косынку, сжал в побелевшем кулаке. Быстро поплевал на нее и, кривясь, стал тереть губы, потом щеки, да так яростно, что сорвал головки прыщей и те засочились бледной сукровицей. Чомбе тоже зыркнул на кавказца — тот уже влезал в кабину, — тоже поднялся с земли, тоже сдернул косынку. Отбросил ее, шаркнул брезгливо по губам, по щекам и схватил бутылку с водкой. Перевернул ее над стаканом Рустама вверх дном. Ждать, когда стакан наполнится, не стал. Жадно, давясь, отчего изо рта широко потекло, выпил. Перевернулся, схватил с блюда покрывшийся уже жиром кусок мяса.

— Ну и наколку ты нам подсунул, кентуха,— впившись в мясо зубами, исподлобья поглядел на Вахида.— Мы твоего цеховика и надыбать не успели, как нас повязали. Ты чего ж это утаил, что у него на подхвате такие волчары?— чавкая, повел головой за спину, и Вахид невольно посмотрел туда же: кавказец сидел за рулем и... говорил по телефону.— Сука буду, лучше век на параше сидеть, чем еще раз их встретить.— Чомбе нервно хихикнул.— Нас там чуть не закопали.

— Я уж думал...— Серый неожиданно всхлипнул,— думал, больше никогда маму свою не увижу.

Цапнул бутылку. Прямо из горлышка выпил остатки водки, дергаясь оттого, что организм отторгал ее, противился. И запоскуливал, запостанывал — лицо плаксиво скривилось, из глаз поползли слезы. Он ткнулся носом в косынку, захрипел, захрюкал, глотая сопли.

Вахид лишь на миг скосил на него глаза и опять — все внимание на кавказца. Тот снова шел к топчану. Чомбе, почуввав что-то, обернулся. Окаменел, льстиво ощерившись с зажатой в порченных зубах мясной кашицей, — даже жевать не решился. А в глазах — ужас.

— Нэт проблэм с этыми... обиженными?— без выражения поинтересовался кавказец у Вахида. Суставом согнутого указательного пальца стукнул Чомбе по лбу: звук получился сухой, точно по деревяшке ударили.— Тут все осталось, что влэли помнить?— И когда Чомбе усиленно закивал, похвалил его.— Хорошо. Умныца. Кушай далшэ.— Тускло посмотрел на затихшего и тоже оцепеневшего Серого с прижатой к лицу косынкой, потом на Вахида. Приказал ровным голосом:— Поехалы. Тэбэ надо. Хозаину.

Вахид облизнул пересохшие губы. Глянул на Рустама, на Шавката — те, опустив глаза, сидели по-прежнему, как изваяния. Вахид взмахнул рукой, подзывая Сухроба, тот сколыхнулся с места, плавно и быстро стал приближаться. Вот он уже рядом. Лицо — воплощение доброжелательности, готовности услужить. На кавказца не смотрит.

— Что-нибудь еще?— голос уважительный.— Обед для новых гостей?

— Рассычыгывайсы сыкорэй,— попросил кавказец.— Нэкогда. Жыдут.

Вахид опустил с топчана ноги, стал обуваться, а Сухроб, отнеся слова кавказца к себе, достал из кармана деньги и, не считая, сунул их выпрямившемуся Вахиду. Вахид машинально взял деньги. «Что это? Зачем? Ах да, сдача, наверно», — и комком положил их перед Рустамом.

— Утренний долг,— сказал глухо.— Ну и на такси, чтоб автобус не ждать. Или, если еще чего заказать надумаете.

Поднял с топчана расплюснутую, с приглаженными морщинами «Советскую торговлю» и, на ходу снова засовывая газету в задний карман, решительно направился к «газику».

И тут же машина метнулась с места, сразу набрав скорость под сто. Вахид удивленно глянул на кавказца — как же, дескать, разворачиваться будешь? — но тот на него не посмотрел, да и разворачиваться, видно, не собирался.

«Газик» со свистом пролетел по улицам, словно прошел эту часть города, впригнувшись проскакивая рядом с обгоняемыми машинами, и, взвывая, точно гоночная при форсаже, вылетел к подъезду гостиницы «Советская».

Милиционер, неторопливо, скучающе — руки за спиной, голова свешена — удалявшийся вдоль длинного рядка легковых автомобилей, крайними в которых стояли двое голубых «Жигулей», резко крутанулся на каблуке, готовый устремиться к нарушителю, и обмяк, успокоившись. Даже руку автоматически вскинул, чтобы взять под козырек, приветствуя кавказца, но тот в его сторону и глазом не повел — пристроился за Вахидом, который пошел в гостиницу, без объяснений догадавшись, что надо туда.

По ту сторону стеклянной двери висела кокетливо написанная табличка «Мест нет» и монументально стоял бравый, мужественный старик в фуражке с золотыми позументами. Он раскинул перед Вахидом руки, но возникший неизвестно откуда блондинчик Вадим бесцеремонно отодвинул его, освобождая дорогу.

В просторном и гулком вестибюле, облицованном полированным серым камнем с квадратными вставками резьбы по ганчу, было почти пусто, если не считать администраторши за стойкой, киоскерши «Союзпечати» да милицейского старшины и одного из парней в голубой эластичной майке, которые приятельски покуривали на невысокой скамейке.

Вадим скользнул по лицу Вахида отсутствующим — будто и не встречались никогда — взглядом, мотнул головой, приглашая следовать за ним, и направился к широкой, с ковровой дорожкой, лестнице наверх.

В холле второго этажа сидели за низеньким столом второй парень в голубом тот, что был за рулем его «Жигулей». Оба лениво, нехотя повернули к Вахиду головы — в глазах скука — и опять отвернулись.

В правом коридоре Вадим остановился около большой двери без номера, открыл ее, пропуская Вахида. Он, храбрясь, вошел дерзко, но за порогом и оробел немного, и расслабился облегченно: ожидал совсем другого.

По одну сторону стола у окна сидел в кресле милицейский подполковник с головой, похожей на серебристый шар, — набычился, смотрит мрачно; по другую сторону стола — кто-то явно из власти имущих: холерное, высокомерное лицо, седые, тщательно подстриженные и подбритые виски, безукоризненный стального цвета костюм-тройка с подобранным в тон галстуком. Газету читает. «Советскую торговлю». Ту, где «Маяк среднеазиатского общепита». Посмотрел поверх газеты. Взгляд тяжелый, недобрый.

Правда, были и еще двое. Опасных. У самого входа, по углам, на предельном удалении от стола, устроились в креслах те, что вчера утром стояли возле балдахина Хабибова: морщинистый старичок и второй — главный — кавказец. Старичок почтительно и робко — ладошки на коленях, спина прямая — застыл на самом краешке кресла; кавказец же развалился, ногти от нечего делать полирует. Глянул на Вахида, тоже, как все хабибовцы, равнодушно, словно на незнакомца, и легко взметнулся с кресла. Постучал в дверь, около которой сидел, скрылся за ней.

Вышел. Широко отпахнул дверь, небрежным жестом предложил Вахиду войти. Он, уверенный, что в присутствии тех, которые за столом, ничего плохого с ним не сделают, да и записка Хабибова не давала повода бояться, смело отправился в соседнюю комнату, но последние шаги, пораженный тем, что увидел там, сделал по инерции.

На обширном вишневом кожаном диване, навалившись на подушки, полулежал по-домашнему Хабибов в расстегнутом белом, шелковистом кителе с рубиново-поблескивающим депутатским значком-флажком и золотистом искрящейся звездочкой Героя Соцтруда. Но на него Вахид глянул мимолетно: потрясенный, он во все глаза смотрел на отца, который неудобно, с высоко поднятыми и раздвинутыми коленями пристроился на каком-то крохотном пуфике против Хабибова, отгороженный от него длинным, продолговатым столиком с виноградом, фруктами, сладостями, чайником, пилалушками. Отец, повернувший голову к двери, тоже, с застывшей, точно наклеенной улыбкой, ошеломленно уставился на него, Вахида.

Окончание следует



Дмитрий Петин

Кинулись волосы со лба

В магазине очередь —
люди с пеной у рта...
В автобусе твердые, острые локти.
Душу вопросы занозят.
Кинулись волосы со лба.

Кинулись волосы со лба,
за угол виска.
Здесь мысли падают,
рожденные секундами
под ухмылки минут.

Под ухмылки минут
сажу за столом
и склоняю голову
лицом в тарелку с рассолом
все ниже и ниже.

Все ниже и ниже,
закрывая глаза,
заснув —
поднимаюсь по лестнице вверх
к светлому будущему
быстрее, быстрее...

Влюбленность

Вчера, когда мы шли,
я был над землею немного...
И сегодня, после бессонной ночи,
часа свидания
все никак не дождусь,
чтобы взять тебя за руку —
улыбнуться
и вместе побыть
над землею немного...

После ссоры

Висят три рубашки.
Одна — белая.
Другая — красная.
Третья — черная.
Светит солнце.
Дует ветер.
Летят птицы.
А тебя всё нет и нет.

Я упирался.
Мы повздорили.
Ты ушла.
Я был неправ.
Пока ты ходила
В магазин,
У меня в ожидании тебя
Выросла борода.

Взгляд

Сжимаются руки,
но тень ускользает...
Отпихнув слова, отвернувшись —
ты смотришь спиною,
моргая ногами,
на мою последнюю попытку
удержать тебя.

Идешь.
Машешь резко рукою в такт шагам.
Уходишь.

Так смотрит смерть,
когда мы молоды, когда мы сильны.

Так смотрит жизнь,
когда, утратив всё, садишься перед зеркалом,

Так смотрит любовь
на облетевший, бесплодный, засохший сад...

Ирина Леонова

Дефицит

Мчится век, словно поезд скорый,
Споря с ветром, сдвигая горы.
Только в мире этом несытом —
Дефициты, сплошь дефициты.

Не стучат в магазинах кассы.
Не хватает мыла и мяса.
Не хватает стали и кокса.
Дефицитна икра (да бог с ней...)

Дефицитны одежда, обувь.
Но зато — избылье злобы.
Книжки умные я листаю —
Доброй правды в них не хватает.

Заводские дымы стугутились.
Небесам не хватает сини,
И воды не хватает рекам,
Человечности — человеку.

Будущее

Что горевать от завтрашних потерь,
Лишь нынешнее душу мне волнует,
Что — будущее? Запертая дверь.
Напрасно смотришь в скважину дверную.

Там — темнота, ни блика, ни луча.
Безликость недоступная, немая.
Сегодняшнее ты крушишь плеча
Для завтрашнего. Нет, не понимаю.

Сейчас живи. И здесь построй свой дом,
Лишь этот миг лелея и врачуя,
Иначе неотвязный сор и лом
В грядущее с тобой перекочуют.

Но ты в плену пустых надежд живешь.
Какая, право, скучная привычка!
И смутную прилаживаешь ложь
К неведомому, словно вор — отмычку.

Приманкой глупой душу мне не мучь,
Темно от перспектив таких холодных.
Лишь нынешнее — к будущему ключ,
В день завтрашний уходим мы сегодня.

Быстрее, быстрее —
шире шаги!
«Сегодня лучше чем вчера,
завтра лучше чем сегодня!»
«Загоним железной рукой
человечество к счастью!»
«Кто был никем, тот станет всем!»
Лозунги слева, лозунги справа,
и я между ними,
просыпаюсь — лечу...

Проснулся и ахнул!

Рано Каримова

* * *

Пускай ты покинут и всеми забыт,
И в сердце твоём — лишь тоска,
И ангел любви твоей дерзко убит,
И продана жизнь с молотка.
И кажется нет их — ни средств и ни сил
Бороться с нависшей бедой,
И как бы ты бога о том ни просил,
Но рай не цветет пред тобой.
Потеряны связи, мосты сожжены,
Родной не осталось души,
Без радости тянутся длинные дни,
А юность уходит, спешит.
Лишь серая жизнь на пороге твоём,
И нету отрадных вестей,
И тает надежда, что быть нам вдвоем —
Как прежде — с любовью своей..
Но ты не один в этом мире живешь!
Пока ты умеешь дышать,
И с утренним солнцем пока ты встаешь,
И веришь: земля тебе — мать,—
Ты вслушайся только, ты только взглядишь:
В поющих над степью ветрах,
И в ветвях деревьев, что тянутся ввысь,
И в травах, и в нежных цветах,
И в каждом птенце, что родится в гнезде,
И в блеске далекой звезды —
Душа твоя в мере — во всем и везде,
Душа твоя выше беды...

* * *

Блаженства странного минуты
Ко мне приходят иногда.
Не знаю кто — зовет как будто
Меня неведомо куда.
И я иду! И так отрадно
Мне верить: счастье обрету.
И аромат вдыхаю сада,
В который я вот-вот войду.

А даль бескрайняя зовет,
И эхо горное я слышу,
И тело легкое поет
И каждой клеточкою дышит.
И хочется закрыть глаза,
Уснуть, уснуть и не проснуться,
И из объятий волшебства
На землю больше не вернуться...

Вячеслав Плеханов

Душе Эдгара

Сон не сгонит меня с веранды и озноб ночной.
«Смотри, — шепчет мне ветер, —
бабочки веру сменяют в единого лунного бога
на веру в сонмы богов ночных светлоликих светильников.
На холодном плафоне собрались они серые,
прозрачные под светом.
Будто снимки с ночных полян, залитых лунным сиянием,
негативы прозрачных кладбищ...
И глаза их выпуклые горят, как фантазия По».
Здесь на лампе целый ландшафт ночной.
Так что летит мой взгляд над ночными полянами
огромного мира-светильника.
Что там творится?
Нет! Это мир иной, он живет и трепещет под лучами
лунного света. В пыльцу прозрачного праха одеты
тени теней разорванной на клочки души человека.

* * *

Занесенный ветром бражник с узором мертвой
головы на спине ударился будто слепой о стекло фонаря
и стал виться вокруг него с тревожным писком.
Он трепетал, будто живой пиратский флаг. Какая
сладкая тревога странствий пахнула от его порхания
в ночи. Цветами островов и тлением закопанных сундуков,
ветрами, впервые омывшими голову Адама, выгнанного
из рая, ветрами тления, сорвавшими мясо с его головы
и обнажившими череп.

Вот первый могучий порыв ветра хлынул в сад.
Деревья качнулись, зашумели, и сад поплыл куда-то,
обгоняя ночные тени. Ветер дул в пламя фонаря
будто в огненный парус.

Самообладание

Потоп все уничтожил, залил грязью земной рай.
Сидит Ной в подводной лодке, пьет чай.
Подводная лодка как самовар: труба наружу.
Как еще согреешься в послепотопную стужу?
А рядом каждой твари по паре.
Поют, искрят в раскопчегаренном самоваре.

* * *

Я слушаю всю ночь, как снег идет по снегу,
зажав в своих руках деревья, точно следи.
Он, прежде чем ступить, ощупывает наст,
как будто каждый шаг — его последний шанс.
То вдруг подпрыгнет вверх, повалит сквозь кустарник,
и на его шипах клочки одежд оставит.
Поземкой проскользит, провалится в сугроб,
то, ветер оседлав, пускается в галоп.
То подойдет к окну, скользнув у водостока,
и будет до утра рассказывать с восторгом
про то, как спят леса в его густом плену,
про то, что он влюблен в прекрасную сосну;
что пахнет пирогом и свечками сочельник,
и Новый год придет в ближайший понедельник.

* * *

Крупные капли ворон.
Шумные сосны.
Плавает медь похорон
Возле погоста.
Хлынуло. Ливня рука,
свесившись с неба,
тронула водки стакан
с ломтиком хлеба.
Это прощанье без слов
или прощенье.

Это друзей и врагов
отождествленье.
Это по венам дорог
каплями света
все мы течем на порог
новых заветов,
где раскрывается суть
каждого слова,
и продолжается путь
снова и снова.

Людмила Назарова

* * *

То был не ад, то жизнь была в аду,
И пережив все это наяву,
Не сожалею, что досталось мне
Гореть в любви, как в адовом огне.

Ее желаньем — мгла творила свет,
Свет облучить мог — все надежды лет.
Она меняла цвет идущих дней,
Сама судьба прислуживала ей.

И пусть была безумному сродни —
До счастья было, как и до беды,

Но то сплетенье горестей и мук
Дарило радость, поднимало дух.

Благослови меня, пришедший день,
Увидеть той любви — хотя бы тень
И если в ней погибель встречу я,
Ты все равно благослови меня.

То был не ад, то жизнь была в аду,
И пережив все это наяву,
Не сожалею, что досталось мне
Гореть при жизни в адовом огне.

Ева Шамаева

* * *

Я как-то раз спросила:
«Где лицо твое?»
Ты мне ответил так:

«Упало и разлилось,
Разлилось, нет лица,
Ни глаз, ни рта».

Тогда я поняла,
Что ты безликий.



Галина Глазко

КОГДА Б МЫ ЗНАЛИ...

РАССКАЗ

Он был странным человеком. Сколько я его знаю, он имел лишь одну навязчивую идею, манию, цель — это можно назвать как хотите. Он хотел создать такую иглу, чтобы сквозь ее ушко можно было провести верблюда... Он собирался, это обычно он рассказывал весьма подробно, закопать иглу в землю по самое ушко, найти где-нибудь верблюда и провести его.

— Стоит только это осуществить, — говорил он, размахивая руками, — все изменится. Наступит новая эра, все будет возможно. Все друг друга поймут и полюбят, и господь простит нас!

В общем, загвоздка всего одна — игла.

— Да, представь, — кричал он, и глаза его наполнялись слезами, — только один шаг отделяет человечество от счастья, и оно не может этот шаг сделать. Лишь я знаю, как изменить миропорядок! И я тоже не могу ничего поделывать — у меня нет денег, да если б и были — заказ на такую иглу никто не примет. От таких мелочей, — голос его срывался, и он некоторое время мучительно втягивал воздух, — от каких мелочей зависит порой счастье.

Наверное он был все-таки ненормальным, я не знаю. Но однако его не забирали и им в общем никто не интересовался, в плане его психического здоровья. Дело в другом — он не работал. Точнее, он работал и даже, несмотря на горькие признания бесполезности этого дела, зарабатывал деньги на иглу. Но за один только способ работы можно было упечь, беднягу, неизвестно на сколько. Рано утром он выходил из дома со скрипичным футляром и довольно бесцельно шел по улицам. Он мог пройти так и три, и четыре километра по городу, пока не натыкался на место, соответствующее его настроению, — или кирпичный угол какого-нибудь дома, или легкомысленный газон. Там он бросал якорь до обеда, в общем как повезет. Случайные прохожие останавливались и слушали его импровизации. Иногда бросали деньги в раскрытый футляр, на обед он зарабатывал всегда. Иногда его забирала милиция, но тут же отпускала, ему пока везло.

Чаще всего я относилась к нему с раздражением, вся печаль заключалась в том, что мы были соседями по коммунальной квартире. В узкой кухне поневоле приходилось слушать его рассуждения о призвании, верблюде, пропускаемом сквозь игольное ушко, о системе социализма, а потом кормить его ужином, потому что, может, у кого и хватит выдержки есть под чужим голодным взглядом, а у меня нет. По всем моим представлениям, он был наглый лгун и бесовственный позер, и, поддерживая его, я поддерживала его детскую игру в романтизм. Не поел бы дня три, обычно со злобой думала я, небось, быстро перестал бы играть в непризнанного гения. И я подробно ему объясняла, почему он себя так ведет.

— Ты пытаешься построить свою жизнь по некоему образу — этакий вольный художник, но образ этот устарел, это 60-е годы, — приходил мой черед размахивать руками. — Пользуешься мыслью Тынянова о том, что романтик создает себе иную биографию, чем классик, но нельзя же это понимать так буквально.

Он загадочно улыбался и подносил палец к губам, причем, вдруг его лицо приобретало выражение сосредоточенного вслушивания, а я каждый раз покупа-

лась и замолкала. Этот трюк доставлял ему снова и снова детское удовольствие, он смеялся беззвучно и счастливо, внезапно вставал и уходил, оставляя меня наедине с грязной посудой и мыслями о его будущем.

Он ведь действительно одаренный мальчик, думала я, открывая горячую воду и ссыпая тарелки в раковину. Он действительно окончил музыкальную школу и проучился немного в консерватории по классу скрипки. Затем внезапно бросил учебу, порвал с родителями, ушел к бывшему однокласснику и теперь вот живет здесь. Где одноклассник, я так и не узнала, когда меня подсадили, его уже не было. Вообще, первое время я не обращала внимания на странного жильца, у меня было много своих проблем. Лабораторию, где я работала, закрывали, а кроме того жена моего начальника написала жалобу на имя директора, в которой обвиняла меня в интимной связи с ее мужем и требовала меня публично судить. Когда директор мне показал письма, я глупо хихикнула и сказала: «Судом линча». Обычно, если я попадала в idiotские ситуации по своей вине, я говорила про себя: «Тебе можно простить, ты еще так молода и неопытна», — и мысленно утирала слезу. А тут меня не могло оправдать даже это, и я написала заявление об уходе, тем более, что лабораторию закрывали. В общем, я была замотана до предела. И вот, когда меня подсадили в эту квартиру, прихожу я однажды на кухню, а там сидит невзрачное создание и меланхолично потребляет мою жареную картошку прямо со сковороды.

— А мы, — говорит, — с вами теперь соседи будем. Вы не смотрите так, я просто очень есть хочу, а деньги все вчера вышли. Вообще-то, — говорит, — я к женщинам равнодушен, у меня на них времени нет. Понимаете, по моим представлениям, человек может отдаваться чему-то только целиком. Когда я играю на скрипке, я испытываю такое... И мне больше ничего не надо.

— А как же любовь? — спросила я, неожиданно для себя, находясь все еще на пороге.

— Любви нет, — авторитетно заявил он, вытирая рот моим полотенцем. — Вот моя любовь, — и он нежно погладил скрипичный футляр. — Здесь все, больше на свете и быть ничего не может. А за ужин я заплачу, я вам сейчас сыграю.

И, пользуясь моим состоянием растерянности, он раскрыл футляр и извлек янтарно-желтую скрипку. По тому, как он на нее смотрел, я поняла, что меня подсадили к ненормальному. А если он буйный! Воображение с ходу взяло в галоп, картины моих будущих страданий напоминали «Грешников в аду» Босха. Но тут он заиграл.

Это была странная мелодия. Нарастание страсти, темпа говорило о том, что сейчас последует взрыв, апогей, но неожиданно этот вихрь звуков переходил почти на шепот, невнятный, печальный лепет. И когда казалось, что жизнь мелодии еле теплится и вот-вот угаснет, мерцая, вдруг обрушилась на душу буря из головокружительных пассажей, которые не исчезли после того, как были сыграны, а остались здесь, заполняя всю кухню.

Он почему-то постоянно обманывал и выводил не то, чего он не раз мне потом играл. И всякий раз как бы обманывал ожидания, ты ждешь от мелодии определенного продолжения, ты чувствуешь — дальше должно быть так-то, но нет... Он совершал невероятный пассаж и этим, я поняла, рвал сознание, заставляя слышать и то, что ты сам уже додумал, и то, что невозможно предвидеть, добиваясь какого-то космического диссонанса, за которым, казалось, последует распад и гибель. Напряжение этой борьбы было столь велико, что я чувствовала почти физическую боль. Все силы мои концентрировались на продолжении истинной мелодии, той, которая должна быть, но обрушивающийся звуковой перепад заставлял душу сжиматься в мистическом ужасе, доходящем почти до безумия. Что-то кричало во мне — стой, хватит, не могу — все рассыпалось на тысячу ранищих осколков, отдельных звуков, мчащихся каждый в свою сторону, и мне стоило невероятных усилий вернуться обратно в нашу узкую кухню, к моему соседу, с закушенной губой и закрытыми глазами сжимающему скрипку и смычок.

Когда это случилось впервые и он кончил играть, я обнаружила, что сижу на полу, и по тому, как затекла шея, поняла, что она была вытянута сверх меры туда, вперед, к нему... Это обстоятельство меня изрядно смутило, и не зная, как после этого вести себя, я idiotски захихикала и поинтересовалась: «Вы что, всегда так!»

Он вдруг посмотрел на меня с ненавистью и вылетел из кухни, перепрыгнув через мои ноги. Из коридора донесся монолог о женщинах, которые вообще ни в чем ни фигу не смыслят, а туда же лезут. В кухне он появился на следующий день.

Дружеские отношения мы восстановили за трапезой, дружно поедая мои блинчики с творогом.

Вскоре, поняв, как мне казалось, его истинную сущность и причины такого образа жизни, я начала упорную работу, и пилила, и зудела, и доказывала. О боже! Я пускала в ход все средства, я его высмеивала, издевалась над ним, предсказывала

золотые горы, если он вернется в консерваторию, но на все ответом был палец, приложенный к губам, либо какие-то странные строки:

Вы пошлите в красивом конверте
Теплых слов шелестящий шелк.
Вы не верьте мне, вы не верьте,
Я такой, я взял и ушел...

После этого он действительно уходил, но зависимость его желудка от меня была крепкой, и наши отношения сохранялись. Он ел, я его пилила, наевшись, он снисходил до меня и немного «просвещал», во всяком случае, выглядело это именно так.

— Понимаешь, — после того случая мы были на «ты», — мне не важно, есть бог или нет. Я думаю, есть, но не в нашем представлении, то есть с бородой и на облаке. Бог есть. Для меня это априорно существующая система координат. Это мера добра, любви, терпения. Не может в реальной жизни для человека существовать абсолютного идеала. А он нужен. Так вот, господь для меня — это идеал. Понимаешь, это выдуманный мной человек, который когда-то слился с образом Христа. И поэтому я говорю, что верю в господа. Даже «верю» здесь непропорционально, он живет во мне, а не верить в свое существование сложно...

— А может это твоя совесть, — возражаю я, — правда, понятие «совесть» в твоём случае как-то странно, мягко говоря, звучит.

После этого мы долго и злобно спорили о том, что такое совесть и есть ли она вообще. Я тем временем устроилась на работу, но взяли только лаборанткой, прослышав о моей скандальной репутации. Днями я мыла колбы, кормила подопытных животных, а по вечерам все более и более подпадала под влияние соседа.

Боже! Откуда это в нем, почтительно думала я, слушая его бесконечные импровизации. И все сильнее меня занимал вопрос — ради чего он так живет? Ведь нельзя же выносить насмешки, приводы в милицию, непонимание, одиночество, наконец, жить просто так, без какой-то цели. Я уже не верила, что это дешевая игра. Нельзя играть слишком долго и слишком серьезно. Мне его теперь было безумно жаль. Ну не может человек иначе, хотел бы, а не может. Он такой от природы. А я? Я старше его на шесть лет, чем я могу помочь ему? Ничем.

Сегодня вечером он буквально ворвался в квартиру, но на кухню шел очень медленно и торжественно, при этом лицо его светилось.

— Ты знаешь, ты не поверишь, я нашел человека, который выкует иглу. Мы с ним обо всем договорились. Через три дня он мне ее привезет. Значит так: у меня есть сто рублей, ты вчера получила аванс, давай его сюда, ну проживем как-нибудь. Зато представь — через три дня! Иди быстрее, я сейчас должен отнести деньги.

Я смотрела на него с недоумением и не двигалась. И тогда он воскликнул нетерпеливо:

— Ну что ты стоишь? Быстрее, ты прямо как осенняя муха! Давай и обручальное кольцо, когда в следующий раз выйдешь замуж, у тебя ведь будет новое! Умоляю, не хлопай глазами, ты так похожа сейчас на корову, большую, задумчивую и абсолютно... ты меня поняла?..

Плохо соображая, что делаю, я принесла и протянула ему шестьдесят рублей и свое кольцо. Он схватил все это и исчез без звука.

И только тогда я поняла, что сделала глупость, и принялась готовить обвинительную речь. И вот он вернулся и, увидев его лицо, почти красивое сейчас, нежное и чуть-чуть усталое, я забыла все хлесткие слова и лишь спросила:

— Милый, только честно, ты действительно слабоумный? Я ведь не буду тебя упрекать, ты не виноват, это болезнь, признайся, мне будет легче.

— Ну что ты, он придет. Он живет в деревне, и у него кузница, или кузня... Он выкует и привезет, а верблюда... Можно и в зоопарке...

— Все, больше ничего не говори, мне все ясно.

И я ушла, хлопнув дверь.

Через три дня мужчина, у которого кузница, или кузня, не пришел. И через неделю тоже. Мой сосед перестал спать и играть на скрипке и все время твердил, что кузнец забыл адрес.

Наконец, ему пришла в голову мысль, обойти все окрестные деревни, найти там кузню и избавить кузнеца от укоров совести из-за забытого адреса.

— Представляешь, каково ему, — глаза моего соседа лихорадочно блестели, — работал, работал, а тут такая история. Ну, я пойду, наверное, через неделю вернусь, и мы спасем мир! — и, подумав, вдруг добавил: — А потом поженимся.

Он не появился через неделю. И еще два дня, и я заявила в милицию. Там же обрадовались, что он пропал. «Это пятно на нашем районе», — так выразился о мо-

ем соседу лейтенант. Это было в субботу, а в понедельник меня попросили приехать для опознания.

«Опознания кого?» — мучительно думала я, пытаюсь отогнать страшную мысль. Неужели?.. Я стала вспоминать его лицо, но вспомнила почему-то девицу, которая на прошлой неделе торчала возле нашего дома в совершенно дурацком пальто. Потом я подумала, что жить всегда с моим соседом было бы ужасно, случались дни, когда он был похож на собственную вылинявшую фотографию — полузакрытые глаза и белые губы, тогда оставаться рядом с ним было невозможно, казалось, время начинает течь медленнее, загустевает. Становилось просто страшно. Нет, он ничего не делал, даже не двигался, просто сидел на хромом табурете и смотрел, нет, не в одну точку, а как бы в никуда, и минуты тогда растягивались до предела и тяжело переваливались одна через другую. Мне начинало казаться, что я сама схожу с ума, и я уходила из дома.

Нет, я несправедлива к нему, чаще он здорово спасал меня от моей вечной хандры, у него прекрасные глаза. Я никогда не встречала такого бархатно-серого цвета в сочетании с тяжелыми веками... Глаза скорее женские, с мгновенной смелой выражения, настроения, они не соответствовали его лицу и по размеру...

А в милиции мне сказали:

— Собственно, ваша помощь уже не нужна, — лейтенант при этом очень внимательно посмотрел на свои ботинки, — его опознали.

— В каком смысле?

— Он пытался переплыть речку, наверное, хотел попасть в деревню на другом берегу. Сами понимаете, сейчас весна, половодьем мост снесло. Его ниже по реке вчера выловили. Тут в соседней комнате его родители сидят, хотите поговорить?

Похороны были на следующий день.

Собрались школьные друзья, многие плакали. Очень хорошо о нем говорили, вспоминали. Шел весенний дождь, все промокли. Его мама положила ему на грудь скрипку. И как-будто вышло солнце и все осветилось. У могилы я как-то совсем не понимала, по какому поводу он лежит, а мы все тут стоим.

Но вдруг до моего слуха донеслись слова отца, сдержанные, но горькие:

— До того он был послушный, хороший мальчик, а вот как поступил в консерваторию... в него точно бес вселился.

Отец, седой и благообразный человек, рванулся, чтобы разбить скрипку. Его удержали.

Все ушли. А я осталась. Стояла и думала, что отец ничего не понял в своем сыне. Нет, не бес вселился в него. Он слился с другим извечным образом. А может... может это был — Он?! И ему в который раз не повезло...



Евгения Жильцова

СТЕПНЫЕ ЗОРИ

РАССКАЗ

Большие города странно манили Ганьку. Они казались ей чем-то вроде другой планеты. Ведь она знала только степь — пустынную, беспредельную, бесшумно поlying зорями.

Она родилась здесь, на маленьком разъезде, где никогда не останавливались пассажирские поезда. В школе-восьмилетке училась на соседней станции, каждую субботу возвращалась домой к деду. Постарше стала, уже не ждала попутных машин, топала пешком по степи 15 километров. Разливные красные закаты, пряный запах трав, деловито-печальный стрекот кузнечиков были как бы частью ее существа.

Жили вдвоем с дедом. Дед был хворый, и отлучаться надолго из дому было нельзя. Мечталось Ганьке учиться дальше, жить в большом городе. Но после школы пошла работать стрелочницей, как дед.

Матери и отца Ганька не помнила, погибли в Отечественную, оба где-то подо Ржевом. Отец сгорел в танке, мать, санинструктор, умерла в госпитале от тяжелой раны.

Портрет отца, переписанный с маленькой карточки случайным художником, висел над столом, там, где календарь. Ганьке портрет нравился. Ни слишком начерненные брови, ни вычурно выписанные губы не могли испортить выражения молодой удали в светлых глазах и какой-то затаенной, чуть грустной усмешки. Красивым, смелым и словно хранящим важную тайну смотрел на Ганьку отец. Героем смотрел. И еще знала она о нем, что любил он рисовать.

А от матери и карточки не сохранилось. То ли была мать, то ли приснилась в счастливом сне. Помнились будто бы материнские руки, шершавые и теплые. Легкие ее волосы, разметанные ветром по Ганькиному лицу.

Бывает, что всплывает из глубокого сундучка памяти и яркий образ: натруженные руки бережно складывают синий цветок к синему цветку, белый стебель к белому стеблю. Это она, мама, собирает в степи колокольчики и плетет для Ганьки венки. Или ставят эти руки на стол дымящуюся тарелку, подвигают хлеб. Цепляясь шершавой кожей за ткань, разглаживают складки на только что сшитом Ганькином платье.

А бывает что-то совсем уж из мира снов: поездка с матерью в неведомые края. Зеленое степное море за окошком вагона, ласковая синь спокойного неба и босоногая девочка с корзинкой пламенно-красных то ли ягод, то ли цветов несмело машет рукой вслед поезду. Мелькнуло все и скрылось. Но осталась на долгие годы радость в Ганькиной душе: в этом мире предстоит ей прожить долгую удивительную жизнь. В мире, пропитанном, как яблоко соком, синим ласковым светом и материнском теплом.

Случается, обидят Ганьку — дед или кто в школе, или соседские ребята. И тогда нахлынет все это, как наваждение.

Однажды в такую вот горестную минуту захотелось ей до нестерпимой боли сердца вырвать мать из полуснов, приблизить к себе, увидеть ее лицо, глаза, пушистые волосы над лбом!

Взяла и нарисовала мать, а над ней — большое красное солнце с лучами на всю страницу. Рядом на столе хлеб, нетронутая буханка. А в руке на коленях — синие цветы, колокольчики. И тогда мать вернулась. Весь мир детства с его доверчивой нежностью ко всему на свете, с солнцем, степью и любовью матери всколыхнулся в Ганьке. Упала она головой на разноцветный листок и заплакала, захлебываясь рыданиями и повторяя из глубины сердца: «Мама... мама...»

Вот так, много лет спустя, Ганька всем своим существом пережила утрату. Может, в этот день и выявилась Ганькина любовь. Та самая, что бывает один раз и на всю жизнь.

Вечером спросила у деда: «Дед, вот ты все говорил — отец рисовал, а где ж все это... нарисованное?»

Дед указал в угол заскорузлым пальцем:

— Да вон же! Остальное, поди, не убереглось.

Ганька подошла к умывальнику. Там всегда, сколько она себя помнила, висел узкий кусок холста, заслоняя стенку от брызг. Ганька давно уже к нему привыкла и не замечала. И вот присмотрелась, потерла тряпкой. Сквозь серый налет проступил будто кусочек родной степи: белесое летнее небо, пустынные холмы, дорога и одинокая женская фигурка, словно яркий диковинный цветок среди выгоревшей травы. Сняла Ганька картину, бережно отмыла и спрятала в свой чемодан. Дед долго ворчал потом, что стенка оголилась.

Был он, дед, строгий. Но Ганьку жалел, баловал. Знала о нем Ганька, что приехал он в Среднюю Азию голодным парнишкой из волжских степей в двадцатые годы. Здесь много раз умирал, но так и не умер от чужих азиатских болезней, от ран. Строил железную дорогу, воевал с басмачами, был первым начальником разъезда. Ганьку любил безмерно, но по-своему. Понимал ее не совсем, как ни понимал сыновних картин. Твердо знал одно: чтоб сыгта была, одета-обута да приучена к домашней, бабьей работе. Ну и росла небалованная. Разные там фигли-мигли с парнями, краски-замазки, юбки выше колен не терпел.

Ганька и старалась быть такой, какой ее хотел видеть дед, честно старалась. Умела быстро в доме прибрать, обед приготовить, испечь хлеб. (Русскую печку во дворе с дедом сами сложили). Козу доила, варенья разные варила, шила понемногу, крестиком вышивала. Что касается парней, то их, считай, на разъезде и не было.

До странности любила Ганька деда. Будто вся ее нежность, предназначенная отцу и матери, скопилась в ней для него одного, старого. Однажды (запомнил это дед на весь остаток своей жизни) еще маленькой бросилась к нему, крепко обняла за шею, прильнула лицом к его сухой груди, зашептала: «Дедушка, не старей, ладно? Не умирай, дедушка, не умирай, прошу тебя!» Он обещал.

Почти вся молодежь с разъезда покидала родные места. Уезжали в город, на комсомольские стройки.

К концу осени уехал последний Ганькин одноклассник Петька по прозвищу Марсианин (прозвище получил за выдумки, на которые был горазд). Тот самый Петька, что был Ганькиным рыцарем с третьего класса. В старших классах полюбил рыбалку, скитанья. С дальних озер привозил Ганьке ягоды шиповника, бархатистые шишки рогоза. Саморучно сплетал из тонкой разноцветной проволоки хитрозорчатые браслеты и клал ей на подоконник тайно, как капитан Немо. И в обиду ее никому не давал, потому что дочь героев войны и не ябеда.

Уехал Петька. Учиться в летное училище. Проводила его Ганька до шоссе, где проходил городская автобус. Стояли они на дороге, и странное чувство билось в Ганьке. Вот жил парень рядом и не замечала она его, как привычный перстенок на своем пальце. А теперь сердце рвется от боли, будто теряет что дорогое, невозвратимое. Может, рвалась последняя ниточка в детство? А Петька был явно растерян и все вглядывался в нее — то ли впервые что увидел в ней, то ли что непростое хотел сказать. Но так и не сказал.

Когда подошел автобус, Ганька протянула товарищу руку, сказала виновато: «Я, наверное, тоже уеду...» Ей казалось стыдным оставаться в тихом углу, в стороне от всего. Потом они кричали друг другу: «Напиши адрес!» «Не забывай!» На том и расстались.

Не скоро огрустила Ганька по уехавшим. Потом забылась в работе — весь конец лета была в совхозе на уборочной. К зиме пошла в диспетчерскую — осваивать новые аппараты.

А в мире что-то творилось, жизнь вокруг стремительно менялась. Рядом, в горах, вспыхивали огнями в ночи новые поселки — рудники. От взрывов вздрагивали стены дедова домишки: там крушили скалы, чтобы выправить старую петлястую дорогу в ровное шоссе. В необъятные просторы сливались поля небольших совхо-

зов. Разрастались лесополосы, отбрасывая непривычную тень на пыльную жаркую землю. И на разъезде, этот островок тишины, пришли свои перемены. Построили новое здание станции и стандартные серые домики с широкими окнами для рабочих. У шлагбаума на пятиконечных Ганькиных клумбах зацвели оранжевые циннии, и степная пыль не могла погасить их пламенеющих красок. И еще Ганька выхаживала «Петькин сад». В лето отъезда предложил Петька всем одноклассникам посадить на прощание по яблоне. Несколько яблонь погибло, но остальные робко зазеленели по весне.

Самой же удивительной переменой было то, что теперь в ожидании встречного останавливались пассажирские поезда. Не одни лишь слепые равнодушные товарняки, а «живые», с манящими названиями — «Москва-Душанбе», «Москва-Джалалабад»...

А с Ганькой творилось что-то неладное. Притихла, замкнулась. Мучилась нескладностью своей, незавершенностью какой-то. Неумением выразить себя, найти в себе главное. В ней росла и становилась все требовательнее жажда увидеть, понять, как бы разгадать тайный смысл всего, что было вокруг... Жила в тревожном ожидании чего-то и будто боялась неверного шага, чтобы не вспугнуть, не разрушить безвозвратно этого ожидания.

Иногда бросалась рисовать, но после того, первого, портрета матери ничего путного не получалось.

Валька-соседка, что с детства маялась удушьем и давно в город подалась, приехала к тетке на недельку. Встретились с Ганькой у единственного разъездовского магазинчика, где продавалось все — от керосина до макарон.

Валька держала на руках младенца. Поправились, порозовела, уже не ловила астматично полукрытым ртом воздух. Увидев Ганьку, ахнула:

— А я думала, ты давно за генералом! Помнишь, Дуська тебе военного нагадала? Да и то, повадочка у тебя была гордая, нос высоко держала!

— Ничего я не держала, — хмуро ответила Ганька. — Вам все казалось, что горжусь я чем-то перед вами... Чем гордиться-то? Просто думать любила.

— Ну и что удумала? — со свойской беспощадностью засмеялась Валька. — Засохла тут на корню со своим дедом.

Ганька протянула руки младенцу.

— Дай поддержи.

— Подержи. Осторожней. Он еще головку слабовато держит.

Младенец по имени Валерка сразу ухватил пальчиками Ганькину сережку. От него пахло молоком, солнцем, то ли каким цветком. Он был тяжелым, она боялась уронить, крепко прижимала к груди.

Валька обеспокоилась.

— Да не дави его так, он не любит. Реветь начнет. Ох, Ганька, проворонила ты свою судьбу. Небось, и Петьку упустила?

Ганька не отвечала. Ловила губами теплые розовые пальчики — Валерка шлепал ее ладошками по лицу.

Валька недолго сокрушалась о ее судьбе, перешла на свою.

— Витька у меня экскаваторщик, хорошо зарабатывает. Скоро квартиру получим, двухкомнатную. В новом районе, все под боком. Витькин брат в Венгрию ездил в командировку, шмоток импортных приволок. Мы теперь обуты-одеты с головы до ног. Валерке сама шью, вяжу... жить можно. Особенно если «бабки» водятся... — перешла на исповедальный шепот. — Витька ведь налево подрабатывает. И квартиру мы вне очереди берем — умеет человек...

И тут же перешла на горестный вопль души:

— Только выпивать начал, сволочь. И за бабами не дурак. Но у меня, сама знаешь, какой характер, скручу паразита.

— А ты в городе-то бываешь? — вдруг перебила сама себя. — Да ты хоть в гости приезжай, ничего с твоим дедом не случится.

— Ладно, пошла я, — Ганька передала младенца. — Всего тебе! Валерку больше на воздухе держи — хороший пацаненок.

— Не слезь, глазастая! — кричала вслед Валька.

И продолжалась Ганькина жизнь все по тому же, раз заведенному кругу. Хворый, заметно дряхлеющий дед, строго рассчитанное маленькое хозяйство. Дед в новый дом идти наотрез отказался, мотивируя тем, что такой печки, как у него — «все хвори вытягивает и душу прогревает» — там уже не будет. Требование его уважили, домик ломать не стали. Козы уже не было, зато купили телевизор. Дед с телевизором быстро освоился, повадился с ним разговоры вести. Соглашался редко, чаще ворчал, отпускал ядовитые реплики: «Да ты-ж, голова-чугунок, лопату сперва научись держать!» «Ну, гляди, Варвара, как бы сама себя не обворовала!» «Вот ведь оказия, дожили до безобразия...»

К соседнему городку стали ходить рейсовые автобусы, и Ганька пристрасти-

лась ездить на базар, в магазины. Любила заглядывать в книжные. И однажды приоткрыла лежащий на прилавке альбом в глянцевого обложке. Замерла, с трудом перевела дыхание — словно дверь в удивительный мир приоткрыла.

Картину увидела: в саду, под яблоней, густо и тяжело увешанной спелыми яблоками — женщина с ребенком на руках. Женщина с расплеченной, цвета спелой ржи косой, чуть повернув голову, смотрела в сторону. У нее было усталое лицо, но то была как бы усталость счастья. Темные глаза младенца смотрели с потрясающими доверием и прямоотой. Над его выпуклым лбом золотился пух. А розовые пальцы (совсем как у Валерки) и все беззащитно обнаженное тельце светились, словно сквозь них просвечивало солнце. Глубокая синь неба спокойно, но и чуть загадочно сквозила среди ветвей.

«Мадонна...» — шепотом прочитала Ганька. Теплым яблоневым ароматом, ощущением полноты жизни, ее красоты и торжества повеяло на Ганьку. Было и еще что-то, то ли тревога за открытость и беззащитность родниковых младенческих глаз, то ли пророческая печаль в наклоне женской головы, что будоражило сердце.

Купила альбом, привезла домой. Пробовала срисовывать, но все разрывала в клочья. Недовольство собой, тревога все нарастали. Дед давно уж с беспокойством приглядывался к ней. Как-то, укладываясь на покой, проворчал из другой комнаты:

— Вот ведь какие мы теперь гордые пошли! Разогнали всех женихов, распугали. Теперь сидим ночь напролет одинешеньки, чисто сова, глазищами хлопаем. Одни глаза и остались, охо-хо-хоньки!

Ганька услышала, рассмеялась:

— Дед, не обижайся, но ты смешной!

— Чего тут — не обижайся! Завтра ввечеру выйди-ка лучше к красноводскому. Лексеич, проводник, обещал из города табачку прихватить.

— Да не нужно тебе табачку — у тебя запас на целый год! — смеялась Ганька.

— А я говорю — выйди! Ничего тут сидеть, глаза мне мозолить. А Лексеич... кхм... человек самостоятельный, еще молодой, вполне сурьезный.

— Ладно, не сердись, сделаю, как велишь, свет-батюшка!

На другой день вечером вышла Ганька к поезду. «Лексеича» не нашла, хоть и знала его в лицо. Стояла в стороне, с интересом смотрела. Бегали с чайниками пассажиры. Кто-то искал буфет. Удивительно ясный закат солнца золотил лица, прозрачно высвечивал волосы. Все лица казались прекрасными и добрыми в этом необычайно мягком освещении.

— Рисовать, рисовать это надо! Такая красота пропадает! — услышала Ганька голос рядом. Она обернулась.

Стоял около человек — невысокий, неброский, не слишком молодой. Только взгляд карих глаз был хорош — тверд и ясен. Человек кивнул Ганьке, как старой знакомой, и указал на закат, так торжественно догорающий над степью!

— Я пробовала — не получается! — торопливо-виновато сказала Ганька. — Честное слово, пробовала!

Ее ответ и покаянный вид показали забавными незнакомцу, он весело расхохотался. Но тут же взгляделся в нее пристально.

— Вы пробовали? — переспросил с интересом.

— Да, много, много раз! И... ничего, — почти с отчаянием проговорила Ганька.

— Знаете что, вы все-таки не бросайте! — посоветовал он строго. — Рисуйте, слышите! И надо учиться.

Вот почти все, что они успели сказать. Он побежал в свой вагон и принес ей несколько листов плотной белой бумаги, коробку с остатками акварельных красок, кисточку. Уже на ходу вскочил на ступеньку последнего вагона, прощально поднял руку над головой... И ни имени, ни адреса — ничего!

Переломилась Ганькина жизнь. Чуть выпадет свободный часок — рисует, рисует. Радостно рисует, будто рухнула перед ней темная стена, открыла свет. Холмы рисует, дорогу, заросли конского щавеля, чумазных соседских ребятишек, строгий дедов профиль, бегущие в зеленых просторах поезда... Бумаги накупила, красок, а то, что дал кареглазый, бережет, как святыню, на память.

Как-то так получалось: уходили от Ганьки люди, хоть и не была она ни в чем перед ними виноватой. Все лето работала стрелочницей. Пылали и гасли закаты и зори. Отцветала, блекла степь. А Ганька стояла у шлагбаума с желтым флажком разлуки и провожала бесчисленные поезда. Провожала и вглядывалась в окно, в лицо, искала, ждала, не смея самой себе в этом признаться. Но не повторилась встреча. Как тот закат с неповторимыми красками.

И не странно было Ганьке думать всегда о человеке, которого почти не знала и никогда больше не увидит. Стал он для нее всем хорошим, что было в жизни, исполненным света и ясности, доброты и силы. И хотя он даже не заикнулся, как

жить ей и какой быть в этой жизни, но приняла за его заветы: много работать, жить чутко, верить в то большое, доброе и светлое, что чувствовала в себе и вокруг.

К осени нарисовала картину: «Заря над степью». Легкие, горящие облака. Над ними — еще холодноватая глубина просторного неба. На переднем плане — станционный домик, несколько изогнутых ветром деревьев. А вдали — последний вагон уходящего поезда...

С этой картиной с благословением деда уехала Ганя осенью в город поступать в художественное училище.

А через полмесяца дед, приставив для верности ладонь к уху, слушал, как соседский черноглазый постреленок Музрапка, сынишка нового начальника станции, бойко читал ему письмо от внучки.

«Дедушка, ты не волнуйся и не переживай. Все у меня хорошо. В училище меня приняли. Учитель сказал, что картина моя — самая лучшая на экзамене. Но он просто добрый, наверное, хотел меня подбодрить. Я ведь очень скучаю по дому, по тебе, дедушка. Ты не хворай, пожалуйста, а я тебя обязательно заберу к себе. Я уж и квартиру нам с тобой подыскала. На краю города — знаю, что в городе тебе не поглянется, не привык ты к шуму и суете. Домик почти как у нас, даже крылечко такое же старое и щеколда на калитке плохо запирается. Нет стени за окошком, но зато много сирени, такие старые огромные кусты. Привыкнешь, дедушка. И хозяйка хорошая. А домик наш продавать пока не будем...»

— Ты зачем плачешь, дед Антошка? — неожиданно оборвал себя читарь.

— Нешто так плачут? — рассердился дед, сбрасывая что-то с века непослушными пальцами. — Ты знай, читай, воробьиная голова, читай вразумительно!

Дед побрел в дом, опустил белые, простого тюля занавески на окнах — от комаров. Поставил греться чайник на газовую плиту — с Музрапкой в самый раз чай гонять, побеседовать. Деловито переставил веник из одного угла в другой! — обленился что-то последнее время, забросил хозяйство.

Снова вышел на крылечко. Музрапка уже гонял в футбол с ватагой таких же мальчишек в дальнем конце улицы, там, где обрывался поселок. Письмо, как голубь, белело на перилах. Чуть дрожащей рукой старик взял письмо, неловко и бережно вложил в конверт.

Возвращаясь в дом, оглянулся на степь. Ясный закат догорал знакомыми очертаниями холмов.



Тада Никитенко

МОЛНИЯ

РАССКАЗ

Поначалу она часто останавливалась. Садилась в жесткие кресла, вылизанные водой и ветром, изукрашенные каменной резьбой, а однажды даже легла в сухую ванночку со вспененными каменными кружевами. Ее восхищению не мешало, что все было одинакового, ровного фиолетового цвета. Она лежала и радовалась: «Как хорошо, что я снова доверилась интуиции. А могла бы пройти мимо чуда, или проехать, если бы машина не поломалась». Вспомнив о машине, о шофере, ждущем помощи, она встала и двинулась навстречу восходящему солнцу. «И ведь только цвет притянул меня. Странный фиолетовый цвет. Вообще в Туркмении, — конечно, только для того, чтобы скрасить унылый безводный пейзаж, — горы раскрашены во все цвета радуги». Она улыбнулась, вспомнив, как колебалась, а потом припустила по пыльной пухлой дороге — бегом, чтобы не успеть передумать, к фиолетовой гряде, близко, казалось ей, и невысоко возвышающейся над жесткой хрупающей под подошвами щетине, еще недавно бывшей весенней травой. Она помнила карту. До долины, до какого-нибудь кишлака, по плато ближе раза в три. И это соблазняло, и восхищали неувядающие диковинные цветы, каменные дива.

Веками играли ветер и вода над фиолетовым шершавым песчаником. Оставили образцы и для готики, и для барокко, и для пышного ренессанса — не было ни одной повторяющейся линии. Овальное зеркало волна подняла, да так и застыла... «Здесь была только Таня Лесных», — мысленно написала на нем она и продолжила: «Коллекционирующая самое ценное: впечатления». А эпитафией: «Случай идет навстречу тому, кто его ищет».

Причудливейшие растения возникали перед ней! Мелкими — цветами? кружевом? — рассыпались под ногами. И смотреть на них нужно было обязательно: уже несколько раз Таня споткнулась...

Когда солнце поднялось повыше, Таня уже досадовала на изгибы, извивы, выемки фиолетового безжизненного пространства, где ровного места для ступни не было, не было прямого пути, а нужно было огибать, перелазить, перескакивать... Фляжка с настоем из верблюжьей колючки стала легкой. Солнце вскапывалось все выше, укорачивало, съедало тени.

Таня у в и д е л а фиолетовую пустыню, в которой не зацепилось, не ожило ни одно зернышко, ни одно семечко, лишь когда п у с т ы н я беспощадно отбросила в ее лицо весь жар свирепеющего солнца. Только тогда в полной мере поняла — здесь действительно никогда не ступала нога человека. Ни одно живое существо не отваживалось пересекать коварное плато. Она огляделась: вокруг нее до самого горизонта всколоченный камень цвета запекшейся крови. И только одно ее человеческое сердце бьется, и случись что — не докричаться, не дозваться помощи. Она слизнула соленый пот над верхней губой. Нет, она не испугалась. Она пожалела... Пожалела, что рядом нет другого человеческого сердца, которое разделило бы с нею необъяснимый восторг перед космически несокрушимым жестким драконом. Пожелала

человеческого сердца, которое «билось бы так близко-близко, в тебе, чтобы оно было жарче, чем солнечные пики, чтобы содрогнулся всколоченный камень от пламенного движения живой жизни».

От солнца хотелось отвернуться. Но ее страшило заблудиться, удлинить путь по гряде, ведь можно закружить, не приближаясь к долине. И она следила за выпивающим, испаряющим ее солнцем.

Она ставила и ставила ногу, сторожку, чтобы не подвернуть ее. Наверное, у нее связки растянулись, этот всколоченный камень вертел ее ступни вокруг щиколоток как на шарнирах. Ломило не только набитые ступни, но и все тело, оно покелось заживо. Она чувствовала, как соль покрывает кожу. Изредка мелькала мысль о текущей где-то независимой воде, о том, что только ночью можно будет лечь на остывающий камень с тем, чтобы на рассвете встать; о том, за сколько минут сварится яйцо на раскалившемся камне. Она устала передвигаться по изломанной, изламывающей линии. Она уже клонилась вперед, чтобы облегчить путь как бы падая, ногу нужно было быстрее подставить, чтобы не упасть, упасть было нельзя.

Что дойдет, она знала. Это тело ее мучилось, страдало от солнца и жажды, но чем хуже она себя чувствовала, тем сильнее прорезывалась сила, властно влекущая его вперед, она не даст упасть, она выведет. Будет вести через весь день. Ее хватит.

Таня не обрадовалась, увидев, что ее плато круто упало в долину. Радость требовала сил. А нужно было еще спуститься. Пройти мимо низкорослых раскоряченных, как бы танцующих яблонь. Подойти к каналу, вдоль которого поднимали кулаки тutowые деревья со свежееотросшими темно-зелеными ветками.

Чтобы не сорваться, она хваталась за наждачный склон, обжигаясь, свозя кожу на ладонях, и почва мягко поймала ее. В воде стеной стоял камыш. Она побрела туда, где разливалось небольшое озерцо, где берег был лысым. Будто специально вышла она к нему. Трава, листва, вода — ж и в о е — уже дышало ей в лицо. Кожа увлажнилась, соль потекла, полезла в глаза, защипала. Таня торопливо расстегивала горячую куртку. Сейчас она ляжет в озерцо, вместо рыб, тени которых скользнули в спасительные камыши. Когда стянула рубашку, кожа сама дохнула прохлады и передернулась, покрываясь мурашками... И в это же мгновение она почувствовала... именно это она бы почувствовала, если бы прямо перед ней разорвалась молния. Нет, ее не испугал, не оглушил громовой раскат, не ослепила молния, но ощущение было именно такое: электрический разряд потряс ее. Рассыпал вполне реальный пейзаж, а взамен... Молния высветила... Если бы это была молния, то она действительно высветила бы трепетным светом... Но свет был ровный. Ничего потустороннего в нем не было. Отец стоял перед ней. Таким он был незадолго до своей смерти.

Он ее — видел. Истосковавшиеся глаза говорили сй: «Так долго мы не виделись, да, да. Вот такой ты, мой ребенок, деточка моя, умница...»

При жизни он никогда так ее не называл. У них не было друг для друга ласковых слов и уменьшительных имен. И сейчас взгляды, которыми они обменивались, были гораздо нежнее, чем любое, пытающееся обозначить чувство, слово. Она смотрела на отца и задыхалась от нежности. Щемящей, нечеловечески беспредельной, никогда так остро не испытанной.

Смотрела и ждала.

Он хотел сказать ей что-то важное. Что не успел сказать живым. Может быть, какое-то знание, неведомое ей, открылось ему?

Но другой человек заслонил отца и смутил его. Отец отдалился, взгляд его молил о помощи, словно на этой земле она еще могла сделать что-то для него. Но что? «Как ты не вовремя! Какое мучение.... Но кто же ты? Кто? Ведь я тебя встречала...»

Она стремилась сохранить, запомнить, впечатать в себя взгляд отца, чтобы потом разгадывать его, постичь заложенный в нем смысл и силалась опознать некогда знакомое лицо, искаженное гримасой движения. Неким звериным чутьем она угадывала не просто общность, но сейчас для нее жуткую родственность с явившимся призраком. Хотя он соткался перед ней прямо из воздуха и, по ее разумению, должен был быть не материален, своими ушами она услышала, как потряс его голос этот воздух.

— Я никого не могу любить. У меня сердце поражено.

Рухнула с размаха на колени, больно ударившись об утоптаный берег, упала ничком, головой достав до воды. Вспомнила в се! И влюбленность, и бешенство, казалось, до предела переполняющие ее, перекрыло желание сохранить роившиеся шары воспоминаний, воспоминаний, вкладывающихся одно в другое.

Сознание ее было ясным, в этом отчет она себе отдавала. Краем глаза она видела недалекий камыш, пыль пахла скотиной, спускавшейся здесь к водопою. Падая так, будто кто подсказал ей это, понимая, что она «спряталась», она укрывала первовоспоминание, которое однажды намертво стер он, Донат, из ее памяти. И поэтому сейчас, немедленно, она запишет самое главное.

Таня, лежа, доставала из планшета «Полевой дневник», вписывала несколько предложений для «вечной памяти». «А Доната нужно найти. А... если он тоже мертв? Н-нет, такой и живым куда угодно проникнет. Куда угодно». Она вспомнила его больно жесткие колени. Выползла из брюк и скатилась в воду, подняв со дна грязь и не замечая ее. В о д а охватила ее. В о д а...

Вот от чего можно потерять память... В о д а...

А потом начались хлопоты. Как она и предполагала, нужной запчасти в гараже не было, но пузатый председатель пошел ей навстречу, послал за их автомашиной трактор «Беларусь».

Таню в конторе колхоза поили зеленым чаем, угощали восточными сладостями и разговорами, пока не поспел ужин. Она вела светскую беседу в диапазоне от погоды до международных отношений и умудрялась собирать осколки своих воспоминаний. Но сосредотчиться, настолько, чтобы понять, почему же она забыла все, было невозможно. Всегда говорила: «У меня плохая память, я помню все», — и так намертво забыть? Непонятно...

Таня глотнула зеленого чая. Пиалу она держала в руках, ставила на стол только тогда, когда выпивала весь чай, и председатель тут же подливал ей, на доньшко, как дороговому гостю.

Донат стер из ее памяти все, что рассказал. Вернее, не стер, раз она все-таки вспомнила, а заглушил, заблокировал... А рассказал только потому, что хотел объяснить, почему не может любить его пораженное сердце. Стер, и она могла жить, улыбаться, целоваться — о таком — забыв?

Как только она останется одна, она пропишет мельчайшие детали. Потом отпечатает экземпляров пять, вложит в конверты и раздаст на хранение своим знакомым, с условием, чтобы напоминали ей о них иногда. «А тебя, Донат, я разыщу...»

Опять глоток чая. Вместо конфеты в рот — ядрышко грецкого ореха, четыре изюминки... Традиционное восточное угощение.

Когда стемнело настолько, что нужно было включить свет, ее оставили одну. Завхоз принес комплект постельного белья. Ночь ей предстояло провести на старинном диване с пружинами, с высокой спинкой, обтянутой белой тканью, или за столом.

«Машину, если все будет хорошо, должны притащить глубокой ночью».

Все, нужное для письма, готовила механически. Мысли, не расчлененные на слова, сжатые, как шаровая молния, наконец-то ничто не отвлекало. «Мальчик проснулся часиков в пять вечера на даче и понял, что на даче никого нет, и испугался», — прочитала она первую фразу — напоминалку. Во-первых, нужно добавить, что мальчику пять лет, это важно. Что, не интересуясь отношениями взрослых, ничего не зная об африках, электронах и озоновых дырах, не умея ничего объяснить, он тем не менее п о н и м а л в с е. Знание само вызревало в нем, являлось как расшифровка неких закодированных в крови понятий. Во-первых, нужно описать, как мальчик понял, что его мамы — нет. Что нельзя подбежать к ней и уцепиться за ее платье. Что нет ее голоса, ее: «просну-улся?» Нет ее рук, которые погладят, обнимут, потормошат, пока он не рассмеется от счастья. И описать милого, чуткого мальчику все нужно...

Таня осознавала, что так чутко понимает душа ее, передать словами будет невероятно трудно. Она могла это «видеть» своим особым зрением, п е р е в о п л о т и т ь с я...

Мальчик сидел на кровати, свесив босые ноги. Рядом с ним и над ним комнаты были все пустые, просторные, целый лабиринт комнат. Он так по-детски испугался их. И обиделся, что его бросили спящего, и рассердился, и все это сразу сбросило его с кровати.

Он увидел через окно: по дорожке, по саду шел низенький мужичонка в плаще с широченными плечами. Мало того, что кепка была нагвинута на самые брови, он еще и глаза запрятал за черными очками. Весь такой-сякой мужичонка. Не страшный, но неприятный, и совершенно понятно, что от него нужно спрятаться.

В тот самый миг, когда мальчик кинулся прятаться, он успел увидеть, что мужичонка тоже побежал — к дому, и догадался, что бежит он — за ним. Он несся за мальчиком по пятам, не было возможности затаиться, нырнуть под кровать, под стол — настигающий звук тяжелых сапог. Дом волновался очень глупо и выдавал мальчика: хлопали двери, вспыхивали, разлетались шторы, качались люстры... Мальчик не кричал, он чувствовал себя равным по силе своему взрослому врагу.

Подбегая — в который раз! — к комнате, где стоял его горшок, мальчик сделал отчаянный рывок и забежал, опередив преследователя, в нее, взяв горшок двумя руками, подставил к двери табуретку, стал на нее, замахнулся. Он снайперски

вычислил свой удар, изо всех сил впечатал горшок прямо в лоб, в ненавистные черные очки.

Мужичонка брызнул, лопнул, как мыльный пузырь.

Страх мальчик не почувствовал. Знал, что он вечен, что с его жизнью ничего не может случиться. Но дом, лабиринт равнодушных, нежилых комнат, был ужасен как свидетель, хранящий в себе бегство и погоню. В доме рассеялся злой дух.

Мальчик бежал по своему сагу, обежал безлюдные участки соседей, выбежал на дорогу, ведущую к железнодорожной станции. Он хорошо знал эту ровную дорогу: ходил по ней много раз с мамой и папой. А сейчас она вдруг углубилась в овраг, по сторонам ее были обрывы, а когда он побежал по самому дну, двое мужчин схватили его за руки крепко и безвозвратно, не было ему спасенья из западни. Наверху оврага, с той самой стороны, куда он бежал к спасительной станции, недвижно стоял и молча смотрел на них сквозь черные очки неистребимый мужичонка. Как только мальчика зажали, мужичонка быстро скатился на дно оврага. В руках его появился огромный шприц. Мальчик никогда не думал, что могут быть такие огромные. Затосковав, мальчик видел, что шприц полон черной жидкости, что игла у него толстая, как стержень шариковой ручки. Когда игла пробилась сердцу мальчика, он понял, что его убили. Опустив глаза, мальчик смотрел, как черная жидкость из шприца уходит в его сердце, наполняящееся взрывающейся огненной болью. Как только стержень вытолкнул последнюю черную каплю, мальчик потерял сознание.

Каждый листок на дереве был четко обозначен, каждая травинка выделялась своей жизнью, лучились цветы — солнце светило вовсю. А он летал над кустами, видел все это, но того, в чем он летал, он не видел. Ни рук, ни ног у него не было — он жил тонкой иголкой. С него сняли тело, как скафандр. Оно лежало в гробу, его несли. Все плакали. Мама его, мамочка тоже плакала. Он утешал их: «Вы не плачьте, я живой», — но она не слушала.

Он летал над кустами, над похоронами, беспомощный и удивленный, пятилетний мальчик, незнакомый ни с чем и знающий все.

А мама горевала, ах, как убивалась мама о нем.

— Мама! Не плачь, мама!

Его сердце разрывалось от ее горя.

— Ма-а-ама...

Он очнулся от боли, он застонал. Ломило всю грудь, болела левая рука. Позднее, став взрослым, он узнал, что так прохотел приступ стенокардии.

Он, шатаясь, вышел в сад. Вышел из летнего домика, маленького, легкого, разукрашенного теремка. Вышел к лесу, к шалашику, раньше он никогда не осмеливался в него заходить, но сейчас сел в нем, касаясь головой сухих веток. Ему казалось, что через его сердце пролетает стрела. Пролетает и терзает его. Оно зашлось от боли. Все, чем он жил до сих пор, казалось незначительным, игрушечным. Тело его, которое могло стать просто скафандром, не стоило такой боли.

Боль не оставляла его и вечером. У нее была настойчивая цель: пропитать ледящей тоской его сердце, чтобы оно омертвело.

Того маленького мальчика Таня понимала хорошо, хотя никогда его не видела. С ним, взрослым, все было неизмеримо сложно. Она могла бы любить его. Настолько, чтобы подчинить ему, как высшему существу, свою жизнь. Хотя и тогда она понимала, что некоторые его способности, проявления, лежат не только вне ее разума, но и его тоже.

Он явился ей в обыкновенный полдень, во дворе института. Шел — так легко, как может идти только сильный и здоровый человек. Товарищ его тоже был высок и спортивен. Может быть, и красивее его он был, белокожий и чернявый, это она позже разглядела. Тогда же друга его в упор не видела. Донат ослепил ее. Голубой нимб парил над головой — затмевая его самого и его лучистые глаза. Сияние излучал его мозг, ей дано было это видеть.

Сейчас, сидя на жестком стуле за колхозным столом, она сравнивала его тело со стеблем, а голову с чудесным цветком, который он нес бережно, ценности его не зная.

Первое явилось ей настолько ее восхитило, что потом едкое раздражение от общения с ним она смогла выносить очень долго. Смирля бешенство, в которое он ее приводил. Легкость, восхищение родились в ней, едва она его увидела. Это было сродни тому особенному настроению, которое вызывает картина, созданная рукой Мастера. И это ее настроение передалось ему мгновенно. Каким наваждением была их первая встреча! Они потянулись друг к другу так, словно многие годы, обреченные на нескончаемое странствие, были разлучены, тосковали в ожидании свидания.

Когда она вернулась в общежитие института, то с большим удивлением отме-

тила, что ничего не изменилось вокруг. На обыденной деревянной кровати сидела ее соседка по комнате, абитуриентка из Самарканда, читала прозаическую книгу, готовилась к очередному экзамену. Обыкновенные пирожки из буфета лежали в тарелке на тумбочке. Разные книжки и тетрадки загромождали подоконник. Все это было неестественным, все нарочито подчеркивало свой смысл. И все было — фальшивым. Истина была не в этом. Подлинные ценности были другими. Реальный мир простирался в область чувств и настроения, отношений и ощущений. Непреходяще драгоценны были линия руки и округлость губ, изгиб шеи, легкие ноги и счастливые глаза, и не чьи-нибудь, а ее собственные. Вечно прекрасные и такие хрупкие, незащищенные от космически прожорливого времени.

Дня через три, так же с другом, Донат опять зашел в институт. Она обрадовалась, что уже сдала экзамен, и почти побежала к нему. Он обрадовался, когда увидел ее, но она поняла, что шел не к ней. Это царпнуло ее. Но она была молода и самоуверенна. И посейчас Тане непонятно, почему тогда она думала, что ее объятия самые сладкие, а потому и самые желанные. Но когда он говорил что-нибудь наподобие: «Какая у тебя кожа ше-елковая...» — для нее это значило, что он попал в плен ее загорелой кожи, ее глаз, ее волос, — к ней в плен, — и так же, как она не могла больше ни о ком думать, так и он должен думать только о ней и стремиться к ней.

Ах, как она тогда все верно и непоколебимо понимала!

Первое наваждение любви, которое дохнуло на нее в бабкином селении, первое потрясение от колдовского заклинания, открытие незримых токов, развихривающихся в кажущейся безмятежной природе... Какой умной она себя тогда почувствовала. Прямо-таки царственная значимость от приобщения к тайне переполняла ее. А в двадцать лет воскликнула: «Ой, какой же наивной дурой я была!» А когда в свои двадцать пять то же самое сказала о себе двадцатилетней — с-стоп...

Досуг свой они проводили забавно.

— А я найду бритвочку под листом бумаги, — говорила она Донату.

Он по всему столу раскладывал листы, прятал под какой-нибудь из них бритву, она вела над листами ладонь...

— Здесь! — хлопала с размаха, даже не трудясь поднять бумагу.

— А я могу... — он подходил к окну, — вот сейчас... прохожий споткнется.

И прохожий летел на тротуар.

— А хочешь, я на тебя сон сегодня нашлю... Какой ты хочешь? — или грозила: — Будешь меня обижать, голову разломаю, пострашнее болеть будет, чем зубы.

— Тьфу, игрушки, — отвечал он и смотрел на стакан, и стекло трескалось, якобы кипятком на него плеснули.

А вот этого она понять не могла. Ж и в о е она понимала. А излучение его мозга, порой такое сильное, что превращалось в сияние, для нее было загадкой. И странная избирательность его пронизательности — не в земное, а в неземное!

Ну почему ее, земную, юную, он не пытался понять? Почему ее он не щадил? Ей хотелось бы только поцеловаться, пощечетать и понежничать с ним. А у него не было терпения быть с нею нежным и мягким. Она воспринимала только его жесткое упорство и обижалась, потому что чувствовала, что он ее обделяет. И комплименты его стала воспринимать как оскорбление.

Сама она без любви не могла поцеловаться, а он и не отрицал, когда она его упрекала, что он — ее! — не любит... И рассказал ей жуткую историю со шприцем... Но до Тани она не доходила. И лишь много позже она поняла, что мужчина — это другая вселенная. Тогда же просто не хотела разобраться. Ей приятнее было оскорблять его.

Таню снова бросило в жар, когда она вспоминала, чего стгоряча наговорила ему.

— Да ты же только скафандр мой используешь! Тебя душа моя — не интересует! Тебе все равно, если я завтра умру...

На что он отвечал рассудительно:

— Нет, у тебя будет долгая жизнь.

— А я хочу быть счастливой. Я умею быть счастливой!

— Согласен, только, чур меня, — смеялся. — Будь счастлива, что мне нравится твой скафандр, разве мало?

— Да просто у тебя кожа зудит в одном месте, — взрывалась она, — капелька неумных существ копошится, рвется, ищет выхода, ведет тебя за собой по заданной программе, когда в мозгу одна извилина — и та прямая!

— Как ты догадалась? Да я только для этого с абитуриентками и знакомлюсь. Но за все годы ни одной такой кикиморы, как ты, не попалось.

— Биологические особи себе под стать отыскиваешь? Ну, так если к тебе с этих же позиций подойти, — подобралась она, — то знай, переход количественных изменений в качественные природа осуществляет за счет мужских особей...

Дальше она не смогла продолжить. Не успела. Нужно было удирать, все игры в кубики грозили обернуться банальным рукоприкладством.

«Вот на такой высокой ноте... визгливой... мы расстались... И теперь его надо найти, чтобы расспросить об отце. Почему они появились вместе? Вообще, что все это значит?»

Целый рой вопросов, и разрешить их можно только с Донатом. Но захочет ли он тратить свою энергию? Тысячи километров нужно пересечь... Таня чувствовала, что он жив, искать его собиралась на старых его тропках...

Таня предполагала, что будет кружить по знакомому городу, как собака, вынюхивающая след. Но он словно не жил здесь никогда. Рассеялось его дыхание, люди не помнили его, не знали о его жизни, хотя самое важное, что они могли делать, это знать и помнить о жизни друг друга.

Но она не отчаивалась и разузнала в конце концов, что он женился и давно уехал из Мытищ. Что он стал медиком, работает в Московском НИИ, что-то исследует, женился... Разве можно тронуть сердце, которое не окрыляет любовь? Откликнется ли он на ее мольбу? Поймет ли ее дочернюю боль? В предчувствии встречи она вспомнила его мозг, чудесный цветок, который нес он, его легкую походку, когда ноги не идут, а танцуют. Танцевал... Не обремененно. Вернее, не обременяя себя. Она разыскивала его и была собрана, чтоб в момент встречи, в самый неожиданный, «включиться» на полную мощность, сполна вобрать первое впечатление, самое верное, уловить зыбкую истину, пока он не стал в позу, не начал кого-либо «строить» из себя. Донат мастер фразами создавать фон, на котором он смотрится.

Она была готова к неожиданной встрече. Но явление его в квартире, куда она на часок забежала проведать однокурсницу, — из цепи Великих Случайностей. Донат зашел на минутку, передать книгу от общего знакомого.

Когда позвонили в дверь, открывать пошла гостья. Зинаида «дышала» над кофе.

— Здравствуйте, Зина, — в полутемной прихожей он протягивал Тане книгу. — Передайте, пожалуйста, это для Юрия Павловича.

Таня узнала его сразу, и у нее защемило сердце. Так смотрела бы она на пожарище родного дома, еще вспыхивающее синими огоньками, прощально машущее сизыми лентами дымка.

— Я не Зина, я подруга, — чуть улыбнувшись, ответила Таня и повела рукой в сторону появившейся Зинаиды.

Хозяйка равнодушно взяла книгу из его рук, не подозревая, что это тот самый человек, которого разыскивает Таня. Не пригласила его проходить.

Но Донат уже, как охотничья собака, сделал стойку.

— Познакомьте, познакомьте меня с вашей подружкой, Зиночка, — весело сказал он.

«Познакомьте, познакомьте меня с той, что когда-то зацеловывала меня так самозабвенно», — в солнечном сплетении у Тани взорвалась холодная звезда, загорелась ярко, заглушая все остальное. Космическое эхо отозвалось в тесной прихожей.

Зина уловила настроение Тани и тут же переменяла тактику. За кухонным столиком они оказались троим.

«Невероятное везение», — маленькими глотками отхлебывала горячий кофе Таня. Навязчивый вкус немного развлекал ее. Она старалась сохранить равнодушие, внешнее, никак не могла понять: не узнал он ее или притворяется. И беспокоилась, и смущалась, и удивлялась сама себе.

Зинаида способствовала зарождающимся, как она думала, отношениям.

Донат веселился, как будто был здоров.

Но Таня в и д е л а разруху. Лопнувшие капилляры, запекшиеся кусочки крови, сжатые спазмами, деформировавшиеся кровеносные сосуды. Две капельки крови, чуть прикрытые кожей, адели на шее.

Таня знала, что они разбрызганы у него по всему телу, по-прежнему полному легкой силы, но... «Но что же с ним стряслось?!» — мучилась она.

Манера вести себя у него осталась прежней.

— Вот уж, какие у тебя ноги красивые, — восхищенно шептал он Тане, улучив минутку.

Давнее раздражение не царапало ее. Сейчас ей было просто смешно. Глаза ее оставались спокойными и снисходительными.

Несколько раз Донат порывался дотронуться до нее и каждый раз отдергивал руку, как обжигаясь.

Ее сердце откликалось на его голос. Она снова, как когда-то, готова была любить его. Но она упорно уклонялась от свидания, на которое он ее приглашал.

Лишь прощаясь, обменялась телефонами, разрешила позвонить ей. А когда Донат ушел, подумала: «Мне — с ним? Говорить по телефону? О чем?»

Таня снимала нестерпимо холодную комнату в коммуналке. Мороз на улице она переносила хорошо, но в комнате, хотя она заклеивала окно бумагой и завешивала его ночью одеялом, порой ее била дрожь, она боялась простыть.

Донат приходил к ней в гости, но она все не решалась начать разговор, ради которого приехала. Она ждала случая, который спровоцировал бы этот разговор, но Донат вел себя как нормальный человек, словно не было никогда в нем загадки.

Однажды, нагулявшись по городу, она позвонила ему на работу, договорились встретиться неподалеку от ее дома в продуктовом магазине. Одной ей просто не хотелось заходить в свою ледяную комнату. Донат стал в очередь за колбасой, а она медленно прошлась по залу, возвращаясь, взглянула в смутное вспотевшее окно-витрину и подалась к нему, заинтересованная странной метелью. Когда подошла поближе, изумилась — это шел дождь. Шум дождевых капель — было то странное, что привлекло ее внимание. Обильно падающую с неба воду ладонь ветра поддавала размеренно и равномерно, так, что та, некоторое время сгустившись во вставную на дыбы лужу, летела горизонтально. Она заворожено наблюдала за разбушевавшейся стихией. С улыбкой подошла к нему, чтобы поделиться, окликнуть, но его имя застыло на ее губах. Она обращалась к чужому человеку в покоем пальто. Незнакомое лицо... но уже в следующее мгновение она поняла, что это он. На нем просто не е т л и ц а. Ей стало страшно, потому что сейчас ни докричаться до него она не могла, ни дозваться. Далеко-далеко он, и когда вернется сюда, к себе? К ней он никогда не вернется... Захолонула она...

Она стала прямо перед его невидящими глазами и представила, что он смотрит на нее. Видит — и узнает. Любой человек уже сто раз взглянул бы, ведь так близко она стояла, смотрела прямо в глаза, а он не чувствовал... Он, который еще недавно, — ах, как низко звучал тогда его голос, словно он заклинал вселенную, — клялся, что подарит ей весну. «Холода не станут. И без меня будет тепло...»

Еще на шаг подошла она, снова попыталась перехватить его взгляд. В глаза ей ударила теплая волна, ослепила слезами.

Она взмыла вверх, запрокидываясь на вздохе, ощущая, что попала в вибрирующие тугие спицы, прошившие ее тело, вклинившиеся как будто между всеми клетками, и ощущала она э т о каждой клеткой отдельно. Не успев определить, что же э т о — лучи, токи? Она оказалась среди их колеблющихся контуров-струн, воспринимая лишь их вибрацию и п о н и м а я ее, улавливая суть, истину. И нельзя было назвать э т о «говорящим» взглядом. Как в критической ситуации все было понятно без слов, без жеста, без взгляда. Но все было так неожиданно и необычно, что хотелось задуматься, как всегда, а возможности такой не было.

— Та-та-та, — услышала она его голос — там? или здесь? — и почувствовала — здесь — свои пальцы в его руках. От стряхнул ее в ее скафандр. «Я чувствовал себя тонкой иглой», — вспомнил ее пятилетний мальчик. Поддавшись нахлынувшей нежности, Таня на секундочку прильнула к его щеке, и — так много раз она это испытывала! — ей показалось, что она прощается с ним навсегда, что он шагнет... шагнет и никогда не вернется на эту улицу, в этот город...

Необычайно ранняя весна шла по всей Европе. «На два месяца раньше полопались почки на деревьях Германии, — ходила и бормотала Таня, — цветущие сирени томятся в Праге. Свечи каштанов встали по улицам Парижа...»

Стекла на ее окне освободились ото льда, и комната перестала угнетать ее. А когда весна воцарилась везде, незванный гость постучался в дверь, стал на пороге.

— Это называется «остолбенеть от изумления», — вместо приветствия сказала Таня.

— Неужели ты? — Яша похлопал себя по щеке. — Ущипни меня.

Таня рассмеялась. Он мало изменился, друг Доната, белокожий и чернявый, она вспомнила, что студенты звали его Яша Плюш за кучерявый обильный «подлесок».

Он не мог справиться с собой.

— Вы с Дантом меня доконаете...

— Не бери в голову... — а сама подумала: «Как интересно называет он Доната... Дант... Конечно, Дант...»

— В голову не лезет! — Яша схватился за голову. — Он тебе звонил вчера? — схватил ее за руки.

— Звонил, — недовольно отстранилась.

— Долго вы говорили? — так спрашивал, словно она всю жизнь только и утаивала что-либо от него.

Таня утвердительно кивнула.

— С-с перерывом. Сначала минут двадцать, потом еще полчаса.

— Он сказал, откуда звонил?

— Что ты такой свирепый? Сказал.

Он вздохнул, отмякая.

— Откуда он звонил?

— Из автомата, на набережной, за белым гастрономом.

— А ты знаешь, что там автомат с ограничителем?

Таня пожала плечами.

— Проходи, Яша, — спохватилась она, — что это мы с тобой на пороге застряли?

— Я пройду. Но ты мне дай возможность закончить разговор.

— Да, пожалуйста.

— Автомат этот вообще не работает. Я проверял. Я только что отсюда.

— Он вчера звонил.

— Автомат уже неделю не работает. Это точно.

— Садись, — пригласила Таня. — Ну, наверное, ты не тот автомат проверял.

— Я все проверил. Он звонил по тому автомату, который неделю не работает.

— Как же он звонил? — улыбнулась Таня.

— Вот и я его так же спросил. Он мне ответил... — Яша мотнул головой и замолчал.

— Ш-што? — шепотом спросила Таня.

— Как в ледяную воду лицо опустил. Что только мурашки, — сказал он. — Что так же замирал. Как в ледяную воду... Там всего один автомат и стоит. Дант подошел, как раз мужик из него выходит, не работает, говорит...

Таня закрыла глаза. Голос Яши отлетел от нее. Она в и д е л а.

Позвонить нужно было сиюминутно. Донат сгорал от нетерпения. Он вошел по инерции в будку, он не мог сдержаться, снял трубку. Провальное безмолвие. Он поставил монету, глядя на нее, набрал номер. Ее г о л о с должен зазвучать... Он желает, чтобы звучал ее голос... Он всегда на таком острие желания.

...Пустота крикнула, раздался далекий гудок, отозвался желанный голос. Он говорил до тех пор, пока в будку, ему в спину, не постучали: прохожий просился позвонить. Донат уступил ему телефон, тот вскоре вышел раздосадованный: «Он же не работает!» — и подозрительно посмотрел на Доната. А тот вошел в будку, так же позвонил, и еще с полчаса проговорил...

Пока Яша рассказывал, он непрерывно жестикулировал, а замолчав, устался на Таню во все глаза. Она эмоций не проявляла.

— А у тебя брови действительно похожи на крылья бабочки, — вдруг переменявшимся голосом сказал Яша.

— В каком смысле?

— Чуткие. Ровные такие крылышки вверх. Удивленные.

— А почему «действительно»?

— Ну, почему... почему...

— Он сказал?

Яша кивнул.

— Что еще он говорил?

— Больше ничего.

— К-а-ак? А про кожу?

— Откуда ты знаешь?

— Ну, что еще говорил?

— Он же не знал, что мы знакомы. Что можем когда-нибудь увидеться, — упавшим голосом оправдывался Яша. — Ничего предосудительного он мне не говорил. Просто поделился, что влюблен.

— Просто?

— Не просто. Что никогда в жизни ничего подобного он не испытывал. Что любовь затопила его, как половодье.

— Так и сказал, что половодье?

— Н-нет... Что это удивительное чувство... что «мы с ней одно и то же», что «она даже хлеб любит такой же, как и я».

— Хлеб...

— Что он когда впервые дотронулся до тебя в полутемном коридоре... что это потрясение — потрясение... Ливень из звезд...

— А...а... Он тебе сказал, что подарил мне весну?

— Да. Я его спросил: «А как это у тебя получилось?» Он сказал «Не знаю».

— Может быть, это просто случайность?

Яша усмехнулся.

— Одна случайность, другая, десятая, сотая, цепь случайностей. Я ведь не первое десятилетие такие случайности проверяю. Не много ли на одного человека — случайностей? — Яша помолчал. — Дант рассказывал тебе, как он отомстил за Поэта?

— Рассказывал немного. Но он и сам не совсем понял, как все это сделал.

— Сделал, сделал.

— Ты и это смог проверить?

— И сказал ему, кого убил...

— Ф-фыф...

— Не улыбайся. Я во всех газетах просматривал — некрологи. А труды этого профессора, он телепатией занимался, я и раньше читал. Он скоропостижно скончался. Вот так.

— В каком смысле телепатией занимался?

— Исследовал феномен телепатии. Передавал мысли, желания... А сам оказался бандитом. Убийцей. Видела бы ты, каким больным Дант был тогда. Я помогал ему выкарабкиваться, лекарства таскал.

— Он жалеет, что всю эту банду не прихлопнул тогда. Экстрасенс был...

— Он победил только потому, что нес Добро.

— А он был знаком с Поэтом лично?

— Нет, просто когда он узнал, что тот умер, — это его насторожило, ведь Поэт был еще молод.

— Он понял, что Поэта убили несправедливо...

— Несправедливо, и решил отомстить. Прихлопнуть эту банду. Ведь они сглазили Поэта до такой степени, что убили его.

— Сглазили?..

— Точнее слова нет. Сердце разорвалось — это следствие. На самом деле — сглазили.

— Если бы я не знала, что ты физик... Нет, пожалуй, зная, что ты физик, это звучит еще забавнее — сглазили.

— Бандиты. Убивали людей. Все-таки сила Добра — есть сила. Их было шестеро, а он один. И он дрался, он четверых ухлопал. А потом понял: это все. Надо уходить.

— В живых, значит, двое остались?

— Они теперь присмирели.

— А он не пытался найти их?

— Если они не «выходят», это невозможно.

— А то, куда они «выходят», он же однажды «входил» в это... в эту... сферу, что ли? Это как назвать?.. Как он называет? Это слой, что ли, где все это происходит?

— Я понял. Я его спрашивал, а он ткнул пальцем: вот здесь, говорит, это тоже может произойти. Это непредсказуемо. Говорит, в любой точке.

— А как он туда входит?

Яша поднял глаза вверх.

— Одному богу известно, — сказала за него Таня.

— Тата... Я одно понял, что мне этого никогда не понять.

— Ты — не называй меня так.

— А мне нравится. Я, между прочим, когда тебя первый раз во дворе института увидел, подумал — девочка, что надо. Уже и сейчас ничего, а будет еще лучше. Можно, я тебя обниму...

— Не за что меня обнимать!

— А у тебя действительно — кожа... Вот сейчас ты на солнышко пересела, и она засветилась... сама...

Таня догадалась, что не только телефонным разговором пришел он поинтересоваться. Тень Доната! Он на нее решил взглянуть, на ту, которая разбудила сердце его друга. И ей так не захотелось слушать Яшины нежности, а объятий его она устрашилась, поэтому резко «вспомнила», что ей пора идти.

Но Таня недооценила своего гостя. Поначалу она боялась, что он применит грубую силу, и ей придется ответить ему каким-нибудь болевым приемом. Но он поступил хуже. Он ее «заблокировал». Она не могла отодвинуться от него, отстраниться. Он всегда оказывался ближе, чем бы ей хотелось. То он проводил рукою нежно и в о с х и щ е н н о, так, что никак нельзя было рассердиться. То кротким голосом, как о ком-то другом, рассказывал о себе, какой он грамотный и чуткий в постели, что он всему обучен. Он искушал ее речами и взглядами, прикосновениями и вздохами. Он отдавался ей всерьез, и она с удивлением отмечала, что он приятен ее глазам и ушам, нравится ее коже, в его сильной теплой волне не слышны звуки окружающего светного мира.

Она погрузилась бы в эту волну, если бы можно было сравнить Доната и Яшу. Если бы еще хоть над чьей-то головой она видела голубой нимб.

Поэтому она слабо улыбалась и говорила, все отстраняясь и отстраняясь.

— Ты извини, но вот ничего нет. Просто ты не из тех людей, которые меня включают.

Она не хотела ссориться с ним, потому что могла получить информацию, ведь это он все проверял...

И она остудила его совершенно. Так, что он даже восхитился своим спокойствием. Но ей от этого лучше не стало. Незванный гость ее выдумал новую забаву.

— Так луна правит морем. То прилив, то отлив. Как ты — любовью. Тата, Тата-та — ведь и в имени твоём заклинание. — Яша воодушевлялся какой-то идеей, глаза его снова заблестели. — И заморозить умеешь, и зажечь. И обжигать, и зажигать...

Он стал быстро ходить по маленькой комнатенке, чуть ли не пританцовывая.

— Слушай, и ведь ты действительно можешь это сделать. И только ты можешь это сделать.

Он опять посмотрел на Таню восхищенно.

— Есть одна лесная женщина... По-настоящему лесная, она мордовка, и родилась, и выросла в чащобе, — он на секундочку приостановился, припоминая... — Нет, не помню... не знаю, как она сюда попала. Я ее обидел, — он остановился перед Таней. — Я ее не разглядел сначала...

Тане это сразу не понравилось: при ней восхищаться другой женщиной. Но она восприняла очарование, сквозившее в облике юной женщины, справедливо сравнила ее с потаенным неярким цветком, чтобы разглядеть который, нужно приблизиться к нему. Благоухание, корона золотых тычинок, россыпь каких-нибудь точек заставят замереть, залюбоваться... Таня видела темные тонкие брови, сведенные к переносице, и солнечные светлые глаза с карей крапинкой, как ясные земляничные поляны; острый нос, выгнутый, как еловая лапка, и замкнутая линия губ не хороши были по отдельности, но все вместе создавали лицо своеобразное, очаровывающее прежде всего своим общим выраженьем, накладывали оттенок лукавства, шаловливой капризной прелести.

— Ну, мужичина, ну, грубиян, — не жалея себя, говорил Яша, — Но можно ей немного потерпеть? Не-ет, фыркнула, села, как рысь, на ветку, коснуться земли не хочет.

Тане нравились лесные характеристики и сравнения, такая живая киска-рыська мягко впрыгнула в городскую квартирку...

— У меня ее фотография осталась, очень похожая, ты посмотри и приворожи ее ко мне, чтобы она никого, кроме меня, любить не могла.

Давно Таня так не смеялась. Яша сразу обиделся. Но его предложение так искренне развеселило ее, что он и сам посмеялся вместе с ней, заметно сдержаннее, и как только она устала от смеха, сразу пошел в атаку, всею своей настырностью.

— Да ты сам хоть черту безраздельную любовь к себе можешь внушить, — отбилась Таня.

— Ты попробуй, это интересно, тем более, что у тебя получится...

И ведь заставил мысль работать в этом направлении. Только от фотографии Таня сразу отказалась.

— Ты мне ее покажи. Дай в з я т ь ее глаза.

— Ты понюхай ее, как собака...

— Ну и что? Если ты не можешь брать след, если твой нос этого не понимает, это же не значит, что и другие носы такие же не чуткие.

— Я не шучу, я понимаю, что не понимаю...

Яша смотрел, как преданная собака, на все соглашаясь. Быстро обговорили детали предстоящего околдовывания, Таня легко выставила Яшу за дверь и облегченно передохнула.

«Ты позвони. Ты постучи в дверь», — мысленно приказывала она Донату, при б л ж а л а глаза его к себе.

Энергия предчувствия расщеплялась в ней, переполняла ее. Ожидание, предвкушение полнокровной жизни будоражило. Волшебство прорастало в ней и само для себя создавало условия. Пьянил аромат тайны. Тело вынужденно оставалось в покое, а напряжение сердца росло. Она, как вешняя река, выходила из берегов, разлив-разбег был космически долгов и усыпан вспыхивающими звездами слов. Она грезила наяву о себе и о лесной рыси, настоящей, о Донате и о глухой полночи, полной незримых вихрей.

Донат явился погасший. «Если бы мы не договорились, я не пришел бы», — с порога сказал он.

— А у тебя голова болела, — сказала Таня.
— Она и сейчас... — он махнул рукой.
— У тебя и должна была болеть голова, — тихо, словно только для себя, сказала Таня.

Он взглянул на нее, сощурившись, но ничего не спросил.

— Ставь чай, — вынул из портфеля роскошную коробку конфет, — в нашем буфете давали.

Таня кивнула в знак согласия.

— А пока он будет закипать, — вернувшись из кухни, — голову твою сделаю ясной.

Она стала за его спиной и погрузила пальцы в его русые волосы, кое-где побитые ранней сединой. Она теребила их, слегка подергивая, а иногда, на затылке, и до боли.

— Это что-то новое, — наконец, рассмеялся Донат. — Но голова стала именно ясной. И какой-то просторной. Как ты угадываешь, что мне нужно?

— Что не нужно, тоже угадываю. Чай пить будем?

— Будем.

За чаем, правда, к концу чаепития, она ему и сказала:

— У тебя потому голова разболелась, что я тебе изменила.

И выжидательно замолчала. Он никак не отреагировал.

— Так тебе безразлично? — настаивала она.

Он рассмеялся. Сначала засмеялись глаза, потом дрогнули губы, потом и на щеках прорезались ямочки. Она любила смотреть, как смех постепенно завоевывал его лицо.

— Я просто знаю, что этого не было, — сказал он.

— Почему ты знаешь? — искренне удивилась она.

— Потому, что этого не может быть никогда.

— Интере-есно...

— Потому, что я тебя люблю. Ты в частоте моей любви, тебе его не перейти, — он крепко обнял ее двумя руками.

— Я и не переходила, — сдалась она, опять прикасаясь к его голове.

Совсем недавно она его вылечила. Неделя за неделей массажировала и прогревала. И раньше ей приходилось снимать головную боль; в зависимости от причин, ее вызывающих, в разных случаях она поступала по-разному. Но этот случай был совсем особенный. Распростертыми ладонями она водила над его головой, пока не образовывалось облако ровного сухого тепла, такого, как от кирпичей протопленной печи. А потом холодные горошинки — узелки, не выдержавшие напряжения битвы — как бы стачивала, вырывала, касаясь их резко и нежно. Словно кто подсказывал ей, как нужно поступить, какое движение сделать, а она только вслушивалась и всем существом своим исцеляла, умиротворяла. Рождался чистый высокий г о л о с сердца, и существовало только то пространство, которое он озвучивал.

Когда-то постигнув душу леса, природы, она обостряла чуткие силы, чтобы прикоснуться к тайне души — человека, который тайну свою анализировать не хотел, или же скрывал. Все расспросы ее обращал в шутку, говорил, что сам не знает, как и почему у него э т о получается. Хочет и получает, вот и все.

«Хорошо, — думала Таня, — к своему знанию я добавлю крупинки твоего незнания». Голубого сияния она не видела, но она его чувствовала, как можно ощущать силу магнита. Брезжил свет в глубине тоннеля, и она надеялась выбраться к свету. Она сохранила, схоронила в себе невидимую вибрацию тонкой струны, то состояние, коснувшееся ее однажды, когда ливень обрушивался на темный снег.

«Нужно плавать, чтобы не разучиться плавать, а то будешь держаться на воде и не поверишь, что другие путешествуют в ней, как рыбы...» — оправдывала себя Таня, возвращаясь из гостей. Лесную женщину, на ее работе, она навещала одна и теперь шла к Яше, в комнату, в которую приходила когда-то киска-рыска. Шла ждать полночь.

И по мере того, как полночь накапливалась, вал предчувствия поднимался в ней, начинал жечь... Перед полночью, как было обговорено, Яша ушел на кухню, застал там.

Она стала перед затворенной входной дверью, внучка колдуньи и колдунья. Взяла слова старого, хорошо известного ей заклинания, которым когда-то привораживала нескладного, полюбившегося ей мальчишку. Заставила старые магические слова нести новую мелодию.

Она держала покорные глаза юной женщины и уговаривала ее вернуться. Она п о к а з ы в а л а ей ждущие ее глаза, полные любви. Она соблазнила ее войти в комнату, пройти к журнальному столику, сесть на диван.

— Беру коня Холомона, сажу сына Соломона...
Металл острого ножа ставил точки.
Она прельщала ее огнистой нежностью, разливала ее вокруг себя, развихривала.
И на каком-то вираже вдруг восприняла мощный поток обратной волны.
Да, киска-рыська очаровывалась и входила в комнату. Но не дойдя и до середины, вдруг ложилась на ковер и невозможно было сдвинуть ее с места. Несколько раз Таня вводила ее в комнату — головой к двери, на правый бок, одна и та же упрямая поза.
Она словно спускалась с какого-то коричневого обрыва и среди куполов шла, легко шла, весело.
Остывала Таня на том самом диване, на который не смогла усадить гостью. И комната, казалось, остывала, выветривался аромат тайны.
Яша не показывался, пока она его не позвала. Вышел сдержанный, строгий, только глаза посверкивают.
— Послушай, почему она у меня тут ложится?
Он сначала побледнел, потом глаза опустил и залился краской.
— Я... я ее ударил... она вот тут и упала, на этом самом ковре...
— Интере-есно...
— Потом ушла... не приходила больше, — с усилием выдыхал он.
— А обрыв какой-то коричневый?
— Не знаю...
— Купола какие-то, она среди них все время шла.
— А-а! Она же возле церкви живет. Точно, ее окно как раз на купола выходят.
А дом у нее кирпичный, без затей, пятый этаж, это дом — как обрыв.
— Не вернется она к тебе.
— Сам знаю, что не вернется, а ты внуши!
— Шустрый ты, Яша!
— Ты — во-он что можешь. Ты меня, как в купели, прополаскивала. У меня до сих пор мурашки.
Таня слабо улыбнулась.
— А что ты чувствовал?
— Сильнее всего? — он призадумался.
— Вообще.
— Сильнее всего — страх. Такой нутряной. Жуткий лед в середине образовывался...
— А еще?
— Ну, температурные изменения. Как говорится — то в жар, то в холод.
— А видения какие-нибудь были?
— Нет.
— А желания?
— Не помню. Жутко было.
— У тебя — небогато.
— Да-а... Интересно узнать, что она чувствовала?.. Если она спала, ей могло все это присниться?
— Не знаю...
— Какие вы с Дантом! «Не знаю, не знаю...»
— Не нервничай. Уже полночь. И я устала.
— Извини. Я грубиян, конечно. И... даже спасибо тебе не сказал. Но ты знаешь, я так тебе признателен. Я даже деньгами готов расплатиться... То есть, счастлив... Какой это труд, я понимаю. Хоть это понимаю...
— Да, это не то доброе дело, сделать которое ничего не стоит.
— Говори, сколько?
— Какая готовность! Но я пока гонарар за это не беру.
— Я не шучу. Верни ее.
— Киска — она ведь рыська. Не придет.
— Попробуй, я прошу тебя. Несколько вечеров...
— Нет.
— Внуши ей, ты сможешь...
— Бесполезно.
— Тебе же тоже должно быть интересно, что получится.
Он с жаром кинулся ее уговаривать.
— А ты погрози, — посоветовала Таня. Раздражение царапнуло ее.
Он сник.
— Никогда такого не было, чтобы мужчина, который мне нравился, не обратился бы на меня внимания. Пожалуй, потому, что я о нем очень думала.
И поскольку Яша на ее слова никак не отреагировал, дополнила:
— Безо всяких заклинаний люби ее, так, чтобы она это чувствовала. Д е р ж и

ее глаза, внушай собою, всем своим существом, что ты один — любовь, что ты один — жизнь. Чтобы затосковала она о тебе, жить без тебя не смогла...

— Не получится у меня.

— У меня тем более не получится. Колдовское — оно нестойкое. Его держать надо.

— Как держать?

— Ну... Как незакрепленную палатку под ветром. Пойду я, Яша. — Таня поднялась с дивана. — Поздно уже.

— Может быть, останешься?

— Не беспокойся, я доберусь. В ближайшее время мне ничто не угрожает. Не провайжай.

Ей хотелось поскорее остаться одной. Потому что именно сейчас, в эти минуты, она осознавала, что невольно замкнула к р у г . Замкнула цепь событий, тянущихся больше десятилетия, и теперь нужно от них, реальных, отойти. Сделать шаг широкий, с в о б о д н ы й , погрузиться в мир отрывочных смутных видений. Попытаться в нем разобраться.

Она сама узнает, что хотел сказать ей ее отец. Таня чуть не закричала: так сиротлива была ее родная могила.

Она шла по пустынной улице, высоко неся голову. Мусор города летел ей в лицо, кружился вокруг нее радио- и магнитными волнами, по-ночному быстро мчащимися автомобилями, обрывками разговоров, мелодий. Шла, чуть приподнимаясь на цыпочки, устремляясь вверх, как в тех горах, в которых перемигивалась с солнцем. Она хотела их девственной чистоты, у нее пересыхали губы от желания... Хотела, чтобы безжизненные холодные вершины отсекали от нее крошечную суету плодородных долин. Летела в грохочущем вагоне метро и старалась его не слышать.

То предельно сжатое и одновременно вселенски необозримое пространство-время, пронизавшая все среда обитания электронных частиц, космических энергий и земных биоизлучений, существующее вне нас и в нас же — она жаждала покорить их, оседлать, как океанскую волну. Чтобы корпускулы — порожденные ее мозгом, ее нервами, ее кровью — внесли ее на себе в свой мир, где она могла бы жить помимо сердца, «тонкой иглкой» с незрячим взором...

От своего дома она повернула в сторону обширного старого парка. Дрожь ветра в сумеречных деревьях была для нее как вздох вечности.

Время, завершая круг, корчилось петлей. Аркан из корпускул взвивался над ее кожей и захлестывал, перепутывал события, видения, втискивал в лабиринт галлюцинаций.

Донат стоит на верху высокой каменной лестницы, дитя города, очень прямо и неподвижно, глядя поверх всего в даль, и волосы выются из света. Прекрасный, сильный своей жизнью.

Отец удаляется и удаляется и не может исчезнуть. «Какие толпы по земле прошли! И скрылись, — шепчет Таня. — И отец уходит с ними и улыбается... Последняя улыбка и — не утратила движение живое. А тысячи неотданных объятий горят во мне и надрывают сердце и в голос я кричу...»

В крови заката почернели птицы. Протяжные тонкие крики сжимают сердце. Запах чабреца долетает, словно он присутствует здесь.

«В разверстую пасть, в воронку из мрака и вихря, прощальным приветом горя, выпадают безумные листья, горячность взглядов и слов, сердец отзвучавшие крики...» Протуберанцы скорби рвали живое сердце и высвечивали голубым холодным светом осколки воспоминаний, роившихся по маленьким комнатам лабиринта.

И в одно из мгновений вдруг увидела и узнала Поэта, перебирающего струны гитары, и восприняла, задохнувшись, боль его ранимого сердца, надорванного многодневной погоней...

Таня чувствовала, что подошла к самому порогу своего открытия тайны, и с обжигающей жадностью готова была для нее на любые жертвы.



Валерий Матренин

* * *

Земля французская — Париж
Знакома с русскими словами
Знакома с русскими крестами
Земля французская — Париж.

Рождаясь в мраморе надгробий
Молчит о ком-то тишина

Молчит о чем-то тишина
В нелегком одеянье скорби

Судьба одна во всем вольна
И согласиться — милость с нами
Отбиты в плитах под крестами
И наши с вами имена

* * *

Одиноких никто не покинет
Нелюбимых никто не разлюбит
Погребенных никто не поднимет
Нерожденных никто не загубит

* * *

Три красные гвоздики
Метро ночного тишь
Три красные гвоздики
Сегодня ты не спишь

Три красные гвоздики
Обида за окном
Три красные гвоздики
Вина моя в одном

Три красные гвоздики
Напрасные цветы
Три красные гвоздики
Так пожелала ты

Три красные гвоздики
Ночные огоньки
Три красные гвоздики
Прекрасны и горьки

Алишер Абдуганиев

* * *

Свои черные мысли
ни словом, ни вздохом не выдам.
Нету слез, чтоб заплакать.
Молчит стихотворная речь.
Глеют черные угли
в костре моей давней обиды.
Хватит и уголька,
чтобы лес заповедный поджечь.

* * *
Вспомню элинов древних,
их дивные храмины.
Афродита нагая.
Могучий Зевес.
Там ваяли богов
из молочного мрамора,
человека сближая
с величьем небес.

Только вторглись давно
в сновидения юные
безобразные идолы
новых времен.
На бульваре слепом
за решеткой чугуною —
почерневшая бронза
и серый бетон.

* * *
Этот век не терпит Христа
На дорогах своих жестоких.
Глубока его пустота.
Самозванны его пророки.

Что ему кровь священных ран,
Негасимого Духа пламя?
И плюется телеэкран
Автоматными очередями.

То ли суд, то ли самосуд
Мы в бетонных вершим трущобах.
Время Каинов и Иуд.
Время страха и время злобы.

Как велик наших дел масштаб!
Сколько блеска в нашем металле!
Христос был преступно слаб,
Не напрасно его распяли.

Я по тем же дорогам мчусь,
Так же мстителен, зол и страшен,
И кричу: «Уйди, Иисус!
Что тебе до безумий наших?»

* * *
Густая ночь вселенную охватит.
Дома и люди в сон погружены.
Зачем так много тишины, Создатель?
Зачем опять так много тишины?

Все спит. Как будто бы покой и святость
Царят на этих буйных площадях,
Как будто ни страданий, ни проклятий
Не ведал мир — и будет вечно так.

Ведь это — ложь! Полночная истома
Рассеется, и грянет вновь рассвет.
Уж лучше б было молнией и громом
Во мраке повторять: «Спасенья нет!»

Ведь длится роковое лихолетье,
Зачем же нам прельстительные сны?..
Опять так много тишины на свете.
Так много неизбывной тишины.

Диалог с Ностальгией

Я вернусь к тем местам,
где носился мальчишкой когда-то,
где воркует Угам,
где в глаза мне запали закаты.
Только что я найду?
Даже звезды там стали другие...
И шепчу, как в бреду:
— Мое детство верни, Ностальгия.

Хоть на день, хоть на час
пусть я снова мальчишкой побуду.
Впопыхах, сгоряча
соверши для меня это чудо.
Там мне пела арча,
там я дерзких речей не боялся,
там в красивых девчат
безнадежно и часто влюблялся.

Ты верни мне меня,
ты верни мне в себя мою веру!
Все, что я разменял,
что пустил безрассудно по ветру!
Ты верни мой порыв
и готовность за правое драться!
Горько плакать навзрыд,
беззаботно и честно смеяться...

— Что могу я сказать?
Что дороги назад не бывает?
Не текут реки вспять,
дважды в воду одну не вступают...
Вера выше молвы
да пребудет навечно с тобою...
Ну, а детство, увы,
как рюкзак, ты несешь за спиною.

* * *

Тихо все.
Деревья без листвы
светятся росой голубой.
Ты взгляни, как ввысь из синевы
утро всходит кромкою прибой.
Потемнела влажная земля.
Проросла на ней трава до срока.
Устремившись в небо, тополя
наливаются весенним соком.
Распахни окошко в эту рань!
Видишь —
ветер ветви колыбелит.
В азиатский пасмурный февраль
проникают запахи апреля.
Ты взгляни, как в небе пьют зарю
облака
и нежно розовеют.
Ты пойми!
Я так тебя люблю,
что сказать об этом не умею.

Ночь

Одноглазые чудища звезд
Пристально смотрят во мрак,
Тщетно пытаюсь увидеть
Что-нибудь, кроме
Себе подобных.

Прибой

Мудрое море,
Тонкими пальцами волн
Листает страницы дюн
В переплете старинного берега.
Бережно так...

Ветер

Тысячи камышинок,
Касаясь друг друга,
Разносят сплетни
О ветре.

Лес

Новорожденный родник
Раздвигает покров травы,
Изливаясь в любви
К ихому дню.

Садриддин Салимов

Глаза внука

Мальчик ведет по дороге деда,
В глазах старика свинец,
Ласкает ладонью он непоседу,
Шепчет тепло:— Молодец!

Мимо лужиц и мимо сада,
Где птиц переливчат крик...
Видит мир в многоцветье радуг
Глазами внука старик.

Глазами внука он видит волны
Высоких пахучих трав,
Себя мальцом, что смеется довольно,
Бабочку вдруг поймав.

Домой возвратятся путники поздно.
Прохлада вытеснит зной.
Глазами внука на мир этот звездный
Смотрит старик слепой.

Весна в степи

Солнце рушит морозную крепь.
Маки словно встают из-под плахи...
И дерутся две черепахи —
Не поделят огромную степь...

* * *

В страхе мечутся, стонут ветки,
Клонят листья под яростным ветром.
Только корни всегда незаметно
Продолжают бороться в недрах.

* * *
Дед мой дремлет на арбе,
Вьется бабочка у лба.
Конь шагает по тропе,
Скрип да скрип! — поет арба.

Не клянет свою судьбу,
Были б солнце,
Лад
Да мир...

Дед мой слушает арбу,
Скрип ее, как видно, мил...

Скрип да скрип! — поет арба,
Продолжается судьба.

Перевод с узбекского К. Николаева.

Светлана Григорьева

* * *
Подбираю чужие слова...
Кем-то выброшенные,
Кому-то ненужные.
Замолчавшие,
Онемевшие.
Все разбитые
И избитые
До оскомины на зубах.
Я немые слова подбираю
И слагаю немые стихи...

* * *
У свечи такое маленькое пламя,
а тени вырастают в великанов.
Сыграли со мной свечи злую шутку,
и карлика я приняла за великана.
А утром, когда свечи,
чуть потрескивая, гаснут,
и, расплзаясь, умирают тени,
я карлика испуганного увидела,
он так боялся утреннего света.

* * *
Тревожный миг чужих стихов,
боль строк
и слов застывшая усталость
придавят легкостью своей,
и зависть в ревность обратят
к тому, что было не со мной,
к словам, написанным не мной...

* * *
Я не люблю больших зеркал
Мне страшно в них, как
В одиноком детстве.
Портрет художник рисовал,
А за портретом пусто.
Мое лицо глядит в лицо,
И я не вижу черт знакомых.
Глаза — в глаза,
Не грусть — тоска,
И не моя душа — чужая
Портрет готов, и боли нет.
Лежат все краски равнодушно.
Но страшно сделать шаг назад
Вдруг то моя душа — чужая.

* * *

Старинная
веселая игра —
когда глаза
завяжешь другу
и с колокольчиком
вокруг стола,
а друг в потемках
за тобою.
А над круглым столом
абажур, на столе

скорлупа от орехов
и чайные чашки.
Смеясь
над собою
вместе с тобой
друг с завязанными
глазами
ловит воздух вокруг
колокольного звона..
Старинная и страшная
игра...

Виктория Лузан

Обручальное кольцо

Путь лжи — всех проще и заманчивей,
Черчу с начала до конца —
Он станет розами оплачивать
Твой смех и блики от кольца.

И на закланье уготована
Судьба — со спрятанным лицом.

Синеет палец коронованный,
Сверкает гранями кольцо.

А на потом у нас останется
Чувств замутненное питье.
И боль — как посвящение в таинство.
И как прозрение — забытьё.

Бабочка

В цветах моих призывов
За всполохом — пожар.
Желаний ярkokрылых
Редчайший экземпляр.
Не пропорхнула мимо —
И обожгла бочок.
А жизнь неумолимо
Набросила сачок.
Пришпилит нас пострже,
Поставит нам печать.
В гербарий лет положит —
Расцветку изучать.



Андрей Стуловский

ОСТЕРЕГАЙСЯ ПОЛНОЛУНИЯ!

ПОВЕСТЬ

Место магии в истории, в кратких словах, следующее. Она — по своему основному принципу — принадлежит к самой низкой из известных степеней цивилизации. У примитивных обществ, которые очень мало участвовали в умственном развитии мира, она сохраняется еще во всей своей силе.

Э. Б. Тайлор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Амулет нужно обкатать. Мало кому об этом известно, но амулет, талисман — всегда нужно обкатывать. Сколько раз люди выходили за порог дома, а еще того хуже — начинали рискованное предприятие с необкатанным амулетом, и губили хорошую вещь. А иногда и жизнь в придачу. Даже если талисман достался вам по наследству от предка бог знает какой древности — это нисколько не меняет дела.

Петрофф обкатывал амулет последовательно, не торопясь, со знанием дела. Поначалу он отпирал дверь в шесть утра и, нащупав в кармане маленькую фигурку, перешагивал порог. Шесть утра — самое безопасное время. Затем он стал носить его на работу. Наконец, стал прогуливаться по вечерам, избегая, впрочем, подозрительных мест — в городе продолжались беспорядки. И вот пока — тьфу трижды через плечо! — с ним ничего не произошло. Амулет обещал быть хорошим.

Правда, Петрофф не тревожил фигурку всеу, но вскоре надеялся носить ее постоянно...

Он не вспомнил бы сегодняшнего числа, не будь вчерашнее тринадцатым, а следовательно, выходным днем. Собственно, он бы и в этом случае не вспомнил, но тринадцатые числа лишь недавно стали официально установленными выходными днями, и к такому положению вещей еще не все привыкли. А Петрофф всю жизнь относился к тем, кого неявно подразумевают, когда говорят «не все».

А так... Нет никакой необходимости знать, какое сегодня число... В крайнем случае, если вдруг приспичит заполнить некий бланк, где оно должно присутствовать, можно набрать «77» — вам любезно подскажут, а вы его нарисуете, чтобы тут же снова забыть. Если день не отличается ничем, кроме номера... Что один, что тысяча...

Двойной «Икарус», виляя задницей в строгом соответствии с надписью «Заносит — 1 м», доставил Петроффа к Институту. Доставил в тот момент, когда в вестибюле уже собралась камарилья из Комитета по Предупреждению Нарушений Трудовой Дисциплины. Изогнувшись чуть не до положения низкого старта, с ручками, занесенными над будущими черными списками, все они напряженно ждали, когда 08.29.59 на электронном табло сменится на 08.30.00. Петрофф проскок, а заворачивая по коридору налево, оглянулся и увидел, как на дверь Института несется и реет по ветру, как брейд-вымпел, взмыленный Костя Онистченко — вот кто заставит обрушиться дамкловы ручки Комитета!

— Я стаканчики хотела взять...

— Привет для начала, — сказал Петрофф Ирочке Самойлофф, которая успела уже нацепить белый халатик, а теперь разглаживала его на себе ладонями. — Заявка-то у тебя на когда?

— На десять. VII-65.

— Сейчас, — сказал Петрофф и, спускаясь в подвальчик Блока седиментационных исследований, забренчал связкой ключей.

День был все же необычный. Всего одна заявка — от Ирочки Самойлофф, которая упорно называет ультрацентрифугу — «суперцентрифугой» и без конца ошибается, когда рассчитывает максимально допустимые обороты, исходя из плотности своих проб. Ирочка всегда что-нибудь отчебучит. Вот сейчас, например, очень мило ошиблась, назвав его Сашей, и он даже не стал ее поправлять.

Петрофф с удовольствием проводил ее взглядом, засунул массивный ротор в холодильник и только тут до него дошло, что почему-то сегодня народ ничего не крутит. В три часа начнется собрание трудового коллектива, посвященное он не помнил чему. Он выкинул это из головы и занялся неисправной лиофильной сушилкой... Ровно в десять распахнулась дверь.

— Вот... — Ирочка подала ему штатив с гильзами. — Саш... надо проверить...

— Я всегда провер... — Петрофф повернулся и с мягкой укоризной сказал: — Я, Ира, не столько Саша, сколько Игорь, и если говорить честно, то никогда Сашей-то и не был, и ничего нет во мне от Саши.

— Способности у тебя... Произносить слова... — Она уставилась ему прямо в глаза. — Сменил имя? Серьезно?

Он взвешивал стаканы и пытался найти причину такого холодного издевательства, но не успел — стаканов было всего три, но даже шестигнездного ротора, наверно, не хватало бы, чтобы сделать нужные умозаключения.

Он запустил карусель и заявил Самойлофф, что нужно явиться через час пятнадцать. Потом уперся локтями в крышку и несколько минут смотрел на стрелку манометра — машина плохо набирала вакуум.

От двери задуло.

— Сашок!

— Нет его здесь, — буркнул Петрофф и тут же ошеломленно уставился на Виктора, который к нему вломился.

— Э.. А чё злой-то?

— Никакой злости, — с напряжением в голосе сказал Петрофф.

— Ха... Нет его, говоришь... — Виктор ткнул Петроффа кулаком в бок и подмигнул. — Так вот, Сашок, мне нужно знать, будешь ты на собрании или нет?

— Нет!

Виктор замер, как стоп-кадр.

— Да что с тобой, елки-палки?! А-а-а... Машину разбил? То-то я смотрю — нет твоей тачки...

— То-то я смотрю: его хоронят, — еле слышно пробормотал Петрофф.

— Или что?.. Теща отобрала? Надо свою заводить, а по доверенности — это, знаешь...

Петрофф перебил его резко и невежливо.

— Дерьмово! С юмором у меня! Понятно?! Никакого чувства юмора! Не понимаю я таких шуток!

Виктор сделал несколько оторопелых жестов и попытался что-то сказать, но Петрофф перебил его снова:

— Короче! Я сейчас ухожу. Тебе тут что-то нужно?

Виктор сказал «тьфу», потом сказал «нет» и стремительно вышел, оставив дверь болтаться незакрытой.

Раздался неприятный визгливый звук — это выдвигалась роторная игла. Петрофф нервно дернулся. Будет этот «золотой» мальчик, сукин сын, выпендриваться! «Тачка»... «теща»...

Он вышел из блока и аккуратно прикрыл за собой дверь.

— Саша!

Петрофф тряхнул головой и пошел дальше.

— Саша!

Сзади слышался слоновый топот, и пол задрожал с нарастающей амплитудой.

— Саня, ты оглох, что ли?

Это был Онистченко, грузный, бородатый и такой же развевающийся по ветру, как и утром. Тот, кого он называл Сашей, стоял к нему влоборота и хмуро глядел в стену.

— Ну что?

— Я... я насчет лиофилки...

— Заработала лиофилка, — сказал Петрофф с интонациями синтезатора речи. — Приноси завтра утром, в чашке Петри, слой не более сантиметра, предварительно заморозь в холодильнике...

Глаза Онистченко медленно полезли на лоб.

— Да я знаю.. — и он озабоченно поинтересовался: — С ребенком что-нибудь?

Петрофф явственно ощутил под левым глазом нервный тик.

Ошарашенный Онистченко, пятясь, ускользнул в первую же дверь.

Петрофф машинально пошел за ним, но подсознательно свернул на лестницу и поднялся на третий этаж. Там постоял у доски объявлений и снова двинулся, аккуратно ступая на узоры линолеума. Навстречу ему шла Главный бухгалтер — «Главный бюстгалтер», как ее за глаза называли в Институте, и было за что. Петрофф ждал, но она только кивнула и скрылась за дверью с табличкой «Канцелярия» и «Внимание! С 1 октября наш расчетный счет № такой-то и растакой-то». Он подумал и спустился вниз, где стрельнул у какого-то мужика сигарету и вошел в туалет.

Дверь распахнулась, вслед за ним ввалился заведующий лабораторией. Копаясь где-то за поясным ремнем, он выкатил глаза.

— Са-аша?! Вы что, курите?!

— Как вы догадались? — съязвил Петрофф и выпустил очередной клуб дыма.

Петрофф стоял у зеркала. Он долго стоял у зеркала и смотрелся в него, как не смотрят даже претендентки на корону «Мисс Вселенная». За последние сутки ничего — ровным счетом ничего не изменилось ни в облике его, ни в одежде, ни в мимике, ни в каких-то других параметрах, по которым происходит выяснение личности. Возможно, конечно, что вдруг коренным образом изменились отпечатки пальцев — но не по ним же, черт возьми, узнают его сослуживцы, приятели и знакомые!

А покоя ему не было нигде. Точно сговорившись, все называли его Сашей либо Александром Викторовичем, приписывали ему жену, тещу, чью машину (серый «Опель-кадет») он водит по доверенности, и озабоченно интересовались здоровьем ребенка. Путем некоторых уловок Петроффу удалось выяснить и свою новую фамилию — Фомин. Причем, как в таких случаях отмечают следователи, показания совпадали в основе, дополняли друг друга и расходились в малозначащих деталях.

Возможно, впервые в жизни он находился в таком смятении. Теперь любому желающему Петрофф во всех подробностях объяснил бы, что означает «терять дар речи». К зеркалу он подошел тогда, когда в его голову пришла какая-то оглушительная чушь насчет пересадки мозга. Но, по крайней мере, этот-то вопрос решил: мозг у Петроффа находился там, где был и раньше.

Поначалу Петрофф решил, что все это — преступный сговор с целью шутки. Но эта мысль оказалась никуда не годной. При самой буйной фантазии нельзя свалить в одну кучу Ирочку Самойлофф и директора Института и еще самых разных субъектов мышления.

Он стоял у зеркала и смотрел сам на себя. Легкая щетина на щеках теперь резко бросалась в глаза из-за охватившей его физиономию бледности. И он понял, что попросту уходит, уваливает от самого простого и естественного объяснения происходящего. Потому что это самое простое и самое естественное, пусть самое страшное для него. А именно — что он сорвал резьбу, попросту говоря, помешался.

Несмотря на то, что вера в сверхъестественные, потусторонние силы, в черную магию нынче считается признаком духовности, нравственности и принята во всем обществе — эту веру постигает та же участь, что в свое время веру религиозную. То есть истинно верующих среди массы просто верующих — не только мало, но они еще и неразличимы из-за своей скромности. Что означает верить по-настоящему? Это означает — учитывать влияние этих сил на свою жизнь и планировать свои

действия в согласии с ними. И все. Ведь так называемая обрядность — по большей части работа на публику, а следовательно, лицемерие.

И тем не менее, вера не исчезает, а по всей видимости, будет расти и шириться дальше. Потому что каждому известно — ничего нельзя отбрасывать с ходу просто потому, что «этого не может быть никогда». Что делать, когда вам заявляют, что дважды два — шестнадцать? Нужно отбросить эмоции, сесть за стол переговоров и поискать компромисс. И на основе консенсуса принять постановление, что $2 \times 2 = 6,58$. Потом этот цикл повторяется.

Мысль изреченная есть ложь. Это высказывание как-то незаметно претерпело метаморфозу. Теперь утверждают, что все изреченное есть правда. И второе несколько не противоречит первому, поскольку говорят они о разных вещах. Под изречением теперь понимается вся сумма верований, поверий, суеверий и т. д. — того, что не терпит вульгарного вмешательства пошлой логики. «Мысль» не зря оказалась исключенной.

Петрофф, конечно, отдавал должное этой стороне духовной жизни, но на большее он не согласился бы. И вот жизнь — фейсом об тейбл — заставила его поверить в порчу, сглаз и тому подобные вещи. Ведь то, что с ним случилось, не было сумасшествием. Он понял это уже по дороге домой, шагая под светом луны, давно покинувшей первую четверть. Холод и ветер — погода, «причиняющая ясность уму», как выражались в XVIII веке... Так с ума не сходят. Он окончательно уверился в этом, когда пришел, наконец, домой и устало повалился на кушетку. Если произошла какая-то мозговая аберрация — это неизбежно выяснилось бы дома. Будь правы члены его здорового коллектива — он должен был бы вернуться к жене, теще, «Опфель-кадету» и больному ребенку. Если же он, будучи Сашей Фоминим, припрется в комнату, вот уже десять лет обживаемую Петроффом, — тут неизбежны некоторые сложности.

Сложнейшей не было.

Лежа, он снял трубку с аппарата и набрал номер. Когда женский голос назвал его Игорем, он ощутил нечто вроде вхождения в нирвану.

Вот тогда-то, на следующий день, он и начал обкатывать талисман — фигурку, изображающую полярность и единство начал «Инь» и «Ян».

2

«...Надлежит явиться на сборный пункт по адресу... при себе иметь смену белья и предметы сангигиены». Листок медленно задрожал в руках Петроффа. Он с фатальной обреченностью наблюдал, как в его сознание победоносно входит та самая прострация, от которой он с таким трудом избавился всего несколько дней назад. Это была вторая армия, призывавшая его в свои доблестные ряды за последние сутки. Она называлась «Армия национального спасения» в отличие от «Армии национального возрождения», призывавшей его раньше.

Петрофф все еще размышлял, как следует поступать — проигнорировать повестку, как и предыдущую, или же предпринять какие-то действия, но тут снова раздался звонок в дверь.

За порогом стоял некий малокалиберный хорек, упакованный в широкий плащ мышинного цвета и накрытый сверху кепкой-мухолодом. Больше ничего видно не было. В руке хорек держал бумажку хорошо знакомого Петроффу формата. Бумажка призывала Петроффа в «Вооруженные Силы Демократического Действия». Петрофф не успел ни удушить хорька, ни спустить его с лестницы — тот исчез с какой-то нематериальной скоростью, не потребовав ни подписи, ни устных заверений.

Петрофф знал, что на территории района работают семь местных Советов, из них три — с коммунистами и четыре — без них, но он и предполагать не мог, что в стране объявилось по меньшей мере четыре различных армии. Впрочем, конституционные Вооруженные Силы государства почему-то хранили молчание.

Он сидел на пластиково-алюминиевой табуретке Обнинского аккумулятора завода, сильно сжав голову руками. Что за посланец с ключами от кладезя бездны взял штурмом его жизнь и низринул в отверстие зев безумия?! Какой космический луч собрал под своим телесным углом и его и мир, где он столько лет существовал в относительном спокойствии? Взял ли он начало в скоплениях первородных туманностей или сколлапсировавших звезд или же исходит из некой сингулярности пространства, по сравнению с которой кварки и нейтрино имеют масштабы Метагалактики?

Он не вздрогнул и не выругался, когда в дверь снова позвонили, а неторопливо вынул из бронзовой вазы сухие стебли рогоза и, перехватив ее за горлышко, пошел

открывать. Но орудовать этой булавой ему не пришлось. Перед ним в армейских брюках, армейских же сапогах и нейлоновой куртке (кажется, женской) предстал Женья Хухрикофф, или попросту Хухрик.

То, что бросается в глаза, вовсе не обязательно должно иметь яркую раскраску или внушительные размеры. Хухрик являл тому великолепную иллюстрацию. Он бросался в глаза прежде всего миниатюрностью своей головы. Даже при поверхностном взгляде становилось ясно, что она никак не в состоянии обеспечить мозгам прожиточного минимума. У Петроффа он вызывал совершенно определенные ассоциации. Если таракану отрезать голову, то в отличие от существ более высоко развитых, он не помрет сразу, а, напротив, может прожить довольно долго, иногда несколько суток. Но, что самое интересное, безголовые самцы при этом запросто совокупаются с безголовыми самками — необходимые для этого рецепторы находятся у них на ногах. Эти простые опыты (Петрофф, будучи студентом, сам их проделывал неоднократно), всегда вызывали у очевидцев бурю философских и социологических дебатов на тему о том, для чего голова нужна, а для чего нет. Петрофф почти семь лет учился с Хухриком в одном классе и мог бы порассказать о нем немало забавных историй. Наверное, то же самое могли бы сделать и коллеги Хухрика из Управления строящихся птицефабрик, где он работал, кажется, курьером.

Конечно, можно понять Министерство обороны, которое долго не решалось призвать Хухрика на действительную службу и дотянуло до предельного призывного возраста. Затем, очевидно, острейшая нехватка людей все же подтолкнула военкомат на этот нелегкий шаг. Хухрик уже месяц как дембельнулся, но, видать, не мог отвыкнуть от формы и менял ее на гражданскую одежду постепенно, частями!

Приходил он обычно с магнитофоном, и добрая половина беседы проходила следующим образом. Он ставил кассету, на которой была записана либо партия отбойного молотка в сопровождении хора мартовских кошек, либо нецензурные частушки, которые орались пьяными голосами в сопровождении звона стеклотары и — время от времени — женского визга. Причем Хухрик как настоящий меломан не мог слушать все подряд. Сначала он долго искал на кассете вещь, с которой согласно закону композиции следовало начинать. Он истово жал на клавишу перемотки, лицо его при этом озарялось ужасающим оскалом, а глаза мечтательно закатывались к потолку, и он завороченно повторял: «Ща... ща, ща... Ща будет...» «Не, не то...», «З-зарраза, проскочил...» Нажималась кнопка обратной перемотки и опять: «Ща, ща, ща... Да что за... трах-тудах! Опять не то...»

Петрофф с удовольствием наблюдал за этим процессом, который он, со своей любовью к каламбурам, окрестил «попаданием воспроизводящей головкой в нужное место». Вообще, Хухрик оказывал на него прямо-таки психотерапевтическое действие, особенно когда «маг» раскручивался и Хухрик под его бесовский аккомпанемент расслабывался в кресле и начинал в доступных ему словах что-нибудь рассказывать. Чаще всего о том, как произошла авария на селеновом заводе, в охране которого он пребывал будучи солдатом. Завод выпускал фотозащитные элементы для экологически чистых солнечных электростанций и даже в режиме нормальной работы нещадно травил все вокруг, а после несчастного случая обеспечил кофактором все селензависимые ферменты планеты на тысячелетия вперед.

Надо ли говорить, что Петрофф обрадовался Хухрику как родному и счел, что тот послан ему не иначе как отпрыском Святого семейства...

— Здорово, Хухрик! — Петрофф поставил в угол индийскую вазу и с энтузиазмом пожал длиннопалую ладошку.

Наваждения минувших дней, однако, не оставляли его в покое. Что-то необычное ему почудилось даже в том, как Хухрик стаскивал с себя сапоги, но он заставил себя только всхотнуть и отправился на кухню — на этот раз гость пришел без магнитофона и нужно было пить водку.

Предвкушая долгожданную ситуацию полной непредсказуемости, а главное — интеллектуального расслабления, Петрофф радостно споласкивал стопарики и совершенно бессознательно вставлял «да, да, ага» в привычный треп Хухрика. Наконец он энергично их встряхнул. И застыл. Мутная волна наваждения снова накатила на него и уже не хотела отпустить. По инерции Петрофф сделал несколько затухающих движений руками, пока окончательно не осознал смысл произносимой Хухриком речи.

— ... например, Казимир Малевич. Его знаменитый «Черный квадрат». Он, быть может, впервые встал на пути у прогрессирующего функционализма современного «индустриального» человека. Это явление хорошо известно в психологии — когда от долгого употребления слова теряют первоначальный смысл и становятся просто кодом, наподобие цифрового. Попробуйся как-нибудь вдуматься в значение самого простого слова, произнести несколько раз, вслушайся в звуки, ощути

его вкус — и ты увидишь, какие бездны, от этиологии до семантики, скрыты в нем! И это справедливо не только для слов — для вещей тоже и для элементарных геометрических форм. Казалось бы — остановись, ощути вкус простейшей и гармоничнейшей формы! Это восстанавливает творческие силы — как сон и отдых, без этого ты просто индустриальный робот. Но черта с два он остановится и посмотрит, это нынешний машинный сноб! Его внимание задержится лишь в том случае, когда известный художник возьмет эту форму в руки, запрессует в раму и повесит на гвоздь. Слава богу, хоть тут-то на нее посмотрят. Хотя, ты знаешь, обывателю и сейчас приходится объяснять смысл картины, репродукция с которой может быть изготовлена буквально за полминуты... Ты напрасно моешь стаканчики, Игорь...

Если бы 152-миллиметровая пушка-гаубица, заряженная и наведенная в цель, вместо того, чтобы выстрелить, вдруг родила ягненка — увидевший это Петрофф не был бы разбит параличом такой силы. Глаза его, а они, по счастью, не отказали — бесстрастно фиксировали, что внешне Хухрик не изменился ни на йоту. И в то же время узнать в нем прежнего Хухрика было так же трудно, как в седовласом отце семейства увидеть черты младенца, которым он был несколько десятилетий назад.

На Петроффа смотрели живые, умные, пронизательные глаза. Тонкие черты лица без особой натяжки можно было бы назвать благородными, и они не искажались, как раньше, нервной мимикой и каждое слово подчеркивалось точным и эстетичным жестом.

Петрофф не мог знать этого наверняка, но полагал, что именно так ведут себя люди, имеющие за плечами опыт работы в военно-дипломатических миссиях. Наибольший эффект давала голова Хухрика — объект множества шуток, по большей части злых. Петрофф, словно вкусив плод с древа Добра и Зла, вдруг прозрел и увидел то, что не мог разглядеть столько лет. А именно, что Хухрик — просто-напросто очень маленький, миниатюрно сложенный человек, и размеры его головы находятся в точной пропорции с размерами тела.

— Ты напрасно мыл эти стаканчики, Игорь...

Что-то неведомое сбросило с тела навалившиеся было тонны и вернуло суставам подвижность. Но в мыслях и действиях порядка все еще не было. Петрофф беспомощно развел руки с зажатыми в них стопками, попробовал водворить их на стол, но передумал и вставил одна в другую. И с лицом тоже совладать было трудно. Он попытался изобразить улыбку, но вместо нее получилось выражение крайней озабоченности.

— Спасибо, конечно, за угощение, но мне предстоит весьма ответственное дело. — Хухрик поднялся с кресла и едва заметным движением одернул рубашку. — Прости за болтовню — так уж вышло, что почти неделю не с кем было перекинуться хотя бы парой слов... Зашел я к тебе вовсе не затем, чтобы поупражняться в философии искусства... — Он внимательно посмотрел на Петроффа и мягко поинтересовался: — Ты знаешь, что такое полнолуние?

— Кто же этого не знает? — Петрофф все еще держал в руках свежeweымытые стопарики.

Хухрик тяжело вздохнул и провел ладонью по волосам.

— Подумай. Я спрашиваю вовсе не об условиях освещения Луны в зависимости от положения на орбите. Я говорю о п о л н о л у н и и.

Петрофф ничего не понял и от отчаяния сунул стопарики в карман. Бессильно опустившись на кушетку, голосом, которым в свое время в своем месте говорили «вир капитулирен», он выкрикнул:

— Ну, тогда не знаю!

— Ну, тогда слушай! — невежливо передразнил Хухрик. — Твой первый ответ на мой вопрос касался механики явления, но не его сути. Просто удивительно, как часто люди формулируют вопросы и ответы в таком виде, чтобы они не имели для них никакого практического значения. То, что ты знаешь о полнолунии, существенно для самого полнолуния, но никоим образом не для тебя.

Хухрик расхаживал по комнатке взад и вперед почти неслышными шагами — ни дать, ни взять преподаватель, читающий курс введения в специальность, а студент, то есть Петрофф, сидел — очи горе — и пытался ловить его мимолетные взгляды.

— Ты должен знать, что мне следовало сказать тебе два слова — только два! — и уйти. Но я не могу так поступить. Ты многие годы был моим единственным другом... — Он явно хотел что-то добавить, но смолчал. — И поэтому я скажу несколько больше.

Очевидно, Хухрик подошел к основной части, потому что перестал двигаться и устремил взгляд на Петроффа.

— Запомни главное. Полнолуние — это триггер, спусковой крючок, пусковая кнопка, стартер. Но что именно будет запущено в действие — зависит от конкретных обстоятельств. Больше всего помешательств происходит именно в полнолуние.

И наибольшее количество самоубийств. И преступлений. Но в то же время полнолуние — это всегда урожай наитий, озарений. Подготовленные долгим развитием мировые открытия совершаются, как правило, в полнолуние. В полнолуния придуманы почти все гениальные изобретения. Пик поэтического творчества приходится тоже на это время. Очень часто — чаще, чем ты думаешь — между задумкой и реализацией живописного полотна, скульптуры или архитектурного проекта проходит много лунных циклов и наиболее значительные находки всегда связаны с полнолунием. Запомни, Игорь. Полнолуние — это универсальный пусковой механизм, но это — Пусковой Механизм Чего Попало. Всего, что уже подготовлено к действию и находится в состоянии неустойчивого равновесия.

Хухрик еще раз внимательно посмотрел на лицо Петроффа и перевел дух.

— А я тут при чем? — хрипло пробормотал Петрофф.

Хухрик слегка качнулся, потом расслабился и обмяк.

— У-уу... Тяжеловатый ты, однако, — в голосе его сквозило разочарование, и Петрофф испытал стыд за свое тупоумие. — Ну да ладно. Постепенно дойдет. Наверное, это даже хорошо, что тебя не так просто убедить. Оставайся таким... Да, это, наверное, лучший вариант. А, я пожалуй, пойду.

Он двинулся было к выходу, но обернулся.

— Хочу только напомнить, что полнолуние — послезавтра...

И вышел в коридор.

Петрофф опустился на кушетку, криво поставив ноги, и в голове его загромодились обрывки где-то прочитанного, услышанного и увиденного — расплывчатые образы из средневековых легенд о ведьмах, чертях и оборотнях. Рыбьи хвосты, брошенные в святого Августина... Что-то неестественное, стариковское появилось в его движениях, когда он встал, чтобы проводить Хухрика. И тут он увидел то последнее, что предстояло ему узреть сегодня в своем приятеле. Осознав это, он мгновенно побелел. Хухрик же, как ни в чем не бывало, натаптывая сапоги, покачался взад-вперед и молодецкато прищелкнул каблуками. В этом не было бы ничего особенного, если бы... если бы Хухрик натягивал сапоги как все нормальные люди, а не задом наперед! Только теперь Петрофф догадался, что именно смутило его при появлении приятеля. Нижняя челюсть Петроффа по мере того, как он осознал все увиденное, опускалась все ниже и ниже и, казалось, конца этому не будет. Вслед шагам на лестничной площадке Петрофф выдохнул изумленно: «Чего-о-рт!!»

Никогда в его устах это слово не имело такого конкретного значения, как сегодня. Вывороченные назад ступни могли принадлежать только исчадию ада.

Он вернулся в комнату и выпростал карман, поставив на стол два чистых стаканчика. Потом вытащил початую бутылку водки, налил в оба стаканчика и из обоих выпил. Пережитые потрясения напрочь выхолостили его, и все, что он мог делать, это повторять одни и те же слова: «За что мне это?.. За что... за что!»

Спасительный хмель наконец-то стал отогревать застывшие сосуды, и к этим словам, которые он, как заведенный, произносил про себя, добавилось еще одно — «когда?!» И он принялся искать день, час, минуту, миг, когда некий Стрелочник направил его в этот мистический тоннель, свет в конце которого означал не выход и спасение, а отблески преисподней.

День он вспомнил сразу — и его передернуло от отвращения. Это был День Чужого Имени, как он стал его называть. Да, как все это было?

Проснулся Петрофф, как обычно, еще до звонка будильника, разбуженный шумом ожившей автомагистрали, нанес часам упреждающий удар и босиком подошел к окну, чтобы определить видимость. С каких-то пор каждое утро начиналось с густого тумана, независимо от времени года. А видимость определялась по трансформаторной будке, располагающейся напротив окна, вернее по ее углу, торчавшему из-за дерева.

Петрофф хорошо помнил, как еще студентами они изобрели дегустацию погоды и единственную в мире субъективную единицу холода, которая, однако, имела самое объективное значение, быть может, более точное, чем СИ и СТС, вместе взятые. Единица называлась «дубар» и выражала степень дискомфорта, вызываемого холодом как таковым, скоростью ветра, относительной влажностью воздуха, содержанием в нем стабилизированных аэрозолей и т. д. и т. п. По утрам дежурный, которому вменялось в обязанности сообщать о метеоусловиях, выбегал из барака за выполнением еще одной функции — водоноса, а возвращаясь, громко объявлял спальным мешкам, оккупировавшим двухъярусные нары, число дубаров: два, три, а то и четыре. Объективность этой единицы была очевидной — все десять человек их компании по чисто случайным причинам обладали практически одинаковой чувствительностью к ощущениям дискомфорта...

В тот гнусный День Чужого Имени степень видимости равнялась бесспорно-му нулю целых, нулю десятых. Петрофф, утратив некоторую часть оптимизма, залез в душ, потом — не стал завтракать, так как подобно большинству инженеров страдал отсутствием аппетита по утрам. А что потом? Потом он собрался, вышел на зябкую улицу и втиснулся в двойной «Икарус», виляющий задом...

Кажется, в начале дня ничего такого необычного не было, за исключением разве что слишком густого тумана... Петрофф вспоминал бы и дальше, но его принялась душить пьяная слеза, и он ничего больше вспомнить не мог...

Очнулся Петрофф, когда кто-то постучал в окно. «Наверное опять солдат-посыльный», — сердито подумал он. Запутался в нумерации корпусов и постучал в единственное освещенное окно, чтобы выяснить, где находится восьмой корпус, который, как подозревал Петрофф, был снесен три года назад, а номер его присвоен зданию, расположенному через полтора квартала отсюда. Он не спеша протер глаза, откинул занавеску, медленно открыл обе створки окна. Петрофф не сразу разглядел того, кого предполагал увидеть солдатом: голова человека едва возвышалась над подоконником. Петрофф наклонился к ней и взял рукой за прутья решетки, забиравшей окно снаружи, и тут словно железные клещи вцепились в кисть, оторвали пальцы от решетки и вытащили руку наружу.

То ли отблеск уличного фонаря, то ли свет из комнаты — Петрофф не успел разобрать, что именно — выставил перед ним... нет, лучше не было бы этого света... Только алкогольный наркоспас его от моментального безумия — его руку держало самое натуральное чудовище. Это был упырь, и страшнее его Петрофф не видел в жизни ничего! Распухшая землисто-серая личина с лопнувшей местами кожей скривилась в сатанинском смехе, а полуистлевшие ладони с садистской медлительностью перебирали руку Петроффа, как морской канат, и ужасный оскал, сопровождаемый невыносимым звоном, стал приближаться к его лицу.

Благодаря двум рюмкам водки — или вопреки им? — Петрофф не сломался, не закричал, не упал в обморок. Наоборот, в нем проснулась естествоиспытательская жилка, в голове заговорило холодное, рассудочное желание, пришедшее из какого-то запределья, где не действуют никакие чувства: желание добраться до этой твари хирургическими ножницами и брюшистым ножом: корцангами и зажимами — желание разять ее на составляющие и не оставить камня на камне от первобытного ужаса, который она, эта тварь, источала. И он стал делать то, что казалось невысказанным в его положении. Сквозь натугу и стук в висках выдавил:

— В дверь... заходи в дверь... я приглашаю...

Но упырь, привлеченный, очевидно, на свою сторону все темные силы, не поддался на его уловку. Почуввав своим нутром подспудные мысли Петроффа, он неожиданно отпустил его руку. Но не затем, чтобы зайти в гости. Отпустил и сделал несколько шагов назад — прямо в яркий круг фонарного света.

— Это всего лишь предупреждение, — проскрипел упырь, выпрямившийся, как на сеансе у фотографа. — Чтобы ты... остерегался полнолуния!

Петрофф потирал отдаленную руку и с тупой злобой наблюдал, как упырь, медленно выходя из круга света, так же медленно рассыпается на хлопья, напоминаящие черный снег.

Он оставил окно открытым, чтобы проветрилась комната на грядущий сон. Что-то вроде сухого листа упало на него сверху, а затем прошелестело по полу. Петрофф оглянулся. Это и был лист, но не древесный — бумажный. Он осторожно поднял мятый клочок. В его руках оказалась репродукция картины какого-то самодеятельного художника, в лубочном стиле изображавшая Иисуса Навина, останавливающего солнце, подозрительно похожее на Луну... Петрофф пожал плечами и положил репродукцию в номер журнала «Седиментейши ризерч», а журнал поставил на книжную полку.

3

Утром он встал, как всегда, заглушив будильник на минуту раньше, чем тот начал трезвон. Потом определил видимость в долях трансформаторной будки. «И воста он от сна своего и трепетен бысть во ужасе велице о провидении...»

Он знал, что держится хорошо — и это не было удивительным. Петрофф всегда, всю жизнь гнул, но не ломался. Он никогда не позволял ни обществу, ни каким-либо неодушевленным силам сделать из его нервов бельевой жгут дольше, чем на несколько минут. Но — одно дело хорошо держаться, и совсем другое — делать хорошую мину при плохой игре.

Он мог бы, вполне в духе времени, бороться с этой чумой при помощи заклина-

ний и собственного амулета. Но это означало опять же повиноваться стадному чувству, а амулет показал в конце концов, что проку в нем маловато.

И он решил проверить единственно возможную рабочую гипотезу, которая позволила бы ему избежать шаманства. Хоть и не верил он в глубине души в свое сумасшествие, но верить хотел и заставлял себя верить. Потому что — как воевать с тем, чего не знаешь? Если не знаешь — предположи, а предположив — проверь. И Петрофф предположил, и ухватился за эту соломинку.

Конечно, врач может указать в диагнозе, скажем, «сглаз» — такое бывает, и довольно часто. Но тут уж он, Петрофф, должен положиться на свое собственное чутье, и если доктор полезет не в те дебри — не поддаваться и пойти в другую клинику, кооперативную, частную, черт побери... Но вопрос о его душевном здоровье должен быть решен раз и навсегда.

Петрофф набрал номер шефа и, стараясь пропустить мимо ушей выражения сочувствия, доложил, что, по всей вероятности, с этого дня он — на больничном листе.

Петрофф стоял в очереди к психоневрологу. Длинный коридор, окрашенный неведомо где зачерпнутой зеленью, а на уровне средней головы подчеркнутый отечного цвета филенкой, — этот коридор сам по себе наглядно изображал депрессивные явления в психике. Маниакальную же фазу в этой дизайнерской разработке обозначал временами вспыхивающий фонарь с угрожающей надписью «Следующий». Сначала Петрофф сидел, мест пока еще хватало. Но стоило ему, испытав некоторое утомление, положить ногу на ногу, как к нему обернулась злокозненно-го вида старуха и прошипела: «Ногой качаешь — бесов тешишь!» Петрофф тут же вскочил, и больше уже не садился.

Он нашел себе место прямо возле двери — тут он никому не мешал, даже входящим и исходящим. Он уперся спиной в дверной косяк и погрузился в невеселые размышления — не отправят ли его прямым ходом в узилище бесноватых?

Были в его диспозиции и другие невеселые моменты. Волей-неволей Петрофф теперь слышал диалоги, доносившиеся из кабинета, и к концу третьей четверти часа твердо решил, что подавляющее большинство посетителей — злостные симулянты. Какая-то дама жаловалась, что трое суток тому назад целый час не могла заснуть, и хотя с тех пор спит отменно — очень беспокоится, не повторится ли это в дальнейшем. Другой остроумец за время беседы раза четыре продемонстрировал доктору тремор последних фаланг средних пальцев... Петрофф теперь, словно рабочее тело лазера, накачивался разговорами из-за двери, а затем излучал индуцированное презрение на эту толпу ипохондриков, люто ненавидящих мельчайшие проблески здоровья и культивирующих свои — действительные ли, мнимые ли — болезни в этих маниакально-депрессивных коридорах.

А ведь можно бы, думал Петрофф, сократить эту очередь бездельников минимум наполовину, просто сменив табличку. «Психоневролог» поменять на «Психиатр», не меняя больше ничего. Пусть там остается психоневролог — это неважно. Ведь и сам он, Петрофф, пошел не к психиатру, а к психоневрологу, руководствуясь именно этим дремучим предрассудком — боязно прослыть «шизиком». Тогда сюда пойдут не те, кто жаждет особого отношения — «не трогайте меня, мне нельзя волноваться» — а те, кому действительно неважно, и уж они-то не станут обращать внимания, что там написано на дверях.

Уже не помимо воли, а вполне сознательно Петрофф начал вслушиваться в кабинетный разговор. Потому что впервые из-за двери зазвучало что-то достаточно серьезное, но... Но в то же время не имеющее никакого отношения к расшатанным нервам и вообще к чему бы то ни было медицинскому.

— ...Ты бы еще Пушкина процитировал, сволочь! «Руслана и Людмилу»!

Это был, без сомнения, голос врача. Его же пациент — если Петрофф ничего не перепутал, это был весьма юного и непроросшего вида джентльмен — несколько астенически оправдываясь, но его почти не было слышно.

— Сколько раз я тебе говорил — цитировать надо авторов малоизвестных, лучше всего античных или из раннего средневековья. Даже Тертуллиан, черт побери, для этой цели личность слишком знаменитая. А помнишь ли ты, для чего так надо поступать?.. Так вот, заруби на своем длинном носу: когда ты толкаешь публике мысли какого-нибудь византийского юродивого — толпа решает, что всех известных ты уже перебрал, и вот — нашел именно то, что выражает твою мысль так, что точнее некуда! И вовсе неважно, что этот юродивый говорит то же, что Аристотель или Лев Толстой, только в сто раз косноязычнее! Важно ощущение того, как много ты работал, сколько материала перемолол, пока не нашел эту крупицу радия! Вот так и поступил твой соперник, выдав им Иеремию Скуратова.

«Аще бы был аз...» Кстати, ты нашел этот источник?. Найди обязательно — на следующих дебатах ответишь ему словами того же Иеремии... О, боги, боги!..

При этих словах доктор, скорее всего, воздел руки к небу.

— ...боги боги! Легче баллотироваться самому, чем двигать таких недоносков!.. Да пойми, наконец, ты можешь ничего не изучать, даже напротив — ты не должен ничего изучать: пусть дадут тебе первый попавшийся перевод со старо-, а еще лучше — церковнославянского или же древнегреческого — я говорил тебе не о настоящей работе, а об ощущениях, психологии толпы... Впрочем, толпы, интеллигентной ровно настолько, чтобы благоговеть перед чужими книжными изысками.

Далее вот еще что. Когда говоришь о том, о чем понятия не имеешь — заведи привычку держать в руке какой-нибудь листок бумаги, свернутый в трубочку. Пусть это будет театральная программа, журнальная вырезка о противозачаточных средствах, просто чистый листок — плевать! И жестикулируй, жестикулируй этим листком как можно оживленнее — у всех возникнет впечатление, что в кулаке у тебя непотопляемые, убийственные факты. А чтобы некий невежа не попытался вдруг проверить это — нужно грозно и даже гневно бросать слова, а видом своим вызывать у аудитории мысли о ГУЛАГе... Заканчивать надо резко и быстро, как бы почувствовав внезапный приступ слабости, а в заключительном аккорде — дать понять, что тебе просто стыдно перед людьми, что приходится напоминать оппоненту о таких очевидных вещах...

Петрофф знал, что психотерапевтические беседы могут быть о чем угодно, и имеют лишь одну цель — душевное равновесие пациента. В этом смысле беседа была, безусловно, психотерапевтической.

— Еще... Ставлю «Край 2000» против деревянных счетов, что ты понятия не имеешь, как нужно критиковать. Отвечай, в каком месте речи нужно располагать самые мощные — опять же, по воздействию на публику — аргументы?

— В конце, наверное...

— Вот у тебя они точно в конце! Запомни, мальчик, есть такой аргумент, который всегда ставится в начале! Этот аргумент — отсутствие новизны! Начать критику нужно, небрежно заявив что-то вроде: «Ну — это не ново!» В сознании публики «не ново» автоматически означает «ничего толкового в этом нет». Сама жизнь — то есть то, что все это уже было, но три кита мироздания так и не перевернулись вверх брюхом — подтверждает этот тезис. Теперь — как ты будешь действовать в следующих вариантах: первый — соперник предлагает одну-единственную меру, политическую или экономическую. Второй — мер несколько, но немного. Третий — множество самых различных по характеру мер. Что ты будешь делать, а?.. И так, я понял по твоему виду, что в этих случаях ты будешь глотать слюни.

Слушай! Если предложение одно, сразу обзови его «панацеей» — и половина слушателей от твоего соперника отвернется. Во втором случае... Ты хоть помнишь, какой случай — второй?.. Во втором случае пренебрежительно скажи: «Оппонент предлаает довольно бедный набор»... — И так далее. Наконец, в третьем случае ты должен очень весело — я повторяю — очень весело, с видом комика, заявить: «Уж чего там только нет, в этой речи господина Пупкина...» Понял? Ну все, утомил ты меня. Поди вон, холера ясна!

Молодой кандидат на выборную должность катапультировался из кабинета и, сверкнув костюмом цвета воронова крыла, исчез из поля зрения. Тревожная сигнализация вспыхнула еще раз, вызывая на этот раз Петроффа. Он шел к лекарю, словно по канату без балансира. Когда он занес ногу над порогом, ему почудился вдруг голос за кадром, как в кино про тайных агентов, но как именно прокомментировал этот голос его действия — он осознать не успел.

Доктор стоял спиной к Петроффу, стоял у окна, любясь, очевидно, вечерующим городом. На Петроффа смотрело его блеклое отражение в стекле, с этим отражением он и поздоровался. Отражение еле заметно кивнуло в ответ, и доктор, как избушка на курьих ножках, обернулся. Что-то странное в этот миг случилось с отражением. Петрофф поклялся бы на своем амулете, что по меньшей мере треть секунды оконное стекло отражало вовсе не то, что стояло перед ним. В этот краткий срок окно обрамляло полупрозрачную, бликующую клыками пасть, которая могла бы принадлежать овчарке, если бы не была приделана по недоразумению к голове орангутанга. И это химерическое изображение всю отведенную ему треть секунды аккуратно повторяло эволюции хозяина кабинета. А в конце концов произошло нечто уж совсем удивительное и неправдоподобное. На бесконечно краткий миг вдруг поменялись местами оригинал и его отображение. С толстой шеи доктора на Петроффа, словно через затвор фотоаппарата с короткой выдержкой, глянула своими жуткими зрачками личина вервольфа в последней стадии превращения, в то время как стекло отражало вполоборота вполне человеческую физиономию доктора. И опять голос за кадром что-то проговорил в белый свет как в копеечку, и опять Петрофф не ухватил сознанием, что именно...

— Итак, молодой человек, какие у нас проблемы? — дружелюбно спросил доктор и уселся за свой донельзя маленький и заваленный бумагами столик, напминавший по этой причине осла с грузом соломы. — Тревога, плохой сон, потеря вкуса к жизни? Учтите; что начать следует с самого простого. Все это может быть следствием элементарной сердечной недостаточности. Или гипофункции почек. Вы давно прошли общую диспансеризацию?

Ну вот и началось, решил Петрофф. Сейчас он расскажет доктору, какие глюки его посещают — и тот в одно касание переправит его к психиатру... Он слотнул слюну и поднял глаза на доктора. Неужели нельзя найти какую-то струнку, душевный контакт, или как это там называется? Петрофф сидел на зачехленном больничном стуле и будто сквозь витрину смотрел в участливые глаза врача. Смотрел в упор — и не мог разглядеть лица. Наверное, страх того, что вместо лица он снова увидит что-то невообразимое, мешал синтезировать в единое целое мясистый нос с прожилками, квадратную челюсть, массивный лоб и жидкую шевелюру с проседью...

Петрофф резко выдохнул, как перед глотком спирта, и одной огромной фразой рассказал про чужое имя, про Хухрика и про упыря. Только вот про полнолуние рассказать ему словно запретил какой-то невидимый цензор. И про самого доктора — тоже.

Доктор хмурился и сосредоточенно слушал. Потом заговорил, внезапно перейдя на «ты».

— Ну что ж... Не хочешь вляпаться на учет... Ну и правильно. Только вот два вопроса. Первый. Тебе действительно плохо от этих... недоразумений?

Петрофф с испугом вскинул голову.

— Понятно. Тогда второй вопрос. Ты уверен, что все это — действительно галлюцинации?

— Но как же иначе? По-вашему, сначала все сговорились называть меня...

— А почему... — лицо доктора словно окунулось в проявитель, начертанный на нем выражение злобной усмешки. — Почему, скажи мне на милость, не может быть так, что все действительно сговорились?

Петрофф не ответил. И не потому, что вопрос не лез ни в какие ворота. Но вот эта манера рифмовать разговорную речь уже встречалась ему. И память, на которую он никогда не жаловался, тут же подсказала, где и когда именно.

Он быстро взял себя в руки и сделал последнюю попытку извлечь из этого визита мало-мальскую пользу. Он снова опустил глаза и, сцепив пальцы в замок, прогнусавил:

— Я понимаю, конечно, что есть болезни, от которых не избавиться, проглотив пилюлю...

Но врач опять его опередил.

— Ну почему же? Для вас найдутся кое-какие полезные... таблетки.

Слово «таблетки» он произнес так, будто оно могло иметь переносный смысл. Ни к селу ни к городу Петрофф вспомнил, что «таблетками» когда-то называли студенток фармацевтического института, которые слыли самыми сексуальными девушками в городе... Доктор между тем написал что-то на проштампованном бланке и протянул его Петроффу.

— Вот! Пожалуйста! Как рукой снимает! Будьте здоровы!

И он откинулся на спинку кресла, держа кулаки на столе, как на штурвале.

Только на пороге, в дверном проеме, Петрофф взглянул-таки на рецепт психоневролога. Там было написано только два слова, уродливым медицинским подчерком, но об их смысле не могло быть двух мнений. Надпись гласила: «Остерегайся полнолуния». С восклицательным знаком.

Инстинкт самосохранения заставил Петроффа чуть ли не выпрыгнуть из кабинета, едва не врезавшись в противоположную стенку. Он обвел сомнамбулическим взглядом очередь неврастеников и побрел, лавируя в изгибах коридоров и лестниц. И казалось ему, что он играет в компьютерный «лабиринт», пока не столкнулся с гениальным изобретением Отечества — двустворчатой дверью, одна из створок которой намертво забита гвоздями. Причем ручка имеется только на забитой створке, а на той, что открывается — ручки нет. Он постоял немного перед этой головоломкой, открыл створку при помощи ногтей, и вышел на свежий воздух.

Темнота еще не ступила настолько, чтобы сопротивление уличных фонарей стало бесполезным. Петрофф побрел к остановке, а между пальцами у него по-прежнему был зажат рецепт потустороннего доктора. И когда он подошел к ежевечерней толпе, которая с идиотским постоянством образует часы пик, когда он собрался было влиться в ее ряды — вся толпа, как один человек, обернулась к нему. Из нее, из середины, выскочил маленький, канцелярского вида, человек, и немедленно указал пальцем на Петроффа.

— Вот он, Петрофф, — громко, чтобы все слышали, закричал он. — Вот чело-

век, из-за которого мы, миллионы статистов, каждый день, как проклятые, выползаем на улицы и создаем фон, который он привык лицезреть! Он, видите ли, знает, что утром все как один едут на работу, а вечером — с нее возвращаются, а мы — мы делаем все это как роботы, и все ради мирозерцания одного этого человека! Мало того, мы еще должны делать вид, что все это нужно нам самим, и не дай нам бог показать, что знаем истинное положение вещей! Долой солипсизм!!

Неистовый рев толпы поддержал это выступление.

— Правильно!! — заорал водитель подкатившего троллейбуса сквозь открытую дверь, на которую никто не обращал внимания. — Я, да и не только я — нас тысячи по всей стране, водителей электротранспорта — вынуждены водить эти трол... тьфу!.. лейбусы, потому что он — зна-а-а-ет... — Водитель погрозил Петроффу кулаком, — что есть электротранспорт, который кто-то должен водить!..

— К чертям его собачьим! — раздался сверху визгливый бабий крик.

Петрофф поднял голову и увидел в сумерках женскую фигуру, помещавшуюся на подоконнике третьего этажа с тряпкой в руке.

— К чертям! Я, как дура, лезу вот сюда вот и тру это гадское окно — затем только, что этот... выйдет из больницы и выпялит глаза разок-другой! Хватит!

И вся уличная толпа, сомкнув ряды, принялась поначалу нестройно, а затем довольно слаженно скандировать какие-то жестокие лозунги, направленные против Петроффа, его семени и еще чего-то.

Он выпустил из пальцев листок, и тот закружился в восходящих потоках. Потом он затравленно повернулся кругом, выбрал коридор между негодующими фигурами и стремительно побегал со всей скоростью, на какую был способен.

Он бежал, задыхаясь, несколько кварталов, и каждый встречный — от электромонтера на высоком столбе до алкаша в подземном переходе — узнавал Петроффа и выкрикивал ему вслед все те же проклятья. Он вбежал в свой родной подъезд — слава Богу, никого в нем не было! — и ворвался к себе в квартиру весь в холодном поту. «Да это же... это же конец света! Ведь я же читал про это, быть может, сто раз. Перед концом света все не так — птицы камнем падают наземь, огромные горы уносятся ветром, оживают покойники... Как же я не догадался...»

Наконец дыхание его восстановилось и до него окончательно дошло, что терять уже нечего. Он взял банку греческого мандаринового сока, пробил в ней ножом две дырки, включил телевизор и уселся в кресло. Как будто репортаж о конце света можно увидеть в информационной программе.

Какое-то время он просто потягивал сок и не обращал никакого внимания на картинку. Но минут через пять... минут через пять по его телу прошла мелкая дрожь. Он прислушался. В новостях не было ничего замечательного. Тогда он опять глотнул сока...

— ...и Совет Министров... с глубоким прискорбием извещают, что..

Петрофф медленно повернул голову к экрану.

— ...на тридцать первом году жизни...

Банка выпала из его рук и с жестяным звуком покатилась по полу...

— ...скоропостижно с б р е н д и л старший инженер Института социоветеринарии Игорь Васильевич Петрофф...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Бедные евреи!

Петрофф лежал на кровати с закрытыми глазами и блаженно улыбался. Уже давно рассвело, солнечный луч падал на его лицо — сны его были такими же светлыми и счастливыми. Сначала ему снилось, что он парит, почти невесомый, в толще пронизанной солнцем морской воды, а мимо проплывают стайки диковинных рыб. Потом тут же, в стае рыбешек, он увидел свою подружку. Он сразу узнал ее, хотя была она в маске, ластах и с аквалангом. А потом Петрофф увидел, очень близко, ее лицо. Она стала поглаживать его по шевелюре, что-то приговаривая, почему-то... почему-то мужским голосом.

— Бедные евреи!

Петрофф разомкнул веки. Потом снова закрыл. И опять открыл, на этот раз окончательно. Он лежал на спине, укрытый по шею одеялом, а над ним склонилась чья-то физиономия. Это был старик, и не просто старый, а древний. Маленькое морщинистое личико монголоидного типа, совершенно белая поросль на голове и жиденькая бородка — он чем-то напоминал Дерсу Узала. Старик периодически

проводил одним пальцем по голове Петроффа и тихо приговаривал: «Бедные евреи!»

Петрофф вытаращил глаза. Старик широко улыбнулся и выпрямился. Петрофф на секунду отвернулся. Потом снова посмотрел на старика. Итак, Александром Фоминым он уже был. Интересно, кто он теперь? Гольдштейн? Рабинович?

Он стряхнул с себя остатки сна и попытался встать, по привычке резко откинув одеяло. Черта с два он встал! Жуткая боль из левого подреберья пробуравила его, достав аж до затылка.

Но в корчах он пребывал всего несколько секунд. Боль быстро сошла на нет, лишь две пульсирующие точки на левом боку продолжали беспокоить, но не очень сильно. Дерсу Узала покачал головой и зашаркал прочь от кровати. Облачен он был в стеганку, из прорех торчали клочки ваты, придававшие ей вид растрескавшегося перезрелого плода. Из-под стеганки начинались полотняные штанины, которые внизу пропадали под обмотками защитного цвета, а завершалась вся эта комбинация резиновой изоляцией в виде галош. Кроме того, стеганка была перехвачена новехонькой португеей — даже латунные полукольца, на которые крепится кобура, были на месте. «Конверсия» — по какой-то идиотской ассоциации вспомнил Петрофф и завертел головой. Боли не было.

Сообразить, что он находится не в своей квартире, не стоило большого труда. И раньше ему случалось по пьяному делу — большей частью в студенческие времена — очухиваться бог знает где и черт-те в чьем обществе. Сразу же возникли извечные вопросы, которые всегда мучили русскую интеллигенцию в подобных ситуациях: «Где я?» и «Сколько времени?»

Это был, безусловно, деревянный дом, стены которого украшала печатная продукция самого разного толка — от плакатов с воззваниями типа «Рейс холостой — водитель, стой!» до сторублевых облигаций образца 1990 года. Между ними Петрофф без особого удивления обнаружил красочную рекламу коллектора фракций фирмы «Фармация-ЛКБ».

Он лежал как раз между двумя окнами — головой к одному, ногами к другому — в закутке, ограниченном дощатыми перегородками. Сквозь открытую дверь он видел противоположную стену избы. Там тоже было окно, под ним длинная скамейка и еще торчал угол стола. Петрофф повернулся на правый бок и заелозил, пытаясь заглянуть назад, за собственный затылок.

Из-за импровизированных обоев кое-где проглядывали стесанные бревна с прожилками спрессовавшегося мха между ними. В такой-то щели, справа от окна, почти над головой Петроффа торчал гвоздь и на нем посредством тонкого кожаного ремешка был подвешен замысловатый предмет конфигурации «Инь-Ян» — его Петроффа, собственный талисман.

Опять раздались шаркающие шаги. Петрофф обмяк, принял исходное положение и тяжело задышал. Ему оставалось обследовать самого себя, но при старике он почему-то стеснялся.

Старик стоял возле кровати, опять ласково улыбался, перед собой держал большую кружку с чем-то дымящимся. До ноздрей Петроффа докатился запах мясного бульона. Он поискал глазами какую-нибудь табуретку, стул, но ничего не нашел. Тогда Петрофф отодвинулся от края кровати, стянул с него одеяло и протянул руку. Но вместо того, чтобы помочь, только помешал.

— Проклятый Сталин! — завопил старик. — Проклятый Сталин!

И закружился, как юла, тряся обожженными пальцами.

Петрофф прихлебывал подостывшие остатки бульона и думал, думал, думал.. Туловище его было щедро перемотано бинтами. Кое-где виднелась засохшая кровь. После всех перипетий он не ожидал, разумеется, увидеть на себе гирлянду из цветов пандануса. Но пулевых ранений — а дело, по всей видимости, обстояло именно так — он ожидал еще меньше.

Кто-то несколько раз заходил в избу и выходил из нее. Потом где-то рядом высыпали что-то вроде камней. Делал это Дерсу или кто другой, Петрофф знать не мог. Он заложил руки за голову и уставился в перегородку прямо перед собой. Собственно, перегородкой эта штука была лишь наполовину. Побеленная часть ее оказалась не чем иным, как тыльной стенкой русской печи. Она напомнила о злоте детства...

Бульонную кружку пнули, она покатилась по полу и звякнула о ножку кровати. Петрофф открыл глаза и констатировал постфактум, что снова спал. Солнц светило уже с другой стороны. Из-за спины невысокого парня лет двадцати пяти сверкавшего буквами «Мингео» на рукаве штормовки. Петрофф прикрылся ладонью от солнца и попытался разглядеть все остальное.

— Эй! — весело сказал парнишка. — В галльон хочешь?

Петрофф, без сомнения, хотел в галльон. Потому и кивнул — несколько пспешно.

— Тогда вставай! — так же радостно распорядился Мингео.

Петрофф остолбенел. Легко сказать! Но тут же почувствовал себя так, словно ему незаметно влили новую кровь. Черт возьми! Он глянул в веснушчатую физиономию паренька и тоже заулыбался. Это, подумал он, без сомнения один из тех волхвов, которые явились к Илье Муромцу. Это... это — ша н с. «Ну, Илья, — сказал он себе. — Ап!»

У него, конечно, потемнело в глазах, но какие это, право же, пустяки!

Парнишка следовал за ним шаг в шаг и приговаривал:

— Ну вот, так-то... А то — выноси тут за ним...

У двери он придержал Петроффа за локоть и помог перешагнуть порог.

Петрофф сидел, слегка покачиваясь. Он расположился почти что под иконой Николая Чудотворца, а по левую руку, в торце длинного стола, исчерпывал свою порцию жаркого Мингео. К Петроффу аппетит возвращался с большой неохотой, и занимался он больше тем, что провожал глазами, туда и обратно, Дерсу Узала, когда тот за чем-либо подходил к столу.

Мингео начал было что-то рассказывать, но допустил непоследовательность, тут же забив себе рот картошкой. И когда с произнесением слов ничего не вышло, показал ладонями: мол, потерпи, всему свое время...

Петрофф, покачиваясь, терпеливо ждал своего времени.

Время пришло раньше, чем Мингео проглотил последний кусок. В сенях шумно завозились, и на пороге показался еще один носитель хаки. Это был рослый детина с готической физиономией, и был он заметно старше Мингео. Скорее всего, он был ровесником Петроффа. Детина размашисто прошагал к столу и внимательно посмотрел на гостя.

— Ага! Очухался. Оклемался. Встал, — громоподобным голосом возвестил он. — А то валялся тут... Строил из себя лунатика, понимаешь, зомби... — Детина строго посмотрел на Мингео. — Познакомились?

— Э-а, — Мингео помотал головой с вытаращенными глазами.

— Саша! — объявил громовержец, указывая на Мингео. Тот бросил ложку и торопливо протянул руку Петроффу.

При слове «Саша» Петрофф скрипнул зубами, но руку тем не менее пожал охотно.

— Бойко! — сказал детина и протянул собственную руку.

— Игорь, — сказал Петрофф обоим. Он не сразу понял, что Бойко это фамилия.

Бойко потряс ладонь Петроффа, и взгляд его был то ли выжидающим, то ли изучающим. Такую манеру представляться Петрофф часто встречал среди научных работников, до очного знакомства хорошо известных друг другу по публикациям.

Работы Бойко Петроффу не встречались.

— Так вы не поговорили ни о чем? — спросил Бойко. — Чем же вы занимались?

— Бабушка козлика писать водила, — ответил Петрофф. И тут он почувал желудком забытый аппетит и наел на свою долю.

Он не замечал ничего вокруг, пока ел. И не видел, что Бойко и Мингео пристально смотрят на него, боясь пошевелиться, как если бы перед ними происходило что-то бесконечно важное...

2

На третье утро Петрофф вышел во двор. Весна уже всюю распоясалась, вызвала к жизни веселенькую бахромую траву, которую Петрофф неуверенно попирал огромными штиблетами Бойко. Было прохладно, но это была великолепная, бодрящая, оживляющая прохлада. К тому же повсюду играло солнце, обещавшее вскорости обогреть всех желающих.

Он оглянулся назад, на жилище, из которого только что выполз, — достаточно большой Г-образный дом. Собственно, два дома — зимний и летний. Петрофф вышел из зимнего. В сочленении домов располагались ворота. Если Петрофф правильно представлял ситуацию, то там, между домами, должен находиться крытый двор. С конюшней, коровником — смотря, что там держат...

В который уже раз Петрофф пожалел, что в его возрасте детство отстоит достаточно далеко. Вспомнить что-то из месяцев, проведенных в деревне, становится трудновато.

До него донесся глухой стук. Несколько поодаль, у ограды, стоял Дерсу Узала и занимался ремонтом этой самой ограды. Он заплетал восьмеркой длинные прутья вокруг кольев, затем постукивал по этой связке обухом топора, чтобы они лежали ровно.

Посреди двора росло толстое, в обхват, дерево. Это была какая-то разновидность ивы, но какая именно, Петрофф не сказал бы. Для этого нужно было изучать курс высших растений гораздо лучше, чем он это делал в свое время. Петрофф любил наблюдать, как оживают весной деревья. Всю зиму эти деревянные торчала стоят вроде бы совершенно бесполезно и бессмысленно. Но вот приходит весна, и выясняется, что бесчувственные деревьяшки отлично разбираются в календаре. У них прорезаются листочки — маленькие и несерьезные, как молочные зубы. Но, набрав солнца, почвенных растворов, деревья принимают по-настоящему доблестный вид и несут свою вахту до глубокой осени...

Верстовые столбы в р е м е н и.

Уже застрекотали насекомые, засвистели птицы — к сожалению, не на дереве, под которым он, Петрофф, расположился, а где-то в воздухе, на лету. Кто скажет, что это — ш у м, пусть первый бросит в него камень. Скорее — музыка, мотив которой не может привязаться, как банный лист и до смерти надоест. Потому что — нечему привязываться. Вернее, это — тишина. Самая настоящая тишина, в человеческом понимании. Потому что тишина в смысле физическом — это кошмар, это хуже какофонии, это символ смерти.

...Его нашли на дороге и едва не раздавили колесами «Лендровера». Бойко рассказал, что он был совершенно голый, с двумя пулями в груди — не слишком далеко от сердца. И в состоянии клинической смерти. Как понял Петрофф, кроме Бойко и Мингео, в машине была еще целая группа, что-то вроде экспедиции, хорошо оснащенной и со своими врачами. Они вытащили его с того света, извлекли пули... «Странно, что обе застряли, — сказал ему Мингео. — По всем законам баллистики они должны были пройти навывлет».

Вообще говоря, ранение не слишком тяжелое, а умирал Петрофф, скорее всего, от шока. В избе он провалялся около трех недель, почти все время в бреду.

Здесь было, безусловно, хорошо. После пережитых кошмаров Петрофф чувствовал себя в настоящем царстве душевного здоровья. Но все-таки... Рой тревожных мыслей, призрачных и не очень весомых, беспокоил его. Они хаотически носились, как мыльные пузыри, время от времени наталкивались друг на друга своими ободками, упруго отскакивали и сталкивались снова.

Он сосредоточился и попытался хоть как-нибудь их систематизировать. Во-первых, как очутился на Большом Посадском Тракте, где попал под спасительные фары «Лендровера»? Кто в него стрелял, зачем? «Обе застряли»... Почему, интересно? Мингео проговорился, что это странно... Откуда ему знать, с какого расстояния били по нему, и прямо или через какое-то препятствие? А может, пороховой заряд был уменьшен с целью, скажем, снизить звук от выстрела? Как он может, не зная всего этого, утверждать, что пули «по всем законам баллистики должны были пройти навывлет»? Или попросту пускает пыль в глаза?

Петроффу ни слова не сказали о том, что из себя представляет экспедиция, подобравшая его, зачем Бойко и Мингео живут в избе, напоминающей дом лесника. Почему не отвезли его в городскую больницу? Кто такой Дерсу Узала, который не похож на хозяина дома — скорее на слугу, поддерживающего порядок в отсутствие барина?

Вопросов хватало. Но при всем этом — Петрофф дал бы любой орган на отсечение — эти люди относились к нему хорошо. Не формально хорошо — кормили-поили — а с настоящим сочувствием, даже с привязанностью. В этом не было никакого сомнения.

Такая система уравнений, заключил Петрофф, может иметь три решения. Первое: от него скрывают что-то страшное, такое, что может повергнуть обратно в омут безумия. Второе: они занимаются секретной деятельностью и не имеют права раскрывать все по долгу службы. Третье: то и другое вместе.

Все это по-человечески было понятно. Но Петрофф неожиданно почувствовал нарастающее раздражение. Теперь он здоров и уверен в себе. Он не истеричная девица и черта с два сломается, услышав сценарий фильма ужасов. Если же он тут обуза, если мешает — тогда он немедленно уйдет, хоть на попутной машине, хоть на своих двоих... Петрофф чувствовал, конечно, что ведет себя, как неблагодарный сукин сын, но ничего не мог с собой поделать. Он поднялся с травы и направился к дому, чтобы подстеречь там одного Мингео (в присутствии Бойко тот заметно немел) и нажать на него как следует, и не отпускать, пока не выяснит хотя бы ключевых вопросов.

Он вошел в свой зимний дом и стал слоняться взад-вперед по горнице. Он ходил так, пока не обнаружил на полотах конец какого-то шеста с наверху в виде многогранной пирамиды. Петрофф взялся за это наверху и вытянул запыленное древко с намотанным на него полотнищем. Он немного постоял в раздумье, затем положил все это на пол и раскатал, как ковер.

Это было знамя, кроеное косынею, писаное по камке лапутной червчатой...

А изображен был на нем Иисус Навин, останавливающий Солнце, подозрительно смахивающее на Луну... А еще, когда попробовал Петрофф развернуть знамя до самого конца, до древка — что-то тяжелое стукнуло по половицам и пред белым светом предстал со всей своей воинской доблестью настоящий карабин системы СКС!

Петрофф взвесил карабин на руке, открыл затвор. Патронов там не было. Он посмотрел в канал ствола. Канал ствола был тщательно вычищен, и сказать, стреляли из него в последнее время или нет, было трудно. Петрофф свернул знамя и запихнул его обратно на полати, а карабин отнес к себе в закуток и сунул под кровать. Потом улегся сверху и заложил руки за голову.

Пришел Дерсу Узала — Бойко и Мингео звали его Нилычем. Он распахнул все окна и двери — по избе загулял не очень теплый ветерок. Потом он затопил печь и принялся что-то готовить...

Мингео пришел точно к блинам. Бойко, как того и хотел Петрофф, еще не было.

— Баллоны привез, Нилыч! — от входа заорал развеселый Мингео. — С пропан-бутаном!

— Бедные евреи, — с блаженной улыбкой ответил Нилыч.

— Так что плюй на свои дрова. А вот с рыбой — труба, выброс какой-то в реку.

Кверху пюзом плавает.

— Проклятый Сталин! — воскликнул старик и потряс сухоньким кулачком.

Петрофф и Мингео с удовольствием мазали блины медом, сворачивали их трубочкой и отправляли в рот.

— А как... — осторожно начал Петрофф, — вы вышли на этот домик? На Нилыча? Это ж... смекалку надо проявить...

— У-у... Это, я тебе скажу, история.

Мингео, отыскав тряпку, вытер за жиренные пальцы.

— Шлялись мы по лесу, понимаешь, думали найти местечко и самим построить схрон... И — наткнулись. Этот старик сам нас остановил. Буквально проходу не давал, хватал за рукава, тащил куда-то. Мы думали, помощь нужна, и пошли за ним. Он вел себя, как глухонемой, мычал чего-то. Вот и привел сюда...

Мингео теперь при помощи вилки пытался обращаться с блинами, как со спагетти.

— Привел, показал жестами — располагайтесь, мол. Тут же накормил. Радовался, как ребенок. Как будто истосковался по хозяевам. Кто он такой — пес его знает.

— Я что-то не просек, — нахмурил брови Петрофф. — Где он ночует?

— Ха-ха! Скажу — не поверишь.

Он встал из-за стола, подошел к печке, показал вниз, на прямоугольный зев.

— Там, видимо, какое-то пространство. Туда и заползает на ночь. Сколько ни уговаривали... Почему ты смеешься?

Петрофф не просто смеялся — он почти истерически хохотал, не очень эстетично фонтанируя крошками.

— Хозяйство ведет... а живет, говоришь, в подпечке?! Тогда я знаю, кто он такой!

— Кто? — обалдело выдавил Мингео.

— Домовой! Не веришь? Тогда закрой ночью подпечник и останешься без завтрака — некому будет готовить. Особенно, если осенишь его крестным знаменем.

Мингео очень внимательно смотрел почему-то на печку, словно она была всему причиной.

Петрофф смеялся, смеялся от души... и перестал. В дверях стоял Бойко и очень нехорошо смотрел на Мингео.

— Жрем блины и строим пантомиму, — очень спокойно зафиксировал он.

Мингео засуетился, подбежал к скамейке, вытащил из-под нее подсумок, потом сумку, очень похожую на противогазовую, потом сверток, имеющий общие черты с ОЗК, и выволок всю эту амуницию в сени и куда-то дальше, а куда — Петрофф не увидел. Бойко прошагал комнату по часовой стрелке, подмигнув Петроффу — «Не скучай» — и тоже вышел.

Петрофф без всякого энтузиазма дожевывал блин. Накрылся его план медным тазом... Во всяком случае, на сегодня. И тут он заметил маленькую, маленькую детальку: со стены исчез отрывной календарь, только гвоздик остался торчать. И совершился этот акт, бесспорно, во время круга почета, который совершал Бойко.

Петрофф оставил на столе все как есть — Нилыч прямо-таки остервенело отказывался от всякой помощи по хозяйству. Кроме, разве что, снабжения пищевым сыром.

У Петроффа появилась новая навязчивая идея — самобичевание. Ну почему, почему не нашел двух секунд, чтобы кинуть взгляд на этот чертов календарь? Занятой человек, мать его... Впервые за последние дни дошло до него, что он не знает,

какое сегодня число, а также не очень уверен, какого месяца... А сейчас ему очень хотелось это знать.

Он вышел во двор прогуляться и даже побегать, но раны вновь забеспокоили его, и он досрочно перешел с рыси на шаг и этим шагом возвратился в дом. Там он с интересом понаблюдая, как Нилыч орудует дресвой, до белизны обдирая доски стола. Теперь Петрофф не удивлялся его сверхъестественной прыти, позволяющей старику успевать все на свете.

Петрофф тщетно искал в этом доме хотя бы одну-единственную книжку. Он пошел в летний дом — но и там не нашел ничего похожего. Тогда он вернулся к себе и стал читать обои. Очень скоро наткнулся на нечто любопытное. Это были страницы из материалов судебного процесса по делу летчика-шпиона Френсиса Пауэрса.

Как явствовало из текста, при нем, при Пауэрсе, был обнаружен пистолет с глушителем. Экспертиза заключила, что глушение звука достигалось не только этим приспособлением, но и специальной конструкцией ствола. Это был классический инструмент шпиона-диверсанта. Но обвинитель решил уточнить это у самого шпиона.

— Зачем вы взяли этот пистолет? — спрашивал он.

— Исключительно для охоты, — отвечал шпион. — Я мог упасть в тайге, сами понимаете... А глушитель — это чтобы егерь не сцапал.

— Для охоты, — веско заявил обвинитель, — используется охотничье ружье.

— Да я бы с удовольствием его взял, но, понимаете, не помещается оно в кабине У-2... Поверьте, я бы никогда не смог убить человека...

И так далее, и тому подобное — паноптикум idiotских ответов на idiotские вопросы.

Вечером заявили сразу оба — Бойко и Мингео, и они засели за солонину с картошкой. Были эти «хозяева» странно напряжены и за столом разговора почти не вели, хотя раньше вовсе не придерживались таких строгих правил. Посреди трапезы Бойко, словно спохватившись, вытащил из рюкзака литровую бутылку и водворил на стол.

— Хлобыстнешь? — осведомился он, наклонившись к Петроффу.

Выражением лица Бойко заставил бы хлобыстнуть даже убежденного трезвенника. Петрофф и так бы не прочь, но почему-то застеснялся и промямлил:

— За компанию...

Они разлили по граненым стаканам и выпили за здоровье Петроффа. Потом Мингео изумил Петроффа, провозгласив традиционный тост аспирантов — за успех безнадежного дела. Придя в себя, Петрофф выпил и за это. Третий тост Петрофф провозгласил уже самостоятельно, не без труда оторвавшись от скамейки.

— За временно отсутствующих между нами баб-с!

— Ого! — Бойко впервые за этот день улыбнулся. — Выздоровливает!

Они встали и опрокинули стаканы каждый по-своему — кто с локтя, кто закатыванием. Лишь Петрофф, едва не уронив стакан, вынужден был принять дозу самым тривиальным образом.

Петрофф обвел теплым взглядом Бойко и Мингео. Почему-то они нисколько не расслабились и казались лишь чуть-чуть веселее обычного, оставаясь в то же время сосредоточенными на чем-то своем. Петрофф же катастрофически низвергался к последней стадии опьянения. Изба вдруг поплыла перед его взором и в конце концов остановилась, но как-то косо. «Ого... как бьет... по мозгам...» Внимательные и сочувствующие глаза Бойко — это последнее, что увидел Петрофф до погружения в полное бесчувствие.

Ломота, страшная ломота во всем теле. Она была бы еще страшнее, если бы в том же теле не работал ее антагонист — слабость. — Петрофф застонал и открыл глаза. И даже не понял, открыл или нет. Если бы не появились смутные контуры, так и посчитал бы, что ослеп. Он пошевелился — кожу раздражающе колело. Перевернулся на спину — ломота стала уходить, будто только этого и дожидалась. Лишь раны в боку отдавали пульсирующими уколами. Петрофф поднатужился и сел. У него закружилась было голова, но это быстро прошло.

Тут Петрофф обнаружил, что сидит — а до этого лежал — на толстой соломенной подстилке. И был он совершенно голый, словно новорожденный. «Только пуповины не хватает», — зло подумал Петрофф. Он встал — опять появилось головокружение — и поплелся наугад, куда попола. Сделав несколько неверных шагов, натолкнулся на преграду — такую, что волей-неволей вызвала уважение. Это была по сути дела решетка, но из бревен. «Сруб», — с трудом догадался Петрофф. Но откуда ему взяться? Ни во дворе, ни поблизости он ничего подобного не за-

метил. Стены сруба, по крайней мере изнутри, были в зазубринах и яминах. Словно неумелый плотник лупил топором по бревнам как попало.

Это все, что Петрофф сумел определить на ощупь...

Наверху открылась крышка погреба — а это был погреб или подпол, сомнений не было. Стало более-менее светло. Кто-то опускался задом, неся керосиновую лампу, высвечивающую и люк, и потолок этого сооружения, и немного стены. Наконец этот кто-то спустился, повернулся лицом и сочувственно произнес:

— Бедные евреи...

Мингео с Нилычем вытащили его, как мешок, и довели до кровати — Петрофф сделал вид, что ему снова стало дурно. Да в общем, это было недалеко от истины. В свете керосиновой лампы он успел рассмотреть свое узилище. То, что он принял на ощупь за топорную работу, на самом деле оказалось следами зубов и когтей. Бревна были изгрызены чудовищными челюстями, быть может, челюстями дракона...

Его вели на кровать, а он лихорадочно соображал. Злость, катавшаяся по мыслям, как снежный ком, выростала до размеров айсберга.

У кровати он оторвал от себя чужие руки — «я сам» — и сделал вид что ложится. Поводыри поспешили удалиться и оставить его в покое...

Но их подопечный отнюдь не собирался на покой. Он внезапно наклонился, выдернул из-под кровати карабин, передернул затвор и, шагнув в горницу, направил ружье на Мингео. От неожиданности тот дернулся было навстречу, отскочил назад, наткнулся на стол, отрикошетил к стене и плюхнулся на скамейку.

— Проклятый Сталин! — заверещал старик, отбегая в сторону, и полез в подпечек.

— Ну, — зловеще зашептал Петрофф, — выкладывай. Все. Все, как есть.

Но Мингео уже овладел собой и смотрел на Петроффа с иронической полуулыбкой.

— Что выкладывать-то? Мы тебя, можно сказать, с того света...

И Петрофф понял, что угрозами он ничего не добьется. И растерялся. Правда, сразу же взял себя в руки. Он слышал как-то, что существует такая штука — момент истины. Но только сейчас, в это неповторимое мгновение он ощутил это всем своим нутром и наружностью: М о м е н т И с т и н ы.

— Фомин Александр Викторович! — заорал Петрофф. — Бросивший жену с больным ребенком! Как здоровье тещи?! На ходу ли ваш серый «Опель-кадет»?! Не требует ли балансировки?!

Петрофф мог бы поклясться, что волосы Мингео встали дыбом. Он никогда еще не видел человека в таком шоке, кроме, разве что, самого себя. Петрофф с наслаждением смотрел в круглые глаза Фомина, на его расслабившуюся челюсть. И ждал. Мингео-Фомин с минуту не мог сказать ни слова, только мычал, как Нилыч — когда не требовалось утешать евреев или проклинать Сталина.

— Итак, — веско сказал Петрофф и, сам сбившись с толку, начал с самого главного: — Что это за избушка?

— За-застава. Кордон.

— Зачем? От кого?

— Против йети.

— Что-о?!

— Против снежных людей.

Теперь уже Петрофф был ошарашен. Но Мингео говорил правду — с такими глазами не врут, даже если очень хотят.

— Ты так и будешь стоять голым, воитель? — раздался сзади громоподобный бас. — Простудишься.

«И прозрел он, и устыдился своей наготы!» Нет, что ни говори, авторы Ветхого завета знали жизнь... Но злость Петроффа еще не торопилась улетучиваться. Он покосился на вошедшего только что Бойко.

— Н-ничего, постою и так. Послушаю вас, — угрожающе сказал он.

— А-а-а.. ну-ну! А я как раз веселенькие картинки тебе привез. Раз! Два! Три! Еще тепленькие!

Бойко продолжал считать, и под этот счет выкладывал на стол одну за другой глянцевые фотографии. Они были сделаны, очевидно, последовательно, с некоторым интервалом, и представляли собой что-то вроде кинограммы. Эта серия сильно напоминала французскую карикатуру «Превращение головы Луи-Филиппа в грушу». Только на этих картинках превращался не Луи-Филипп, а Петрофф собственной персоной, и не в безобидную грушу, а — в монстра, в ужасную помесь волка и гамадрила...

— Вот так-то. Ты — оборотень, парень! И в это полнолуние ты охотно сожрал бы нас всех, не посади мы тебя заранее в клетку. Уж извини, пришлось кое-что подмешать тебе в самогонку... Убеждение в таких случаях не действует — поверь моему опыту!

Кто-то сказал, — Петрофф не помнил точно, кто, — что лучшие книги говорят тебе то, что ты и сам уже знаешь. Лучшие слова — тоже. С мыслями можно воевать, но с фактом...

— Замечательно! — Бойко, наклонив голову, откровенно любовался своей работой. — Как думаешь, может, послать на конкурс «Уорли Пресс Фото»?

— Можно, я их возьму себе? — тихо попросил Петрофф.

— Зачем? Подарить любимой девушке? Ладно, бери...

Петрофф сгреб фотографии в одну кучу, потом подумал и протянул Бойко карабин.

— Да ладно, — Бойко махнул рукой. — Оставь себе. Вдруг тебе захочется еще что-нибудь спросить. Например, который час. Или — где стоит банка льняного масла...

Петрофф забрал и фотографии, и карабин и уныло поплелся одеваться. Фомин, просидевший все это время в совершенной неподвижности, зашевелился, помотал головой и встал. Из-под печки неуклюже, с мычанием, выползал домовый Нилыч.

3

— А что нам оставалось, сам посуди? Мы видели животное, животное, которое напало на человека, чуть не искалечило его... Ночью, в лучах фар, это выглядит в сто раз страшнее, чем при дневном свете. Вот Саша и врезал дважды, из этого злосчастного карабина. Бац! Бац! И вдруг — нате вам из-под кровати! — это страшилище на глазах превращается в голого мужика! Это когда ты погостил некоторое время на том свете...

— А тот... человек, на которого... я напал?

— Да ничего, ему повезло. Только одежду порвал. Ну вот... у нас был не только «Лендровер», еще и микроавтобус сзади — как раз врачей везли на стационар работать. Они и принялись с ходу тебя откачивать. Думали, конечно, отправить тебя в больницу. Но потом выяснилось, что ты выкарабкался — когда врубили противошоковое — выкарабкался, так сказать, полностью и окончательно. А неслись мы со скоростью сто двадцать, очень спешили. Обстановочка тут... Ну да я тебе потом расскажу. И решили мы никуда не сворачивать, везти прямо сюда. Ведь никакого особого ухода тебе не требовалось, кроме — ха-ха! — крепкой клетки. Верить ли, нет — но потом никто из нас не мог взять в руки этот чертов карабин. Вот я и завернул его в эту хоруговь.

— Это зная, — тихо сказал Петрофф.

— А мне хоть гобелен, мне все равно... Ну вот, для первой беседы... Теперь пожалуй, твоя очередь. Как докатился до жизни такой?

Петрофф несколько раз открывал рот, но никак не мог начать. Изложить во второй раз все прелести своей жизни было гораздо труднее. Фомин же глядел на него во все глаза, и даже подрагивал, словно мучительно хотел в клозет. Тогда Бойко подмигнул обоим.

— Ну что, может, развяжем языки, а? — с этими словами он опять предъявил обществу бутылку, от одного вида которой Петроффа основательно покорежило. — Не бойсь! Здесь нет ничего лишнего. Это почти что ректификат. Дистиллят с колонки Гемпеля, отогнан из негашеной извести. Не очень крепкий, но мне кажется, это совсем неплохо.

Нилыч, уловивший общественные настроения, приволок шмат сала и, с опаской глядя на Петроффа, убыл по своим домохозяйским делам.

Языки и впрямь развязались очень скоро. Петроффа прямо-таки понесло по хроникальной колее безутешных последних недель...

— Все равно не пойму, — произнес Фомин после длительной паузы. — Каким образом тебя... ну, зачислили в мою шкуру?

— А я вообще ни черта не понимаю! — плаксиво прогнусавил Петрофф. Во хмелю он снова стал очень чувствительной натурой.

— Подождите. Не все сразу. — Бойко, повертев пустой стакан, поставил его на стол. — Видишь ли, Игорь, то, что ты рассказывал, имеет готовое объяснение. И если бы ты обратился с прямым вопросом, я немедленно стал бы отвечать. Именно начал — а закончить, это уж бабушка надвое... Понимаешь, иногда чем проще идея, тем труднее ее описать. Иначе зачем, скажи на милость, посвящать целые поэмы такому простому чувству, как, скажем, зависть или ревность? Ты, конечно, не читал моих работ. Этот тип, — он кивнул на Фомина, — тоже. Его научные интересы лежат вообще... вне моего понимания. Скорее всего ему просто нужны корочки кандидата...

Фомин возмущенно подался вперед, но Бойко остановил его властным жестом.

— Потом, потом дашь мне по морде... Так вот, скажи, Игорь, знакомо тебе такое выражение — «Серьезное все, что принято всерьез?»

Петрофф пожал плечами.

— Похоже... на стихотворную строфу.

— Возможно... Не помню, слышал я его где-то или читал... А может, сам придумал, не берусь утверждать. Я к тому, что даже самая идиотская идея, которая просвещенному уму покажется крайне несерьезной — на глазах материализуется, приобретает реальную силу, если целый социум строит свою жизнь, соглашаясь с нею. Такова, например, идея Бога. Я не рискну, например, утверждать, что бога нет — ведь если эта идея формирует целый образ жизни, то, практически, дело обстоит так, как если бы бог действительно существовал как вполне материальная сила. Чего ты хмыкаешь? Да, это все известно, это — банально, но банально лишь в самом начале. Послушай, что я скажу дальше. Да, это известно с античных времен. Перечитай Гомера — они там все без конца советуются с богами, боги вовсю занимаются менеджментом... Но сейчас — сейчас в обществе господствует черная магия. Она долго формировалась во что-то цельное и вот выросла какая-то критическая масса...

— Полнолуние...

— Да, полнолуние, но ведь не каждое полнолуние происходят подобные вещи! Тут наверняка есть свой девятый вал. Может, он — тысячу девятый, может, миллион девятый — этого я не знаю. Но вот сейчас, к великому сожалению, эта гнусь происходит каждое полнолуние и даже — в ближайшие дни до и после него. И сколько это продлится, неизвестно. Итак, черная магия приобрела материальный статус — это первое. Спрашивается, до каких пределов? И это — второе. Чего вылупился? Я сейчас похож на твоего преображенного Хухрика? Успокойся, я — не Хухрик и не черт. Причину этого сходства объясню позже. Итак, до каких пределов простирается эта сила? Отвечаю: до беспрецедентно широких. Почему? Потому... Ты же знаешь, как широко сейчас распространена психотерапия, самогипноз, просто гипноз, так называемая саморегуляция! Тебе не надо объяснять, что мозг можно грубо разделить на две части — с большой натяжкой, конечно. Одна — министерство, так сказать, внутренних дел, управляющее внутренней средой, другая ведаёт отношениями с внешним миром. Именно с этой частью исходно связана наша разумная деятельность. Остальная осуществляется рефлекторно. Что же происходит сейчас? Люди сплошь и рядом учатся управлять внутренней средой, то бишь, кора больших полушарий, где сосредоточен разум, узурпирует власть мозжечка, промежуточного мозга и ствола. А власть этой системы в организме почти не ограничена — она может повернуть в любое русло эндокринную систему, выделение ростовых факторов — даже повлиять на клеточные циклы и репликацию ДНК. Она может за время от завтрака до ужина превратить Аполлона в кошмарное произведение компрачикосов. Теперь представь себе, что за такую регуляцию взялся мозг, задетый всеобщей верой в черную магию? Тут тебе появятся и черти, и ведьмы, и оборотни — даже эльфы, гоблины и тролли! А полнолуние — триггер, пускач. Правильно тебе сказал Хухрик. Собственно, это тебе Я говорю, а Хухрик — просто проводник. Проводник из будущего в прошлое... Ну что, Игорь, светлее стало на душе? Только не кувыркайся от радости. Скоро снова потемнеет... Давайте выпьем!

Они снова налили. Фомин все не унимался — никак до него не доходило: как это целый институт присвоил его персону совершенно другому человеку.

— Вот давайте и выпьем за то, чтобы это выяснилось! — насмешливо глядя на Сашу Фомина, предложил Бойко.

Каждый прикрыл тыльной стороной ладони рот, словно оттуда могло вырваться пламя, и поставил на стол по пустому стакану.

— Так к чему же это все приведет? — спросил Петрофф. — Если, конечно, пойдет в таком же ключе?

Бойко кашлянул и продолжил несколько осипшим басом.

— Вообще говоря — если дойти до абсурда — должен образоваться инвертированный мозг, в котором разум будет целиком сосредоточен на внутренностях, на трибухе — ха-ха! — и занят исключительно выделением желчи, адреналина — и прочая и прочая... А внешнее поведение будет контролироваться при помощи инстинктов и рефлексов. То есть, внешне это будет самое настоящее животное. А потом и внутренний разум угаснет — потому что он не может развиваться без общения. Ведь сигнальные системы будут принадлежать другому ведомству!

— Черт меня дернул пойти к психоневрологу! — Петрофф брезгливо дернулся. — Это он, скотина, дал последний толчок!

— У-у-у-у... — неожиданно загудел Бойко и погрозил Петроффу пальцем размером с осыску. — Не судите... да не судимы будете!

Он тяжело поднялся со скамьи, оглядел Петроффа и Фомина.

— А чего это вы... так не критически восприняли мой... треп?

На этом месте какая-то новая мысль пришла ему в голову.

— А ну-ка... спать всем, к чч-чертовой матери! Завтра — на передовую!

И он пошел, содрогая половицы, очевидно, в свой дом-пятистенок.

— Тоже мне — царь Петр Алексеевич! — Фомин наградил зад Бойко раздраженным взглядом. — Почему... он так ко мне относится? Корочки — это тещеньке моей подавай. Я здесь — ради романтики. Не веришь?! — он грозно задышал Петроффу в лицо.

— Да ты хороший парень, — Петрофф похлопал его по плечу. — И он это тоже прекрасно знает... Тейк ит изи, как говорят англосаксы...

— И ничего я их не бросил! — неожиданно заявил злопамятный Саша.

Петроффу пришлось мобилизовать гигантские усилия, чтобы вспомнить: речь идет о жене Фомина и ребенке.

— Я же работаю! Мне же не дадут декретный отпуск... А пацанчик уже в порядке...

Тут он блаженно улыбнулся, его эмоции пришли в термодинамическое равновесие — он начал клониться к столу со скоростью, несколько большей, чем Пизанская башня.

Петрофф оглядел его и самодовольно улыбнулся — наконец-то ему хоть кого-то удалось перепить!

4

И опять Петрофф проспал утренний исход обоих друзей. И опять пришлось ему жрать, загорать, снова жрать и снова загорать... Словно курортник, мать-размать! Зато — он научился бегать. Раны хоть и болели, но теперь на это можно было смело наплевать. Он нашел небольшой ручеек, взявшийся, очевидно, из какого-то недалекого родника. Здесь уж никак не могло быть залповых сбросов, кроме как — из кишечника...

Он искупался в этом ручейке — вытянулся вдоль русла так, чтобы с головой, и стал совсем другим человеком. «Женьшень, — с уважением подумал он о ручейке, — женьшень для наружного применения».

На этот раз Петрофф вернулся домой рысью, наперегонки с вертолетом, не шим свои лопасти с той стороны, где, как он понял, располагался некий «стабилизатор» — в сторону города. Он вспомнил, что вертолет по-чешски «вртульник», и на бегу засмеялся...

Бойко и Фомин вернулись поздно и в мрачном расположении духа, но, обласканные традиционным «бедные евреи», несколько отошли, а почуввав запах картошки, жареной в сметане, снова стали готовыми к великим делам.

— Хватит тебе бездельничать! — заявил Бойко, не дожидаясь как следует очередной порции картошки.

— Так я... — начал было Петрофф.

Бойко стукнул вилкой по столу.

— Завтра поедешь с нами... Я сказал! — в стиле эмира бухарского заявил он.

Петрофф понял, что ему не удастся вставить даже междометие и покорно молчал. Он уже успел сообразить, что такое обращение означает достаточно высокую степень дружбы. Только вот Саше Фомину, чтобы понять это, чего-то не хватало.

— Но сначала мне нужно кое-что растолковать. Разговор будет долгий. Выдержишь? — Бойко смотрел на Петроффа исподлобья. Тот утвердительно кивнул. — Вот так.

Мимолетная вспышка прошла, и Бойко принялся дожевывать недожеванное. Потом оттолкнул миску, как лодку от берега.

— Наши врачи дадут тебе больничный. У них очень большие полномочия... Или справку... Не в том, что ты оборотень, конечно, а что имел два пулевых ранения... А этого, — он показал на Фомина, — упрячем за решетку. Ха-ха!.. Шутка!!

Фомин скривился и вышел из-за стола. И вообще вышел из дома.

— Зачем? — Петрофф впервые смотрел на Бойко с открытым неодобрением.

Бойко мгновенно посерьезнел, хлопнул себя по лбу.

— Да... Надо извиниться... обязательно. Нервы расшатались, как... как маятник. Маятник может расшатать даже бесконечно малое, но периодическое усилие... С этими словами он вышел вслед за Фоминым. Через четверть часа они оба вернулись, вполне довольные друг другом.

Начали разговор они втроем, но минут через десять Бойко странно заерзал на скамейке и с непривычной мягкостью в голосе сказал:

— Саша, поверь, мне очень не хотелось бы... но...

— Все понял, командир, — сказал Фомин и кивнул. — Я на связи.

Петрофф только сейчас узнал, что в пятистенке установлена рация. Он поскреб голову и произнес, обернувшись к Бойко:

— Признаться, вы меня сильно удивили этими... снежными людьми. В прессе это дело сильно дискутируется. Существуют они или нет — так ставится вопрос. А тут — кордоны, черт побери. Как будто грозит их нашествие!

— Еще как грозит! А ты, однако, нашел, к чему апеллировать — к прессе! Знаешь, Кийт Честертон когда-то писал — не ручаюсь за точность, но смысл такой: если вам нужно спрятать камешек, вы должны отнести его на галечный пляж. Если нужно спрятать кленовый лист, его надо повесить на дерево. Соответственно труп прячется под горой трупов. Улавливаешь? Ну, а факт — это я добавлю от себя — прячется под горой фактов. Это и есть наш способ скрывать информацию. Есть и еще какая-то сила. На информацию о снежных людях вроде бы никто не накладывал гриф секретности, однако то там, то сям натыкаешься на невидимую стену... Их изучение тоже не запрещено и поставлено на достаточно широкую ногу, правда, в основном силами энтузиастов. Но вот попробуй сообщить хотя бы часть результатов — угодишь в такую соковыжималку, что дай бог ноги унести. Дошло до того, что мы, кто изучает снежных людей — йетиологи, алмастологи — называй, как хочешь, не можем узнать о существовании друг друга! Мы устанавливаем контакты черт знает какими окольными путями — вплоть до использования связных и явок! А ведь мы работаем в академическом учреждении и разрабатываем официальную, плановую тему! Если так пойдет дальше — превратимся в какой-то разведывательно-диверсионный центр. Вот куда идет академическая наука!

Бойко встал и заходил из угла в угол, ероша светлый ежик на голове.

— Так что же они из себя представляют, эти снежные?..

— Обезьянолюди. По сути дела — обезьяны, но — прямоходящие. Иногда ходят и на четвереньках, но редко. Миссинг линк — недостающее звено.

— А язык... язык у них есть?

— Есть. Чрезвычайно примитивный, но есть. Вот это самая интригующая и самая сложная проблема. Мы знаем несколько их слов и стараемся использовать в контакте. Но они почему-то реагируют совершенно неадекватно. Хотя мы точно знаем их значение. Например, «ха-уру-д'им» — «с открытыми ладонями». Понимают! Кивают, скалятся, барабают кулачками в грудь. Оставив подарки, жратву — берут, едят, довольны. А на следующий день — нападают. И убивают. Убивают!

— А где... хм... где они живут?

— А где ты думаешь? В пещерах. Троглодиты. Поэтому их так долго не могли найти. Причем вход в пещеру — вертикальный, расположены эти пещеры в скальниках, в нагромождениях обломков. Так просто там ни черта не увидишь. И еще — воздух в этих пещерах насыщен сернистыми выделениями. Они живут там сотни тысяч лет и уже давно адаптировались. Сотни тысяч лет жили, почти не показываясь на поверхности! И вдруг, с этими полнолуниями, полезли со страшной силой... Впрочем, ты все это завтра увидишь.

— Полнолуния...

— Да, в полнолуния они особенно бесчинствуют. Хотя и в обычные дни не прочь «развлечься»...

— Значит, с языком у вас туго?

— Иногда примитивность языка составляет не меньше препятствий для его изучения, чем его сложность. Это же не люди, пойми! У нас нет и не может быть моста к этому языку. Даже язык аборигенов Минданас — шедевр, совершенство по сравнению с тем, с чем мы имеем дело. Мы пробовали идти другим путем — отобрали группу из шести йети и стали обучать их, как это раньше делали с гориллами. Это происходило — заметь! — после того, как они уже уничтожили двадцать человек. наших людей! Этим шести, а вернее — восьми нашим «сотрудникам» мы и обязаны всем нашим словарем.

— И что.. их... тоже?

— Уничтожены все, в том числе и снежные люди — вся эта группа. Ты не веришь?

Петрофф смотрел на Бойко очень странно. Он и сам не знал, верит или нет. Слишком многого ему пришлось насмотреться за последнее время.

— Знаешь, что? — острожно начал Петрофф. — Как сказал один ребенок — утро вечера у т р е н н е е.

— Да, — сказал Бойко и провел ладонью по лицу. — Да, я веду себя совершенно неправильно. С какого-то момента, что ни шаг — все не в ту сторону... Иди, иди, спи.

Когда сонный Петрофф, еле волоча ноги, достиг своего закутка, за его спиной раздался негромкий, но властный окрик «Стои!»

— Завтра, — Бойко был устрашающе бледен, и Петрофф понял, что его терзает бешенство, — завтра ты увидишь все собственными глазами и...

— С большим удовольствием, — перебил его Петрофф и повалился на кровать.

Спать пришлось ровно полтора часа. Растормошил Петроффа возбужденный Фомин.

— Вставай! Моментом собирайся, мы уже погрузились.

— Куда... погрузились? — Петрофф приподнялся и беспорядочно завозился на постели.

— Куда, куда?.. В вертолет, конечно. Да, карабин возьми.

Он убежал, оставив Петроффа приходить в себя. Тот свесил ноги и замер. Где-то рядом действительно надрывался вертолетный двигатель и надсаживались чьи-то голоса. Восхищаться глубиной своего сна у него уже не было времени, и он, размяв плечи, потопал на выход, к вертолету.

Это был Ми-8 в горном исполнении, с дополнительными баками. Разумеется, за счет пассажирских мест. Уже светало. Когда взлетели, это стало яснее ясного. Рядом с Петроффом, по левому борту, расположился Фомин. В самом хвосте салона, за баками — Петрофф не сразу их заметил — оказалось двое молодых ребят, с карабинами. Бойко стоял у входа в пилотскую кабину, растопыренными руками упираясь в переборку. Он что-то говорил пилотам, но что именно, услышать было невозможно и не только из-за рева двигателей. Там, у кабины, без конца щелкали какие-то реле.

Они быстро миновали лес и вошли в предгорье. Вертолет почему-то все время прижимался к одной стороне каньона и очень тесно — можно было различить отдельные пучки травы. Петрофф спросил об этом Фомина. Тот, как и Петрофф, закричал ему на ухо:

— Так — больше подъемная сила! Экономия горючего!

Наконец они увидели большую скальную осыпь и тут же — совершенно ровную площадку, подобие террасы. Там Петрофф различил какие-то развалины, от которых столбом поднимался сивый дым. Рядом что-то тускло поблескивало.

— Дрянь дело! — раздалось над ухом Петроффа. — Я получил радио два часа назад. Наверное, не успели...

Но успели совсем другие. Там, рядом с пожарищем, уже был вертолет, лопасти которого не двигались. Ми-8 осторожно опустился на расчищенную площадку. Первым выскочил Бойко и побежал к опередившей их машине, следом выпрыгнул Фомин. Петрофф испуганно отпрянул на сиденье — из-за баков выскочила здоровенная овчарка, увлекавшая за поводок державшего ее парня, и все они понеслись на выход. Петроффу пришлось замыкать эту группу.

Петрофф спрыгнул на холодную, враждебную землю и остолбенело смотрел на сгоревший домик, на обугленный остов вагончика — в таких обычно живут строители, — на микроавтобус с выбитыми стеклами, помятым кузовом и отбитой краской. Огонь, похоже, его не коснулся. Двое парней с овчаркой и Фомин, развернувшись в цепь, если можно назвать цепью боевой строй из трех человек, шли с карабинами наперевес вверх по склону, а перед ними неуклюже скакала по камням овчарка.

Неподалеку от второго вертолета, куда ветер не доносил едкий дым, на земле было что-то расстелено и там сосредоточенно возились люди в медицинских халатах. Значит, вертолет принадлежал санитарной авиации — догадался Петрофф. Оттуда, приставив к вискам кулаки, медленно шел Бойко.

— Накаркал, сволочь, — бормотал он, — накаркал! И черт меня дернул за язык!

За его широкой спиной Петрофф увидел блондинистую девушку с расчехленным фотоаппаратом и коробкой, похожей на диктофон.

— Вот, — сказал Бойко обескураженному Петроффу, — полюбуйся! Слава богу, живы, но из них чуть не сделали пару шикарных котлет. А вон там — видишь, на той террасе развалины? — там когда-то была деревня. Вот, посмотри, что стало с ее жителями, — он с трудом вытаскил из кармана пачку фотографий и ткнул ею в грудь Петроффа. Глянул на возвратившихся парней с овчаркой.

— Ушли, — сказал тот, что держал на поводке собаку. — Глубоко зарылись. Вертушка напугала.

Бойко снова сорвался.

— Так чего стоите! Грузите все, что осталось! Точка ликвидируется к... — он оглянулся на девушку, — к чертям собачьим.

Все трое поспешно принялись вытаскивать из-под обгорелых досок остатки оборудования, время от времени отбрасывая в сторону то, что уже ни к чему не приспособишь. Бойко постепенно успокаивался, только капли пота продолжали стекать с его лица.

Петрофф стоял, вытянувшись в напряженной позе, страшно выпучив глаза.

У ног беспорядочно валялись фотографии, выпавшие из его рук. На одной из них был виден человек с перерезанным горлом.

— Что, дружище? — спросил почти мирным голосом Бойко. — Тужишься? Хочешь снова стать волком? Чтобы рвать на части этих... Не получится, дорогой! У тебя — не получится. Человек так просто в волка не превращается, если он человек. Для этого нужны... особые причины.

Девушка отсутствующим взглядом смотрела перед собой.

— Да, — подала и она свой голос, — отсутствие культуры... Сталинское наследие...

— Бедные евреи, — вырвалось у Петроффа.

Девушка посмотрела на него, как на слабоумного. Впрочем, она на всех смотрела, как на слабоумных.

— Сколько прошло от рождения Христа, — произнес Бойко, — а от сотворения мира — еще больше. — Он обернулся к журналистке. — От отсутствия культуры ковыряют в носу. Чавкают. Сморкаются в кулак. А головы режут при отсутствии чего-то другого... Скорее всего при отсутствии ч е л о в е к а в этой оболочке, — он постукал кулаком по груди.

Петрофф внимательно смотрел на журналистку. С первых слов Бойко в ее глазах загорелся огонек, и этот огонек был, безусловно, сексуальным.

Вертолет с ранеными — их было двое на этой точке, улетел первым. С ним же улетела и репортерша. Петрофф и Бойко присоединились к ребятам, чтобы окончательно расчистить завалы. Пилоты набирали в прямоугольные термосы ледяную воду из ручейка и тут же ее дегустировали.

Наконец они погрузили все свои жалкие остатки в вертолет. Залезли и ребята с собакой, а Бойко и Петрофф все еще стояли на земле. Бойко горестно отвернулся от погорелого места и неожиданно махнул рукой пилотам, чтобы летели. Машина, чуть прокатившись по площадке, оторвалась от земли.

— А мы?! — изумился Петрофф.

— Мы — на машине, — прокричал сквозь грохот движка и шум ветра Бойко. — Обратное можно не спешить.

Наступила тишина. Только на пожарище еще потрескивало. Столбом тянулся к небу белесый дым, который, впрочем, не производил никакого шума.

— Разве он на ходу? — Петрофф кивнул на микроавтобус.

— На ходу, — успокоил Бойко, — только стекол нет. Да все равно — скорости тут не наберешь... — И вдруг схватив Петроффа за воротник, заорал: — Как?! Как должен чувствовать себя якобинец, волею случая обязанный жизнью тирану? Кровавому деспоту!

— Откуда я знаю? — Петрофф оторвал его руки и проверил воротник — на месте ли.

Бойко с разведенными руками сделал несколько шагов назад. Щебенка выскользнула из-под его каблуков, как арбузные семечки. Потом он протянул руку в сторону горного хребта.

— Знаешь, чему обязаны жизнью эти двое?... Нашему... феодализму... партократии... мафии... телефонному праву — всему клубку змей, ублюдков дьявола! Эта девочка... ты же видел! Я связался с их радиостудией, сказал, что она может поймать, ну, сенсацию, что ли. А ее папаша — удельный князь какой-то там, хрен его знает, партии... он звякнул... директору торгового... не знаю точно. И они тут же отправили сюда ближайший вертолет санитарной авиации. А меня эти... с а н и т а р ы... слушать не хотели! Мой-то вертолет в городе, на аэродроме. Вот так! У меня эти парадоксы... сидят...

Он сел на голую землю и опустил голову на колени.

Петрофф даже помотал головой, настолько невероятным было то, что он увидел: Бойко вытирал слезы!

— Уйду я к черту с этой работы... — И тут снова произошла смена кадра, и Бойко стал самим собой. — Между прочим, — он поднял голову. — Один из этих парней тебя лечил.

Петрофф сел рядом с Бойко. Они долго смотрели на мрачный пейзаж, простирающийся вокруг, на нависающие скалы, на щебнистый склон, на грязную вереницу облаков.

— Есть, — Бойко первым нарушил молчание, — одна теория. Собственно, моя теория. Ты знаком с работами Беляева, ныне покойного, из ИЦиГа?

— Явления, сопровождающие доместикацию... Дестабилизирующий отбор...

— Да, да, именно это. Так вот, процесс происхождения человека очень напоминает то, что происходит при доместикации, одомашнивании...

— Ну-у! — Петрофф улыбнулся. — Об этом мы уже слышали. Нас искусственно вывели некие инопланетяне, высшие существа. В порядке эксперимента.

— Инопланетяне тут ни при чем. А насчет высших существ ты особенно глубоко

ко ошибаешься. Это были как раз-таки низшие существа. Ты же прекрасно знаешь, что муравьи, например, культивируют целые стада, так сказать, домашних тлей. Попробуй сказать, кто из них «высший» а кто — низший.

— Но муравьям от тлей нужны их сахаристые экскременты. А что нужно этим... низшим... от людей?!

— Обезьянолюдам! — Бойко поднял кверху палец. — От других обезьянолюдей. Другого вида. Поначалу они все были обезьянолюдьми. Только те, которые занимались... одомашниванием — те были сильнее, могущественнее, что ли... В общем, в чем-то имели превосходство.

— Так что им было нужно?

— Женщины, тьфу, прошу прощения — самки! — были нужны.

— То есть...

— Понимаешь ли, происхождение человека тесно связано с половым отбором — на это еще Дарвин обратил внимание. С другой стороны — я уже говорил об этом — выпадение волос, дезорганизация акустической сигнальной системы, что привело к возможности произвольного управления голосом, то есть речи — все это явный «синдром доместикиции», одомашнивания. Вот и ищи решение этой системы линейных уравнений!

— Так, может, это была автодоместикиция, одомашнивание самих себя?

— Нет. Расчеты показывают, что такая система, о которой ты говоришь, была бы слишком устойчивой. То есть, она все время стремилась бы спонтанно вернуться в исходное состояние, даже если бы вдруг такой процесс и возымел место. Кроме того — есть ведь еще одно доказательство. Ты слышал про особенности митохондриальной ДНК человека, которая наследуется только от матери?

— Да-а-а... «Праматерь всех сущих»! Вообще говоря, это согласуется.

— Иногда возникали гибриды. Гибридов мужского пола они скорее всего уничтожали, женского — оставляли себе. Это был какой-то сбой в половых устремлениях этих... «сильных» обезьянолюдей. Они, видать, часто игнорировали собственных самок, занимаясь тем, о чем я тебе говорил... Но, видишь, они сами выкормили своих могильщиков. У их подопечных появился язык более сложный, чем у хозяев. Потом они стали по-настоящему разумными. При помощи разума они и скинули этих, — Бойко указал на горы, — к чертовой матери.

— Ты думаешь, что это та самая раса, то есть, вид?..

— Безусловно. Теперь с этими полнолуниями, они вдруг вознамерились занять свое прежнее место. Хотя в нижнем палеолите у них были определенные достижения... Наверное, они этим до сих пор гордятся. Знаешь, какая страшная вещь — перескакивание через необходимые стадии развития? Они создали что-то вроде организации, называется «Хунтум-Бантам».

Бойко поднялся во весь рост. Он был очень внушителен в своем пятнистом комбинезоне, в легких горных ботинках, которые именуются почему-то «баскетбольными».

— Так вот, Игорь. У меня к тебе небольшое поручение, то есть, прошу прощения, просьба. Все это... — он обвел рукой воображаемый горизонт, — для того, чтобы ты знал, что делаешь... Ну, ладно, поехали.

С точки на кордон они добрались только через четыре часа. Нилыч попытался накормить их тюрей, но оба вежливо отказались.

— Я уже говорил тебе, — сказал, усаживаясь на скамью, Бойко, — как нашим специалистам приходится поддерживать связь. Ты можешь доставить... — он показал Петроффу бумажный прямоугольник, — вот это письмо. Адрес — на конверте. Это в городе. Понимаю, понимаю — тяжело возвращаться. Но ведь все равно надо!

— Да нет, пожалуйста... А что это за человек?

— Замечательный мужик! Он, ты не поверишь, около десяти лет жил среди снежных людей!

— С ума сойти!

— Вот именно. Его помощь нужна нам, как воздух. Имей в виду — он тщательно скрывает этот факт... своей биографии. Мы сами его недавно вычислили. Главное — передать письмо. Можешь поговорить, только — осторожно. Карabin применять не понадобится, ха-ха!

— Положим. С этим ясно. Это я сделаю. Но я-то, я? Ведь в следующее полнолуние...

— Придется тебе обзавестись хорошей клеткой. Садиться в нее раз в двадцать восемь суток...

— Каждый месяц... на двое суток садиться в клетку?!

— Или в самолет. И перед полнолунием лететь вслед за солнцем вокруг шарика. Можно с посадками, ха-ха!

— Этот вариант, пожалуй, лучше, — согласился Петрофф. И хмыкнул: — Как Вечный жид.

— Бедные евреи, — раздалось у него над ухом.

Они вышли во двор — тут же подкатил «Лендровер».

— Только имей в виду — он довезет тебя лишь до автостанции. Дальше ты уж сам.

— Попрошайся за меня с Сашей, о'кэй?

Бойко кивнул, и они крепко пожали друг другу руки. Потом Бойко очень серьезно посмотрел в глаза Петроффа и так же серьезно спросил:

— Ты ничего у нас не забыл?

Петрофф на секунду замер, потом безудержно захохотал — многократное эхо заскакало по окрестностям.

— А ведь ты напрасно смеешься, дружище, — чуть погодя сказал Бойко. — Вспомни, как застряли в тебе две пули. — С этими словами он повесил на шею Петроффа маленькую фигурку «Инь-Ян».

Улица Божены Делчевой, 18. Петрофф со смешанными чувствами осмотрел обшарпанную крышу частного домика. Ну что ж, труба зовет... Он несколько раз нажал на кнопку звонка. Со двора немедленно отозвалась собака, судя по лаю, — огромная.

— Шерп! Место! Место, Шерп! Сейчас, сейчас, подождите, — послышалось из-за ворот.

Зазвенела цепь, Шерп перестал лаять. Кто-то отодвинул железный засов, и дверь открылась. А еще через миг Петрофф в ужасе отшатнулся — перед ним стоял и дружелюбно улыбался... тот самый психотерапевт, который выписал рецепт «остерегайся...»

Они засели в гостиной, и Петрофф скоро успокоился — это был психотерапевт действительно высшего класса. Он вскрыл конверт тут же, в присутствии Петроффа, медленно прочитал письмо, держа очки в руке, словно лупу.

— Ладно. Что ж, поможем, в меру сил, — и отложил письмо в сторону. — Чай будете?

— П-пожалуй...

Врач принес все сразу, на одном подносе, словно давно ждал Петроффа.

— Зря я это сделал, — тихо сказал он.

— Что именно? — не понял Петрофф.

— Вас имею в виду. Выдернул из нормальной жизни. Окунул черт знает в какие проблемы, до которых вам и дела-то никакого не было.

Петрофф во все глаза смотрел на врача и не мог понять, кто перед ним: Бог, Сатана? Но страха при этом не испытывал.

— Какая же это нормальная жизнь? Это... кошмар. Это... Сюр какой-то.

Врач откинулся на спинку стула — как тогда, в кабинете.

— Вы биолог по образованию, если не ошибаюсь?

— По образованию.

— По образованию — отлично. Представьте себе, что кто-то сфотографировал в микроскоп, скажем, радиолярий или диатомей. Потом сделал огромные отпечатки и устроил выставку, понимаете... вернисаж... М-да. Что скажет массовый посетитель, не имеющий отношения к биологии? Что у всего этого ничего общего с реальностью нет, что это — абстракционизм, м-да, сюр, как вы выражаетесь. А ведь на самом-то деле это, — он по-бойковски поднял палец, — реальность и не просто реальность, а, я бы сказал, документальная, протокольная — вот такая реальность!

Петрофф молчал и слушал.

— Так, может быть, молодой человек, и это все, — он покрутил ладонью в воздухе, — что не давало вам покоя — тоже... реальность. Только другая, для которой нужен свой... микроскоп?

— Вы — Бог? — спросил Петрофф.

— Как тебе сказать, Игорь, — врач лукаво посмотрел на него сквозь лупу очков. — Настоящий Бог, то есть существо, не подчиняющееся никаким законам, а само их устанавливающее — существовать не может. Потому как любое существо строится по законам. Нет закона — нет существа. Но может быть — некоторое приближение к Богу. Существо, подчиняющееся, скажем так, только одному закону, да. И знаешь, что это за закон? Это — закон компенсации возможностей. Если у вас неограниченные возможности в одной области, то в других — вы совершенно беспомощны. Вот так-то. Это — как тришкин кафтан. Конечно, можно пользоваться этим, как тришкиным кафтаном, накрывая то одно, то другое, и вертеть головой — как бы не поразили тебя в неприкрытую часть тела. Я предпочитаю

другое — оставаться всемогущим в одних целях и совершенно беспомощным в других. Так что я — где-то Бог, а где-то... — он, смеясь, закашлялся. — Хуже человека.

Петрофф побарабанил пальцами по столу, потом вздохнул и сказал:

— Спасибо... Я... впрочем, чего там говорить... Я, пожалуй, пойду...

— Не смею задерживать. Да не возбранит дьявол делом помысла твоего!

Петрофф направился к выходу, но... Он не мог так просто уйти! У самой двери Петрофф обернулся и спросил:

— Скажите, пожалуйста, что означает «Хунтум-Бантам»?

— Во-первых, это звучит так: «х'ун-т'ум-бан-д'т-ам-ы». Буквально это означает — «Много зубов в одной челюсти, рвущей глотку чужака».

Петрофф побледнел.

— А вот это... как его... «ха-уру-д'им»?

— Это означает: «Когда вожак сидит на большой горе чужих черепов».

— Разве?! — изумился Петрофф. — А мне говорили, что это означает «мир».

— Это и есть мир по-ихнему. Увы! Другого слова для определения мира, отсутствия войны, в их языке попросту нет.

Только свежий ветер улицы привел Петроффа в чувство. И он подумал, какая невероятно тяжелая работа лежит на плечах Бойко и других ребят на «точках», «кордонах» и «стационарах». Но он снова взял себя в руки — психотерапия! — и подумал, что жить-то все-таки надо. И все будет о'кэй.

Надо только остерегаться полнолуния.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Дорогой м-р Стуловский!

К сожалению, получил Вашу рукопись с большим запозданием. Мне известна Ваша причастность к работам по Временной Делокализации Макрообъектов¹, и, следовательно, события не очень далекого будущего Вам известны во всех деталях.

Я должен полностью согласиться с Вами в том, что в наше время Фрэнсис Бэкон имеет полное основание перевернуться в гробу. С его времен и поныне главной силой остается отнюдь не знание, а невежество. Его знаменитое высказывание как было, так и осталось несбывшимся пророчеством. Но должны ли мы сетовать на это? Ведь вполне естественно, что «беспочвенные фантазии всегда произрастают легче, чем многотрудные научные истины...» Не должна удивлять и неодолимая мощь невежества — ведь известно, что сила бывает сосредоточена в теле маньяка!

Теперь конкретно по содержанию. Меня, признаться, удивило, что в рассуждениях о воздействии полнолуния на земные создания Вы ни словом не обмолвились о работах Гурджиеффа с его знаменитым сравнением человеческой расы со стадом овец, откармливаемых для Луны. Если Вам не хочется тратить время на рассмотрение оккультистской макулатуры, могу порекомендовать книгу Колина Уилсона «Паразиты рассудка», в которой упомянут указанный автор, а кроме того — «лунная» теория Хёрбигера.

Еще одно замечание касается «западного» написания русских фамилий. Я не возьму на себя риск настаивать на своем утверждении, но мне кажется, что читатель будет теряться в догадках, связано это с массовым возвращением эмиграции или это намек на известное, впоследствии отмененное, постановление о переводе русского языка на латинскую графику в целях облегчения информационного оборота в рамках «общеевропейского языка». На мой взгляд, следовало бы точнее обозначить этот момент.

И еще. Представив события в таком виде, то есть, смешав события ноября и мая, а кроме того, придав им ту окраску, которую вы им придали, неужели Вы рассчитываете, что ход истории не изменится коренным образом?

Взываю к Вашему благоразумию!

Отложите публикацию Ваших записок. Иначе, боюсь, Вам придется молиться о том, чтобы события не приняли более драматический характер.

У меня было время обдумать это письмо — я начал его в одном месте Земли, а заканчиваю в другом. И даже после этих раздумий я не могу найти ничего лучшего, чем снова повторить свои призывы.

Искренне Ваш
Юджин Б. Хухрикофф.
Торонто-Мельбурн.
15 августа 1989 г.

¹ В оригинале письма использована английская аббревиатура.



И. Алябьева

НА ПЕРЕЛОМЕ

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

Вот и дожили мы до времен, когда слова о рынке, о рыночной экономике вошли в наш постоянный разговорный обиход. Ни одна газета не обходится без публикаций на эту тему, ни одна телепрограмма. А ведь всего-то несколько месяцев тому назад эти слова были чуть ли не ругательными, экономистов, призывающих к рынку, клеймили, начиная с самых верхов, как пособников мирового капитализма. «Вас обвиняют в том, что призываете к реставрации капитализма в нашей стране, как Вы относитесь к подобным обвинениям?» — спросила я у Василия Селюнина. Ответ прозвучал по-селюнински язвительно: «С этим обвинением и согласиться можно. Да ведь только капитализм-то еще и заслужить надо!»

Слова словами, но реальных рыночных отношений в нашей экономике, действительно, надо заслужить. Правительственная программа перехода к рынку, разработанная под давлением продолжающегося и ускоряющегося распада народного хозяйства, проникнутая опасениями, оглядками, страхом от собственной «радикальности», — не была принята. Специалисты признали ее несостоятельной, а народные массы, прильнувшие к телевизорам в те дни, ринулись в панике в худосочные наши торговые точки: в их сознании рынок и повышение цен, рынок и падение жизненного уровня связались воедино. Впрочем, массы оказались близки к истине, что подтверждают вполне компетентные оценки проекта. «Во всем том большом документе, который нам представлен, есть одно конструктивное предложение — повысить государственные розничные цены более чем в два раза. Это обстоятельство никакого движения к рынку не означает. Можно вспомнить, что наш динамичный премьер Никита Сергеевич Хрущев «по просьбе трудящихся» такие меры проводил достаточно часто и не называл это движением к рынку». Г. Фильшин, «теневой премьер» оппозиции.

Пламенная забота правительства о своем народе, звучащая в каждом трибунном выступлении, наконец-то реализовалась в конкретном предложении: за счет повышения цен государство изымает из доходов населения 190 миллиардов рублей, возвращает в виде компенсации 130 миллиардов, остальные оставляет в казне. Вот, оказывается, как легко и непринужденно можно отыскать те самые 60 миллиардов для выполнения своего обещания по сокращению дефицита бюджета. К слову о банкротстве казны: это бесспорное приобретение минувших перестроечных лет, так как в 1970—85 годах ее дефицит составлял всего 20 миллиардов, а к 1989 году он вырос до 120 миллиардов! «Так вот — платите сами!» — бросает на верх бескомпромиссный Юрий Черниченко.

Социалистический плюрализм не дал возможности телезрителям познакомиться с альтернативными программами по переходу к рынку, а они были, мы узнаем об этом из таких независимых изданий, как «Коммерсант», например: оказывается, была своя программа и у члена Президентского Совета академика Станислава Шаталина, и у помощника Президента по экономическим вопросам члена-корреспондента Николая Петракова, и у доктора экономических наук Геннадия Фильшина. Остается только

гадать, почему идеи крупных специалистов по рынку, если уже действительно правительство решилось идти к рынку, проигнорированы или искажены, почему их усилия разрознены, когда речь идет не просто о будущем страны, а буквально о ее выживании, о выводе ее из «аппендикса» цивилизации. Чем руководствовалось правительство? Страхом перед консерваторами? Так они и на большом партийном съезде не переставали талдычить об опасности «реставрации капитализма». Вот уж поистине люди, не знающие сомнений, в то время как вся замороженная идеями коммунистического счастья страна не знает, куда и к кому нести свои вопиющие вопросы недоумения, негодования, возмущения. Кто-то из ранжированных умников предложил вынести правительственный проект на всенародное обсуждение, пусть-де народ оценит нашу мудрость. На что очень резонно парировал Николай Петраков в «Аргументах и фактах»: «Я удивляюсь смелости правительства. Если с помощью референдума выяснять, надо ли повышать цены, то и без него вам в любой стране мира скажут, что не надо. Если же на референдум выносить вопрос — переходить к рынку или нет, то нельзя спрашивать людей о том, чего они не знают».

Итак, рассчитывать на поддержку народа, не знающего, что такое рынок, не приходится; консерваторы рынок категорически отвергают, так как он противоречит идеям «социалистического выбора»; центристы принимают рынок, но в усеченном, регулируемом государством виде; остаются одни левые радикалы, но их пока меньшинство. Кто же будет принимать программу радикальных преобразований в стране, если вдруг она появится? Такая грубая прикидка расстановки сил наводит на следующее размышление: а нужно ли участие такого принципиально важного для жизни страны вопроса решать большинством голосов, то есть голосами консерваторов? Или будем голосовать до тех пор, пока они не «полевеют»? А за это время в стране могут произойти такие события, что уже ни о какой рыночной экономике говорить не придется, речь тогда нужно будет вести о другом... Давайте вспомним, как была принята бесславная программа ускорения — безо всякого парламента, без референдума. Но провалилась-то она совсем не по этой причине, а по причине своей беспочвенности, некомпетентности, оторванности от реальной жизни и ее проблем. Да и много других примеров можно вспомнить. И нынешний шаг в сторону демократизации власти посредством учреждения парламента не есть ли попытка уйти от персональной ответственности за принимаемые решения? Ведь в конечном-то счете нынешний парламент принимает в большинстве случаев навязываемые правительством правила игры. И пока что он демонстрирует преимущественно послушание, нежели самостоятельность. Но зато теперь весь груз ответственности за неудачи перестройки может лечь на парламент: вот принимали, демократическим путем, голосовали, со своих депутатов и спрашивайте. Союзный парламент увяз в частных вопросах, мучительно принимаются законы, которые не работают, а жизнь за стенами Кремля идет по своим законам, бурлит и пенится, грозит в любой момент взорваться от перегрева.

— Как Вы полагаете, по какому варианту могут пойти события в стране? По польскому, румынскому? — Вопрос Василию Селюнину.

— Наша ситуация скорее всего напоминает польскую. Но о польском бескровном варианте нам бы помечтать... Польское правительство имеет национальное доверие. Будь там прежняя власть, да при их инфляции, страна не вышла бы из забастовок.

Что изменилось в жизни людей к лучшему за более чем годовой период работы Союзного Верховного Совета? Программа, принятая на второй сессии по спасению отечества, провалилась. Академик Л. Абалкин согласился, что к рынку теперь придется переходить не после его стабилизации в результате чрезвычайных мер, как это предполагалось ранее, а использовать сам переход к рынку как средство стабилизации. Но тогда, говорит он, придется населению пострадать больше... Больше, чем когда? Больше, чем если бы сразу? Так что, дорогие сограждане, готовьтесь из своих тощих кошельков расплачиваться и за почившую программу ускорения, и за вырубленные виноградники, и за программу чрезвычайных мер, и за промедление с радикализацией экономики, и за тех своих депутатов в парламенте, и за тех своих делегатов на партийном съезде, которые тормозят оздоровление страны. Правда, вас-то, может, и не спросили, кого бы вы хотели послать в Москву, но уж во всяком случае могли бы и поинтересоваться, кто будет представлять ваши интересы, и воспрепятствовать «назначению» своих представителей. Так что будем расплачиваться и за свою покладистость, и за покорность, и за молчание, и за трусость. Вы же слышали! Придется платить больше... Но какое незугитское хладнокровие! И — бесстрашие! Слово не о миллионах людей, разочарованных перестройкой, заблудившихся в поисках виноватых, идет речь. А ведь эти миллионы, будь правительство порешительней, могли бы уже как минимум три года работать на перестройку с воодушевлением и интересом, если бы тогда, в 1987 году, не на словах, а на деле была представлена реальная полноценная самостоятельность предпринятиям, подкрепленная соответствующими законами. Работали бы, насыщали рынок, распоряжались своими прибылями, а на заглядывали бы в соседнюю миску, не рвали бы на части последнюю лепешку, не возводили бы заборы

между республиками, а, наоборот, стремились бы к широкому развитию сотрудничества с соседними республиками. А подброшенная кем-то идея регионального хозрасчета как раз и поспособствовала возведению этих самых заборов, разжиганию национально-эгоизма.

Вот несколько высказываний по поводу этой идеи.

Альберт Рывкин, кандидат экономических наук:

— Народное хозяйство по своей сути недробимо, поэтому любая попытка поставить еще один забор к уже имеющимся (отраслевым, ведомственным, республиканским и пр.) ведет только к осложнению и без того сложной обстановки в стране. Это приводит к новым абсурдным формам поведения. Это путь к сепаратизму, а нам только этого и не хватало. Хотя нет, сепаратизм мы, оказываемся, всячески поддерживаем, мы его стимулируем, ведь он очень хорошо играет на руку нашей широкомасштабной мафии.

Татьяна Корягина, доктор экономических наук:

— Идея регионального хозрасчета, к сожалению, замешана на национальной основе. Она только обострит отношения в стране. Вместо того, чтобы вместе идти к рынку, мы региональным хозрасчетом разъединим народы.

Выход из того социализма, который мы построили, — проблема глобальная, фундаментальная, говоря научным языком, и я боюсь, что, принимая в расчет чисто теоретическую полезность регионального хозрасчета в рамках совершенствования хозмеханизма, мы можем посчитать этот путь магистральным. На самом же деле никакой он ни магистральный, а тупиковый. Больше того, он может привести к серьезнейшим осложнениям на национальной почве: жиденькое одеяло, которое каждый хочет тянуть к себе, просто не выдержит. Сегодня в обращении ходят пустые рубли, ничем не обеспеченные, и в этой ситуации возникла и расширяется тенденция к автономизации каждой республики — в одиночку-де легче выжить. Но, повторяю, ничего хорошего из этого не выйдет.

Марат Ахунди, кандидат экономических наук:

— Говоря о хозрасчете, я признаю его целесообразность не для республик, а для территорий, а под последними подразумеваю фактически сложившиеся у нас экономические зоны. Управлять территорией — это право управлять ее ресурсами, в смысле контроля за рациональным их использованием, управлять будущим — с помощью налогов. Но — не право собственности на все, что имеется на этой территории. Все это принадлежит предприятиям, людям, которые на них работают. Вот говорят «сильные республики». Я против этого. Сильные штаты — это было бы точнее. И нельзя допускать больших расхождений в союзном и республиканских законодательствах по части предоставления республикам самостоятельности. Тогда вместо давящего центра можем получить еще более чудовищное давление местных — республиканских правителей и чиновников. Получим югославский феномен. Я против регионального хозрасчета.

Василий Селюнин, публицист, кандидат экономических наук:

— Не надо делить, спорить, ссориться — где чье предприятие — союзное ли, республиканское, зачем такие пирамиды собственности строить? Вопрос ведь предельно ясный: предприятия принадлежат тем, кто на них работает.

А теперь вы мне скажите: кого хочет правительство объединить своими пирамидами? Оно даже коммунистов-то объединить не может своей программой, а мы хотим объединить народы. Великим объединителем народов во все времена был и будет рынок. Общий рынок. И нечего тут огород городить. Но — все упирается в вопрос собственности. Это принципиальнейший вопрос реформы, и разве можно решать его большинством голосов? Второй стержневой вопрос в правительственном проекте — недопущение эксплуатации. Ну сколько же можно жить с закрытыми глазами? Да не было во все века

во всем мире большего эксплуататора, чем наше государство. Ведь уже и школьнику ясно, что труд в нашей стране рабский, принудительный. И если работник решил продать свою рабочую силу кооператору или фермеру — все, наемный труд.

Если мы проводим экономическую реформу и даем предприятиям полную самостоятельность — они сами налаживают свои хозяйственные связи, выгодно торгуют и выгодно продают произведенное вне зависимости от административных и прочих перегородок. Неужели не понятно, что это и есть верный путь для примирения всех республик, только так можно погасить имеющиеся конфликты. Но если уж кому-то, несмотря ни на что, захочется отделиться, пусть отделяется. Мне показались любопытными рассуждения Гавриила Попова. Он предлагал определить какой-то срок, предположим 2000 год, и пусть республики, желающие выйти из федерации, к этому готовятся. Налаживают свои хозяйственные связи, надстраивают недостающие технологические цепочки. Пусть готовятся жить одни, без надежд на дотации. Пусть занимаются делом, а не враждуют... Если они хотят, чтобы уезжали русские, надо русским предоставить такую возможность, помочь обзавестись жильем на новом месте — ведь квартиры-то свои и рабочие места они оставляют республике...

И давайте четко определимся, что остается за Союзом, что за республиками. За Союзом надо оставить только армию, ну, может быть, еще часть иностранных дел. И все! Остальное пусть республика решает самостоятельно. Но возникает вопрос: кому в республиках отдавать эту самую самостоятельность? Местным чиновникам? Тогда будет еще хуже, чем было. Всю экономику, все хозяйственные права надо отдать товаропроизводителям: единоличникам, кооператорам, акционерам. Госпредприятий должен быть самый минимум или не должно быть вообще. И — дать производителям полную свободу действий: где хотите продавайте, что хотите и где хотите покупайте. Хотите, налаживайте связи с Англией, с Японией, в таких случаях действует одно железное правило: покупать, где дешевле, продавать, где дороже. И тогда может выясниться, что той же Прибалтике выгоднее покупать нефть у сибиряков и там же, в Сибири, продавать сливочное масло, в Европе-то свое девать некуда. А управлять производством товаров только с помощью налогов, как во всем мире делается. Сколько республике отдавать в бюджет страны? Я думаю, не больше 20 процентов. Вот на все остальные 80 процентов стройте дороги, улучшайте условия жизни своего населения, развивайте инфраструктуру. Тогда каждая республика будет тратить только свои деньги и тратить разумно — ведь налогоплательщик будет контролировать расходы бюджета. Я только за такой хозяйственный расчет.

Сколько уже шансов упущено, сколько времени бездарно перемолото в дискуссиях, сколько бед прибыло за это время на нашу землю! И какую еще цену потребует правительство от своего народа для защиты «социалистического выбора»? Ведь именно этот выбор не позволяет говорить четко и недвусмысленно: ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, НАЕМНЫЙ ТРУД. Без них невозможно вхождение в рынок, в рыночные отношения, об этом твердят все понимающие люди. Выбор-то сделан, но вот к какому финишу он приведет, на это социалистическая теория ответа сегодня не дает, как мы убеждаемся. Да и прежде она утверждалась исключительно за счет того, что нещадно критиковала капитализм — за эксплуататорскую сущность и несправедливость и звала от этого мрака в загоризонтное счастье, что вполне совпадало с общечеловеческими устремлениями всего мирового сообщества. Каким надо быть фанатиком от веры, чтобы и сегодня продолжать верить в торжество марксистской теории и объяснять горькие ее плоды лишь сталинскими и сталинистскими извращениями. Но сталинизм — «всего лишь плата за экономический утопизм марксизма, за стремление отвлечься от соображений выгоды, предпринимательского интереса как главного стимула развития производства, главного условия инициативы, хозяйственной активности». (Александр Ципко, доктор философских наук, журнал «Родина», № 2—3, «Новый мир», № 4, 1990 г.).

Читайте доктора Ципко, там вы найдете ответ на мучительные свои вопросы. И хочется спросить тех, кто яростно держится сегодня за знамя марксизма: читали ли вы? Да и так ли уж верите той своей религии, да знаете ли вы истинный научный марксизм? Думаю, что в большинстве случаев ответ один: нет, нет, и нет! Потому сомневаться фактически не в чем. Но с верой удобней: поддерживает форму, жизнь обретает смысл. Взошел пару раз на трибуну в гордом венце несокрушимого борца за торжество социалистического идеала и — обеспечил себе безбедную старость. Так что верить — оно еще и практично.

Не знаю, какая трагедия еще нужна нашим ортодоксам, чтобы они в ужасе схватились за головы, осознали наконец, что это их прямая вина, и принесли покаяние своему

народу, добровольно отказались от насиженного места диспетчеров распределения у государственного котла. И помогли бы жизни войти в естественное русло, вернее, не мешали бы этому.

Надо, наконец, определиться — что нам спасать: идею или отечество? Защищать «социалистический выбор» или без оглядки на разные «измы» строить нормальную, естественную экономику.

Но социальные и политические доктрины продолжают править бал.

... Я очень хотела бы уважать зачинателей перестройки в стране. Я бы очень хотела верить им до конца, и в каждом их слове, в каждом шаге распознавать мудрость политиков, последовательно и настойчиво, вопреки всему, идущих к выбранной цели и мостящих из своих, пусть и небольших, незаметных с виду шажков уверенную дорогу в будущее.

Но я не могу их уважать. За многое!

Во-первых: объявить революционную перестройку, тем самым взложить на себя не только непостижимо тяжелую ответственность, но и наши истерзанные надежды — и не знать ясной дороги?! И — средств достижения поставленной цели?! Это похоже на политический авантюризм.

Во-вторых: по признаниям лидеров перестройки, трудности на их пути оказались непредвиденными. Значит, взявшись за преобразование жизни, они не знали ее...

В-третьих: затеявая всякое новое дело, видимо, надо отчетливо представлять, на кого ты будешь опираться. Оттолкнув радикализм левых, а в конечном итоге они оказываются ближе к истине, чем правые, М. С. Горбачев не получил безоговорочной поддержки справа, для них он слишком радикален. И ждать Президенту пощады с этой стороны не придется, скорее за него вступится левое крыло, потому что здесь больше о судьбе отечества пекутся, а справа — исключительно о себе, о своих привилегиях и сохранении своего неколебимого положения.

В-четвертых: в конце концов реформаторы признали необходимость перевода хозяйства страны на рыночные отношения — жизнь заставила. Но если при этом неустанно декларировать свое неприятие частной собственности, то вряд ли из нашего рынка что-либо выйдет, не получится и богатство обрести, и невинность соблюсти...

В-пятых, в шестых... Можно продолжить.

Мои оппоненты, в том числе и мой внутренний, пытаются меня убедить, что в имеющихся обстоятельствах, учитывая опыт смещения Хрущева, имея по преимуществу консервативный состав ЦК и Политбюро, реформаторы не могли повести себя иначе. Не позволили бы! Но! Действуй реформаторы последовательно и решительно, они могли бы получить мощную поддержку народа, народ сегодня не позволит расправиться с теми, кому он доверяет, кто — за него. Пример тому — Борис Николаевич Ельцин. Каких только попыток не предпринималось, чтобы очернить его, не без участия того же Политбюро, и ведь ничего к Ельцину не пристало, а каждая очередная попытка уронить его в глазах народа вызывала только обратную реакцию. Секрет такой популярности, на мой взгляд, в том, что Ельцин сделал свой выбор — кого спасать: партию или отечество. В контексте нынешних реалий это не одно и то же. И когда нам постоянно твердят о том, что партия объявила перестройку и это надо понимать как оправдание всех ее минувших грехов, мое возмущенное сознание подбрасывает «каверзную» мысль: а разве был у партии иной выход, ведь запущенную болезнь страны скрыть было уже невозможно, никакие даже самые свирепые запреты на информацию не помогли, сама жизнь давала фактический материал для размышлений — как мы все лучше и лучше... Объявлена перестройка была и потому, что она давала возможность еще какое-то время подержать народ в терпении, в ожидании перемен, а там, глядишь, и что-нибудь придумаем, что-нибудь изменим. Не в этом ли кроется ответ на вопрос: почему у реформаторов не оказалось продуманной последовательной программы, и пять лет потрачены на шараханья из стороны в сторону. Фактически, на сколь-нибудь заметные действия реформаторов подталкивало резкое сопротивление их декларативным установкам со стороны демократических радикалов. Да даже одно присутствие Сахарова на съезде, на сессиях заставляло их с этим фактом, хоть и раздраженно, но считаться, дабы не спровоцировать очередной его выход к трибуне, его тихое, но упорное, несгибаемое противостояние. Сахарова нет, но его упорство, его идеи подхвачены, и тех, кто противостоит, становится все больше с каждым днем. Так не они ли в конечном-то итоге двигают процесс реальных изменений? Достаточно вспомнить хотя бы, в каких обстоятельствах отменена была 6 статья Конституции. И с какого времени Горбачев начал говорить о многопартийности в стране, а до того все те, кто заявлял о своем несогласии с лозунгами правящей партии, объявлялись политическими демагогами, рвущимися к власти. Разве этого не было? И не от радикалов ли пошли идеи суверенитета, президентской власти, нового Союзного договора?!

Сомнения в обществе нарастают. Их укрепляет открывшаяся ныне возможность читать историю страны не только по Краткому курсу ВКП(б). (И за это я не могу благо-

дарить партию: вспомните, каким нападкам со стороны партийных функционеров подвергалась и подвергается до сих пор пресса, имеющая самостоятельную, независимую позицию). И сегодня мы воспринимаем слова крупнейших экономистов начала века, бесславно сгинувших в лихолетье, как трагические пророчества. «Стремясь преодолеть «анархию» капиталистического производства, социализм может ввергнуть народное хозяйство в суперанархию, по сравнению с которой капиталистическое государство является собой картину величайшей гармонии». Б. Д. Бруцкус. Это он посмел обвинить советское руководство за массовый голод в стране в 1921 году, за что и был арестован и выслан в Германию. У него, у других думающих людей того времени, с болью и содроганием наблюдавших за безумным экспериментом в родной стране, увы, из эмиграции, оставалась только одна надежда: с годами ошибочность курса будет все более отчетливо проявляться, и люди откажутся от него в конце концов. И в момент великого торжества коммунистических настроений Бруцкус смел утверждать, что экономическая проблема марксистского социализма неразрешима, что гибель нашего социализма неизбежна и даже намечал переходные шаги для поворота к капиталистическому строю, которые, кстати, были частично осуществлены при нэпе.

Да, расстановка сил меняется. Все заметнее нападки на Президента справа, что, на мой взгляд, свидетельствует о начинающейся панике в рядах правых. Сегодня они вновь прибегают к испытанному приему: использовать в своих политических играх рабочий класс — это особо заметно было и на Российском съезде и на XXVIII съезде КПСС.

Но отстают аппаратчики от жизни, отстают. Вот уже и рабочий класс сопротивляется приручению, непослушание высказывает. И как не порадоваться этому обстоятельству: кажется, наступает тот долгожданный момент, когда перестройка подхватывается снизу. Наверное, на нее и можно сегодня надеяться, сверху, похоже, ожидать реальных перемен долго придется. Вспомним съезд шахтеров в Донецке, их июльскую забастовку. Да, именно шахтеры первыми в стране выступили с грамотными экономическими требованиями, переросшими затем в требования политические. Они достойно вышли из забастовки прошлым летом, но из собственного опыта поняли, что борьба только начинается, и потому выдержки терять нельзя. Их пытались скомпрометировать перед общественностью страны, что, мол, экономику разрушают, что хотят урвать у других кусок мяса, да все это были злые наговоры. Селюнин рассказывал, он только что вернулся из Воркуты и Кузбасса: в Кузбассе к шахтерам хотели присоединиться все рабочие, металлурги. Шахтеры сказали — нет! Мы и ваши права будем отстаивать, работайте. Жесткий человек Селюнин со слезами на глазах рассказывал, как шахтеры от своей проходной несли в полиэтиленовых кульках сгущенку, единственное, что они согласились «урвать» у других. С воодушевлением говорил Селюнин о шахтерах. По его словам, у него появилась надежда на рабочий класс как на реальную силу пробудившуюся для истинного обновления страны. В чем он усмотрел тогда, зимой прошлого года, надежду? А в том, что рабочий класс осознал необходимость сближения с интеллигенцией — для совместной борьбы с застоем, стагнацией, за свободный, ненасильственный труд, за нормальную человеческую жизнь. В воссоединении прогрессивной идеи с рабочим классом. И не случайно, видимо, в это время предпринимаются попытки противопоставить интеллигенцию народу, раздаются требования об ограждении партии от интеллектуалов (!!). Да и пример Польши подогревал возникающие опасения: когда в Польше здравомыслящая интеллигенция объединилась с рабочим классом, сила возникла необоримая. Ну а на шахтеров, понятно, ярлыки начали навешивать, типичные, какими наделяют всех, кто усомнился в правильности стратегии правящей партии: «рвутся к власти». Да, они борются за власть — но для того, чтобы защитить человека от государства-монстра. Да, они против рынка, который предлагает правительство, они — за свободный рынок, который один способен отрегулировать нашу экономику. Первый съезд шахтеров в стране показал, куда движется наиболее организованный рабочий класс. Съезд был проведен в ответ на попытку «стравить» накопившийся пар через съезд профсоюзов угольщиков, только шахтеры быстро распознали этот замысел...

Французский художник Жан Тэнгли, недавно побывавший в Москве со своими картинами, так высказался о двух социально-политических формациях: капитализм, сказал, несправедливый, но рентабельный, а социализм — несправедливый, но нерентабельный. По-моему, блестящее определение. И предельно точное. По крайней мере, нашему — реальному социализму. Мы знаем, для кого он оказался рентабельным. И как живут рабочие при капитализме, тоже некоторое представление имеем: хоть и не бывали там, но газеты читаем, телевизор смотрим.

— Помните, как у Маркса? Капиталист сторговался с рабочим, купил этот товар по устроившей обе стороны цене. Они — и тот, и другой, в равном положении: один продал, другой купил. Дальше Маркс пишет, что вот идут они с этого рынка, капиталист впереди, довольно потирая руки, как человек, только что выгодно совершивший сделку, а сзади понуро плетется рабочий, как человек, только что продавший свою душу, и теперь будет шкуру его дубить нещадно. Спрашиваю я у такого рабочего: а зачем тебе две ванны? Как зачем — отвечает. У меня жена есть, не могу же я ей мешать. Тот рабочий волен продавать свои рабочие руки тому, кому он сочтет выгодным для себя. Но положение коренным образом меняется, когда государство забирает в свои руки все производительные силы, в том числе и рабочие руки. И, как всякий монополист, назначает цены на товар: расценки, оклады, тарифы. И недопущение той самой эксплуатации у нас сводится к недопущению продажи рабочей силы на сторону, то есть никому другому, кроме государства.

Робкие ростки реформы привели к тому, что у государства появился конкурент. Сидит неподалеку кооператор и набивает цену на важный товар. Из сводки за 11 месяцев прошлого года видно, что средний заработок по народному хозяйству страны 240 рублей, по кооперативам — 500. Кооператор перехватывает специалистов по более высокой цене. Потерпит такое государство?! Вот и взвыли начальники в голос. А тут и народ подсобил, — кооператоры много получают. Только все не так. Это рабочие мало получают! Их зарплата составляет 37 процентов от вновь созданной стоимости, все остальное — в накопление государству. (А что мы накопили, тоже известно.) В развитых странах эта доля не меньше 60—80 процентов. Правда, я не очень-то большую иллюзию питаю относительно кооперативной собственности, она хуже акционерной, частной. У Павла Бунича хороший план — через аренду предприятий перейти к акционерной собственности. Только, на мой взгляд, он не договаривает до конца. Вот когда после выплаты арендной платы и полной замены оборудования, купленного за счет средств рабочих, предприятие целиком к ним отойдет, должна быть свободная продажа акций. Чтобы был перелив капитала. Это основа основ рыночной экономики.

... Товарное производство поддавливает, где наметился неудовлетворенный спрос, и туда устремляет свой капитал. И заполняет обнаружившуюся брешь — к восторгу потребителя! А как он поддавливает? Через цену акции. Допустим, два разных предприятия выпустили одинаковые акции по тысяче долларов. Я могу сегодня купить любую, без разницы. Но завтра, когда начнется выплата денег по акциям, окажется, что у одного предприятия акция принесла доход 20 процентов, у другого — 10. Сколько теперь будет стоить первая акция? В два раза дороже, потому что предприятие произвело очень нужную продукцию, и покупатель его выделил.

Я был в ФРГ и поинтересовался, что такое фондовая биржа. Побывал на одной из них в Штутгарте. Там работают десятки маклеров. У каждого свой столик, вроде трибуны, они время от времени объявляют, что хотели бы купить. Тогда как раз всемирно известная фирма «Мерседес» оказалась на грани разорения, и потому ее акции упали в цене. Эту фирму японцы подкузьмили — выбросили на рынок машины с катализаторами, да и другие льготы дали: два года гарантии, уход бесплатный — в ФРГ дорого стоит машину содержать, и на 10 процентов снизили цену на машины. Они и завладели мировым рынком, а «Мерседес» лишился сбыта.

Дела на бирже бойко идут, в считанные минуты великие сделки совершаются, огромные богатства переливаются в перспективные отрасли. Почему японские акции пошли вверх? Да потому, что сегодня рынок требует машины с катализаторами, без них владельцы машин облагаются большими налогами. Вот и стимул к научно-техническому прогрессу. И он, оказываясь, тоже упирается в собственность.

... Нормальная экономика немыслима без единой деньги как эквивалента обмена. Вот вам для наглядности. Кузбасс продает уголь Японии по 75 долларов за тонну, а внутренняя цена угля, на которой сговорились шахтеры в результате забастовки, — 29 рублей. До этого-то уголь и вовсе ничего не стоил — 12 рублей. Так вот, если считать, что 29 рублей равны 74 долларам, то стоимость одного рубля, заключенного в угле, 2,5 доллара! А что стоит рубль, заключенный, скажем, в потребительских товарах? Будучи в ФРГ, я сходил к меняле, поинтересовался, берут ли наши рубли? Берут. По 11 пфеннигов и по 6 центов. Обидно, горько до слез: за фунт рублей — один доллар! Но кто покупает пфенниги, доллары, марки? Тот, кто хочет приобрести колготки,

видеотехнику, магитофоны, — то, чего у нас нет. И вот получается, что рубль в потребительских товарах стоит 6 центов, а заключенный в угле — 2,5 доллара. Так сколько же, в конце концов, стоит рубль? Может ли дальше так жить наша экономика? Можно, конечно, просчитать усредненный рубль: скажем, американцы охотно платили бы нам доллар за рубль. Но что они от нас повезут? Не потребительские же товары, и не технику нашу. Они повезут сырье, энергоносители. Но ведь так можно всю страну окончательно разорить. Стимул к тому появляется огромный. Давайте встанем на позицию той же Воргашерской шахты в Воркуте, в результате забастовки она добилась права продавать за границу 200 тысяч тонн угля из шести миллионов тонн по 33 доллара за тонну. Так эти 200 тысяч тонн дадут шахтерам несравненно больше реальных благ, чем остальные миллионы тонн. Можно, конечно, цены на уголь поднять в стране, но что от того изменится? Наторговали шахтеры мешок денег, решили купить новое оборудование, расширить производство. Но ведь ничего же под эти деньги нет. Они пустые. Можно увеличить зарплату шахтерам, но что они на нее купят? По какой бы цене, даже самой бросовой, ни продавали они уголь за границу, все равно это выгодней, чем продавать в своем государстве, пусть и по высоким ценам. Получается так, что вот добились предприятия лицензии на продажу сырья за границу, и началось самое настоящее разорение страны. Ну это же невыдуманная история с рыбой — как продали 400 тысяч тонн ценной рыбы за рубеж, продали за колготки, а государство покупает такую же рыбу, которой так не хватает в стране, за валюту. Металлолом — хоть за 10 долларов, да продать, потому что на них можно приобрести реальные товары. Все правильно, внешний рынок искать надо, надо торговать, но в этой нашей нетоварной экономике за какую бы ниточку ни потянул, все оказывается разорительным для государства.

Я вставила в материал лишь небольшие кусочки из многочасовой беседы с Василием Селюниным, которая состоялась в Москве в декабре прошлого года. Мы встретились в тот день, когда в последний раз на трибуну съезда народных депутатов страны вышел академик Сахаров с тем, чтобы предложить свой проект Конституции. Но председательствующий, как это было и прежде, грубо оборвал его. На следующий день в кресле, где еще вчера сидел Сахаров, лежали красные гвоздики, и часть зала в момент печального сообщения даже не сумела сдержать вздоха облегчения... Съезд начал «править» на глазах.

... Говорили о Сахарове. Потом об Абалкине, в то время прошел по Москве слух, что он подал в отставку. «Это лучшее, что он мог сделать», — ответил Селюнин. Но слух не подтвердился.

Многое из того, что было тогда говорено, устарело, ведь время наше небывало быстротечно и так насыщено событиями, что их хватило бы при прежнем нашем застойном движении на добрый десяток лет. Но все эти события никому пока не прибавили ни здоровья, ни оптимизма. Тревога за судьбу страны усилилась.

Папка моя с газетными вырезками о рынке, о рыночной экономике разбухает с каждым днем. Уже высказаны в печати все разумные доводы, обсуждены имеющиеся и грядущие трудности — и не какими-то дилетантами, а нашими умными, грамотными специалистами и зарубежными матерыми рыночниками, включая лауреатов Нобелевской премии. Да вроде и обсуждать так долго нет причин, ведь эта система давным-давно обкатана в мире до мельчайших подробностей, и сама жизнь убедительно доказала, чего она стоит. А мы все еще дрожим от страха, изобретаем какие-то модели, которые, конечно же, не работают, но зато СВОИ, зато не как «у них», зато не отступаем от социализма. Все еще не хотим понять, что экономические законы не признают никаких «измов», они естественны, как сама жизнь. В мире существует только одна экономика — НОРМАЛЬНАЯ! Мой брат, простой рабочий, так понимает ее закон: сшил сапог, продал — купи хлеб. Нет покупателей — сиди голодный или ищи новое ремесло.

Понятно, что в ситуации, когда союзное правительство запаздывает с реформой, республики, под давлением своих внутренних проблем, пытаются искать свои выходы из кризиса, разрабатывают свои модели, более или менее радикальные, в зависимости от того, кто оказался у власти, какие силы разбужены. Литва, Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия... Россия. Может быть, ей удастся первой выйти из прорыва и взаимовыгодными, справедливыми узами соединить рассыпающийся союз, в очередной раз — теперь уже на новом историческом витке — исполнить свою мессianскую роль. Может быть, ей удастся подняться, возродиться и своим примером осветить путь другим. Дай-то бог!

Похоже, что и Узбекистан торит свой путь. Честно сказать, боюсь ошибиться в его оценке: то, что появляется в местной прессе, не дает объемного представления, дебаты в Верховном Совете республики ведутся на языке коренного народа, так что не всем понятна их суть, а то, что происходит в «президентском дворце» — и вовсе тайна за семью замками. Но по отдельным «всполохам» можно догадаться, что до демократического устройства жизни — истинного, а не формального — здесь далеко, как до луны, на первом месте суверенитет, а потом уже все остальное, правда, что именно — тоже под вопросом. И в чьих интересах будет использован суверенитет? Здесь я разделяю опасения М. Ахунди и В. Селюнина: как бы вместо давящего центра не получить еще более жесткое давление местного аппарата управления. Кому реально будет предоставлена самостоятельность? В республике создаются новые ведомственные структуры, в частности в газетах опубликовано сообщение об учреждении Госкомитета по внешним связям Узбекистана, и сразу же возникает вопрос: будут ли его функции заключаться в оказании помощи производителям в налаживании их контактов с внешним миром, или же все каналы выхода республики на внешний рынок будут сконцентрированы в одних — ведомственных руках? Ответ на этот вопрос принципиально важен, ведь именно в нем заключена стержневая истина новых экономических отношений: кто есть реальный хозяин в республике?

В Узбекистане все очевиднее обозначается крен в сторону укрепления монопольной власти в одних руках, а вновь избранный Верховный Совет фактически является придатком верховной партийной власти. Сдержанное же отношение к демократизации общественной жизни нам объясняют спецификой Востока, для него демократия как бы противопоказана, хотя из истории известно, что еще задолго до февральской революции в России здесь имели широкое хождение и довольно грамотно развивались демократические идеи. Правда, джаиды, носители этих идей, плохо кончили, обвиненные в национализме.

В перестроечные годы забурлила интеллигенция, студенческая молодежь. Самые заметные движения — «Бирлик», «Эрк», собравшие под свои знамена несколько тысяч человек, в основном коренной национальности, «Интерсоюз», объединяющий в основном русскоязычное население. Есть еще десятки других неформальных организаций, но к чему они зовут, что исповедуют, можно судить только по слухам, из коих следует, что все они озабочены поиском виноватых. Не вдаваясь в подробную характеристику «заметных» движений, скажу лишь, что пока серьезной угрозы для правящей партии они не представляют, для их приручения используются то «кнут», то «пряник», правительство проявляет достаточную гибкость по отношению к ним, и лозунги, которые еще вчера поднимали «Бирлик» и «Эрк», будоража общественность, вскоре оказываются в той или иной форме включенными в правительственную программу и выдаются как собственные прозрения. Так было с Законом о государственном языке, с Законом о суверенитете... Еще один пример: неформальные движения всего среднеазиатского региона оказались единодушными в требовании по созданию единого Туркестана. Мне трудно судить об истинном содержании этого требования, но в любом случае из него можно вычленил и рациональное соображение: не враждовать из-за земли и воды, а общими усилиями улучшать жизнь в регионе — на основе исторической, этнической, культурной общности, на основе единых природных ресурсов, при наличии общих проблем. Эта мысль и была положена в основу встречи правительств всех республик региона, где был заключен договор о деловом сотрудничестве. Конечно, трудно даже допустить предположение, что правительство республики тесно сотрудничает с «неформалами» по крайней мере, в период выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета республики новоявленных демократов удалось, хоть и не без труда, «обезвредить», и лишь «Эрк», выступающий «за демократические преобразования в республике и за решение вопроса о выходе Узбекистана из состава СССР путем всенародного референдума» получил несколько мест в парламенте, но ведь диалог, как показывают приведенные примеры, имеет место. Есть над чем подумать... Что стоит за этим чутким улавливанием тонуса общественной активности? Инстинктивный страх утратить свое влияние на массы? Политическая мудрость? Или — точный расчет? Время покажет...

Но при всем при этом не улучшается самочувствие русскоязычного населения в республике. Уже сказано категорическое «Нет!» двуязычию, меняются вывески на домах и улицах, магазинах и гостиницах, на что расходуются миллионы рублей из небогатой казны Узбекистана. Конечно, это нетерпеливое желание обрести национальное самоуважение понять можно и поддержать надо, если бы при этом восхождении к гордости национального духа не ущемлялась гордость других народов, если бы не множилось факты так называемого бытового национализма: открытая недоброжелательность на улицах, в транспорте, в магазинах, в смешанных производственных коллективах. Такая атмосфера не располагает к братской любви, а принуждает думать совсем о другом, в том числе и о переезде. У кого было куда уехать, уехали, оставшиеся терзаются сомнениями и — надеждами. Мало оптимизма вселяют произноси-

мые вполне солидными людьми фразы великодушного утешения такого типа: «Русских мы трогать не будем... живите спокойно...» Что ж, спасибо, как говорится, на добром слове, но слышится мне в этих словах отнюдь не жгучая боль за Фергану и Андижан. Не раскаянье. А нечто совсем другое...

Правда, слова Президента республики, сказанные им с трибуны XXI съезда КП Узбекистана, произвели впечатление. Эти слова стоит привести здесь: «Лично я как коммунист готов заплатить любую цену за спокойствие людей в республике, за объединение всех здоровых сил во имя ее лучшего будущего». Что ж, хорманг! — не уставать Вам, да будут искренними Ваши слова!

В целом доклад ЦК КП Узбекистана на съезде нес в себе «определенный» перестроечный заряд. Но, если откровенно, озадачил по многим позициям, ну хотя бы вот по этим. Следственные группы из Прокуратуры СССР, работавшие в республике на протяжении нескольких лет, ничего иного не сделали, кроме как нанесли «оглушное, необоснованное оскорбление народу, которое было развернуто в средствах массовой информации», хотя все хорошо помнят, что в средствах массовой информации тщательно подчеркивалось, что **узбекский народ здесь не при чем**. Далее. Уже не только представители Джизака, родины Рашидова, сам ЦК поддерживает идею реабилитации Рашидова, хотя тут же по тексту следует: да, процветали показуха и рапортования, парадность и обман, протекционизм и интриги. «Но разве не было подобного в других республиках?» Сомнительное оправдание. Трудно не согласиться с докладчиком по поводу того, что на уважение народа «могут рассчитывать только те, кто честно, последовательно и мужественно говорит народу правду, берет всю полноту ответственности за его прошлое, настоящее и будущее...»

...Однако желание изменить жизнь просматривается. Ведутся разговоры о демократизации экономических отношений, то есть о раскрепощении производителей, о рыночных отношениях. И если воспринимать это всерьез, то, видимо, речь идет о партийно-административном внедрении рынка. Кто знает — вдруг да получится? Хотя как это — раскрепощение путем насилия? Это уже в нашей истории было. Единственный путь наделения людей экономической свободой — путь политический, путь избавления от догм идеологии, то есть избавления от принуждения. И можно ли обрести счастье быть хозяином в условиях полного бесправия? Когда правовые нормы блокируются в партийно-бюрократических коридорах? Так что монополярная партийная власть и экономическая свобода граждан вряд ли когда-нибудь совместятся.

А если не появится реальных экономических свобод, ничего в жизни не изменится. Нам надо хорошенько понять, что положение пенсионеров, детей, инвалидов, всех нас зависит исключительно от того, как мы будем работать. Сумеем ли возбудить к активному заинтересованному труду работоспособную часть населения. Главное сегодня — поддержать производителя. Если он не окрепнет, не наберет силу — ничего не изменится. А когда это станет возможным? Только при условии избавления его от государственной эксплуатации, от зависимости от властных структур. А это возможно только при обеспечении реального права собственности на средства производства. Ведь у собственника только одна забота — как сделать свое дело прибыльным, чтобы безбедно содержать свою семью. И когда у него своя собственность, он независим, он крепок, он уверен в завтрашнем дне, и ему совершенно неважно, какая власть на дворе. Он — независим! Ему не надо унижаться, стараться быть послушным властям, завоевывать их расположение, дабы не отняли последнего. Он не боится высказывать свою позицию в любом вопросе. Он — свободен! Когда человек имеет возможность делать свой выбор в сфере экономики, экономика обретает нравственное содержание. Не просто человек пришел на работу, чтобы выполнить за восемь часов какие-то операции, на место, кем-то заготовленное, операции, кем-то предписанные, порученные ему. Начинается труд творческий, человек постоянно думает, как ему организовать его лучше, эффективнее. И от этого выигрывают все остальные, таким образом мы и подходим к той гуманистической ценности, которую исповедует весь мир: если бизнесмен стал богатым человеком, значит, он представляет большую ценность для общества, он работает на потребителя, он думает о том, как обеспечить всех в разных точках, в разных районах. Это его забота, за нее он и получает вознаграждение.

Его труд направлен на потребителя изначально, и эта система работает автоматически, ее не надо искусственно стимулировать, не надо подталкивать правительственными решениями, указами, постановлениями... Потому что экономические законы строятся на том, что, работая на общество, товаропроизводитель работает на себя. Правда, здесь существует проблема увязки локальных — личных интересов и общенациональных. Ведь каким бы хорошим ни был товаропроизводитель, он все равно эгоист. И если он прорывается в монополю, то и не подумает о потребителе. Чтобы такого не случалось, принимаются специальные законы — о конкуренции, антитрестовские, антимонопольные законы. Для этого существуют специальные парламентские комиссии. Вся политика, все законодательство строится так, чтобы на рынке было

как можно больше конкурентов в производстве любого товара. Такой же принцип положен в основу и политической жизни. Потому-то такая экономика обязательно **должна дополняться плюрализмом в политической сфере.**

Конечно, не так просто воспитать предпринимателей, которые усвоят нормальную предпринимательскую культуру. Это же, в конечном итоге, и есть первый серьезный подготовительный шаг к экономике здравого смысла. К культуре экономических взаимоотношений. Ни одна серьезная компания в Штатах не станет наживаться за счет спекуляции, это участь аутсайдеров, которые, попавшись на спекуляции, становятся отверженными в мире деловых людей. Там ценится умение развернуть дело. Значит, надо этому учиться.

Казалось бы, в республике, где не утрачена любовь к земле, изменения жизни и надо начинать с земельной реформы. Да, закон о земле принят, но там нет ни слова о том, чтобы передать землю крестьянам в личное, долговременное пользование. Землю можно только арендовать, и уж ни в коем случае не передавать по наследству. Я не имею здесь в виду приусадебные участки. Не верю я в аренду как в единственно верный путь возрождения земли и жизни на ней. Аренда — это путь к еще большему истощению земли: арендатор будет выжимать из нее все соки, а о долговременном ее плодородии и не подумает. Сегодня он арендует здесь, завтра в другом месте. Это еще один шаг к хищническому использованию земли, которая исстрадалась без настоящего хозяина. При аренде крестьяне все равно остаются поденщиками, ведь их прибыль распределяет колхоз или совхоз.

Все аргументы в диалоге Черниченко — Лигачев и Стародубцев уже исчерпаны. Пока силовой перевес остается за вторыми. Но истина, я уверена, на стороне тех, кто с Черниченко. Убеждена, что это докажет в очередной раз сама жизнь. Но цена промедления будет велика, цена сохранения статус-кво.

В нашем журнале (№ 8—9), за этот год доктор исторических наук Александр Голованов добросовестно и беспристрастно проследил всю государственно-партийную линию по отношению к крестьянству в нашей стране, от 17 года и по сей день. Каких только постановлений не принималось, какие только меры не сочинялись для того, чтобы принудить землепашца быть хозяином на чужой земле! И ничего из этого не вышло. Можно быть хозяином только того, что тебе лично принадлежит.

Известно, что к 1930 году неколлективизированные дехканы Узбекистана с их примитивной техникой получали в среднем по 26—32 центнера с гектара хлопка. Сегодня при иной технической оснащенности, при наличии удобрений урожай хлопка остался на том же уровне. Какие еще нужны аргументы?!

История крестьянского вопроса убедительно доказывает только одно: крупные колхозы и совхозы, обладатели тысяч гектаров пашни, оказались наиболее пригодными для административно-командной системы. Все остальное в расчет не принималось.

В оправдание колхозно-совхозного строя приводится неопровержимый довод: как делить землю, ведь ее на всех не хватит. А при колхозах-совхозах хватает? Если и дальше государственное поле будет впитывать в себя, как в губку, избыточные рабочие руки, зажиточным нашему селу не стать никогда, да и республике тоже. Трудно поверить так же и в то, что колхозы-совхозы будут добровольно перерастать в кооперативы кооператоров. Не позволят те, кому застит свет экономическая свобода крестьян. Куда естественнее, логичнее и безболезненней путь от частной собственности к добровольным товариществам по совместной обработке земли, к кооперативам по обслуживанию нужд землепашца. А избыточные людские ресурсы очень быстро — при условии раскрепощения инициативы — могут найти точки приложения своих сил. Одних только строителей требуется сегодня не меньше 150 тысяч, как мне сообщили специалисты, тем более, если мы собираемся переходить на новые хозяйственные отношения. Сколько понадобится производственных площадей для малых предприятий, для ремесленных мастерских, для магазинов, цехов и фабрик народных промыслов... А сколько надо строить, особенно в селе, школ, больниц, поликлиник, клубов, хранилищ, стадионов... Ведь мы же собираемся жить лучше! Строительный материал в республике буквально под ногами. И жива до сих пор здесь традиция строить «хашаром» — чем не кооперативы, если их поставить на долговременную экономическую основу. Сумел же Китай за каких-то неполных десять лет оторвать от земли и занять иным, не менее полноценным трудом сотни миллионов (!) работников — и только за счет свободного предпринимательства, создания товариществ, кооперативов самого разного профиля и назначения. Сельские кооператоры начали производить такие объемы стройматериалов, что наступили на пятки городской промышленности. Однако опыт Китая и предупреждает. После невиданного доселе расцвета производительных сил начался спад. Почему? Одна из самых серьезных причин — запаздывание политической реформы, возврат к командно-административным методам управления, повторное обращение к трудам «великих» вождей. Предпримчивости и инициативе вновь противопоставляются послушание и исполнительность, кадровые работники

переключаются с пропаганды рыночных отношений на более привычную борьбу с «буржуазной либерализацией» и проведение «правильной классовой линии».

Как бы и нам не вырुлить на эту дорогу, правда, в отличие от Китая, так и не испытав хоть и короткого, но счастья свободного раскрепощенного труда. Ясно одно: сегодня нужно в республике создавать такие условия, чтобы предприниматель, кооператор, акционер стали уважаемыми людьми, а не гонимыми властями всех рангов, чтобы инициатива поощрялась, а не наказывалась, чтобы люди начали жить и работать так, как хочется им, а не чиновникам — начальникам, над ними стоящими.

Печально памятна в республике расправа с первыми ростками активной предпринимательской деятельности — закрытие кооперативов. Куда ушли эти 70 тысяч человек? Конечно же, они оказались почти насильно втиснутыми в русло теневой экономики, которая и без того нагуляла за годы великого разворовывания государственного добра жирное тело.

В печати приводятся такие данные: Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1989 года «Об упорядочении торгово-закупочной деятельности кооперативов и регулирования цен на товары (услуги), реализуемые кооперативами населению и организациям» обошло население страны в полтора миллиарда рублей и государству — в 340 миллионов. Куда пошел этот громадный капитал? На укрепление теневой экономики. Ведь основная масса продукции, которую закупали и реализовывали кооператоры, теперь реализуются по теневым каналам и по значительно более высоким ценам. И этот рост цен обойдется нашему покупателю примерно в полтора миллиарда рублей в квартал или от каждого покупателя потребуется дополнительных 75 рублей. И если работу кооперативов можно было регулировать с помощью налогов, извлекая средства для местных бюджетов, то теперь все эти денежки расходятся по карманам «неэтичных бизнесменов». И получается так, что от принятого постановления выиграла только мафия. По оценкам Т. И. Корягиной, теневой капитал составляет в стране до 250 миллиардов рублей. За эти деньги можно купить все имущество российских граждан. К тому же, теневая экономика, по убеждению Корягиной, наверняка не ограничивается рамками только нашего государства, советские деньги переводятся в конвертируемую валюту и весомыми кусками лежат в западных банках. И все это — далеко небезобидно. Развитие негативных процессов в стране может привести к политизации коррупции, грозные предвестники мы уже имеем в национальных республиках. Капитал накоплен, ему все равно, под какими лозунгами выступать: Долой ли бюрократов, или гони русских! И нынешние реалии устраивают как нельзя лучше теневых дельцов-миллионеров, в их интересах застabilизировать нестабильность в стране. И нет важнее сегодня задачи, как уберечь новую экономическую политику от затягивания ее в коррупционное русло.

Т. И. Корягина:

Теперь обладатели теневого капитала пытаются перейти на легальное существование. Как к этому относиться? Меня многие пытаются убедить, что эти хваткие расчетливые ребята могут быть полезны, они насыщают рынок необходимыми товарами, и что на их нечестно приобретенный капитал надо закрыть глаза, амнистировать этот капитал. Нет, не можем мы так легко простить украденные у народа деньги. Уголовный кодекс должен их достать, хотя бы и через десять лет. Другое дело, что может оказаться весьма выгодно коррумпированным элементам из высших эшелонов направить действие закона против бывших директоров ресторанов, например, директоров фабрик, мастерских, а самим уйти в тень. В конечном-то итоге основная вина за то, что появилась эта самая теневая экономика, достигшая таких колоссальных масштабов, лежит на руководителях партии, на системе, на идеологах, которые довели нашу страну до безнравственности, когда человека кормят не руки, не ремесло, не интеллект, а место у магистралей распределения и перераспределения всяческих благ. Зачем же честно трудиться, если это все меньше влияет на уровень и качество потребления?

И я думаю, если сегодня половину населения одеть в милицмейскую форму, то и тогда едва ли удалось бы обуздать мафию. Поскольку рождена она самой системой, постоянно ею подкармливалась, то и бороться с ней можно только уничтожением самих условий ее процветания, коренным оздоровлением системы экономических отношений. В одной из прибалтийских республик, кажется, в Эстонии, предлагается провести инвентаризацию всех основных производственных фондов, оценить их, выпустить акции, соответствующие их стоимости, и раздать их бесплатно и поровну всем живущим в республике — создать равные стартовые возможности для всех. Акции имен-

ные, поэтому никто иной воспользоваться ими не может, только конкретный владелец. А как он ими распорядится, его забота: сдаст ли в банк, вложит ли в какое-то дело. И куда сможет в этом случае втиснуться мафия со своими миллионами.

Из окон моей рабочей комнаты взору открывается широкая панорама города, а на ее фоне высятся громадное незавершенное строение, обещавшее, видимо, на ватманских листах проектировщиков стать архитектурной гордостью Ташкента. Но не хватило духу его достроить, оно оказалось слишком прозорливым для тощей казны республики. И вот в течение семи лет красуется эта несостоявшаяся «гордость» в виде уродливого безголового великана, и я воспринимаю его как памятник несбывшимся общими нашим надеждам, как символ пустозвонной нашей гигантомании, несоразмерности наших желаний и возможностей. Мы хотим жить, как на Западе, но при этом сохранить тот же тип крепостной зависимости человека труда от правящих структур, лишая его всякого интереса к проявлению собственной инициативы.

Мой гость, Марат Насырович Ахунди, экономист в области капитального строительства, сразу же обратил внимание на эту «долгостройку». Она одна из многочисленных других в Узбекистане, в которых заморожено почти семь миллиардов рублей народных денег. И почти с порога начал развивать мысль, как можно было бы «разморозить» этот объект. Для начала, конечно, он поругался по поводу самого замысла — создания такого громадного вычислительного комплекса, для которого и предназначалось это сооружение: дорого и, главное, бессмысленно. А уж коли средства вложены, стены возведены, надо что-то сделать, чтобы «объект» ну хоть какую-то пользу приносил. Можно сдать его в аренду кооператорам поэтапно, можно вообще продать, а вырученные деньги перечислить в Детский фонд. Или... И тут Марат Насырович открыл свою сногосшибательную идею — как можно строить, не имея в кармане ни единого рубля первоначального капитала. Предположим, стройка затормозилась на уровне фундамента. Я берусь продолжить строительство. Иду в банк, прошу кредит. Пока только под свое честное имя и свой высокий профессионализм. Есть в республике такие люди, с общепризнанным авторитетом. Предположим, стоит фундамент 80 тысяч, я покупаю его у государства за полученный кредит, начинаю строить коробку. Построил и выпустил вексель, скажем на 100 тысяч рублей. Кредитное доверие ко мне выросло — я ведь в любое время могу продать эту коробку и расплатиться с банком, это мой недвижимый капитал, под него я могу получить очередной кредит для продолжения работ на своем объекте. И так — до полного завершения.

— Я бы распродал все государственные «незавершенки» по выгодным ценам, правда, при одном условии: пока еще не налажен товарный рынок, государство должно взять на себя обязательство помочь мне в приобретении дефицитных материальных ресурсов.

А дальше пошел подробный разговор о том, как надо переводить отрасль на рыночные отношения. Строим мы, по сравнению с тем, сколько нам надо строить, до смешного мало. Но нет средств, объемы госкапвложений за последних три года не выросли ни на копейку.

— Поэтому первое, что надо сделать, сократить госкапвложения в производственное строительство до 10—20 процентов, остальное — инвестиции строительных предприятий и других частных организаций. Создал бы коммерческие банки, по одному на каждые два административных района, как минимум. Создал бы инвестиционно-строительные биржи межобластного масштаба: одну-две на Ферганскую долину, одну в низовьях Сырдарьи, две-три на Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую области. Не надо пугаться этого названия — это семья коммерсантов, действующая по строгим правилам, где невыгодно обманывать и мошенничать, ибо это накладно, можно потерять не только свой изначальный капитал, но и, что самое главное, — можно потерять доверие в деловых кругах, и тогда уже никто не даст тебе кредита, а если и даст, то под очень высокий процент. Страховые биржи, которые тоже надо создать для поддержки предпринимателей в трудную минуту, просто откажутся тебя страховать — ненадежный. Да, может затеяться мафия в эти круги, попытаться вступить за мошенника, но что будет значить она с ее капиталом, пусть и десятиллионным, ведь оборот межобластной биржи составит несколько миллиардов рублей. Я бы обратился в правительство республики с предложением разработать новую инвестиционную политику, в которой, в частности, должна быть повышена норма амортизационных отчислений. Это побудило бы предприятия к скорейшему избавлению от технического хлама, от неустановленного оборудования, которое уж теперь-то, наверняка, устанавливать не стоит, оно безнадежно устарело. А избавиться элементарно: продать, а на вырученные деньги, используя и другие источники инвестиции, закупить лучшие, современные технологии —

с учетом будущего спроса на свою продукцию. Что, в свою очередь, привело бы к взрыву спроса на прикладные и фундаментальные исследования. А это придало бы сильный импульс для профессионального совершенствования кадров научной и технической интеллигенции, и начавшийся процесс способствовал бы возрождению духовности в республике. Госстрою предложил бы создать в каждом районе фирмы по оказанию услуг заказчикам, начавшим строительство собственникам и т. д. Другой, более солидной работы, у него может не оказаться, и ему придется решать — оставаться ли в такой роли и дальше или поискать другое дело.

Я бы ввел независимую экспертизу фундаментальных и некоторых прикладных научных разработок, что позволило бы, независимо от центральных ведомств, продавать лицензии на мировом рынке.

Я бы нашел форму, при которой можно раздать государственное имущество строительных организаций, предприятий стройкомплеса (за некоторым исключением) либо в аренду, либо за выкуп, с учетом того, что восстановительная стоимость (то есть с вычетом износа) имущества составляет едва половину того, что фигурирует в отчетности.

Создал бы специальные советы при Госстрое, из практиков и ученых, которые следили бы за динамикой цен, контрактов, за соблюдением правовых норм в капитальном строительстве, занимались бы решением сложных вопросов перехода на рыночные отношения. Такой совет очень нужен, так как коллегия министерства с этой работой может не справиться. Госстрою не стоит также приходить в уныние от того, что естественным образом будет происходить разукрупнение трестов. Ведь фирмы в США, ФРГ, Японии состоят из 8—13 человек, а как они строят, нам только помечтать...

Марат Насырович Ахунди работает в системе Академии наук республики, но я познакомилась с ним как с президентом Клуба экономистов, созданного в Ташкенте. Он не просто президент, а душа и мозг коллектива единомышленников, которых свела вместе искренняя потребность разобраться в заблудившейся нашей экономике и попытаться найти выход. На примере одной отрасли — капитального строительства, ибо все члены Клуба так или иначе представляют именно эту отрасль. Меня пригласили на одно из заседаний, которое как раз и посвящалось вопросам рыночной экономики. В краткой вступительной беседе, которая должна была предшествовать дискуссии, М. Н. Ахунди очень спокойно, в присущей ему манере, толково и убедительно ответил на выдвинутый самим же вопрос: для чего нам нужен рынок? Для активизации и эффективного использования человеческого труда. Для сбережения ресурсов, ибо дальше так расточительствовать недопустимо. Что мы оставим своим потомкам? Мы не бережем овеществленный труд — в сельском хозяйстве теряем до 40 процентов уже произведенного, не бережем нефть, металл, уголь. Для целесообразного использования всех видов собственности. Для обработки методов экономического управления производством. Для эффективного использования природных богатств: в республике десятки миллионов тонн каолиновых глин, фосфогипса — и все это оказывается ненужным, невыгодным к использованию при существующей системе. Для сокращения сроков оборота вложенных средств, для сокращения непроизводительных затрат... Наконец, для гуманизации общественных институтов. И, если угодно — это самый реальный, самый действенный способ защиты социалистического выбора. Под каждое «для» докладчик выставлял подробную аргументацию, так что даже у самых непосвященных сложилось стойкое убеждение: не переходить к рынку нельзя! Дальше пошел рассказ о новых источниках инвестиций в строительном деле, о новых условиях, необходимых для нормальной работы рынка: прежде всего, разнообразие форм собственности и деидеологизация регулирующих воздействий, создание рыночной инфраструктуры.

Удивительно ясно и просто было объяснено «чудовище», которым нас пугали на протяжении десятков лет, каким пытаются запугать и сегодня. Конечно, это просто и ясно — результат глубокого знания вопроса, а в приложении к конкретной отрасли эти знания вылились в настоящую развернутую программу перехода к рыночным отношениям.

Члены Клуба осадили своего президента вопросами, критикой отдельных положений — здесь так принято, это метод полного прояснения вопроса для себя и взыскательная экспертиза на состоятельность выдвинутых идей. Вот уже кто-то предлагает свою модель рыночной экономики: это треугольник, опирающийся на три опоры: рынок инвестиций, товарный рынок и рынок труда. Нет хотя бы одной опоры, и фигура теряет устойчивость. Вот уже кто-то прибростил, как можно в виде акций поделить основные фонды республики между ее жителями...

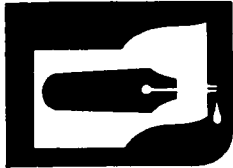
«Экспертизой» установлено, что если бы Николай Иванович Рыжков предложил на обсуждение аналогичную программу, она наверняка получила бы поддержку. В скобках замечу, что перед членами Клуба выступил и еще один докладчик — он

от имени Академии наук республики долго-долго, утопая в цифрах, вещал о региональном хозрасчете. Большая часть аудитории слушала его из вежливости, из сочувствия к изнурительному труду, наверное, не одного десятка академических умов.

Успех или неудача наших благих замыслов всецело зависят от того, на какие идеи будет опираться правительство республики: рыночников, таких, как Ахунди, или региональщиков, зовущих к феодальной замкнутости и сепаратизму, на идеи национальной исключительности или на фундамент общечеловеческих ценностей.

Позаимствую у Марата Насыровича, с его разрешения, метафоричный образ состояния страны, республики, складывающийся под впечатлением нынешних реалий: лодка, плывущая по бурному морю, в ней полным-полно людей: стариков, инвалидов, маленьких ребятишек, все голодные, больные, угрюмые, а до берега далеко. На веслах гребцы выбиваются из сил. Кого надо в первую очередь поддержать, чтобы добраться до берега? Конечно же, гребцов. Иначе погибнут все.

Для того, чтобы выплыть, надо сорвать, наконец, с наших «гребцов» тяжелые оковы государственного рабства, дать им полную самостоятельность, убрать с их пути все политические «риффы», мешающие движению. Не партия же, в конце концов, вывезет страну на другой берег, а трудящийся человек! Его и надо спасать, поддерживать. И, наверное, довольно уже дискуссий за казенный счет — хватит на виду у всех выяснять, кто больше виноват, кто меньше. А ну как народ потребует раздать кремлевские обеды больным детям, тогда, может, на карточном пайке и разговоры покороче станут, и осознание придет, что привилегии не с неба сваливаются, а отнимаются у народа. А уж коли вы так настойчиво объявляете себя правящей партией, так правьте, чтобы жизнь — и для миллионов тоже — хотя бы чуть-чуть становилась лучше. А не умеете — сдайте власть другим, кто сумеет.



А. Булис

ПОЭТИКА «МАСТЕРА»

КНИГА О КНИГЕ

МОНОЛОГ ВМЕСТО ПРОЛОГА

Полагаю, каждому поэту знакомо это чувство, сопоставимое с волнениями первой любви: вот, наконец, придет день, свободный от телефонных звонков и угнетающих обстоятельств. Будет тихое многозначительное весеннее утро; он расправит плечи, сделает глубокий вдох, положит перед собой белый лист, таинственный, как морская пучина. Прощебечет птица, отвлекая поэта к светлым чувственным радостям — может быть, купаться в пруду, или бродить по горным тропам, или болтать с курносыми хохотушками, или одиноко сидеть, ни о чем не думая, на садовой скамейке под деревом, расцветшим розовыми звездами на фоне синего неба. Но поэт устоит — верней, усидит, предвосхищая ту минуту, великую и единственную, что была ему на роду написана: нахлынут вдруг такие знакомые и пока неведомые слова, сложатся в рисунок тех самых розовых соцветий, заблагоухают, залопочут ручьем, загрохочут громом — и явится на свет вечное, ради чего стоило жить и после чего не страшно умереть (хотя, конечно, все равно страшно, а, может быть, даже еще страшнее, чем прежде)... Верю, что великого поэта подобное чувство посещает по некоему графику, то ли согласованному, как свиданье, между ним и музой, то ли стихийному, как снегопад посреди мая. Возможно, прозаикам тоже не приходится ждать волшебной минуты десятилетиями: вдохновение перешло у них под воздействием тренировок в подобие условного рефлекса, и каждый вторник, среду (и т. д.) они испытывают прилив сил, мысль просится к перу, перо к бумаге, в результате — с накоплением количества нарастает и качество (под коим здесь понимается не столько уровень творения, сколько трансформация ничего в нечто). А каково литературоведам, вторичным по самой своей функции,

для коих прикосновение к шлейфу Великой Литературы — это уже, казалось бы, и честь, и радость? Прежде чем задумать свою главную или неглавную книгу, им приходится ждать, чтобы главные книги (или неглавные) написали другие: поэты, прозаики и драматурги. Кто поверит, что и нам наперерез может выбежать из-за поворота внезапно пробудившаяся муза — и кинуться на шею с отвагой влюбленной девушки? И что сохранит она за время ожидания свежесть своего взгляда? Ведь и сам он уже не тот бравый Кандид...

Я ударился в проповедь, хотя собирался начать просто: с лирической исповеди. Что, мол, выпало мне счастье первым из литературоведов читать — с разрешения Елены Сергеевны, вдовы Булгакова, — «Мастера Маргариту». Что, мол, ошеломлял меня роман каждой строкой, каждой главой — по мере углубления в текст, в сюжет, в рукопись. И окончательно ошеломил своим конечным, «интегральным» результатом... Это был бы искренний отчет о случившемся, притом удобный: комментарии излишни, как говорили в те времена, когда комментарии были действительно излишни, поскольку могли завести куда-нибудь не туда. И все-таки «ошеломил» — это уж слишком просто. Тогда, в июньские дни шестьдесят второго, дело обстояло чуть-чуть поининому.

От начальной главы у меня остались в памяти два-три ощущения, во многом объяснимые ритуальной обстановкой чтения (глубокое одиночество «чтеца» на фоне старой мебели: трюмо, секретер, будуарный столик — а над всем этим портрет Булгакова с покрасневшими глазами и перевязанной головой). Первое: неповторимая свобода этой неиспорченной русской речи, почти осязаемое авторское дыхание, внезапные, как зарница, инверсии и неточно поставленные слова, сколоченные предложения, от которых появляется эффект сверхчеловеческой, надчув-

Публикуется в сокращении,

ственной точности и ловкости. Второе ощущение — брезгливо-брюзжающее, с подразумеваемым «Ну и что?»

Как и всякий читатель, я жаждал новизны, сенсации, острых переживаний, непривычного. Но одновременно, как и всякий читатель, был в глубине души конформистом, любителем покоя. И пытался поначалу оказать «Мастеру» посильное сопротивление — или даже полемический отпор. То ли еще, дескать, выдвигали мы в нашей литературной Атлантиде! Вплоть до нечистой силы.

Но нечистую силу я, пожалуй, задевал напрасно. Стоит помянуть черта — а он тут как тут... В этом конкретном случае черт повлек меня за собой, в пучину невероятного. Надо мной бушевали грозы и сверкали молнии, сквозь них таинственным образом, никуда не уходя, светила луна, низнзанные на ее луч происшествия рокировались друг с другом во времени и пространстве по произвольной программе, которая, впрочем, подчинялась фантазии человека, чей портрет висел сейчас у меня над головой. Обыкновенное лицо — не тянет ни на Шекспира, ни на Пушкина. Нет, не взяли бы его Брокгауз и Ефрон в «Библиотеку великих писателей», на пять — десять персон сервированную. Или все-таки взяли бы?

Завораживало меня в романе еще и экспериментальное начало, симбиоз художественного произведения с историей «производственного» процесса, результаты творчества с творческой лабораторией. Наконец — диковеннейшая штука — от «Мастера» веяло научно-фантастическим модерном — не книжным, а житейским: как-никак именно на конец пятидесятых — начало шестидесятых пришлось газетные стрессы вокруг пришельцев, неземных цивилизаций, телепатий. Так вот, на «Мастера», как луч светила, еще не успевшего выйти из-за гор, падал в моем восприятии отблеск потустороннего мира. Богоскательские настроения то и дело опровергала трезвость филолога, четко улавливая фельетонный фальш авторского голоса.

«Мастера» я читал в машинописном варианте; маленький томик, забранный в коричневый колленкор, с гладкими, чуть пожелтевшими страницами хотелось называть не иначе, как фолиантом, мысленно подрисовывая ему (и второму такому же томику — второй части романа) золотой обрез, рельефное тиснение, а по возможности даже драгоценные инкрустации.

«Мастер» был отлично перепечатан, профессионально, но «некондиционно», и потому вызывал непривольную настороженность (что поделал против подсознания, вышколенного полудюжиной редакторов). Чудился мне в романе некий альбомный изыск, некое «для узкого круга», «для своих», «для любителей». Остроумие Булгакова казалось камерным — на фоне громогласного, откровенно фельетонного ильфетровского смеха. Библиеские фантазии вызывали желание осадить автора, как ученика по классу изящной словесности при профессорах Гюставе Флобере и Анатоле Франсе.

Войдите в мое положение. Никем не читанный роман. Восторженная вдова, чье мнение при данных обстоятельствах не должно учитываться: оно предвзятое. Сумятица в голове от всего непривычного, ослепительно прекрасного, комедийного, трагического, загадочного, что обрушивается на булгаковского читателя. И ни одного советчика, чьи соображения могли бы вернуть мне внутреннюю гармонию. Убедить, что я не спятил. Ладно, бог с ними, с советчиками, —

даже о слушателях-то сперва невозможно было мечтать.

Принявшись за конспектирование «Мастера», я вышел на второй круг критико-эстетической рекогносцировки, название коего — осмысление. Быстро заполнялись десятки страниц сюжетом «первоисточника» вперемешку с цитатами. «Первоисточник» шел высокой штормовой волной — ну прямо-таки живопись Айвазовского, с пенными завихрениями поверху. А мысли, хотя и появлялись, были не по ситуации простоваты... Напомню, что поколение литературоведов, подоспевшее к началу шестидесятых, получило в учебных заведениях сталинских времен оглушающий заряд догматизма. И нужные, новые слова обходили меня стороной. Я маялся, мучился и наконец все-таки начал, в духе тридцатых годов, «гнать вальз» чего попало (навстречу вышеупомянутому айвазовскому валу). И легли на бумагу вымученные строки о том, что «Мастер» высококачественное произведение, достойное занять место в первой десятке лучших советских романов. Фраза, справедливость которой может идти разве что с ее же (фразы) вопиющей нелепостью. Булгаков украсил своим именем пресловутую десятку хрестоматийной когорты! Перечень общепризнанных корифеев — он ведь был не простым обобщением, но и камуфляжной операцией: он усреднял, упрощал, «натурализовывал» «Мастера»: значит в одном ряду с другими и, посмотрите, ничуть «не высовывается».

Какие же перечни имен были под стать «Мастеру» без оглядки на внутренний и внешний редактора? Елена Сергеевна энергично выстраивала передо мной — да и перед другими, полагаю, тоже — железный строй: допустимых ассоциаций: Достоевский, Гоголь, Пушкин — ну, предположим, Гете и Шекспир... Лица иного ранга в список Елены Сергеевны не допускались. Слушая панегирические речи вдовы, я откровенно посмеивался. Комизм ситуации состоял для меня не столько в диспропорциях сопоставлений, сколько в атмосфере, на фоне которой дополнительный том приобретался к «Брокаузовской» классике, обремененной в вечные кожаные переплеты. Мы с Еленой Сергеевной сидели за круглым мраморным кухонным столиком, под афишей «Водка — враг, сберкасса — друг» и распивали чай. А в это время перекачивалась мировая литература! Как бы в подтексте нашей беседы. Тут было над чем призадуматься! И я призадумывался — посмеивался.

Конспектируя «Мастера», я все еще «разводил» Булгакова — и классику. Со спокойным упрямством чиновника, твердо знающего: по сию сторону черты — высоко начальство, но м е н к л а т у р а , а там, вдали, за рекой — все прочие. Но за пределами рабочей комнаты моя осанка и, главное, самооценка круто преобразались. Недавний скептик и клерк, сдержанный, как англичанин из традиционных анекдотов, становился вдруг оратором и энтузиастом; пропагандируя роман налево и направо, он бунтально изрыгал пламя, опаяя скептиков. Он хватал за пуговицу любого потенциального собеседника и заговаривал его до полусмерти, блуждая по темным лестницам в курительных апартаментах Ленинки. Он видел тематические циклы сновидений: о том, как булгаковский роман, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, добирается наконец до типографского шрифта...

И вновь апологетический пафос разрешался критичизмом. Чем больше Елена Сергеевна уми-

лялась портрету Аннушки, пролившей масло, тем сильнее он меня раздражал. По сей день не ведаю чем: то ли как раз этой своей портретностью, своей зависимостью от конкретных булгаковских ситуаций. То ли «наводимыми» на него аллодисментами, атмосферой организуемого со стороны читательского обожания. Под знаком «минус» воспринимал я весь цикл эпизодов, связанных с управдомом Босым. Слишком здесь много личной обиды, такого, что позволяет обвиняемому отвести кандидатуру присяжного заседателя, как лица небеспристрастного. Нечто похожее я испытал потом при чтении очерка прекрасного писателя Виктора Некрасова о жителях дома на Андреевском спуске, 13, которые выказали при очеркисте недостаточный интерес к автору «Дней Турбиных». Протест поднялся у меня в груди (как выражаются приключенческие герои) при встрече с буфетчиком, рассуждающим об осетрине второй свежести. Спору нет, сама по себе перепалка по проблемам осетрины написана витуозно, почему и зачислена в ходовые афоризмы нашего продовольственно-озабоченного времени. Но что подумали бы те же приключенческие герои — да хотя бы законодатель рыцарской чести д'Артаньян — о возможности поединка, пускай словесного, между персонажем в ранге Воланда и ничтожным буфетчиком. Они бы на корню пресекли даже допущение такой возможности, не говоря уже о самом поединке. Ну не логический ли дисбаланс: сатана, призванный в роман (да и вообще в литературу) ради решения эпохальных, кардинальных, общепризнанных проблем, вовлекается вдруг (прямо-таки видишь, как его за локоток хватают, что-то на ухо ему нашептывают и утаскивают «налево») в разбирательство «административно-хозяйственных» преступлений?! Фельетонный гнев здесь все же, думаю, превышает предел необходимой обороны... Мечта Мастера о вечном покое по-человечески понятна. Но уверен, что активный человек разделит со мной тоску по иной развязке, может быть, более примитивной, но иной. Слишком уж все мы сегодня жаждем счастья — для себя, для общества, или, по меньшей мере, для героев хорошей литературы...

ДЕБЮТ НЕИЗВЕСТНОГО

Завязка «Мастера и Маргариты» — классический образец жанра завязок. Можно сказать, эталонный: в ней есть все признаки хорошего начала, познакомившись с которым каждый непременно пожелает читать дальше. Обрисовке исходных обстоятельств отдан самый минимум штрихов и времени — не больше, чем в шекспировской драме выделяется под исходные ремарки, под обрисовку комнаты или зала, куда сейчас войдут действующие лица. И сразу же за быстрой экспозицией у Булгакова появляются, как в шекспировской драме, эти действующие лица. Мольберт живописца поспешно отодвинут и забыт, наспех накиданный пейзаж отодвигается в этюдник, потому что уже слышны голоса — и слова, берущие за душу.

Кто бы ни внимал Ивану Бездомному и Берлиозу в их богословском споре на Патриарших прудах, вряд ли он поставит под сомнение программную функцию диалога, в котором контрастно соседствуют принципы и мелочи, вечность и суета, схоластический диспут и литературная кухня.

И тут мне хотелось бы, опережая события, остановиться на одной важной особенности яв-

ления первого: оно акцентирует наше внимание на юридической неправомочности обоих собеседников: Иван и Берлиоз основываются в своих суждениях об Иисусе — существовал ли он на свете или не существовал — на литературе, то есть, по понятиям права, на догадках, слухах. Любой компетентный суд присяжных отверг бы показания таких свидетелей — да и самих этих свидетелей — обратившись за помощью к очевидцам.

Одну-единственную фразу «от себя» дано произнести Берлиозу, поучающему Ивана, как следует понимать догматы Священного писания. «Нет ни одной восточной религии... в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых». В этой фразе, дающей формально-научную трактовку евангельских событий, уже намечена главная коллизия «Мастера». Между романтической истиной и псевдореалистической ложью. Вопрос вопросов, тема тем и песнь песней: как все было «на самом деле»? Вот они, позиции, на которые вскоре обрушится атака пока не названного противника.

И — явление второе — «в аллее показался первый человек». Осмеиваются «сводки с описанием этого человека» — те, что «впоследствии» «представили разные учреждения». И вот уже перед нами новый портрет, собранный по кускам из старых: где-то по принципу «наоборот», «от противного», а где-то на компромиссных началах, но в основном — по фасонам классики.

Конструирование свободного портрета — процедура вроде бы серьезная, скрупулезный аналог следственных экспертиз, отсюда и лексика протокола, «акта», криминалистического документа, отсюда и сама манера обращения с персонажами, как с допрашиваемым, коему вот-вот скажут: «А ну-ка повернись, сынку!» Но вместо ожидаемых полицейских обмеров происходит вдруг шутейный надлом ситуации (и, соответственно, интонации) голос герольда, докладывающего властям свои наблюдения, дает петуха — и появляется словцо, смазывающее торжественность ритуала, финальная, подытоживающая дефиниция: «Словом — иностранец». Этот «иностранец» в корне меняет дело. Гротеск, накопленный предыдущими строками, вполне мог обратить свою энергию на службу церемонно-трагическим перипетиям готики, на ужасы неоромантизма а ля Эдгар По. И вдруг — «иностранец». Но именно такой «иностранец» импонирует поиску нервной булгаковской прозы. Он здесь даже более чем свой. Он предстательствует от имени Ее Величества Пародии, выполняя ее поручения.

Иностранец рассматривает место действия с какой-то, я бы сказал, полководческой, наполеонической надменностью. И вот уже легкорылый мажор поменялся на медлительный, с темными подтекстами минор, и где-то за кулисами, невзначай, вздохнул траурный марш, и повеяло откуда-то кладбищенской пронизывающей сыростью. Но вся эта метеорология земных эмоций с ее июльской жарой и могильной прохладой отступила вглубь, на задний план, когда тот, кого и представляет нам явление второе — ибо оно и есть его явление — стал примерять этот мир к себе, со своими там о ш н и м и, н а д м и р н ы м и критериями. Может быть, кому-то и покажутся мимолетными ужимками залетного туриста эти прищурки и усмешки. А по мне,

иностранец ведет себя именно как иностранец, полагая своей страной взвешенные пределы, своими проблемами априорные этические догмы, своим временем безвременье вечности. Оглядываясь округу, он на самом-то деле устанавливает в нашем мире приличествующий его целям координатный порядок. Воланд, отдыхающий на скамейке, — землемер за работой. Только не землемер, а Землемер — с большой буквы. И большая буква ему присвоена в двух смыслах. Во-первых, с указанием на масштабы и природу его объекта: не сотки данных участков он «нарезает», но километры проселочной дороги отсчитывает, он изучает обитель рода человеческого. Дух ее и сами обитатели — вот что его интересует. А во-вторых, он Землемер высочайшего, условно говоря, маршалского звания и положения. В таком же ключе другой прославленный персонаж мифологии подчас именуется Учителем. Два ремесла, два «ремесленника» — или два монарха...

Нарочиты его слова, обращенные к двум спорщикам: «Извините меня, пожалуйста... что я, не будучи знаком...» Добро бы лохотный хлыщ таким манером втирался в доверие к прогуливающейся по парку девице. Перед нами, однако, фигура иного пошиба. Настораживает, если вдуматься, самый акт и факт приставания. Наличается в этом акте некая агрессивность, рассчитанная на много ходов вперед.

На стороне Воланда — инициатива, удостоверяющая его причастность к закулисным механизмам событий. Управляет ли ими Воланд или просто знаком с «машинистом», состоит у того в услужении или сам норвит подчинить его себе — вопросы наивные, поскольку состряпаны на уровне человеческого разума. Тогда как зависимости там существуют иные (не напрасно ведь Воланд выбрал себе когда-то в собеседники не какого-нибудь земного до мозга костей материалиста, Эпикура или, скажем, Дидро, а самого Канта). Этих подчинений и соподчинений людям не понять — и понимать не нужно. Таков один из важнейших уроков главы первой. Но высказан другими словами — и как бы не о том: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». То есть не вступайте в контакты с полномочным представителем великой неизвестности.

В Воланде контрастно совмещаются черты всеведения и неведения. С одной стороны, его знания превосходят потенциал всех академий мира, и с подобной точки зрения любая человеческая проблема для него — пустяк: «... подумаешь, бином Ньютона!» А с другой — он вынужден пополнять свои информационные запасы по схемам, какими пользовались в тридцатые годы иные начальники: собирать «компромат», выпрашивать у собеседников, как и о чем они думают. С одной стороны, он видит Берлиоза с Иваном насквозь. С другой — «по мелочам» вытягивает из партнеров улики. С одной стороны, он выходит на обобщения с непринужденностью монарха, озирающего свою бескрайнюю империю. С другой — разменивается на мелкую суету наводящих вопросов. С одной стороны, он разговаривает таким тоном, словно бы заранее известны все ответы, и слова произносятся ради формального заполнения времени. С другой — он ведь все-таки разговаривает. Значит, зачем-то это ему нужно?!

Нечто от пророка, из тех, кто свободно исчисляет как ретроспекцию, так и перспективу. Нечто эт инопланетянина нынешней фантастики. Вот составляющие Воландова образа, которые пере-

криваются подозрением, что Воланд — актер, и его поведение — игра, сценическое действие, направляемое свыше. Фигура же режиссера остается для нас в тумане многоочий. Даже и догадка о том, что он, дескать, свыше — чисто инерционный способ восприятия: раз начальство, значит, «над». Не исключается ведь и другая субординация, полярно противоположная, согласно которой ниточки, приводящие героя в движение, закрепляются где-то «под», в руках и ж е с т о я щ и х. Но не сам ли Воланд является князем тьмы и проч.?

Представитель ада обычно фигурирует в литературе под плащом без погон, под романтической накидкой, чья темная ткань может с равным успехом прятать под своими складками, условно говоря, и короля, и министра, и смиренного исполнителя, офицера в наискромнейшем ранге. Важно, однако, что это п о л н о м о ч н ы й представитель, то есть, по-иному, такая часть, которой дано выступить от имени целого — и выполнять задачи, посильные, казалось бы, только целому.

Входя в сей художественный контекст, герой Булгакова автоматически принимает на себя большую ответственность: он вступает в конкуренцию с inferнальными персонажами Данте, Мильтона, Гете. И в то же время готов, поддавшись соблазнам прозы, породниться с лукавыми обозревателями вроде лесажевского хромого беса.

Постоянный, повторяющийся от романа к роману признак «прозаического» (готического, «шагренового») сатаны — это тайна. Проведена — резким росчерком авторской фантазии — граница между видимым и невидимым, дозволенным и недозволенным, интеллигибельным и гибельным. Что здесь — то дано нам в ощущении. А что там — Тайна, неизвестность, окантованная (от слова «Кант»!) эластичными линиями, которые могут отступать вглубь под натиском человеческого любопытства, но никогда не размыкаются. В сущности, каждый «инфернальный» сюжет — и в готическом романе, и в гоголевском «Портрете», и в «Портрете Дориана Грея», и в «Шагреновой коже» — это трагико-философская попытка человека объяснить с судьбой, со своим будущим, с великой загадкой, простирающейся перед всеми нами. Или, попросту, дополнение к афоризму: «Человек предполагает, а бог располагает», — дескать, кабы один только бог...

Проза авантюры сочетается в практике Воланда с прозой жизни. Почему? Потому что булгаковская фантазия давно «зациклена» на «гримасах быта». Потому что Булгаков по дарованию — сатирик, потому что материал, избранный писателем для романа, напрашивается на «низкие» штили. Потому, наконец, что даже сугубо интеллектуальный факт, гротесковое допущение о визите сатаны в Москву начала тридцатых, вступает в противоречие с воинственно-атеистической атмосферой времени и места. Дух зла и дух конкретно-исторической ситуации формируют контраст, который практически не может разрешиться иначе, кроме как в иронии...

Роковая угроза заголовка: «Никогда не разговаривайте с неизвестными» по ходу главы несколько раз повторяется; повествование упорно твердит: «неизвестный», «неизвестный». И случайная характеристика, буквально подвернувшаяся под руку, — оборачивается юридическим званием, сюжетной функцией или даже официальным титулом. Удивительно ли? Да нет, вполне естественно (насколько возможно естественное

в мире сверхъестественного). «Неизвестный» фигурирует под уголовно-протокольным прозвищем, дабы провозгласить свою причастность к великой неизвестности Причин и Следствий, к торжественной загадке, именуемой Связь Времени. Олицетворенная тайна, представительствующая от тайны всеобщей.

Вопрос о повествователе — кто же он? какова его точка отсчета? — остается нерешенным. Можно только подозревать, что Воланду открыты замыслы этого повествователя, и что их контакты вершатся, скорее всего, по схеме диалога, и что на диктант никто из высоких собеседников не покушается — во всяком случае в настоящее время, когда завязались события на Патриарших прудах.

Человеческая конкретность Воланда проявляется в сверхчеловеческом: его эрудиция — безгранична, теологическая подковка — безупречна. Он читает чужие мысли «прямо с листа», как великий музыкант ноты. Он располагает исчерпывающими фактическими сведениями о прошлом — и свободно путешествует по лабиринтам будущего. Остается неясным (или невыясненным) только одно: участвует ли он персонально в строительстве этих лабиринтов? Менее отчетливы отношения Воланда к настоящим. И это понятно. Представим себе иную картину: текущий день известен Воланду, как таблица умножения. Тогда окажется праздным капризом его поездка в Москву, скучным повторением пройденного — вмешательство в судьбу Мастера, пустым звуком — сатирические пророчества, садистским мучительством — кары, обрушиваемые на тех, кто — в теории, в фаталистическом плане — уже наказан. Но нет, с неподдельным любопытством выслушивает он и монологи Берлиоза, и скандальные пассажи Ивана Бездомного, живо реагируя на каждый проблеск индивидуального (или социального), словно бы эти, как бы внепрограммные, детали бытия являлись для него откровением. Бродит в жилах Воланда исследовательское беспокойство — и это при громко заявленном философском детерминизме, каковой не позволяет человеку ни на сантиметр сойти с заданной дорожки. «Неизвестный» то и дело «работает» под вульгарного «незнакомца» авантюрной литературы, бродягу, который вот-вот смоем грим и явит изумленной толпе лицо Шерлока Холмса. Воланд, однако, сохраняет за собой «партию» «неизвестного», удерживается от падения в пропасть беллетризации — иначе читатель сразу же бы его дисквалифицировал, разжаловав — на уровне подсознания — в очередные управдомы советской сатиры, среди которых довелось подвизаться даже Остапу Бендеру. Ни до управдома, ни до сыщика Воланд не «донгрявается». В своем актерстве он великолепно соблюдает чувство меры — и чувство роли, ставящей его — по сюжету — над конкретными управдомами и столь же конкретными сыщиками.

Объединяет в целом образе черты величавого «неизвестного» и плутующего «незнакомца» Воландова ирония. Разведывающая и выведывающая, он в то же время, как уже говорилось ранее, все ведающий и все знает. Именно с этой позиции и судит своих собеседников. Однако, даже всеведущий и всезнающий, он позволяет себе ничего не знать и ничего не ведающий. Беспросветна скука того, кто, задавая вопросы, держит перед собой ответы в конце задачника. Такое Воланду претит. И он настолько вживается в человеческую роль, что уже и действует под ее суфлерские подсказки, более того, срастается с нею, забывая

порой о своем «полпредстве», о том, что он частица неизвестности и что ему в сем качестве известно каждое слово и каждое движение встречного и поперечного (ведь неизвестность эта — для нас, а не для себя).

Ирония Воланда, впрочем, от категоричности не свободна. Она игнорирует возможности прений на демократической, равноправной основе. Чего в нем предостаточно, так это брезгливой позы по отношению к московской публике и еще — естествоиспытательского интереса, как к подопытным кроликам.

Чем ближе к финалу первой главы, тем большую массу набирает неизбежный вопрос, к которому подталкивает читателя завязка. Что происходит? И что может произойти потом вследствие происходящего сейчас? Авторский ответ: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». В этой фразе — столько смыслов! Пародия на повелительные наклонения запретительных табличек. Доброжелательный совет женщинам (включая Маргариту). Экспозиция романа. Первая характеристика главного персонажа, навсегда разделяющая его между двумя мирами, нашим — и иным. Наконец — игра с произвольно подставляемыми значениями «киксов». И злое пророчество.

Тут, думается, уместен фаталистический вопрос: воздействуют ли пророчества Воланда на реальный ход жизни? Имеют ли колдовскую власть? Иначе говоря, попадет ли Берлиоз под трамвай, если избежит встречи с Воландом? Попадет ли в лечебницу Иван? И познакомится ли тогда с Мастером? Словом, проблема предсказания оказывается оборотной стороной проблемы предопределения.

Обращаясь к тем главам романа, где слова Воланда продолжают в делах (например, к «Великому балу»), заметим: акциям предшествуют раздумья, даже колебания — и, стало быть, мы вправе предположить, что Воланд не только исполнитель, но и исполнительная власть, и законодательная тоже: ему принадлежит, помимо авторства на экзекуции, еще и сочинение программ, по которым потом осуществляется эта деятельность. С самого начала у Воланда есть план на ближайшее будущее, и неясен разве что отправной момент: кто такие для флиртующего экскурсанта Берлиоза да Бездомный? Случайные экспонаты инопланетянина? Среднестатистическая проба в лабораторной колбе — взяли наобум, где придется, комья живой материи, а уж разбираться будем там, дома, на своей планете: микробы ли это или высшие существа, венец творения? А может, подсудимые? Воланд обходит щекотливую тему молчаливым. Вот мы и разводим руками в недоумении. С одной стороны, вроде бы он виновен в предумышленном убийстве. А с другой, причастен к гибели Берлиоза ничуть не больше, чем метеоролог к предсказанному на неделю вперед штормовому вихрю.

Вы стискиваете руками виски, как заправский детектив, заинтересовавшийся важной уликой. Вы пытаетесь нащупать нити, связывающие Воланда с закулисными его сообщниками. Тщетно! Слишком опытный конспиратор этот Воланд. Не чистая сила работает чисто, и, кабы ей понадобилось спрятать концы в воду Патриарших прудов, она бы это сделала с виртуозным изяществом.

Нельзя обращаться с дьяволом, как если бы он был человеком, даже если этот дьявол человеческим сочинен. Дьявол живет по своей собственной, дьявольской логике — и одна из художественных задач Булгакова в том-то и состояла, чтобы выстроить эту логику. Представая нам

в единстве человеческого и сверхчеловеческого (включая сюда и бесчеловечное), Воланд подражается судить именем высшей справедливости. И в этом духе начинает действовать, хотя строгой последовательности не выдерживает: то соревнуется в жестокости с Нероном, то в доброту — с мягкосердечными андерсеновскими феями. Словом, Воланд — величина переменная, от эпизода к эпизоду или, вернее, от собеседника к собеседнику, он другой. В вихре Великого бала, губительного для многих, темнота расступается лишь однажды, и Воланд обращает к голове покойного Берлиоза те самые слова, которые могут показать, куда ведут следы...

В числе значений, принимаемых на себя «неизвестным», есть и чисто человеческое: мина любопытствующего и экспериментатора, азарт игрока, паясничанье на манер уличного пристава, пристрастие к максимам в стиле французских моралистов — и при этом реверансы по адресу классической философии... Из «нечеловеческого» обращает на себя внимание самоуверенность, кстати сказать, очищенная от личного бахвальства («смотрите-ка, что я могу!»). Пророчества выдаются в таком тоне, словно на некоем этапе непроисшедшее уже давно произошло, и теперь событиям предстоит перейти из одного глагольного состояния в другое. Аналогичные коллизии возникают в фантастике при упражнениях с машиной времени. Но там обычно зрителю показывают завершенную действительность — и спектакль на ее фоне, а в «Мастере» впечатление другое: будто действительность сотворяется в нашем присутствии.

Эти проявления Воланда — не столько причуды персональной природы, сколько закономерности натурфилософской идеи, согласно которой сослагательное наклонение человеческой истории неотличимо от изъявительного. Что свершилось, то свершилось, и никакие «если бы да кабы» не в силах этого изменить. Оракулы — всего лишь хитрецы, знающие, в какую щель подглядывать за будущим. А значит, приключения «Мастера» — законченная книга, которую Воланду только и остается, что прочесть. Преимущество героя перед другими любопытствующими — в том, что он волен выхватывать взглядом — и рукой! — любые главы этого сочинения, когда бы они ни «происходили». А также прикидываться соавтором романа (что он и делает).

Лишь однажды Воланд отказывается от литературных амбиций. Этот эпизод начинается его кратчайшим заявлением: «Имейте в виду, что Иисус существовал». Сразу возникает атмосфера мировоззренческой суматохи: Берлиоз ведь стоит на другой точке зрения. «А не надо никаких точек зрения!» — возражает ему странный профессор и поясняет: Все просто: в белом плаще...»

«РАССКАЗЫВАЯ ПРО ИСТИНУ...»

«Все просто: в белом плаще...» — последние, заключительные слова первой главы «Мастера». И начало второй. Цитатная перекилка второй главы «Мастера» с первой — символический жест, призванный включить в завязку начало романа о Христе. Вставной роман — то есть подчиненный, третьестепенный, оказывается вдруг романом чуть ли не главным. И вперед проталкивается вдруг, энергично работая локтями, прагматический вопрос: «А зачем?!» Зачем нужно было Воланду поспевать к жаркому июльскому закату на Патриаршие пруды? Не для того

ли, чтобы рассказать атеистам о Христе? Берлиозу, Бездомному — но заодно и всей Москве, всей стране?

«Евангелие от Воланда» живет особняком от прочего текста, точно самостоятельное произведение. И хотя имеет «сказителя», «рассказчика», лишено каких бы то ни было «сказовых» признаков. Сам Воланд обещает нам не допускать отсебятины: не то что «смысловой» — даже «исполнительской». Об этом сообщает авторская ремарка: «Профессор... заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал». У нас на глазах сатана отрешается от своего творческого Я.

Начало нового евангелия (пятого — после Матфея, Иоанна, Луки и Марка) двойственно. Оно представляется объективным воспроизведением реальности — очерковый репортаж неизвестного корреспондента с места происшествия (и пришествия?). Одновременно оно выглядит вольной импровизацией: субъективная поэма неизвестного, долженствующая снискать ему известность. В дальнейшем за вставным романом закрепится двойственное происхождение: и от «на самом деле» и «от Воланда». И даже тройственное: потом пойдет еще и «от мастера». Но начало разворачивается, так сказать, под началом Воланда.

Тождественна психологическая подоплека первой и второй глав. Типичная игра в кошки-мышки, по драматическим условиям которой сильный издевается над слабым просто потому, что он сильный и не нуждается в иных, более основательных аргументах. Воланд шантажирует своими предсказаниями Берлиоза, Пилат своими угрозами — Иешуа. Криминалист, пораженный сходством «почерков», заподозрил бы, что Москву и Ершалаим удостоил своим посещением один и тот же персонаж. Ну, на худой конец, одна шайка, одна «школа». Но мы-то знаем: в первой главе выведен на сцену профессор черной магии; во второй — прокуратор Иудей. Да, у них много общего: оба — иностранцы (по отношению к среде, что их окружает), оба — представители некоей высшей власти, как для одного, так и для другого — заочной. Зато есть и яркие различия. Компетенция Воланда простирается бог весть куда (именно так!). Власть Пилата подчинена лишь малая частица обширной Римской империи. Суждения Воланда безапелляционны, категоричны, обжалованию, подобно приговорам высшей инстанции, не подлежат, хотя на поверку приговорами как бы и не являются. Слова Пилата претерпевают непрерывное переосмысление, за ними — внутреннее брожение, муча и рефлексия. Даже когда они — приговор. Воланду получать консультации у своего руководства по ходу «командировки» не нужно: у него безграничные полномочия, «карт-бланш», абсолютная свобода действий. Пилат скован призраком императорской власти. «Померещилось ему, что голова арестанта уполыла куда-то, а вместо нее появилась другая...»

Но подавляющее личное чувство «страха перед начальством» осложняется еще и другим, менее явственным, но более грозным. «Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиби!», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то должствующем непременно быть — и с кем?! — бессмертия, причем бессмертие вызвало нестерпимую тоску». Здесь в сжатом виде присутствует вся человеческая история. Пока еще только с приблизительным наброском сюжета (и библейского, и булгаковского). Но сколь многое

предречено. «Погиб!» — индивидуальная боль. Или вздох облегчения: «Не я, а тот...» И тут же рядом: «Погибли!» Неоформившаяся мысль о взаимосвязанных судьбах палача и жертвы, арестанта и арестованного, судьи и подсудимого. Или, более общо: человека — и человека. Или более конкретно: смерть проповедника не пройдет бесследно для Пилата. Дальше — хаос эмоций, сквозь него — черты смутного будущего, с Голгофой, крестовыми походами, инквизицией, страстотерпцами, расколами, рассказом Анатоля Франса и романом Генрика Сенкевича, всемирной религией... Вся христианская история — и в зародышевом, и в конечном виде схвачена молниеносным эскизом. Показательна сама грамматика этого прогноза, страдательные формы обретаемого героями бессмертия: оно переживается ими как ниспосылаемое свыше бедствие. Оно — «долженствующее непременно быть». Оно — вроде землетрясения. Кому пощастливится — спасется. А кому нет — тот уж будет страдать. И не как-нибудь «разово»: отстрадал — и освободился. Нет, бессмертие обявляет: коли обзавелся бессмертием — это навеки, навсегда!

Судьбу Пилата предчувствует Пилат. А она — что нынешняя, судейская, что грядущая, подсудная, — никаких радостей ему не сулит. Будет он брести сквозь века, прикованный к колеснице чужой славы цепями собственного позора, хотя станет христианином (что летописцами вовсе не засвидетельствовано) — раньше, чем Иисус станет Христом.

ПРИТЧА О РАССКАЗЧИКАХ

«Извлечение мастера» — так называется глава «Мастера» двадцать четвертая. Но так бы могла называться и вторая глава. Потому что Левий Матвей, самый неприметный ее персонаж, может считаться и самым главным. Ему принадлежит, как известно, житие Христово — и в этом смысле он литератор, мастер. Так что евангельские главы «Мастера» — как бы экскурс (и экскурсия) в творческую лабораторию Левия Матвея. Реальный ряд романа противостоит «Новому завету» как правда — мифу. То есть провозглашает вымыслом «Новый завет». Если одно из двух произведений достоверно, значит, другое — ошибочно или лживо. Если одно — история, значит, другое — пародия... Надо ли удивляться карикатурной обрисовке Левия Матвея на страницах «Мастера»?

Это ведь и впрямь любопытно: «Мастер», начиная с самой завязки, — рассказ о рассказчиках. Рассказчики — Иван Бездомный и Берлиоз. И рассказывать оба пытаются все ту же давнюю легенду о Христе. Рассказчик — Воланд. В рассказчики метит даже Иешуа. Наконец Левий Матвей на глазах у всего человечества принимает на себя все ту же миссию — рассказчика. Коли остричь под нашу гребенку Пилата: приписать его к рассказчикам, — тогда не останется в первых двух главах практически ни одного персонажа, не состоящего в этом цехе. Прямо Пенклуб какой-то! Слава богу, есть Пилат... Наверное, чтобы рассказчиком было о ком рассказывать — и кому: аудитория тоже ведь в этой ситуации нужна. Сколько бы он слов ни произносил, Пилат — единственное действующее лицо завязки. Остальные — говорят, говорят, говорят. Причем в своих разговорах обязательно упоминают его, Пилата, как бы давая кому-то о нем показания в связи с известным

происшествием прошлого — делом Иешуа. Так выясняется, что Пилат, выступавший тогда в ролях следователя, прокурора, судьи, адвоката (по нынешним штатным расписаниям) — стал теперь не то подсудимым, не то подследственным. На заседаниях «разбросанного», заочного круглого стола (говорят порознь и в разных местах, но об одном и том же) дискутируется вина Пилата. С этой точки зрения весь «Мастер» — судебный роман, посвященный Пилату и Христу. Некий аналог драматургии в жанре «не выходя из комнаты»: пьес и сценариев, где производится умозрительное изучение некоей миновавшей ситуации ее бывшими участниками.

Рассказчиком называют всякого, кто берется воспроизвести, что бы л о . В таком смысле рассказчиком время от времени оказывается каждый из нас. Рассказчиком называют подставное лицо, коему творец отдает свое произведение. Он — тот, от чьего имени ведется повествование. Он совпадает с литератором имярек до полного слияния. Или, напротив, имеет с ним мало общего. Рассказчик — это еще и точка зрения. Точка зрения, выраженная в рассказе от «Я». Или спрятанная в чужом рассказе. Несколько рассказчиков «Мастера» — сложная изобразительная система. Несколько точек зрения. Несколько зеркал, скрестивших свои отражения. И несколько философий.

Рассказчиком подлинным, знающим нужные рассказчики-путаники, всезнайком — простаки, которых следует наставлять, поправлять. Иван и является таким путаником и простаком. Кем же еще прикажете считать автора поэмы об Иисусе, не встречавшегося прежде с именами Флавия или Тацита? Впрочем, сомнительный рассказчик — тоже рассказчик. И вдобавок полезное для других рассказчиков обстоятельство: живой Провокационный Повод. Объект возражений... Само это имя — Иван — наводит на фольклорные ассоциации — и небезосновательные.

Берлиоз в функции рассказчика — вот блеск и нищета вторичной информации. Апофеоз талмудизма, начетничества, цитатного мышления и библиографии. Фарс преодолевается по старой схеме: «Через тернии — к звездам». Но бывает ли, может ли быть бескровным этот путь? «Трамвай накрыз Берлиоза». Культурная жертва принесена на алтарь иронии...

Так кто же, кто рвется к звездам? Уж конечно не Берлиоз, до чертиков заземленный. И не Воланд с его опрокинутой астрономией. Остается кандидатура третьего, такого, казалось бы, лишнего: Иван Бездомный, один из тех, кто опускается (или возвышается) до Точки Зрения. Только вот чьей?! Пока эхо нашего праздного вопроса разносится над Патриаршими, перелистаем Воландовы мемуары. Опять Пилат. Опять этот внутренний крик: «Яду мне, яду!» Нет, не рассказчик. Он прокуратор, он прокурор! Это — да! Но не рассказчик. Позади осталось почти все каноническое евангелие (с Воландовыми поправками). А он, Пилат, соучаствовал в этой истории на скромных правах шахматного короля, но отнюдь не игрока. В этой же роли — и Иешуа. Дающий показания, допрашиваемый. Пешка, которая может выйти в ферзи, если удачно сложатся обстоятельства. Но — не игрок. И — вроде бы — не кандидат в игроки. Рассказ из-под палки, особая повествовательная форма, векторы коей смотрят вовнутрь, «в субъект». Эпос, обращаемый некоей центростремительной силой в лирику. И в Точку Зрения.

(Окончание следует)



НОВЫЕ ИМЕНА

Л. Юсупова, В. Дюев, С. Протасевич. Хоровод друзей. Ташкент. Издательство «Еш гвардия», 1989 год.

В 1988 году молодежное издательство «Еш гвардия», Союз писателей и ЦК ЛКСМ Узбекистана проводили конкурс на лучшую рукопись молодых авторов. Конкурс этот, для нашей республики, к сожалению, не частый, открыл несколько талантливых имен.

И вот появившаяся на прилавках магазинов рядная, интересно оформленная художником А. Бобровым книжка «Хоровод друзей» как раз и составлена из стихов победителей конкурса.

Стихи Ларисы Юсуповой, Владимира Дюева, Сергея Протасевича собраны под общей обложкой. Обычно большинство авторов бывает недовольно таким «общезитием», но, думается, что в этой форме книгоиздания есть и рациональное зерно. Легко можно сравнить друг с другом стихи, различные по стилю, образам, манере написания. И еще. Авторы как бы дополняют друг друга, совместно охватывают большую территорию огромной страны под названием поэзия.

Сборник «Хоровод друзей» открывает стихи поэтессы Ларисы Юсуповой.

Чувствуется, автор хорошо знает ребячьи характеры, помогает им своими стихами всматриваться, вслушиваться в окружающий мир. И, что очень ценно, не навязывает готовые «взрослые» рецепты. Недаром лучшие стихотворения Ларисы Юсуповой оканчиваются вопросительным знаком. Вопросом, на который придется ответить самому маленькому человеку.

Кто-то плакал под окном
Так, что весь проснулся дом.
Кто-то так скулил протяжно,
Будто жалобно стонал.
В общем, спал весь дом неважно,
Может быть, совсем не спал.
И визжал, визжал щенок,
И никто помочь не мог.
А к утру он замолчал.
Где же он, куда пропал?
Почему же я и ты
Испугались темноты?

Язык поэтессы чист и прозрачен, строчки ее легко, с первого прочтения запоминаются.

Удачны многие стихотворения поэтессы, представленные в книжке: «Уходи скорее злость!», «Дядя крокодил» — где хорошо «играет» неожиданная концовка.

Но иногда встречаются у Ларисы Юсуповой торопливые, «не прописанные» строчки. А такие строчки всегда проходят мимо ребенка, оставляют его равнодушным.

Например, стихотворение «Знаешь, мама...»

Давай помиримся скорее —
Сегодня день такой весенний,
Еще шесть дней совсем не будет
У нас с тобою воскресений.

Лариса Юсупова находится еще в самом начале своего, будем надеяться, счастливого литературного пути. Хочется пожелать молодой поэтессе всегда оставаться на уровне лучших своих строчек, уверенно держать звонкую высокую ноту...

Стихи Владимира Дюева похожи на пестрое лоскутное одеяло, изображенное художником на иллюстрации к его сказке «Перепутанные сны». И пестрота эта подобна блестящим кусочкам разноцветной смальты, от которой рябит в глаза, но которой хочется любоваться и любоваться вновь.

На полянке
Целый день
Бьет кузнечик:
— Динь-делень!
Прибежали паучки,
Подковали башмачки.
Прилетела стрекоза:
— Почините тормоза!
Муравей спешит куда-то:
— Наточи-ка мне
Лопату!
Мастер трудится
Чуть свет,
Никому
Отказа нет.

Такая пестрая «радостность» восприятия мира имеет в советской детской литературе давние традиции, идущие от Даниила Хармса, А. Венденского. И Владимир Дюев старается продолжить их то смешными намеренными «перепутками» строчек, то неожиданно-смелым сюжетом:

Эй, летучая мышь,
Ты неправильно спишь.
Объяснит тебе любой —
Спать нельзя вниз головой,
Это вредно и опасно!
— Нет, я с вами не согласна:
По-моему, вы сами
Идете вверх ногами...

Стихотворение, открывающее отведенную ему часть сборника, Сергей Протасевич назвал «Золотой олень».

Сколько уже было написано строк «хороших и разных» о природе. И, кажется, что нового можно сказать о ней?

Но, оказывается, можно. Да как свежо, неожиданно до удивления:

Золотой олень,
Быстроногий!
Пронеси меня по дороге!
По февральской пороше
Солнце принеси на рожах.
Рощам да озерам —
Птичьих разговоры,
Детям — яркие цветы...
Станешь лучшим другом ты!

Сергей Протасевич учит своих маленьких читателей прежде всего понимать, любить природу, бережно относиться к ней. И вот почему для его стихотворений органичен сплав реального с выдуманным, сказочным. Прием этот помогает поэту создать тот особый мир, в котором обычно существует малыш.

Язык Сергея Протасевича прост и емко, но эта та емкость и простота, которая понятна любому ребенку:

Вышла утром мама в поле,
А за мамой вышла Оля.
Станет в синенькой косынке,
С колоска стряхнет росинки.
Серебристую ромашку
Приколола на кармашек.
Синеглазый василек
Напросился сам в венок.

Стихи Сергея Протасевича, думается, можно сравнить с лучком фонарика, высвечивающим какой-либо новый предмет — ведь каждый шаг малыша — встреча с неведомым, и так радостно открывать для себя — что дождик бывает теплым, или почему «лето вкусное».

Помощь поэта в таких удивительных детских открытиях — это ли не главная тема любой хорошей книжки, обращенной к малышу? Именно в этом и заключается так называемое «воспитательное и эстетическое» значение стихов Сергея Протасевича.

Новые имена. Всегда интересно знакомиться с ними. Следующие литературные конкурсы назовут других победителей. А пока давайте вспомним Ларису Юсупову, Владимира Дюева, Сергея Протасевича.

А. МАР.

НЕОБЫЧАЙНОСТЬ ОБЫДЕННОСТИ

В. Мориц. Офсайд. Ташкент, Издательство «Ёш гвардия», 1990 г.

Обыкновенные люди, не умники и не красавцы, не утонченные ценители искусства и не демагоги-правдолюбцы, как будто вырванные из того среднего пласта нашей жизни, в котором варятся в собственном соку миллионы таких же, как они, сограждан... Пожалуй, именно такие герои в первую очередь и объединяют написанные в разное время, с интервалом почти в 20 лет повести В. Морица «Гуляй — не хочу» и «Старики», включенные в книгу «Офсайд».

Первая из них характеризуется ровным действием, в котором почти невозможно нащупать кульминацию событий, и такой же уравновешенной развязкой. И только время неумолимо бежит вперед, напоминая о необратимости происходящего, и еще — о способности заключать в себе не только исторические, эпохальные события, но и маленькие кусочки жизни людей из того самого «пласта».

Сережка Наянов — главный герой повести — родился и вырос в семье, которая не баловала его ни материнской, ни отцовской (при отчужденности?) лаской, со средним достатком. Прошедший уличное озорство и ничем иным не увлеченный (не пошел после десятилетки ни в институт, ни на завод), Сергей с мрачным видом уходит служить, а оттуда прямоком на целину. И вот через долгих четыре года — короткая побывка, встреча с родными. Беготня по магазинам и застолье. Похмелье и вновь застолье, чужая женщина в чужом доме после вечеринки. Рыбалка и знакомство с забавным человечком Верой, Верой Никитичной... И разговоры, разговоры... Об армии, о знойных землях Голодной степи, такой скупой на хлеб...

Короткий отпуск, мерно отсчитывающий каждый день — это не просто времяпрепровождение, отдых от изматывающей и физически, и морально работы. Для Сергея этот отпуск — время выбора своего места в жизни: вернуться на целину или же пристроиться здесь, где полегче? Остановить выбор на красивой пустышке, чтобы стать таким же пустым и никчемным, или на той, в которой нет ровным счетом ничего, но такой милой и естественной...

Сейчас — или никогда. Остаться за чертой, не у дел, или же быть на переднем краю? Так круто поставлен вопрос перед Сергеем отчасти им самим, отчасти братом Евгением, прошедшим, в общем-то, не меньшую жизненную закалку. А так легко именно сейчас, в дни первого отпуска, взять и не вернуться туда, где лишь песок да соль, вагончики и палатки, из которых никакими дровами не выгнать мокрый, грязный холод. Страшнее даже не степь, свистящая ветрами, а то, что столько сил вложено в нее — и напрасно: дожди сгубили все живое, нет урожая.

И Сергей делает выбор...

Герой второй повести — футболист Олег Кузьмин, не имеет, как и Сергей, ни ученых степеней, ни утонченного воспитания. Прямолинейный и открытый, он из тех обычных людей, которых легко встретить в любой сфере жизни, в том числе и в спорте. Правда, напористость и вера в свою правоту порой размываются невезением,

которое настаивает в самый неподходящий момент. Сначала — неудача в игре, проигрыши один за другим и решительный, хоть и болезненный, уход. Совсем из футбола. Куда глаза глядят. В другой город, где нет ни большого стадиона, ни классной футбольной команды. Много позже — первая большая неудача мальчишек, взлелеянных и натренированных Олегом. Обидно не дотянуть самую малость и оказаться в офсайде — положение вне игры. Проиграли? Нет, не выиграли. Но мы еще повоюем. Впереди еще много чего будет...

Оба героя столь похожи судьбами, впрочем, как и женами — тихими учительницами, написанными автором короткими штрихами: две скромные любящие женщины терпеливо переносят трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Это терпение безгранично, как и упрямство мужей, и в Голодной степи, и в провинциальном городке, где порой приходится наявремя забыть о комфорте, уюте, иначе нельзя.

Говорят, поэт состоялся, если сумел увидеть в обыкновенном необыкновенное. Конечно, песня о пурпурной розе гораздо красивее, чем о цветке картофеля. Но эта красота временна, она пройдет бесследно. Другая же — будет жить, вскармливая детей и внуков. Видимо, не случайно героини повестей Владимира Морица — обыкновенные люди. Надо быть тонким психологом, чтобы слепить их образы, вдохнуть в них жизненную силу. Его герои понимают друг друга с полувзгляда, полуслова. «Вера...» — говорит Сергей, и она понимает, что ему нужно уехать. «Все?» — спрашивает она, и ответом звучит его смех, который означает: нет, мы еще встретимся, да что там встретимся — будет вместе всю жизнь.

Сила, которой автор наделяет героев, служит не для одного-единственного рывка: покорить высоту и рухнуть обескровленным под взрыв оаций. Эта сила течет в них медленно и верно, вселяя уверенность в окружающих. Излучение тепла и создает ту гармонию в отношениях с близкими, благодаря которой главные герои «раскрываются», проявляя свои лучшие качества. Например, Сергей Наянов окончил институт и стал главным инженером колхоза не только благодаря своему упорству и трудолюбию. Не будь рядом еще одного крохотного, но сильного источника добра — Веры — кто знает, как сложилась бы его судьба. Не будь этих мальчишек — заядлых футболистов, — навряд ли состоялся бы Олег Кузьмин. Излучая добро и получая его по закону бумеранга, герои живут и действуют, невзирая на неудачи, оптимистически загладывают в завтрашний день.

Время стремительно, как всегда, И все же, несмотря на давность написанного (как-никак, несколько десятков лет), повести «Гуляй — не хочю» и «Старики» не устарели, ибо не устарели и никогда не устареют темы любви и труда, потребность в духовном единении.

В книгу «Офсайд» включены и притчи — шесть маленьких по объему философских измышлений, емких по смыслу, ярких по образности. Перед нами проходят живые герои — Творец-Всевышний, одинокий среди людей и не нашедший их понимания, Поэт-изгнанник, не по своей воле покинувший город, счастливая Тонкая, которая была так несчастна с Тонким, грустный и одинокий Кожаная шляпа... Каждая притча построена вроде бы на обычном материале: с такой достоверностью обрисована наша светлая и размеренная жизнь, в которой остается мало места для поэзии и красоты. Но это «обычное»

подано как бы в другом, совершенно неожиданном ракурсе. Прогнали Поэта — и в городе началась спокойная жизнь. «Днем отдавали все силы досрочному выполнению взятых на себя повышенных обязательств, вечером повышали свой идейно-политический и культурный уровень, получая огромное количество удовольствия от посещения мероприятий, мужья оказывали внимание только своей законной подруге... И никто не видел, что над городом голубое небо, и на нем желтое солнце».

Особой лиричностью проникнута притча «Блик» — грустный рассказ о двух влюбленных, так и не встретившихся. «На том месте, где те двое молча кричали от боли, остались только обрывки слов, обломки букв, будто отброшенные вот этой смятой коробкой из-под сигарет, которой Кожаная шляпа тер бортик, расчищая для себя местечко.

Уезжа
прид
люб»

Владимир Мориц до сей поры не имеет достаточной популярности среди читателей. А жаль...

Л. ЗАХАРОВА.

ЗА ДЫМКОЙ ВЕКОВ

Н. Н. Туманович. Герат в XVI — XVIII веках. Москва, «Наука», 1989.

В последние годы в научных кругах всего мира придают большое значение изучению локальной истории — городов и удельных систем. В этой связи представляет значительный интерес опубликованная недавно книга известного ленинградского ученого, представителя школы востоковедения В. В. Бартольда Н. Н. Туманович, в которой на основе большого круга источников впервые в отечественной и зарубежной литературе освещается наименее изученный период истории одного из древнейших городов Востока Герата, представляющего из себя узел караванных путей, средоточие среднеазиатского, иранского и индийского культурных миров.

Автором книги рассмотрен широчайший круг источников, среди которых повествования «Хабиб ас-сийар» Хондамира, «Тарих-наме-йи Харат» Сайфа ал-Харави, географическое сочинение Хафиз-и Абру, дневники и отчеты европейских и русских путешественников Адама Олеария, Габайдуллы Амирова, Джорджа Форстера, статьи В. А. Жуковского, И. П. Петрушевского, А. М. Беленицкого, книга Л. Локкарта о Надиршахе, изданная в Лондоне в 1938 году, четырехтомная «Жизнь Аббаса Первого» Насруллы Фалсафи, опубликованная в Тегеране в 1962 году, и многие другие.

Собранные воедино, систематизированные

и проанализированные отрывочные сведения о Герате из столь обильного материала позволили автору книги всесторонне осветить жизнь средневекового Герата.

Немало внимания уделено географическому обзору Гератской провинции, природным условиям, хозяйственным ресурсам, административному делению, занятиям городского населения.

Существенной новацией Н. Н. Туманович является выяснение динамики административного устройства гератских сельских округов (булуков) на протяжении пяти веков. Для выполнения этой задачи ею были сопоставлены сведения восточных географов и европейских путешественников с начала XV до конце XIX вв. Включенная в настоящую главу карта-схема Герата заслуживает особого внимания, как принципиально отличающаяся от известных ранее (Л. Артамонова и О. Нидермайера). Последние создавались в военных целях, поэтому на них отмечены лишь объекты, имевшие оборонное значение. Оригинальная карта-схема, составленная Н. Н. Туманович, с возможной полнотой воссоздает облик позднесредневекового города XVII — XVIII вв. На ней указано местонахождение примерно ста упомянутых в источниках городских достопримечательностей — медресе, мечетей, ханака, дворцов, частных домов, бань, мавзолеев, улиц, кварталов, базаров и др.

Сделан исторический очерк Герата: приведены подробности о дроблении государства гератских Тимуридов (Султан Хусейна и его потомков) и его падении, о борьбе за Герат между Шейбанидами и Сефевидами; обстоятельно говорится о положении Гератской провинции в составе сефевидского государства в XVII в.; в деталях рассказано о походах Надиршаха на Герат и о присоединении Гератской провинции к дер-

жаве Дуррани в XVIII в. При этом следует подчеркнуть, что история Герата XV — XVI вв. под разным углом зрения изучалась многими учеными, тогда как вторая половина XVII в. оставалась по существу «белым пятном» его многовековой истории. Недостаточным было внимание исследователей и к другому историческому периоду этого региона — второй половине XVIII века.

Н. Н. Туманович исследует также хозяйственную и культурную жизнь типичного феодального гератского поместья — Барнабада. На страницах монографии селение Барнабад предстает в его развитии — от основания в XV в. подле обители отшельника; рассказано о хозяйственном и культурном его расцвете в эпоху сефевидских наместников Герата (конец XVI — XVII вв.); широко освещена жизнь Барнабада в периоды подъема и упадка хозяйства на протяжении XVIII столетия. Выявить этапы развития поместья и осветить их с достаточной полнотой Н. Н. Туманович удалось благодаря вдумчивому изучению «Тазкире» («Памятных записок») Мухаммада Барнабади.

Автор, опираясь в основном на персоязычные источники, воссоздал военно-политическую историю Гератской провинции, дополняя историю восточного Ирана и Афганистана отсутствовавшими в ней ранее страницами.

Изданием данной книги Н. Н. Туманович оказала большую помощь историкам, востоковедам, этнографам, всем, кто интересуется историей Средней Азии и сопредельных с ней стран.

**Б. АХМЕДОВ,
Д. ЮСУПОВА.**

Флора Энни Стиил

ВЕНЦЕНОСНЫЙ СКИТАЛЕЦ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

От переводчика:

Творение великого сына узбекского народа Захириддина Мухаммеда Бабура, историческая хроника «Бабурнаме», снискала славу во всем мире, переведена на множество языков. Со временем интерес к этому выдающемуся литературному памятнику не только не ослабевает, но возрастает, что вызвано не только его художественными достоинствами, но и личностью автора — поэта, художника, музыканта, полководца.

В числе ярких произведений, посвященных личности Бабура, — роман английской писательницы Флоры Энни Стиил «Венценокосный скиталец», вышедший в свет в 1912 году. По словам самой писательницы, ее книга не является романом в полном смысле слова или историческим трудом, но представляет собой жизнеописание этого великого человека, основанное на тщательном изучении его собственных мемуаров. Мысль о создании этого произведения возникла у Флоры Энни Стиил во время долгого пребывания в Индии. В предисловии к роману она писала: «Надеюсь, что Бабур простит мне возможные ошибки, как прощал многим при жизни, и не откажет в снисхождении своей самой преданной и пылкой поклоннице».

Предлагаемый вниманию читателей отрывок из романа «Венценокосный скиталец» позволит оценить правомерность авторской самооценки.

Укрепленный город Андижан лежал в лучах жаркого весеннего солнца. За арком¹, в клеверных лугах, простиравшихся от самых его ворот до Кара-Дарьи — Черной реки (притока быстрой Сейхун², что течет через область Фергану), группа мальчиков и мужчин играла в чехарду.

— Ставлю ашрафи³, что он упадет! — вскричал один из наблюдавших за прыгуном.

— Дирхем⁴, что — нет! — возразил другой, у которого было широкое, открытое, добродушное лицо.

— Ага! Ему конец! А что я говорил! — продолжал первый не без удовлетворения, ибо сам метил в победители.

— Как бы не так! — ликующе заметил второй, когда отчаянным усилием прыгуну удалось удержать равновесие. — Положись на него и его удачу! Он выиграет! Бабур победит!

И голос Нойона, молочного брата Бабура, был самым громким в шумном приветствии победителя, когда похожая на лягушку фигурка игрока с растопыренными ногами, успешно перепрыгнув через спины длинной вереницы согнутых слуг, расстав-

¹ Арк — цитадель.

² Сейхун (воды Ходжента) — средневековое название реки Сыр-Дарья.

³ Ашрафи — золотая монета, соответствующая примерно червонцу.

⁴ Дирхем — серебряная монета неопределенной ценности, первоначально соответствовала 1/20 части динара, т.е. примерно около 20 коп. золотом.

ленных — с должным вниманием к сложности — вдоль дорожки на лугу, преодолела наконец последнее препятствие и с торжествующим возгласом «ул-ла-ла!» упала в белый клевер. И там прыгун лежал навзничь, весело глядя в голубое небо.

Фигурка эта принадлежала довольно художавому мальчику, на взгляд европейца, рослому, лет по меньшей мере пятнадцати. Но Бабуру, прямому наследнику этой небольшой области Фергана, шел всего лишь двенадцатый год. Лицо его, тем не менее, было сосредоточенно не по годам, пока он молча лежал в клевере; ибо что-то встало между ним и его игрой, между ним и этим будничным миром. Нечто такое, что часто находило на него при виде голубой небесной шири, узкой полоски голубой реки или даже при виде цветка на берегу той реки.

Как великолепен, как прекрасен он был — этот мир, в котором он поистине играл в чехарду! Клевер, в котором он лежал, — столь душистый, столь мягкий! Точь-в-точь шуба из мерлушек, луг, сплошь покрытый белыми пушистыми шариками цветения так, что едва можно было различить в нем хоть пятнышко зелени.

Шуба из мерлушек! — это было славное сравнение!

А небо напоминало бирюзу, которую люди принесли с высоких гор летом, когда ткачи уже не ткали пурпурную ткань, которая отчего-то всегда смешивалась в его сознании с бледно-голубым цветом. А почему эти оба цвета напоминали разноцветные тюльпаны на горных склонах, оставалось загадкой, разве что одна красота напоминает о другой. В таком случае, однако, память о Фергане будет неистощимой, ибо расположена она, как всякому известно, на краю обитаемого мира и несказанно прекрасна!

Карие с желтинкой глаза мальчика потемнели, пока он мысленно перебирал в уме достоинства своей долины, спрятанной у отрогов Памира.

Покрытые снегом горы обнимали ее со всех сторон, кроме западной; ее бегущие реки; ее фиалки — столь душистые, но не настолько приторно пахнущие, как розы; обилие фруктов! А то, как они извлекали косточки из урюка и вкладывали вместо них очищенные ядрышки в городе Маргинан¹, было воистину замечательно...

— Государь! — прервал его мысли чей-то голос. — Новость, плохая новость!

Голос был задыхающийся, но исполненный участия, и Бабур вскочил на ноги, мгновенно насторожившись. Перед ним стоял гонец, прибывший издалека, недавно мчавшийся во весь опор. И в руке он держал голубой платок: а посему то был вестник смерти.

Смерть? Невероятная в этом прекрасном, радостном мире! Внезапный прилив возмущенной крови, казалось, остановил молодое сердце, буйно требуя свободного протока.

— Ну? — хрипло спросил он.

Ответ последовал, словно удар, глухо, но с ошеломляющей силой:

— Ваш отец, о Государь!

Его отец! И он, Бабур, Государь! В этой спешке осознания сначала появилось неверие.

— Но как?..

Он стоял там, с непокрытой головой, не веря, в то время, как остальные сгрудились вокруг, послушать.

Это была довольно простая трагедия. Омар Шейх, его отец, кормил своих турманов на краю обрыва, на котором стояло укрепление Ахси. Он наблюдал за птицами на фоне голубой пустоты, бросая золотистые зерна, чтобы заставить их выкидывать свои номера, когда земля поползла под его ногами и низвергла его на речные камни вниз. Вот и все. У слушателей были потрясенные лица, но Бабур, даже когда он внимал этому рассказу с выражением смятенного горя, казалось, видел трепетание белых крыльев испуганных голубей, видел это испуганное существо среди них, летящее...

Куда?.. Улетело!.. Чтобы больше никогда не появиться вновь! Но как ясно видел он его сейчас... небольшого роста, тучный, с круглой бородой, скрывающей насмешливый рот... в чалме без складок и с такими длинными концами... в очень узком халате... как часто лопались на нем завязки, и как сердился он на следовавшие за этим детские смешки...

Внезапный порыв раскаяния за эти праздные думы вновь вернул сыновнюю память о доброте отца... к тому же отличный атлет, хотя и посредственный стрелок из лука... но с необычайной силой в кулаках — ни один йигит² не мог устоять под ударом кулака отца...

Последнее слово напомнило о более дорогих узах.

— Моя матушка? — быстро спросил мальчик. — Моя матушка? Как...

И тут подлинный смысл того, что он услышал, дошел до него. Он коротко, резко вскрикнул и рухнул ничком на духмяный белый клевер.

¹ Старинное название г. Маргилана.

² Йигит — удалец.

И вся радость прекрасной жизни покинула его. Нойон, молочный брат, который боготворил его, подошел и скорчился подле него. — Это Божья воля, Государь,— машинально пробормотал он.— Ходжа Кази говорит так, а Ходжа Кази — святой.

Но святость не интересовала мальчишеское сердце, впервые столкнувшееся лицом к лицу с утратой, порожденной смертью.

Тем временем остальные, бородатая знать и широколицые придворные, сгрудившиеся вокруг, опасливо переглядывались меж собой.

Как лучше всего поступить? Времена смутные, а их новый Государь слишком молод. Правитель Сама Канда, правитель Ташкента, его дядя по отцу, уже вступили на тропу войны. Первый находится почти в пределах досягаемости; и эта новость скорее поторопит его, нежели задержит.

В таком случае не разумнее ли укрыться в горах? По крайней мере, до тех пор, пока из похода не будут отозваны Касим-бек, один из самых преданных эмиров, и Хасан Якуб, способнейший из советников?

Но пока они все еще размышляли, Бабур, который даже в таком возрасте не позволял управлять собой, со следами слез на загорелых щеках, внезапно поднялся на ноги. Голос его был тверд.

— По коням!— вскричал он.— Я отправляюсь на защиту своих владений!

Он был уже на своей тонкошейе, с широким крестцом, туркестанской кобыле Зулейхе до того, как слова эти успели слететь с его уст, а две минуты спустя низкие арочные ворота города откликнулись дробным эхом на топот конских копыт, когда — с седоками, низко пригнувшимися в седлах — кони промчались сквозь них потоком из хвостов и султанов. Вот так же множество раз арка откликалась эхом дикой туркменской кавалерии, ибо жизнь в те дни была одной долгой войной или слухами о войне.

— Государь!— сказал Ширим Тагай, подсакав к Бабуру, когда тот натянул поводья на террасе крепости, и схватив его лошадь под узцы.— Этот путь ведет к смерти! Твои дядя замышляют зло! Поедем с нами в горы.

На мгновение мальчик заколебался и поискал глазами далекую синь гор.

Там, несомненно, была безопасность — но как насчет той неизвестной величины — царствования?

Он не имел о нем ни малейшего представления. Его даже не воспитывали так, чтобы он надеялся на царствование. В те дни наследование было слишком ненадежным, чтобы рассчитывать на него. Но теперь это было нечто такое, что находилось в пределах досягаемости. А что, если он лишится его?

По-прежнему лица вокруг него были тревожными, и обладатели их были старыми; они имели опыт. А он был так молод! Как молод, знал он один. И когда он подумал об этом, ему вдруг захотелось громко позвать свою мать, ибо в душе он тосковал по ее ласке.

В тот же момент из арка выбежал пеший гонец, приглашая его войти без страха.

— Это ловушка, Государь!— запротестовал Ширим Тагай.— С нами вы будете в безопасности.

И остальные повторили его слова, так что мальчик заколебался, не зная, что предпринять, пока какой-то старик, сидевший на солнце и бормотавший себе под нос (а длинная седая борода его покачивалась при этом), не произнес пророческие слова, которые дали ему ключ.

— На все Божья воля, как говорят святые.

Пятью минутами позже юный Государь преклонил колени перед Ходжей Кази, святым своей семьи, ожидая его решения. Это был тощий человек с лицом аскета, чьи запавшие глаза, углубленные многими постами, ожесточенные многими думами, но смягченные невыплаканными слезами одинокой жизни, придричливо заглянули в ясные, лишенные теней глаза молодости и оценили характер этого юного лица с тонко очерченными губами, ртом, смягчавшим резкий квадрат подбородка. А Ходжа Кази знал также и душу мальчика. Он наблюдал за ним с рождения и, будучи судьей по роду занятий, точно олень летучую, подвижную живучесть, которая триумфально пронесет его над всеми преградами в чехарде его жизни. Но он также видел и опасности впереди, любил мальчика, как собственную душу; как поистине большинство людей любило Бабура, несмотря на все его недостатки, и в богатстве его и в нужде, в болезнях его и в здравии.

И сей острый наблюдатель заметил, как твердо молодая рука сжимала рукоять сабли. И этого было достаточно для человека, привыкшего взвешивать свидетельства и выносить приговоры.

— Обнажи меч свой, сын мой! И будь тверд!

Предопределение это было воспринято с радостью. Мальчик мгновенно оказался на ногах, и боевой клич его рода зазвенел в закопченном старом зале. Пред ним было царствование.

Но пока еще трагедия смерти туманила его взгляд. Мертвый отец ожидал по-

гребения в Ахси, в пяти йигацах¹ отсюда; но перед тем, как он мог бы отправиться туда, нужно было сделать еще множество приготовлений и новых назначений. Это было, как сон — отдавать приказы, когда всего лишь какой-то час назад он существовал только по воле и с согласия своего отца; как и всякий другой сын в Могулистане, живший в те причудливые, давние времена.

Так что было уже темно, когда он со своим конным отрядом промчался по каменной мостовой, ведущей к возвышающейся на крутом яру крепости Ахси. Слишком поздно, чтобы тревожить женщин, которые, измученные плачем, уже удалились на покой. Но небольшая горстка лекарей в длинных одеждах показала ему мертвое тело отца, лежавшего наготове для погребения на открытых носилках в Тронном зале. Бабур и прежде часто видел смерть, но никогда раньше в таком обличье; со стражниками и горящими факелами, и всеми этими ненужными более царскими регалиями перед этой несчастной, покинутой оболочкой власти.

Она живо поразила его впечатлительную натуру, и тайна и сострадание к ней отправились вместе с ним в сумеречные государевы покои — столь суровые в их древней царственности — в коих имел обыкновение почивать отец его и где самое прикосновение царских стеганых одеял, перенасыщенных личностью усопшего, чье место он занял, казалось, обжигали его молодое тело и не давали уснуть. Но не тревогой и сожалением о делах минувших переполнялась душа его, а острым любопытством к тому, чему суждено произойти в будущем с неким Захириддином Мухаммедом, обычно называемым Бабуrom.

Прямой потомок Тимура, Сотрясателя Мира, так же, как и Великого Варвара Чингисхана, должен ли он последовать по их стопам в завоеваниях? Или он сразу же будет погублен своим дядей Ахмедом из Самарканда? Но почему? Один Бог ведает, ибо он, Бабур, никогда не делал дяде своему зла. Напротив, если он будет жить, то должен будет жениться на его дочери Айше... Тут блуждающие мысли его набрали на воспоминание о том, как дурно ему было, когда он объелся сладостей на церемонии помолвки: это было его самое первое настоящее воспоминание — и было ему тогда пять лет.

Был еще дядя Махмуд из Ташкента. При одном воспоминании о нем даже в темноте щеки мальчика вспыхнули; равно лишенный отваги и скромности, дурного нрава, окруживший себя шутами и бесстыдниками, которые вершили свои безобразные козни прямо у него под носом и даже на людях! — с непривлекательной внешностью, к тому же, косноязычный...

Мальчик, всегда расточительный на эпитеты, нарисовал его портрет беспощадной рукой. Тем временем мысли его перешли на сыновей Махмуда, его двоюродных братьев. Он хорошо знал их, но Мас'уд, старший, был тряпкой, а что же Байсункар? Что же это было, что приоткрывалось порой в Байсункаре? В Байсункаре, который был так обаятелен, так изыскан, так умен и благонравен?

Тут мысль мальчика перескочила, без видимой причины, на его собственную сестру, Любимейшую, как он всегда называл ее, ибо он давал ласковые прозвища тем, кого любил. А он никого так не любил на свете, как эту высококую стройную девушку, на пять лет старше, чем он, которая задирала и ласкала его попеременно. Однако ей воистину следует выйти замуж; глупо было говорить, будто предпочитаешь быть святой девственницей!

Байсункар не говорил подобного, хотя и он также отказывался жениться. Он говорил, что женщины суть излишнее зло. Правда ли это? Но разве это имеет значение, так как он, Бабур, должен будет жениться, ибо является Государем...

Государь! Сделает ли это его счастливее, думал он? Мог ли быть кто-нибудь счастливее его в этом прекрасном мире? А если это сделает его несчастнее? Или лишит жизнь радости?..

Эти праздные мысли никак не оставляли его. Его клонило ко сну, но он не мог заснуть. Вскоре тускло светящийся продолговатый прямоугольник неглазурованного окна заставил его наблюдать за медленным усилением света.

Там на горы, должно быть, нежно опускался безмолвный рассвет, дабы не разбудить мир слишком рано...

Одной этой мысли было достаточно, чтобы полностью пробудить его. Он встал с постели, подошел к окну и подставил свое молодое тело предрассветной прохладе. Сплошные тени! Гуще в долине, светлее на окружающих горах, и еще более светлая, сероватая, прозрачная тень надо всем этим.

Хаак! Это был рассветный крик дикой совы на болоте, и он затаил дыхание, прислушиваясь, словно юный Нарцисс, тогда как вся радость дивной жизни, казалось, вновь наполнила его мир. И он не понял — мало кто понимает это, — что лишь прислушиваясь к собственному эху; к своему «я», которое вновь вернулось к нему от

¹ Йигач — около 6 км.

прекрасных картин и звуков, могущих оставить равнодушным и гораздо лучшего человека, чем он.

И так он ждал и наблюдал до тех пор, пока небо на востоке не осветилось нежным багрянцем и невидимое солнце не окрасило в розовый цвет дальние снега и не отделило белую рассветную мглу от голубых теней гор.

Это был новый день, и там, внизу, над полоской дороги, показались флажки и остря копий. То прибывали сородичи, дабы похоронить мертвого и воздать должное живому.

Это был напряженный день, заполненный до отказа долгой, сложной церемонией. Времени едва хватало на одно лишь крепкое объятие неплачущей матери с неплачущим сыном, тогда как Любимейшая, сестра его, молча стояла поодаль, со следами слез на щеках. Но это не имело никакого значения: эти трое понимали друг друга.

И старая Исан Даулат, его бабка по матери, также отбросила чувства в сторону и, будучи суровой старой блюстительницей правил, велела ему — скороговоркой, что выдавало ее усилие держаться спокойно, — занять место своего отца как можно мужественнее.

И он сделал все, что мог, хотя это было тяжело для его двенадцати лет, ибо от долгой ночи его знобило, а долгий день, с его необходимостью действовать, вымотал его вконец. Так что, когда это тяжкое испытание наконец закончилось и он был волен удалиться на женскую половину, дабы отдохнуть, нервы его были на пределе, пульс бился часто и беспорядочно.

Он застал свою бабку в одиночестве у большого очага. Мать и сестра, также смертельно уставшие, уже легли в постель; наилучшее место, как пророчески заметила старая госпожа, для воспаленных глаз и разбитых сердец. И Бабур понимал, что так оно и положено. Общество этой суровой с виду, но доброй старухи, ее пронизательность и дар предвидения, которые порой вызывали в нем благоговейный страх, лучше помогут ему собраться с духом, нежели слезы, которые должны будут пролиться рано или поздно.

Люди говорили, будто он похож на свою бабку. Так ли это, думал он, лежа ничком на ковре из козьих шкур, наблюдая за отсветами пламени на ее прекрасном старом лице.

— Расскажи мне, — неожиданно сказал он, — историю твоей молодости — о Джемале и о том любовнике, который был убит.

Но Исан Даулат, хотя и улыбнулась, покачала своей мудрой, старой головой.

— Нет, дитя! Такие истории только возбуждают флегму. Они неуместны, когда влага жизни уже выведена из состояния покоя.

Мальчик приподнялся на локтях и взглянул на нее.

— Лечи подобное подобным! Мой пульс успокоится при мысли о том, что у других он бьется учащенно. Послушай мой, бабушка, — как он бьется!

Она взяла тонкое, мускулистое запястье, протянутое ей, и беспристрастно посчитала биение крови.

— Завтра утром я дам тебе слабительное, — коротко сказала она. — Оно скорее остудит твою голову, нежели всякие там истории; нет ничего лучше для горячей мальчишеской крови, чем слабительное.

На лице Бабура появилось выражение капризного упрямства.

— Я не приму его, бабушка, если ты не расскажешь — так-то вот! И государей не должны пичкать всякими снадобьями, как простых мальчишек, понимаешь. И это моя первая просьба к тебе — как Государя.

Нотки почти страха в последних словах были уж слишком для этой старой женщины, которая любила этого мальчика больше жизни. Она ласково тронула рукой его волосы. Они были пострижены на флорентийский манер, до ушей, и концы локонов, слегка завивающиеся, были чуть каштановее оттого, что выгорели на солнце.

— Да что тут разговаривать, родной, разве только то, что даже женщина может поставить силу в тупик своей решимостью. А было это спустя немного лет после того, как мой господин, твой дед, взял меня в жены в ханском шатре моего отца в Степи. Он был сильным, храбрым человеком, мой господин, и как все сильные и храбрые люди, порой воевал и побеждал, а порой воевал и терпел поражение. Ни одна битва не кончается, если только не приходит Смерть, — помни это, о Захириддин Мухаммед! И однажды, когда он потерпел поражение, его жены — а я была одной из них — попали в руки Джемал Шейха, его врага. И он — низкий пес, не имевший понятия о чести — даже не оставил меня у себя! — а я вовсе не была дурнушкой в те дни, дитя мое, — а отослал меня к одному из своих эмиров, меня, жену Юнус Хана, Чагатая, из дома Тимура, Сотрясателя Мира! И так, тот глупец явился разодетый, словно на свадебный пир, с уговорами и благовониями, и я приветливо встретила его. А почему бы и нет? Ибо ужин был хорош, и он сносно играл на сазе. Но когда пир кончился и мы удалились, улыбаясь, во внутреннюю комнату, мои служанки заперли дверь по моему по-

велению, я заколола глупого распутника, и они выбросили его обезглавленный труп из окна в сточную канаву. Там и было его настоящее место.

Голос старухи, который обрел силу и пыл в ходе рассказа, под конец вновь зазвучал тихо и сурово.

— А Джемал Шейх?— спросил Бабур, боясь пропустить хотя бы слово.

— Он послал за мной, и я явилась. «Почему ты совершила это злодеяние?»— спросил он. «Потому что ты поступил еще хуже,— ответила я.— Потому что ты отослал меня, жену живого мужа, в объятия другого. Поэтому я убила его. Убей и ты меня, если пожелаешь».

— Но он не пожелал. «Отведите ее в тюрьму, к ее мужу,— велел он,— и оставьте ее там. Они с мужем, воистину, одна плоть». Так что, я осталась с твоим дедом и поддерживала его до тех пор, пока звезда его не взошла вновь. А теперь ступай в свою постель, дитя, и чтобы принял лекарство без всяких возражений. Помни: Бог не является создателем тех, кто нарушает обещания. Безусловно, ты почувствуешь себя плохо от лекарства; но какое это имеет значение, если результат будет хорош?

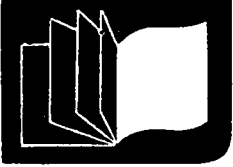
Бабур скривился и рассмеялся.

— Ты сделала мне много лучше своим рассказом, высокочтимая! Боже! Я могу видеть твоего несостоявшегося любовника в сточной канаве и свою высокочтимую бабушку, прекрасную, словно невеста, глядящую сквозь решетку окна на его труп...

— Ступай в постель, дитя,— перебила его старая госпожа, довольная. — Теперь тебе придется видеть не только картины; так что, пусть Великий Создатель государей хранит тебя, свое создание.

И той ночью Захириддин Мухаммед, которого обычно называли Бабуром, позабыл, что стал Государем, в здоровом, без сновидений, мальчишеском сне.

Перевод с английского А. Атакузиева.



Рубен Сафаров

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

Ему было пятнадцать, когда он вступил в партию. Шестнадцать, когда слушал Ленина на третьем съезде комсомола. В 21 год он уже редактировал «Правду Востока». Комсомольский и партийный работник, журналист, помощник Сталина — таковы основные жизненные вехи Филиппа Алексеевича Ксенофонтова — автора двадцати семи научных работ. Погиб он в январе 1938 года, когда исполнилось лишь тридцать четыре. Погиб, не признав себя виновным, не подписав ни одного ложного документа. Он прошел по жизни, суровой и сложной, с завидным оптимизмом, с гордым сердцем, с высоко поднятой головой.

...Сталин не спеша дочитал последнюю страницу рукописи, аккуратно вложил ее в папку, что лежала на его длинном рабочем столе, на некоторое время задумался и удовлетворенно провел по своим пышным черным усам. Затем медленно поднялся с кресла и, следуя своей привычке, стал ходить по кабинету. Мягкие сапоги легко погружались в толстый ворс ковра заглушая звуки.

Сталин думал о рукописи. Да, автор хорошо знает работы Ленина, понимает их суть, глубоко разбирается в том, что выражал Ленин в своих трудах. И что очень важно, сумел оригинально изложить свои мысли, подать Ленина по-своему, страстно и четко.

Сейчас немало людей, размышлял Сталин, кто хочет стать пропагандистом идей Ильича, но вот не у всех это получается. Одним не хватает теоретических знаний, другие просто не знают трудов Ленина, третьим не достает диалектики, метода, с которым надо подходить к анализу и оценке трудов вождя. А четвертые, о, эти, прикрываясь ленинским учением, намерены протащить свою теорию, хотя именем Ленина ниспровергнуть ленинизм. Они даже в Политбюро. Чего стоит, например, Троцкий... Да и другие недалеко от него ушли.

А вот эта, только что прочитанная рукопись, произвела приятное впечатление. Интересная работа, нужная работа.

Сталин подошел к столу, нажал на кнопку вызова. Вошел секретарь с блокнотом и ручкой. Сталин кивнул на стол:

— Кто автор рукописи?

Секретарь Сталина всегда был готов ответить на любой вопрос генерального. Так было заведено с первых дней совместной работы. Если Сталин приглашал на беседу кого-нибудь, то секретарь должен был знать все о визитере, начиная от года рождения. О его профессии, послужном списке, друзьях. О том, где в настоящее время находится этот человек, каковы его планы, и т. д. и т. п. Секретарь хорошо изучил своего хозяина и всегда мог предвидеть, что может его заинтересовать. И проколов никогда не бывало. Впрочем, помощник знал, что прокол может быть лишь раз — второго случая уже не будет, хозяин не потерпит такого сотрудника. Поэтому на вопрос Сталина последовал четкий ответ:

— Ксенофонтов Филипп Алексеевич — редактор газеты «Туркестанская правда». Издается в Ташкенте.

— А сколько ему лет?

— Он, Иосиф Виссарионович, 1903 года рождения.

— Какого? — переспросил Сталин.

— 1903-го, Иосиф Виссарионович.

Сталин внимательно посмотрел на секретаря, удивленно поднял бровь:

— Что же, выходит, Ксенофонтову всего 21 год?

— Именно так, Иосиф Виссарионович.

— Интересно! — Сталин вновь заходил по кабинету своею легкой походкой, не обращая внимания на секретаря.

— Совсем молодой. Всего 21 год. А пишет как умудренный опытом человек. Очень интересно пишет. Хорошо пишет.

Сталин подошел к столу, набил трубку табаком, раскурил и вновь заходил по кабинету, погруженный в свои мысли. Секретарь знал, что его патрон обдумывает решения не спеша. Но вот Сталин наконец произнес:

— Подготовьте товарищу Ксенофонтову письмо, в котором я хочу порекомендовать ему переехать в Москву и присоединиться к группе молодых теоретиков, работающих под руководством товарища Бухарина. Я думаю, что этот товарищ Ксенофонтов — талантливый человек. А именно таких подбирает к себе товарищ Бухарин. Значит, выиграет ленинская теория, выиграет наше общее дело...

Отвек Ксенофонтова на письмо Сталина произвел в рабочем секретариате генсека впечатление разорвавшейся бомбы. Помощники ходили словно в шоке, не зная как поступить с ответом. Этот молодой человек, этот юноша пишет такое... «Не могу принять Ваше предложение, так как со многими теоретическими положениями товарища Бухарина не согласен и имею другую, отличную от него позицию...»

Для растерянности были все основания. В то время Бухарин вместе со Сталиным составляли дуумвират, который по существу предопределял решение многих вопросов. Бухарин разрабатывал и формулировал экономическую политику и идеологические установки, отвечал за теоретические концепции. Сталин, конечно, не упускал из поля зрения проблемы, но свое внимание сосредоточил на организационной работе партии. За выработку политического курса и текущую деятельность Коминтерна тоже отвечал Бухарин, правда, вместе с Зиновьевым.

Бухарин пользовался славой непревзойденного марксистского мыслителя, был кумиром молодых большевиков, считавших его «теоретическим Геркулесом». Он был почитаем в учебных заведениях партии, пользовался огромным влиянием и как партийный мыслитель, и как политический руководитель. И еще одно важное обстоятельство — в партии все знали про дружбу Сталина с Бухариным, что Сталин любил Бухарина. Об этом генсек не раз открыто заявлял. А люди Сталина говорили о школе Бухарина не иначе как о ленинской школе.

И тут вдруг такой ответ.

Но деваться было некуда, и письмо Ксенофонтова легло на стол генерального секретаря. Сталин дважды прочитал ответ, усмехнулся, покачал головой:

— Ишь какой! С характером, со своим мнением! А всего-то 21 год! А что, может быть, и хорошо: имеет свою точку зрения, отстаивает ее.

— Сообщите товарищу Ксенофонтову, — бросил Сталин секретарю, — что я одобряю его рукопись о Ленине и рекомендую ее к печати. Причем, можете отметить в письме, что положения, изложенные в его рукописи, совпадают с положениями моей книги о Ленине и ленинизме, над которой я сейчас работаю.

Помощники знали, что Сталин много читает. Читает все. Художественную, военную литературу. И особенно политическую. Читает не только вышедшие книги, но и рукописи. Делает это внимательно, дотошно. По политическим работам всегда высказывает свое мнение. Строгое, аргументированное. Тогда Сталин еще допускал возможность спора с ним не только вождей партии, но и рядовых ее членов, вступал с ними в устную или письменную полемику. Но и тогда не всякий решался на дискуссию. И неслучайно. Сталин прекрасно знал все работы Ленина. Кроме того, у Сталина, как ни у кого, была железная логика рассуждений, которая сжимала в тиски, расплющивала любого оппонента. Даже Троцкий, Каменев, Зиновьев признавали крепость и мощь сталинских рассуждений хотя не видели в нем теоретика.

Сталин говорил мало и не произносил обидных слов, но сам болезненно реагировал на все, что шло вопреки ему. И если Сталин повел бровью, то это означало, что он недоволен. В такие минуты его взгляд становился тяжелым. От него у подчиненных пробегали мурашки по коже. У генсека была феноменальная память. Он ничего не забывал.

А вот с Ксенофонтовым совсем другое. Приближенным показалось, что Сталину даже понравился отказ молодого редактора сотрудничать с одним из вождей партии. Да что с Бухариным. Отвергнуто даже его, товарища Сталина, предложение. Впрочем, отказано — то по причине несовместимости взглядов с Бухариным. Это же другое дело. Может быть, поэтому отказ не вызвал гнева, а рукопись была рекомендована к выпуску в московском издательстве.

Размышляя над ответом Ксенофонтова Сталину, трудно объяснить: откуда такая смелость? Может, молодой редактор действительно не боялся гнева Сталина, и, может быть, в ту пору еще возможно было излагать свою позицию открыто, честно, не боясь гонений или сложностей по работе. Скорее всего: и то, и другое. Для нас важны оба обстоятельства. В партии всегда были люди, которые не боялись говорить правду. И в партии было время, когда каждый мог отстаивать свою точку зрения, высказывать мысли, отличные от мыслей лидеров и вождей, когда были не одни «бурные», переходящие в овацию, аплодисменты и «единогласное голосование».

Тогда молодой Ксенофонт был горд поддержкой лидера партии. В искреннем порыве он решил посвятить свой труд именно ему, товарищу Сталину, — ученику и соратнику Ленина. Шел 1924-й год. Еще были свежи в памяти слова клятвы, произнесенные Сталиным в дни похорон Ленина, партия только пришла в себя после тяжелой утраты и, дав слово вести страну по ленинскому пути, осуществляла основы социалистических преобразований. А у руля партии стоял Сталин. Ксенофонт верил в Сталина, полностью разделял его линию в борьбе с Троцким, другими врагами учения Ленина.

Людей, подобных Ксенофонтову, тогда было большинство. Сомнений в правоте Сталина не было. Они появились позже.

Польский писатель Игорь Неверш, знавший Филиппа Ксенофонтова лично, в своих воспоминаниях о девятнадцатом годе напишет такие слова: «На трибуне Ксенофонтов, это удивительное дитя симбирского комсомола. С гривой светло-рыжих волос, ростом с десятилетнего ребенка, хотя шел ему шестнадцатый год, детский ротик, взгляд полководца и голос, в котором гремела живая правда, возносившаяся, словно знамя, над толпой. В зал, полный молодежи, набились и взрослые. А Ксенофонт в этот вечер говорил о великих задачах молодежи в великую эпоху, когда рушится старый мир».

На Ксенофонтова шли. Его имя было широко популярно в те годы не только среди молодежи, но и среди взрослых. Этот необыкновенный парнишка умел доходчиво рассказать о самых злободневных событиях дня, четко ответить на самые жгучие вопросы. Поэтому на митинги и собрания, где выступал Филипп Ксенофонт, шли все.

Не могу не привести слова А. Уральцева, который знал Ксенофонтова в те далекие годы: «В двадцатых числах марта 1919 года в Симбирском пролетарском университете состоялся митинг... На сцену актового зала вышел небольшого росточка, но с осанкой взрослого, красивый пятнадцатилетний мальчик. По залу прошел глухой шум. На лицах слушателей выразилось явное недоумение: что, дескать, сможет сказать нам этот совсем зеленый мальчишка?»

Но вот мальчишка заговорил. С трибуны полилась не свойственная подростку твердая, уверенная и выразительная речь бывалого оратора...

— Я пришел к вам по поручению губкома партии, — начал он мальчишески звонким баритончиком. — Среди жителей города мутным потоком разливаются панические и провокаторские слухи о том, что будо крестьянство губернии восстало против Советской власти, что на Симбирск из соседних уездов движется огромное войско, готовое вот-вот осадить город, что от Уфы к Мелекессу неудержимой лавиной подходит белая армия адмирала Колчака. «Симбирск снова в кольце!» — злорадно шепчут по закоулкам обыватели. «Посмотрим, как выкрутятся большевики из этого пикового положения!» — шипит по углам контрреволюционное охвостье. Вот мне и поручено в связи с этими вздорными слухами разъяснить всем истинное положение вещей в нашем городе, в губернии, а также и в республике!»

Уральцев далее пишет, что такое прямолинейное выступление Ксенофонтова по вопросу, который волновал всех в связи с мятежами в ряде мест, сразу повысило интерес к оратору. Ксенофонт же уверенно, голосом, приобретшим какой-то металлический оттенок, продолжал говорить. Юный оратор сообщил, что мятеж уже подавлен. Что касается войск Колчака, то они на всем Восточном фронте получают возрастающий отпор Красной Армии.

Откуда же взялся этот талантливый парнишка?

У батрачки Пелагеи Ксенофонтовой жизнь сложилась тяжело. Муж пропил земельный надел, бросил семью и уехал из Тагая — села, что в сорока верстах от Симбирска и в двадцати от ближайшей станции железной дороги. Привлекательная, умная, трудолюбивая, она так больше и не вышла замуж — уж больно бедна была, да и имела при себе троих малых деток. Вот и пошла батрачить, чтобы как-то прокормить семью.

Пришло время, и Филипп пошел в школу. Мальчик поражал учителя и сверстников неумемной тягой к знаниям, легкостью восприятия, не по годам серьезным отношением к учебе. По всем предметам он получал отличные отметки, единственное, что ему никак не давалось — так это пение. По этому предмету он так никогда и не получил пятерку — у мальчика отсутствовал музыкальный слух. Но самое занятное — Филипп очень любил петь, проявлял в этом деле поразительное усердие.

Филипп быстро научился читать, да с таким выражением, что у мужиков и баб

слеза прошибала, когда маленький чтец наизусть декламировал «Дедушку Якова», «Шел вчера я мимо школы» или «Деда Мазая и зайцев».

Звонкий голосок юного грамотея нередко доносился и из церкви — это священник Алмазов, гроза тагайских школьников, заставлял читать псалтырь. Уж больно складно читал Филипп по древнеславянскому, не мог послушаться его священник, да и крестьяне, любившие и гордившиеся своим земляком, не раз уговаривали его почитать «чево-либо».

Размеренная жизнь Ксенофонтовых была нарушена чрезвычайным событием. Оно, как ни странно, было связано с царствованием дома Романовых. В 300-летний юбилей на уезд была объявлена вакансия в Симбирскую гимназию. От тагайской школы послали Фильку Ксенофонтова. Экзамены он сдал блестяще, но в школу его не «приняли по анкетным данным» — «сын незаконнорожденного».

С горькой обидой возвратился Филипп домой, но делать нечего — зимой сельская школа, летом помощью матери — в семье он один мужик. Нанимался жнецом, гонял одноконную подводку.

Но вот окончена и сельская школа. По настоянию учителя, увидевшего в Филиппе незаурядного мальчугана, мать отдает сына в церковно-приходскую школу. Здесь, в этой школе, от одного из учителей Филипп впервые услышал о существовании революционного движения, революционных партий. Этот учитель выписывал прогрессивную газету, и Филипп дважды в неделю бегал на станцию, что в семи верстах от села, чтобы иметь возможность почитать ее.

Февральская революция застала 14-летнего Филиппа в родном Тагае. Непокойно в селе, бурлит и волость. Внимательно ко всему присматривается смысленый юноша, выбор для себя он уже почти сделал. И когда летом 1918 года в Тагай приходит вооруженный отряд красногвардейцев, молодой Ксенофонтов сближается с бойцами отряда.

Командир отряда забирает Ксенофонтова с собой в Симбирск. Симбирск в этот период — средоточие бурной политической жизни, важный участок Восточного фронта. Проводились субботники, уходили на фронт отряды.

Ксенофонтов упоен жизнью. Он в гуще всех событий. Юноша не хочет отставать ни в чем от старших товарищей. В ноябре 1918 года он участвует в организации союза учащихся-коммунистов III Интернационала. Стал коммунистом. К тому времени он уже был постоянным докладчиком и агитатором губкома партии, членом горкома комсомола, а затем его секретарем. Да, было трудно. Но Ксенофонтов всегда был жизнерадостен и деятелен. Слова «революция требует жертв» для него не были просто лозунгом.

Ксенофонтов был делегатом II Всесоюзного съезда РКСМ, на котором выступал дважды: по отчету ЦК РКСМ и делал доклад на секции по работе в деревне. Съезд принял резолюцию по работе с крестьянской молодежью, составленную Ксенофонтовым.

«Глядели товарищи на своего Фильку, — вспоминают те, кто был знаком с Ксенофонтовым, — и удивлялись: только один год прошел с тех пор, как он покинул родное село Тагай и приехал в Симбирск. Но как круто изменилась вся его судьба, какое высокое место занял он в жизни! Из полубеспризорного мальчишки, сына измученной тяжким трудом батрачки он стал одним из активнейших в Симбирске молодых коммунистов, одним из основоположников Симбирской губернской организации РКСМ, популярным молодежным трибуном, первым в губернии комсомольским журналистом».

В конце 1920 года Ксенофонтов избирается секретарем и членом бюро Симбирского укома ВКП(б): в жизни 17-летнего юноши наступил новый этап общественно-политической деятельности.

...1921 год, закончилась гражданская война, на повестке дня новые, мирные задачи. Ксенофонтов едет в коммунистический университет имени Я. М. Свердлова. Настойчивость, упорство, большие способности позволяют молодому слушателю быстро восполнить пробелы в образовании, общей культуре. Здесь он корпит над трудами Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Гегеля, политических деятелей, юристов. Прекрасная память сохраняет все прочитанное, а самостоятельное осмысление революционного наследия позволяет находить правильные решения. Ксенофонтов не замыкался кругом университетских интересов. Его волнуют политическая жизнь страны, перспективы ее развития, международные проблемы. Он участвует в дискуссиях, подчас ему «достается» в них, но Ксенофонтов ясно видит цель и идет к ней настойчиво, смело и задорно.

Учеба идет к концу. Дипломная работа Ксенофонтова «Государство и право» произвела на преподавателей большое впечатление. Было принято решение издать ее отдельной книгой. Предисловие пишет Крыленко, нарком юстиции: «Прошло пять-шесть лет и новые ученые народились. У них есть молодой задор, энтузиазм, жажда знаний, страстность бойцов и воля все знать... А ошибутся — тоже не беда. Ломка классовый борьбы их поправит. Мы не боимся сказать: пусть ошибутся в делах, лишь бы был правилен основной путь...»

Свою первую научную работу Филипп Ксенофонтов посвящает матери, Пелагее Никитичне: «Матери моей, дочери крестьянина-батрака, проводшей три четверти жизни в батрачестве, посвящает эту работу сын, разделивший с нею вместе часть этой участи».

Пролетели три года учебы. Поезд везет Филиппа в далекий Ташкент. Три с половиной тысячи километров, пять суток в пути. До Самары за окном знакомый ландшафт — лес, речки, поля. А вот уже позади и Волга. После Оренбурга пошли серо-желтые пески, куда ни кинь взгляд — путыня. Но скоро Ташкент. Мелькнули островки алых маков, диких тюльпанов, дальше пошли ухоженные заботливыми руками зеленые поля, густые сады.

Еще в поезде Ксенофонтов расспросил попутчиков, как добраться до центра, подхватив легкий чемоданчик, сел в трамвай. Ташкент понравился Филиппу. Широкие зеленые улицы, деревья в два ряда по обеим сторонам, арки, полные воды. Высокие одноэтажные дома с садами.

А вот и здание Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Филипп идет к секретарю ЦК Иосифу Михайловичу Варейкису. Они обнимаются, беспредельно рады встрече. Еще бы! Варейкис в 1918—1920 годах был председателем Симбирского губкома РКП(б). Это он первым дал 15-летнему Филиппу рекомендацию в партию, по-отечески внимательно следил за его работой, всячески помогал. Ксенофонтов любил Иосифа Михайловича — в нем нравилось все: пышные усы, кудрявая шевелюра, красивое лицо. Но особенно ценно было то, что Варейкис не жалел времени, чтобы не спеша, толково и внятно объяснить молодым коммунистам ту или иную ситуацию, помочь найти правильное решение. Филипп Ксенофонтов на всю жизнь сохранит беспредельное уважение к этому авторитетному государственному и партийному деятелю, постоянно будет обращаться к нему и всегда получать дельные советы.

Ксенофонтов направляется на работу в Ташкентский горком партии. С большим интересом изучает он жизнь большого восточного города, находит здесь многих друзей среди узбеков, русских, казахов, таджиков. Он часто выступает на городских собраниях, ввязывается во все дискуссии. Как-то он поспорил даже с самим Валерием Ивановичем Межлауком, находившимся в Ташкенте в командировке. Спор получился острым, и многие не одобряли позиции Ксенофонтова: всего 21 год ему, а спорит с самим Межлауком — революционным комиссаром, ответственным советским работником, за плечами которого огромный опыт общественной деятельности.

Но Межлаук по-другому отнесся к спору. Он увидел в Ксенофонтове умного человека с неординарным мышлением, умеющего постоять за свои взгляды. Межлаук сказал об этом Варейкису и добавил:

— У тебя в городе сидит талантливый парень, а в отделе печати вакансия. Почему бы не утвердить туда на это место Ксенофонтова. Польза же для дела будет большой. Подумай над этим.

Варейкис и сам это понимал. Ксенофонтов энергичен, грамотен. Он, конечно, способен на большее. Но что мог поделаться Варейкис? В личном деле Ксенофонтова стояла пометка о том, что из-за участия в троцкистской дискуссии он не может быть использован на ответственной партийной работе.

Варейкис сказал об этом Межлауку. Тот в сердцах махнул рукой: бросьте вы все это — не все же ему с клеймом ходить. Кто не ошибается, если думает самостоятельно. Наше дело помогать исправлять ошибки. А ответственность возьму на себя.

Вскоре Ксенофонтов был во главе отдела печати, а осенью 1924 года стал редактором газеты «Туркестанская правда», переименованной затем в «Правду Востока».

До Ксенофонтова редактором «Туркестанской правды» был опытный журналист Майберг, вынужденный уехать из Ташкента из-за болезни жены. Коллектив редакции привык к своему руководителю и сожалел об его отъезде. А тут еще новость: редактором приводят парня в 21 год. Какой из него руководитель? Работники редакции решили устроить своему новому руководителю obstruction. Они умышленно первые два номера газеты выпустили небрежно, с неграмотной версткой, с неряшливо вычитанными материалами.

Ксенофонтов понял, что к нему отнеслись с предубеждением и хотя бы проверить, владеет ли он умением вести газету. На очередной «летучке» он открыто заявил, что неудовлетворен выпуском последних номеров и теперь сам будет участвовать в макетировании газеты и вычитке материалов. Почти целую неделю он не выходил из редакции и типографии. «Этот парень — взрослый журналист», — заключили в редакции. А через некоторое время новый редактор уже не только сам писал острые материалы, но подсказывал сотрудникам интересные темы.

Руководство столь крупной газетой потребовало от Ксенофонтова невероятных усилий. Но молодой редактор был захвачен работой. И, глядя на него по-новому, с еще большим желанием работал весь коллектив. Его ядро составляют Краснин, Зуев, Кугель, Рогов, Шушанов, братья Воробейчиковы, Исакович, Вогман... Расширяется сеть рабкоров, появляются литературно-исторические очерки, острые фельетоны на внут-

ренние и международные темы, перепечатываются статьи из журналов и газет коммунистической прессы Запада...

Интересная, творческая жизнь. Ежедневные «пятиминутки» подчас превращались в зазорные дискуссии, едкие, колкие, но всегда товарищеские шутки. Редакционный улей гудел до позднего вечера: обсуждение статей, споры, смех. Ксенофонтов задерживался в редакции, готовя статью или ожидая первого оттиска газеты. Журналисты нередко подшучивали над своим редактором. Они даже опубликовали на него дружеский шарж, сопроводив таким текстом:

Он пишет много, день за днем:
О ленинизме, о бюджете,
О том, что умер лорд Керзон,
Пропагандирует заем,
Ну, словом, пишет обо всем,
Что ждет рабочий от газеты.

Ксенофонтов любил шутить и сам понимал шутку. Он всегда гордился своими коллегами. И почти все они погибли в 37-м году. Только Саша Воробейчик избежал трагической участи, уехав в 1934 году на работу в «Медицинскую газету». Да, еще и Вогман, ответственный секретарь редакции. Но и ему не повезло. Во время войны он оказался в Сталинграде, где с последним парходом провожал жену и двух сыновей. В последнюю минуту младший сын сбежал с теплохода, отказавшись уехать от отца. Теплоход отошел от причала, а Вогмана с сыном накрыл артиллерийский снаряд.

Здесь же, в редакции «Правды Востока», Филипп знакомится с врачом Татьяной Немоловской. Они пронесут свою любовь через все 13 лет, что им отпустило время на совместную жизнь.

Нелегкие редакторские обязанности не мешали Ксенофонтову заниматься научной деятельностью, популяризовать произведения Маркса, Энгельса и особенно Ленина. В 1924 году молодой автор издает брошюру «Ленин и империалистическая война 1914—1918», в которой убедительно и доступно разъяснил ленинское определение империализма, показал причины краха Второго Интернационала, политику революционной партии пролетариата в войне.

В том же году Среднеазиатское государственное издательство выпускает отдельную главу книги Филиппа Ксенофонтова о Ленине. В предисловии автор разъясняет, что на издание этой главы он решился после положительной оценки тов. И. Сталиным всей книги, которая должна выйти в Москве. Издание отдельной книжки здесь, в Ташкенте, вызвано большим спросом на ленинскую литературу.

Работа поражает своей смелостью. Автор вступает в открытый теоретический спор с самим Львом Троцким. Не забудем, что шел лишь 1924 год, Ленина уже не было, а Троцкий являлся членом Политбюро и троцкизм представлял собой реальную, ошутимую силу. Анализируя работы Троцкого «Основные вопросы революции» и «Итоги и перспективы», Ксенофонтов показывает, насколько противоположны их положения теории Ленина.

В споре о том — революции «делаются» или революции «приходят» — Ксенофонтов на стороне Ленина: революция делается, ибо к ней нужно готовиться и нельзя сбрасывать столь важное условие ее как субъективный фактор.

В конце 1926 года Ксенофонтов был приглашен в ЦК ВКП(Б) и назначен помощником Сталина по печати. Он с интересом изучает печать страны, обрабатывает обширный материал и регулярно представляет его генеральному секретарю. Но вскоре, как пишет Татьяна Немоловская, я заметила в нем какую-то неудовлетворенность. Его тяготила аппаратная, чисто исполнительская работа. Скованность и ограниченность собственной инициативы Филиппа не устраивали. Он по характеру остро нуждался в общении с простыми людьми. И об этом несколько раз говорил Сталину, просился на самостоятельную работу. Однажды тот не сказал свое часто повторяемое при несогласии кого-либо с ним «хуже будет», а с улыбкой в усы заметил: «Что, Ксенофонтов, социализм в одном районе решил построить? Ну, попробуй».

Ксенофонтов едет в Саратов, где работает секретарем горкома партии. Через год он в Харькове — заместитель заведующего отделом ЦК Компартии Украины. Однако в связи с дискуссией по бухаринской трактовке крестьянского вопроса его отстраняют от должности. Ксенофонтов протестует и его восстанавливают на работе.

Затем Филипп Ксенофонтов редактирует в Самаре «Волжскую коммуну», подумывает об Институте красной профессуры. В это время на голову Ксенофонтова сваливается неприятная история. Его вызывают в ЦКК по поводу его частного письма, написанного своему другу члену ЦК, в котором содержится критическая оценка отдельных партийных работников. Это письмо Ксенофонтов не успел отправить — его выкрал один из сотрудников редакции, которому было предложено из-за профессиональной

некомпетентности перейти на хозяйственную работу. Ксенофонтову вынесли строгий выговор. Он протестует, доказывает, что член партии имеет право устно или письменно высказывать свое мнение о любом работнике, тем более его письмо адресовано члену ЦК. Через месяц наказание было снято и Ксенофонтову разрешили поступить в Институт красной профессуры. Одновременно он работает заместителем редактора газеты «Водный транспорт», сотрудничает в «Рабочей газете».

В 1932 году Ксенофонтова отзывают из института и направляют на работу в Средневожжский край, где он руководит агитмассовым отделом, а затем — отделом сельского хозяйства, являясь и членом бюро крайкома партии. Он изучает жизнь села, надолго выезжая в районы, пытается глубже разобраться в политике коллективизации сельского хозяйства. Работает страстно, вдохновенно. Иногда принимает скоропалительные решения, но находит мужество честно и открыто признавать свои ошибки. За эти ошибки он справедливо был битым, но чаще ему доставалось вовсе ни за что. Ксенофонтов находил в себе мужество быть выше личных обид. Стистнув зубы, он работал еще увереннее. Он добивается поставки колхозам новой техники, занимается подготовкой кадров для деревни.

С самого начала 1936 года Ксенофонтов стал замечать, что вокруг него стало создаваться какое-то кольцо не то осуждения, не то недоверия. Он отгонял от себя мысли об этом, но, сопоставляя факты, вновь приходил к выводу о том, что творится что-то неладное. В середине года его вдруг выводят из членов бюро крайкома, отстраняют от заведывания отделом сельского хозяйства и направляют на хозяйственную работу — начальником масличного управления. Ксенофонтов находит в себе силы для шуток: раньше я был всего-навсего заведующим отделом, а теперь начальник целого управления! Звучит-то как, престиж какой!

Но кольцо вокруг него продолжало сжиматься, обстановка становилась тяжелой, а вскоре невыносимой, угрожающей. Ксенофонтов оказался перед лицом событий, которых не мог осмыслить. Нет, он растерялся, он верил в силы партии, но не находил объяснений создавшейся ситуации. Ни у кого он не мог добиться вразумительного ответа: в чем его обвиняют, почему во многих вопросах его обходят, ведь, хотя и вывели из состава бюро, членом крайкома партии оставили. После долгих раздумий, не найдя ни в чем своей вины, Ксенофонтов пишет протестующее письмо в ЦК, где требует объяснения тому, что происходит в партии, в чем конкретно обвиняют его самого.

Ответ не заставил себя долго ждать.

16 марта 1937 года у Татьяны Владимировны был операционный день. По установившейся практике, в клинику в этот день приходили как можно раньше, чтобы загодя провести обход больных и основательно подготовиться к операции. Татьяна Владимировна ушла в тот день из дома в половине седьмого.

В десять утра за ней пришла машина. Шофер сказал, что ему позвонил Ксенофонтов и просил срочно приехать домой. Жена решила, что мужу пришел ответ из ЦК и он немедленно хочет поделиться радостью с ней. Дверь открыла приходящая домработница Глуша, на ее лице — выражение отчаянного горя. В передней много пальто, шинелей. «Может, Филипп попал в аварию и собрались врачи», — мелькнула мысль. Филипп стоял у полок с книгами, бледный, взволнованный, окруженный военными. Увидев жену, строго сказал: «Татьяна, будь совершенно спокойна. Прошу тебя. Я арестован».

Следователь Кр. вой недовольно заметил Немоловской: мы ждем вас уже три часа. «У нас во время операции ни разговоры, ни вызовы не разрешаются», — спокойно ответила Татьяна Владимировна.

Через два часа после того, как увели Ксенофонтова, в доме раздался телефонный звонок — мужу разрешили позвонить домой: «Татьяна, возьми себя в руки. Работай, пожалуйста, нормально. Я уверен, что все разъяснится, так как никакой преступной деятельности я не вел. Так что скоро опять мы будем вместе. Не забывай матери».

Через месяц после ареста Немоловской позвонил начальник следственного отдела Деткин и сообщил, что Ксенофонтова увозят в Москву, поэтому ему надо привезти необходимые вещи. Передав вещи, Немоловская увидела «черный ворон», стоящий у железных ворот. «Наверное, эта машина за Филиппом», — решила женщина и стала ждать, что произойдет дальше. Чутье ее не обмануло. Через некоторое время несколько военных вывели Ксенофонтова, серого, похудевшего, измученного. Он заломил кверху кепку, поднял голову к небу. Услышав крики жены — «Филипп, Филипп!» — вздрогнул, успел только громко сказать: «Езжай жить к своей маме». Ксенофонтова быстро втокнули в машину. Эта встреча была последней.

Татьяна Владимировна, бросив все, поехала в Москву. Обошла все тюремные заведения, начиная с Дзержинской площади. Стояла по много часов в очередях у тюрем. И везде один ответ: не числится. Вспомнила, что в ЦКК работает товарищ Филиппа — Квантковский. Она позвонила ему и рассказала о случившемся. И добавила, что не примет за обиду, если он не сможет помочь, так как она прекрасно понимает

ситуацию. Квантковский разыскал Филиппа в центральной тюрьме. Татьяна Владимировна сумела передать мужу немного денег — ничего другого не принимали. Но вскоре Ксенофонтова перевели в Лефортовскую тюрьму, о порядках в которой ходили страшные слухи. С этого момента всякие сведения о муже перестали поступать.

Позже, находясь в Сызранской тюрьме, Немоловская услышала горькие вести о муже. Один из заключенных, приговоренный к высшей мере наказания, замененной затем десятью годами, сообщил, что он сидел в соседней камере и ему стало известно, что под тяжестью доносов и пыток Ксенофонтов потерял рассудок. То же самое повторил один из секретарей райкома, сидевший вместе с Ксенофонтовым. Лишь спустя 19 лет, в 1957 году, при оформлении реабилитации Немоловская узнает, что ее мужа не стало 17 января 1938 года, он погиб под следствием, не выдержав пыток.

Об аресте Филиппа Немоловская не сообщила никому. Не хотела волновать ни свою мать, ни мать мужа. Но вдруг к ней в общежитие приезжает Пелагея Никитична. Немоловская не могла представить, как эта женщина могла решиться ехать одна. Оказывается, за ней приехал какой-то военный. Он сообщил ей об аресте сына и обещал свидание.

Немоловская спешила в клинику, попросила свекровь побыть в комнате и никуда не отлучаться. Однако, вернувшись с работы, она не застала матери мужа. Портые объяснила, что приходил какой-то энкеведист и они вместе ушли. Немоловская тут же позвонила следователю и спросила, где мать Ксенофонтова. Он ответил, что она находится у него и после допроса ее отпустят. Несколько часов мытарили неграмотную, измученную горем женщину. Ее, которая не жила вместе с сыном, спрашивали о Каме-неве, Зиновьеве, Радеке. Неграмотная женщина эти фамилии слышала впервые, не знала, что это за люди, не могла понять, чего от нее хотят следователи и что плохого совершил ее сын, с которым обещали свидание. Она полагала, что при встрече с Филиппом все уяснит для себя.

Свидания ей, конечно, не дали. Когда за ней пришла Немоловская, то первое, что произнесла Пелагея Никитична, было: «Что, Таня, Советской власти уже нет?» Вместе с потерей сына рушилась вера в справедливость, рушилась вся жизнь.

...В марте 1948 года Татьяна Владимировна получила из Тагая телеграмму. «Скоро умру, приезжай вместо Филиппа». Она приехала вовремя. Через неделю Пелагея Никитична скончалась, унеся с собой неутешное горе, обиду за судьбу сына и ничего не поняв, что происходит на белом свете.

Через четыре дня после ареста мужа Татьяне Владимировне предложили освободить квартиру, и даже дали комнату в общежитии для приезжающих в район работников, но вскоре предложили освободить и общежитие. Немоловская запротестовала. Состоялся суд, принявший решение: выселить без предоставления жилплощади.

В июле 1937 года Немоловская вынуждена была подать заявление об уходе из клиники — настаивал НКВД. Через несколько месяцев ей вдруг предлагают работу врача в амбулатории кирпичного завода, что в нескольких километрах от Куйбышева.

Приехав на завод, Немоловская оформила документы и уже должна была выйти на работу. Но ее арестовали. Это только на словах Сталин говорил, что родственник за родственника не в ответе, что дети не отвечают за родителей что каждый несет ответственность за свои дела. В жизни было иначе. Жена врага народа — тоже враг. Немоловская убедилась в этом еще раз, когда оказалась в камере-свинятнике, где находилось 70 или 80 женщин.

Татьяна Владимировна вспоминает об этих тяжелых днях: «В ночь на 4 октября около часа ночи пришли за мной. К аресту отнеслась более чем спокойно. К этому времени уже начали арестовывать жен партийных работников. Чувствовала, что вот-вот должны придти за мной. Поэтому моя свобода в то время была только кажущейся и потерять ее было даже облегчением. Кроме того, мне думалось, что я буду ближе к Филиппу, смогу скорее с ним увидеться.

Ввиду моего совершенно спокойного поведения, следователь, арестовавший меня, высказал мне свою признательность — ему при аресте приходилось сталкиваться с тяжелыми сценами. Воспользовавшись этим, я попросила его взять на себя труд передать Ксенофонтову бурки. Закончив обыск, меня посадили в легковую машину и с двумя сопровождающими повезли в неизвестном направлении. Было около 5 часов утра, когда машина пошла по деревянному настилу, и один из сопровождающих сказал: «Вот здесь и кончается ваша свобода».

На следующий день пришел вчерашний следователь и вежливо сообщил, что мою просьбу выполнил и бурки Ксенофонтову передал. Так ли это было или не так — не знаю, но этого человека я вспоминаю добрым словом.

В камере я встретила многих знакомых жен коммунистов, работавших в Куйбышеве. Кажется, следователи не обошли своей «милостью» никого. С удивлением увидела здесь 17-летнюю дочь председателя Крайисполкома Машеньку Полбицину, арестованную вместе с матерью. Вот и не отвечает «дочь за отца».

Жену Проценко, работавшую заместителем у Ксенофонтова в крайком партии, вызвали как-то на допрос и возвратилась она лишь через две недели со «следами» допроса и горькими вестями о том, как зверски выбивают показания. Там, на допросах, она узнала, что Ксенофонов сидит в одиночке, из его камеры слышатся крики, но он ничего не подписывает и все обвинения категорически отвергает.

Немоловская потребовала свидания с мужем, ей неоднократно обещали. Но время шло, а свидания не давали. Тогда Немоловская объявила голодовку. Чтобы не думать о еде и особенно о воде, Татьяна Владимировна рассказывала подругам о Ташкенте, Чимгане, о восточной природе, базарах. Вместе с товарищами по камере читала стихи Некрасова, Лермонтова, Есенина.

21 января, в день смерти Ленина, Немоловскую потребовали к выходу. Идти было трудно, ноги не слушались, от голода кружилась голова. Но была надежда на встречу с мужем и эта надежда придавала силы. В кабинете, куда ее привели, находился следователь, приехавший из НКВД. Он спокойно и даже вежливо объяснил, что сейчас ни о каком свидании с Ксенофоновым не может быть и речи, так как он отправлен в Москву. В подтверждение своих слов показал документ. Немоловская поверила в правдивость следователя. Но не из-за документа. На стене висел портрет Ленина.

В тюрьме сидели и политические, и уголовники. Здесь находились те, кого ждала «вышка», и те, кто должен отбыть на этап. Высшую меру наказания готовился принять и заведующий аптекой города Чапаевска, который рассказал Татьяне Владимировне о том, что здесь он виделся с Ксенофоновым, но о дальнейшей его судьбе ничего сообщить не может.

В один из дней арестованных вывели из камер и выстроили в колонну. Раздался приказ: встать на одно колено. Немоловская и рядом стоявшая с ней женщина отказались выполнить приказ. Охранник побежал за начальником этапа: что делать, все — мужчины и женщины — на коленях, а эти две... Начальник этапа бросил: черт с ними, пусть стоят.

Каждому арестованному задавали вопрос: осужденный или подследственный. «Подследственная», — ответила Немоловская. «Нет, — поправил ее охранник, — осужденная». Когда осуждена, кем и на какой срок — никто об этом ей не сообщал, да и суда ведь никакого не было.

Место назначения Немоловской — Ташкентская тюрьма, что находилась тогда на улице Энгельса, недалеко от Алайского базара. Когда «воронок» подвез арестанток к воротам тюрьмы, мальчишки на улице стали кричать: воровок привезли, смотрите, воровки. Немоловская подняла воротник, опустила на лицо косынку — не дай бог увидят знакомые.

В Ташкентской тюрьме Татьяну Владимировну вызвали к начальнику, и он сообщил, что по решению московского особого совещания она приговорена к пяти годам ссылки в Самарканд.

В номере вместе с Немоловской сидела женщина-узбечка. Она, узнав о том, что Татьяне Владимировне ехать в Самарканд, предложила написать на рубашке записку своей родственнице. « В случае нужды обратитесь к ней, она поможет ».

Через две недели этап доставил Немоловскую в Самарканд. А еще через десять дней повели в центральное управление, чтобы оформить ссылку. На вопрос — Где и на что жить? — следователь ответил: мы — не собес, устраивайтесь где хотите. Немоловская села на скамейку около здания НКВД и стала размышлять: что делать. Решила пойти по адресу, полученному в Ташкентской тюрьме. Хозяйка дома встретила приветливо. Немоловская рассказала, что она из тюрьмы, но она не воровка, сидела потому, что мужа обвинили в контрреволюции. Татьяна Владимировна разделась и дала ей прочесть написанное на рубашке. Хозяйка обняла гостью: мой дом — ваш дом. Мир не без добрых людей.

У Татьяны Владимировны не было никаких документов и она устроилась работать секретарем-машинисткой в старом городе в учреждении «Узбекбрляшу». Затем она получила врачебные документы и стала работать в городской клинической лаборатории, инфекционной больнице, фельдшерской школе. День был забит до отказа, к вечеру изматывалась до конца. И это было для нее благом — меньше времени оставалось для печальных раздумий о горькой судьбе мужа, о несложившейся жизни.

После отбытия ссылки Немоловская была направлена во врачебный резерв в Москву. А когда началась Отечественная война, пошла в действующую армию. В составе пятого противовоздушного корпуса закончила войну в Восточной Пруссии в звании капитана медицинской службы. Награждена орденом, медалями. Демобилизовавшись из армии, побывала в Ташкенте, а затем уехала в Подмосковье, где работала врачом. Татьяна Владимировна и сейчас энергична, бодра, она интересный собеседник.

Все свои годы Татьяна Владимировна Немоловская посвятила Ксенофонову. При его жизни во всем помогала, была верным другом, а после ареста и гибели боролась за восстановление его честного имени. Она писала в различные инстанции ходатайства, рассказывала о том, каким коммунистом был ее супруг, что такие люди, как Ксено-

фонтов, не могут быть врагами народа. 23 сентября 1955 года военной прокуратурой Приволжского военного округа дело по обвинению Ксенофонтова Филиппа Алексеевича было прекращено за отсутствием состава преступления.

А вот еще один документ: «Настоящая справка выдана Немоловской Татьяне Владимировне в том, что ее муж, Ксенофонтов Филипп Алексеевич, рождения 1903 г. (состоял членом КПСС с 1918 г.) решением бюро Куйбышевского обкома КПСС от 6 августа 1957 года реабилитирован в партийном отношении, посмертно».

«Прошли годы,— вспоминает Татьяна Владимировна.— А передо мной и сейчас стоит полный жизненной правды, радости, высокой идейной убежденности одаренный сын народа, честный, светлый коммунист. Он всегда жил жизнью партии и страны, всегда шел тропой поиска в горячем стремлении все понять и осмыслить. Он шел к людям, смело высказывал свои суждения, будоражил умы. Это был прирожденный народный трибун. По жизни шагал легко и уверенно, любя ее во всех проявлениях. Он радовался улыбке и смеху ребенка, любил беседовать и спорить, в часы отдыха с удовольствием играл в шахматы, бильярд, городки, внося везде азарт и веселье. Он был чужд мелочности, всегда оставался добрым и внимательным. Любил беседовать со своей матерью, для которой он открыл оконце в светлый мир. За этот светлый мир и погиб Филипп Ксенофонтов».

Более 20 лет назад Татьяна Владимировна обратилась с письмом к Л. И. Брежневу. Она высказывала не только свою точку зрения, но тысяч и тысяч советских людей:

«В тяжелые годы культа личности погиб огромный слой мужественных, честных, преданных революции, партии людей. А ведь именно на плечи этого слоя выпали трудности и тревоги становления советской власти. Это они с боями несли пламенное знамя Октября. Со многих страниц летописи Октября звучат их имена, голоса. Какую трагедию душевную пережили эти товарищи, погибая в своих же тюрьмах!

Разве реабилитация, реабилитация посмертно, методом канцелярски составленной бумаги, искупает свершившееся?

Могил близких и дорогих нам не дано знать. Даже их печатные работы в те годы были изъяты и уничтожены.

Мы ждем, что в память этих честных, талантливых, мужественных революционеров, в память погибших бойцов будет воздвигнут обелиск. Честные люди нашей страны не должны забывать о жестокой несправедливости, допущенной нами, живыми.

И второе. До сих пор еще благодествуют многие ревностные исполнители бесчеловечных приказов. Они даже не подверглись публичному осуждению, скрываясь за безликий культ, и, несмотря ни на что, продолжают считать себя «честными чекистами».

Погибшие молчаливо ждут, что в эту дорогую для них дату среди награжденных и отмеченных граждан не будет участников жестокой расправы над ними...»

Л. И. Брежнев не ответил письменно, но и не оставил письмо без внимания. В Красково, что в Подмосковье, где проживала Т. В. Немоловская, приехали товарищи из высоких московских организаций. Они с пониманием отнеслись к письму на имя Генерального секретаря ЦК, выразили сочувствие. Татьяне Владимировне говорили о высокой значимости проведенной реабилитации, о том, что всех погибших будут помнить все советские люди, что памятью о них является мощное строительство социализма в нашей стране.

Осторожно, вежливо, но вместе с тем довольно-таки четко приехавшие к Немоловской говорили о том, что открытое обсуждение всего пережитого вызовет радость и злопыхательство врагов социализма. Конечно, рассуждали они, нельзя забыть, как под дикий разгул клеветы в печати, на конференциях, съездах, митингах и собраниях шла расправа с корневым слоем революционеров, с настоящими партийцами, талантливыми военачальниками. Но зачем об этом сейчас говорить во весь голос? Кому это на пользу? Надо подумать и над тем, нужен ли обелиск павшим товарищам? Видите, сколько вопросов... Мы понимаем ваше состояние, но...

Татьяна Владимировна не согласилась с доводами визитеров. У нее тоже были вопросы. И их было немало. Разве сегодняшнее поколение не обязано осмыслить причины жестокой расправы над честными людьми? Почему преданные партии и народу люди, настоящие революционеры заклеены как враги народа? Как такое могло случиться при Советской власти? Почему нельзя открыто назвать имя организатора и вдохновителя репрессий, создателя аппарата, нагнетавшего в стране произвол, недоверие, страх? О погибших надо сказать во весь голос. Этого ждут все советские люди. Этого требует и справедливость. Организатор жестоких расправ должен нести ответственность перед историей, перед народом. Время не может простить, даже умалить его вину. Надо сказать всю правду, чтобы люди не допустили вновь такую страшную трагедию. И в этом деле не должно быть ни одного равнодушного человека.

Анатолий Ершов

ДОРОГОЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

КУРГАНЫ ЕЩЕ ПОЛНЫ ЗАГАДОК

Среди тысяч изобретений, оставленных предками нам в наследство, возможно, одно из самых загадочных — насосы для откачки воды... из воздуха. Они встречаются на протяжении всего Великого шелкового пути. На побережье Черного моря, в пустынях Средней Азии, на Памире и даже в Саянах...

До сих пор во многих местах этими установками люди продолжают пользоваться, хотя и не всегда догадываясь о механизме их действия.

Принцип работы установок один, но конструктивное их воплощение различно. Все зависит от местных условий. Близ горных перевалов — это искусственные каменные навалы. Они очень похожи на могильные курганы, но таковыми не являются.

Один из старинных курганов учеными обнаружен на древней караванной тропе в Западных Саянах, в двадцати километрах от города Турана, небольшого районного центра Тувинской автономной республики, территория которой в средние века входила в состав Тюркского, а затем и Уйгурского каганатов.

Среди величественных гор на поросшей полынью равнине издали можно приметить холм внушительных размеров. Его диаметр — девяносто метров, высота — до пяти метров. По форме насыпь из глыб камней и щебня, если на нее смотреть с высоты птичьего полета, близка к кругу. Исследования показали, что она сложена из горных пород, которые в окрестных хребтах встречаются не всегда. Материал для насыпи кургана, видимо, привозили издалека. Общий его объем — около двадцати пяти тысяч кубических метров!

В центре гигантской каменной лепешки — ровная прямоугольная площадка — фундамент из плит. Здесь, рассказывают местные жители, когда-то стояла маленькая часовенка.

На поверхности странной насыпи — несколько воронок. Изучение одной из них показало, что она сложена из плит и под самой нижней из них обнаружена ниша, ведущая в недра кургана. Там, на глубине двух метров, найдена очень холодная ультрапресная вода. В окрестных же колодцах ее минерализация составляет тысячу миллиграммов на литр.

Вода в воронке имеется даже в период засухи. При этом, свидетельствовали местные жители, уровень ее в летнее время не падает. Он к тому же оказался на пять метров выше уровня грунтовых вод в колодцах.

В засуху в условиях полупустыни дождевые осадки должны быстро испаряться. Они не могут долго сохраняться и еще по одной причине — в пористой массе кургана вода, несомненно, просочилась бы в более низкие горизонты. Значит, для поддержания постоянного уровня в воронке необходимо регулярное пополнение запасов влаги из какого-то источника. Им-то и является атмосфера, содержащая водяной пар. Каменный же курган, возраст которого ученые определили в две тысячи лет, не что иное, как своеобразный насос.

Еще убедительнее свидетельствуют о существовании таинственных насосов находки на западном участке Великого шелкового пути — в засушливых районах побережья Черного моря. Здесь исследователи в разных местах под пирамидами щебня обнаружили истоки керамических водоводов, ведущих со склонов гор в древнегреческие фактории.

Свойство камней притягивать из атмосферы влагу человек, видимо, открыл для себя много тысяч лет назад. Сегодня наблюдательности предков мы завидуем. К счастью, это качество не

все из нас потеряли. И некоторые забытые явления в наши дни переоткрываются. Так случилось и со способностью атмосферного пара на камнях сгущаться до жидкой влаги.

Агролесомелиоратор Николай Федорович Лукин сделал свое открытие в пятидесятых годах. Тогда аспиранту Ташкентского сельскохозяйственного института пришлось как-то ехать по Ферганской долине. Мотор старенького автобуса закапризничал, а затем окончательно заглох. Пассажиры высыпали на обочину дороги. Вышел со всеми и Николай Федорович. Присел на камушки. Руки машинально стали поднимать гальку. И вдруг он внутренне напрягся в предчувствии чего-то значительного — его взгляд зафиксировал: под каждой галькой была сырая почва и между камушков пробивалась зеленая трава! Рядом же с дорогой всюду виднелись лишь выжженные горячим южным солнцем бурые предгорья.

По возвращении в Ташкент аспирант в поисках объяснения подмеченного явления сразу же устремился в библиотеку. Прежде всего он обратил внимание на публикации профессора А. Родде — наиболее авторитетного в стране ученого в области почвенной влаги. Последний был убежден, что естественное пополнение почвенных вод происходит главным образом за счет осадков, а роль парообразной влаги атмосферы ничтожно мала. Поэтому в практической деятельности ею можно пренебречь. С таким выводом уважаемого профессора аспирант Н. Лукин не согласился. Он чувствовал — что-то здесь не так. Что же именно? Обратился за разъяснением к научному руководителю — профессору Михаилу Александровичу Панову.

— В литературе, — сказал профессор, — думаю, ответа на возникшие вопросы вы не найдете, так что ищите сами, ставьте опыты. Желаю успеха.

Возможность ставить эксперименты появилась не сразу — надо было закончить аспирантуру. Наконец, в 1960 году Н. Лукин защищает диссертацию на звание кандидата сельскохозяйственных наук. Получает назначение в Таджикскую лесную опытную станцию Среднеазиатского научно-исследовательского института лесного хозяйства и переезжает в Душанбе.

Снова и снова перечитывает труды именитых ученых и работы малоизвестных исследователей. Оказалось, что спор в науке по заинтересовавшей Николая Федоровича проблеме начался еще до нашей эры — две тысячи с лишним лет назад.

Примерно в 350 году до начала нового летосчисления Аристотель, признанный родоначальник многих научных дисциплин, высказал предположение, что воздух в горных пустотах сгущается до жидкой воды, питающей подземные источники. С этим не согласился римский инженер Витрувий (первый век до нашей эры), утверждавший в своем знаменитом сочинении по архитектуре, что родники обязаны происхождением просачивающимся в землю дождевым и снеговым водам. Римский же философ Сенека (3 год до н.э. — 65 год н.э.) был сторонником теории образования подземных вод из воздуха. Он заявлял: «Мои наблюдения говорят о том, что образование родников не может объясняться дождями».

Затем полторы тысячи лет — до эпохи Возрождения — этот вопрос, по крайней мере в Европе, никого не волновал. Он приобрел практическое значение лишь с развитием экономики.

В 1549 году немец Георг Бауэр (Агрикола), основоположник современной минералогии, высказал мысль, что добавочным источником питания подземных вод, помимо дождя, служит водяной пар. В середине XVII века член Парижской академии физик Эдм Мариотт выступил с теорией происхождения подземных вод за счет дождей.

Английский астроном Эдмунд Галлей, известный своим предсказанием времени очередного появления в окрестностях Солнца крупной кометы, названной позже его именем, писал в 1674 году о парообразной воде как о добавочном источнике питания подземных вод. Этот вывод был им обоснован ночными наблюдениями за конденсацией водяного пара на скалах острова Св. Елены (Да, на том самом, где спустя полторы сотни лет проведет последние годы жизни плененный англичанами Наполеон.) Процесс сгущения пара здесь шел настолько интенсивно, что астроному через каждые несколько минут приходилось протирать линзы телескопа. И особенно раздражало Галлея то, что не удавалось никак нормально вести запись наблюдений за звездами — на влажной бумаге чернила расплывались. Все закончилось тем, что астроном получил дополнительную научную квалификацию и стал одним из создателей теории круговорота воды в природе.

В 1877 году представления Аристотеля возрождает инженер гидротехник из Вены Отто Фольгер, выступивший с теорией подземной конденсации водяных паров. Он пылко утверждал: «Нет ни одной научной теории менее обоснованной и ложной, чем теория происхождения ключевых вод из дождевых».

Имена в науке, как видим, довольно известные. И надо было иметь смелость вступить на равных в этот многовековой спор. Внимание Н. Лукина больше всего привлекли труды русского ученого-естественника А. Ф. Лебедева. Исследования он начал в конце прошлого века будучи агрономом. Наблюдения проводились на юге страны — в районе Одессы. В опытах будущий профессор применил новшество — небольшие, наполненные почвой, стаканчики объемом всего тридцать кубических сантиметров. Их одновременно вставляли в грунт. После захода солнца стаканчики взвешивали. То же делалось и рано утром. Добавка в весе показывала количество воды, которую приобрела почва в ночные часы за счет конденсации пара атмосферы. Ночи, естественно, выбирались без дождя, тумана или росы. В двухстах случаях в году ученый обнаруживал, что действительно благодаря конденсации происходит пополнение запасов почвенной влаги.

А. Лебедев опубликовал свою теорию конденсации. Согласно ей сгущение пара в почве возможно только в ночное время и лишь в ее самом верхнем слое.

Н. Лукин решил повторить эксперименты А. Лебедева. Для этого, конечно, использовались современные приборы — лизиметры. Свою родословную они ведут все-таки от знаменитых лебедевских стаканчиков. Полигоном для исследований первоначально был выбран двор рядом с квартирой самого экспериментатора. Лаборантом же у него стал 14-летний сын. Методику опытов, конечно, усовершенствовали. Приборы расположили в грунте на глубину до двух метров — через каждые сорок сантиметров. И каждые два часа с них снимали показания.

Полученному результату Николай Федорович не поверил: в июле количество влаги в почве

в течение 24 часов изменилось на 40 миллиметров водяного слоя! Это было невероятно — ведь столько осадков в этих местах выпадает при хорошем дожде. Правда, в опыте вода лишь побывала в почве, а затем снова ускользнула в атмосферу...

Спустя две недели Н. Лукин эксперимент повторил. Результат — тот же. Теперь он почувствовал себя более уверенно. Уже на следующий год исследования перенес на место службы — опытную станцию. Потом с соседним лесхозом заключили договор на разработку научной проблемы: «Использование суточного влагообмена для улучшения водообеспечения древесных растений на богаре».

Эксперименты развернулись в более широком масштабе. К ним подключился главный лесничий Камчинского лесхоза Н. И. Дериглазов. Работы проводили с посадками грецкого ореха и в богарном яблоневом саду. Результат — рост орешин ускорился вдвое по сравнению с контрольными. В первый год эксперимента каждая яблоня дала дополнительно по 10—15 килограммов плодов.

Постепенно завоевывалось признание в научных кругах. Первые итоги поисков Н. Лукина заслушали три авторитетные научные организации — президиум Среднеазиатского отделения ВАСХНИЛ, Академия наук Таджикистана, Институт гидрогеологии и гидрофизики Академии наук Казахстана. Работа энтузиаста вызвала живой интерес и получила одобрение.

Среднеазиатское отделение ВАСХНИЛ поручило своему подведомственному Институту зерна исследовать количественные показатели процесса улавливания почвой атмосферной влаги при различных состояниях поверхности и растительного покрова на богарных землях. Кроме того, обратился с просьбой к Академии наук Таджикистана создать проблемную лабораторию по комплексному изучению разрабатываемой Н. Лукиным темы с привлечением к исследованиям специалистов различных профилей — агрономов, географов, гидрометеорологов, геологов...

Этот призыв Академией наук Таджикистана был услышан — в ее составе создали небольшую лабораторию. И сам Н. Лукин выполнил просьбу ташкентских коллег — представил им методику намеченных исследований. Вот, пожалуй, и все. В остальном постановление Среднеазиатского отделения ВАСХНИЛ осталось на бумаге. К этому стоит лишь добавить — с тех пор прошло пять лет.

Но для Лукина эти годы не пропали даром. Были заложены опытные участки на территории научных институтов в Душанбе, на землях колхозов и совхозов. И, конечно, велся поиск глубокого теоретического обоснования явления.

О всех гранях изучаемой проблемы у нас с Николаем Федоровичем Лукиным шел долгий разговор у него дома и на опытных делянках в Душанбинском ботаническом саду, где исследователь демонстрировал мне выращенные без единого полива прекрасные помидоры.

Но прежде чем рассказать о практической стороне дела, о судьбе открытия с двухтысячелетней историей, считаю необходимым хотя бы вкратце ознакомить читателя с сутью теории превращения атмосферного пара в обыкновенную и так необходимую всему живому на земле воду.

С самим явлением, конечно, большинство людей сталкивается ежедневно. Вспомните, что утром, входя в ванную комнату умыться, вы порой замечаете капельки влаги на кране с холодной водой. Нет, она не просочилась сквозь трубу, а образовалась за счет невидимого нам пара в воздухе квартиры.

Вот вам и ключ к символической трубе в воздушный океан: отдал тепло — получи воду! Этим ключом умело владели далекие предки... Нашим современникам предстоит научиться снова освоить этот метод. Конечно, дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

— Между почвой и атмосферой, говоря образно, происходит постоянное силовое соревнование по перетягиванию каната, в роли которого выступает водяной пар, — рассказывает Николай Федорович. — В результате этого, например, в условиях Средней Азии из почвы в атмосферу ежесуточно уходит и вновь возвращается столько воды, сколько выпадает при ливне. К сожалению, мы пока еще не научились эту воду брать в производственных условиях.

Направление движения водяного пара, — продолжал пояснять собеседник, — зависит от температуры атмосферы и соприкасающейся с ней поверхности — воды или суши. Снижается температура почвы — водяной пар устремляется в ее сторону, конденсируется на охлажденной поверхности; повышается температура — вода из жидкого состояния превращается в пар и снова переходит в атмосферу. В глобальных масштабах водяной пар атмосферы постоянно перемещается от тропиков в полярные области — к естественным холодильникам планеты, образуя здесь огромные скопления воды в виде льда. В тропических широтах преобладает испарение, в полярных — конденсация. Поэтому-то вода в полярных морях менее соленая, чем в тропических, а реки полярных и приполярных областей выносят воды больше, чем выпадает осадков на площадях их водосбора.

То, о чем рассказывал Н. Лукин, не было его умозрительными выводами. Мне об этих примерах было известно из публикаций ученых. Так, ленинградский гидрогеолог Владимир Федорович Дерпгольц сообщал, что во время его многолетней совместной с гидрологами работы в северной части бассейна Енисея были обнаружены излишки воды. Ее за период исследований оказалось на 37 процентов больше, чем выпало с атмосферными осадками. И это даже без учета расхода на испарение и просачивание в почву. Излишки воды, считает В. Дерпгольц, можно объяснить лишь за счет происходящей в этом регионе интенсивной подземной конденсации теплого летнего воздуха в губчатой массе щебня на склонах гор и наличия многолетней мерзлоты — своеобразного холодного экрана. На нем-то и сгущается водяной пар воздушного океана. Точь-в-точь как на испарителе домашнего холодильника.

Этим же исследователем было установлено, что за счет конденсации пара атмосферы происходит постоянное опреснение минерализованных грунтовых вод. В Енисейском секторе Арктики содержание солей в подземных водах некоторых горизонтов оказалось почти на треть меньше, чем в подпитывающих.

Вспомним теперь о древнем кургане в Западных Саянах. Его изучение, кстати, проводил знакомый нам В. Дерпгольц. Под навалом камней он обнаружил холодный экран — скрывающую грунт вечную мерзлоту, которая здесь как бы приподнялась над своей верхней границей. И,

видимо, совсем не случайно специалисты такую мерзлоту называют «курганной». Она никогда не образуется в самом каменном навале, а всегда под ним — в виде линзы смерзшегося грунта.

— Влагообмен существует не только в планетарных масштабах, — рассказывает Н. Лукин. — Он идет также между теплыми долинами и холодными вершинами гор. По их склонам, следуя законам физики, поднимаются согретые солнцем и насыщенные влагою массы воздуха. На высоте они охлаждаются и отдают часть своей влаги, либо образуя облака, либо конденсируясь на холодной поверхности. Это представляет особый практический интерес для Средней Азии. Следствие такого влагообмена — наличие родников, вытекающих из развалов каменных глыб и осыпей вблизи вершин. Устойчивость их дебита никак нельзя объяснить только осадками. Без учета конденсации пара атмосферы трудно доказать и происхождение излишков воды в горных озерах. В Искандеркуле, например, ежегодно такого излишка набирается более 17 миллионов кубических метров. Еще весомей — два миллиарда кубометров — добавка в Байкал. Поэтому вода в нем более пресная, чем во всех 336 больших и малых реках, в него впадающих.

... Горы, это, как говорил в детстве мой сын, просто очень много камней. Перед нами в сущности экраны своеобразного испарителя природного холодильника. Тепло эти экраны отводят, а точнее — излучают прямо в остуженную до абсолютного нуля бездну космоса.

Способность тел ночью быстро охлаждаться не только хорошо была известна нашим предкам, но и использовалась ими практически. Еще 2500 лет назад жители пустынь, свидетельствуют исторические документы, умели получать лед. Для этого они рыли неглубокие ямы, дно устилали толстым слоем камыша. На подстилку ставили плоские сосуды с водой. Утром оставалось лишь собрать лед. Камыш, как вы знаете, прекрасный теплоизоляционный материал. На нем вода, терявшая гораздо больше тепла, чем окружающая ее среда, за ночь превращалась в лед.

Наши предки, умевшие проникать в суть явлений без сложных математических расчетов и компьютеров, имели, надо полагать, достаточно правильные представления и о природе предгорных родников. К местам их истоков жители Средней Азии еще в седую старину прорывали подземные туннели — кяризы. Эти подземные акведуки, большей частью уже полуразрушенные, и сегодня можно обследовать в Нуратинских горах Узбекистана или туркменском Копетдаге.

Как же устроен кярыз? Обычно сооружали его на косогорном участке, где водяной пар атмосферы в изобилии сгущается в осыпях обломков скал. До водоносного горизонта вначале копали колодец. Иногда глубиной до сорока метров. На некотором расстоянии рыли другой. Между ними пробивали туннель высотой в человеческий рост. В тесном забое при призрачном освещении мог работать только один мастер. Для подъема горной породы использовали кожаное ведро.

Шахты пробивались через 10—50 метров. Постепенно рядом с каждой вырастала пирамидка выбранного грунта. Все это очень похоже на рытье подземного хода кротом.

Люди на этих стройках действительно работали, как кроты. Это был более чем адский труд. А его объем, видимо, сравним с таковым при сооружении знаменитых египетских пирамид. Достаточно сообщить, что суммарная длина кяризов в засушливом поясе планеты составляет пятьсот тысяч километров! Эту цифру приводит известный исследователь пустынь В. Н. Кунин.

Точки пирамидок горной породы, если на них взглянуть с вертолета, выстраиваются в четкие линии. По ним легко прослеживаются трассы кяризов. Обычная длина каждого — пять-десять километров. Иногда — достигает десятков. Вода в подземных галереях, следуя незначительному уклону, бежит самотеком. Точность прокладки водоподводящих туннелей, восторженно оцениваемая даже инженерами XX века, достигалась самыми простейшими средствами — при помощи примитивных отвесов и поплавков. В рыхлых грунтах подземные ходы облицовывались кирпичом или укреплялись стойками из твердых пород древесины.

Некоторые кяризы, построенные сотни лет назад, и в наши дни исправно служат людям. Воду из них местные жители предпочитают даже артезианской из недавно пробуренных скважин.

Иран — классическая страна кяризов. Их здесь за двадцать пять веков построено сорок тысяч. Протяженность водосборных галерей оценивается в 270 тысяч километров. Суммарный дебит — в 600 кубометров в секунду! До 1930 года Тегеран воду получал лишь через подземные акведуки. Ее на каждого жителя иранской столицы тогда приходилось по 350 литров в сутки.

Из Ирана технология строительства кяризов, видимо, волею судеб попала в Северную Африку. Случилось это в IX веке, когда местная секта буддистов Бармекидов впала в немилость и вынуждена была искать новую родину далеко на Западе. В X веке в Сахаре появляются водосборные подземные галереи. Особенно много их в районе Туате, где проживает мусульманская секта Бармака.

Туате — один из оазисов на знаменитой транссахарской «Пальмовой дороге», соединившей Северную Африку с экваториальной. Эта дорога так длинна, говорили арабы, что верблюдица, зачавшая в караване на одном конце, может родить, не дойдя до другого ее конца.

Известны кяризы и в Китае. Здесь они строились в Восточном Туркестане. В общем это изобретение народной гидротехники было распространено всюду на Великом шелковом пути, где имелись условия и необходимость его применения.

Еще об одном конструктивном воплощении насоса по откачке воды из атмосферы позаботилась сама природа. Речь идет о барханах.

Размеры барханов весьма разнообразны. Встречаются гиганты высотой десять — двадцать метров. Расстояние между их рогами — сотня метров! Есть и барханы-карлики.

Новичок в пустыне, увидев море вздыбленного волнами песка, подумает: «Здесь я умру от жажды». Житель пустыни вспомнит пословицу: «Где пески — там вода». Не случайно некоторые массивы сыпучих песков получили имя Тюясу — Верблюжья вода.

Песок — прекрасный проницаемый для воздуха материал. Следовательно, и для парообразной воды. В прохладных недрах барханов она конденсируется. Здесь исследователи находят «глыбы влажного песка», лежащие на сухом слое. Впервые их в 80-е годы прошлого века обнаружил известный краевед и общественный деятель Туркестана Владимир Петрович Наливкин, опиравший свои наблюдения в книге «Опыт исследования песков Ферганской области».

Вода из барханов стекает до влагонепроницаемых пород. Или образует плавающие линзы на поверхности более тяжелой — горько-соленой.

Испокон веков жители пустынь добывают воду из колодцев. Их в самых засушливых зонах Средней Азии насчитывается десятки тысяч. Конечно, не все эти колодцы питаются только за счет конденсации пара атмосферы. Свою лепту вносят и редкие осадки, которые в течение веков кочевники научились запасать впрок, спуская под землю.

Умеют аборигены пустыни прямо на песке выращивать арбузы и дыни. Это делается в понижениях между барханами, где грунт достаточно влажный. Бахчевые вырастают без всяких поливов, а их плоды — самые вкусные в мире. Это я могу засвидетельствовать сам.

Вода из воздуха поила человека, караваны верблюдов, даже целые плантации. Кое-где в этом качестве она продолжает служить и поныне. Очевидный, скажете, факт. Но не для всех. Н. Лукин эту очевидность доказывает не первое десятилетие. Но, увы, скептики остаются при своем мнении. Ученые мужи ссылаются на профессора А. Роде. Его книга «Основы учения о почвенной влаге», изданная в 1965 году, стала своеобразной Библией. Все, что ей противоречит, берется под сомнение. И переубедить скептиков не может ни многовековой народный опыт, ни наглядные эксперименты сторонников иных взглядов. И это при том, что господствующая теория бессильна объяснить множество фактов. Некоторые из них приводит Н. Лукин.

Пяти-семилетние деревца за вегетативный период расходуют на испарение 1500—2900 миллиметров водяного слоя. Казалось бы, много. Но по сравнению с почвой без деревьев в корнеобитаемом слое убыль влаги составляет 50—60 миллиметров. И так повторяется из года в год. Водяной баланс не сводится. И весьма значительно.

Следующий факт. Весной влажность двухметрового слоя грунта под 12—15-летними грецкими орешинами, растущими на террасах, и почвы с подобным уходом, но без деревьев, одинакова. Летом — несколько ниже, а осенью становится даже заметно выше. Хотя за период вегетации каждое дерево испарило по десять-двадцать тонн воды.

— Откуда берутся десятки тонн воды, если в корнеобитаемой зоне почвы таких запасов никогда не бывает и с атмосферными осадками такого количества воды не выпадает? — спрашивает Н. Лукин. Этот вопрос звучит риторически, ведь ничего вразумительного на него оппоненты сказать не могут.

Как же найти этому объяснение?

— Давайте четко уясним себе, — рассуждает Н. Лукин, — что первоисточником всей пресной воды является водяной пар. Осадки — это лишь «аварийный сброс» той части воды, которую земная поверхность не успевает поглощать, а атмосфера не в силах удержать в парообразном состоянии при резких изменениях температурного режима над данной местностью.

В отличие от воды или льда пар нельзя увидеть, потрогать и попробовать на вкус, — продолжает развивать мысль Николай Федорович. — Поэтому такое важнейшее звено земного влагооборота оказалось наименее изученным и оцененным. Голоса энтузиастов науки и практики, призывающие к улучшению использования пара, буквально тонут в мощном хоре инженеров, агрономов и поэтов, слагающих гимны воде, снегам и тучам. И естественно, что сложившийся стереотип (роль парообразной влаги, постоянно находящейся в атмосфере и почве, ничтожно мала) живет и здравствует.

А много ли в атмосфере воды?

— От 13 до 15 тысяч кубических километров, — отвечает Н. Лукин. — Это в десять раз больше, чем во всех реках планеты. И основная форма состояния воды в воздушном океане — пар. Для его движения, в отличие от рек, зависящих от рельефа местности, практически не существует помех. И подобно любому газу, входящему в состав атмосферы, пар постоянно стремится занять возможно больший объем и образует глобальную паровую оболочку. И даже такой засушливый регион, как Средняя Азия, обладает воистину неисчерпаемым резервом влаги. За год над ее территорией, как установили ученые, в составе атмосферного воздуха пронесится три тысячи кубических километров воды. Это соответствует среднегодовому стоку двенадцати таких рек, как Волга!

— Если мы научимся изымать из этого невидимого водяного потока всего лишь одну сотую его часть, — утверждает Н. Лукин, — то и тогда станем хозяевами прямо-таки бесценного богатства — дополнительных тридцати кубических километров воды. Именно такое ее количество предполагалось перебросить из сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан по первой очереди проектировавшегося канала.

С помощью каких шлюзов и гидрантов можно направлять этот поток?

— Вот документы на один из ваших гидрантов, — Николай Федорович протягивает мне авторское свидетельство на изобретение полевого конденсатора парообразной влаги атмосферы и официальное его описание.

Читаю: «Изобретение относится к технике прямого изъятия влаги из атмосферы, минуя естественные стадии облакообразования и выпадения осадков, и может применяться при освоении сильно каменистых земель и сплошных глубоких галечников под сады и виноградники. Цель изобретения — упростить конструкцию конденсатора и повысить его производительность на единицу объема рабочего тела».

Далее суть документа, полагаю, лучше изложить своими словами, без излишних технических подробностей. Итак, устройство представляет собой огромный «горшочек». Изготавливают его следующим образом. Сначала роют яму чуть глубже человеческого роста, вместимостью до десяти кубических метров. Затем ее засыпают плодородным мелкоземом. В условиях Средней Азии можно использовать лёссовидный суглинок, обогащенный органическими и минеральными удобрениями. Рекомендуются добавить еще немного плодородной почвы, содержащей полезную микрофлору. Вся масса слегка трамбуется и выравняется под поверхность поля.

Теперь, пожалуй, самое главное: выкладывается слой каменной толщиной в 10—20 сантиметров. Это своеобразная крышка для «горшочка» — теплоотводящий экран. Его задача — перехватывать лучистую энергию солнца и отражать ее в виде инфракрасного излучения. Таким образом,

тепло не попадет внутрь «горшочка». Зато в его холодное чрево, где идет процесс конденсации влаги, все время из разогретого воздуха будут поступать ее новые порции.

Так выглядит этот оригинальный водяной насос под корнями яблони или орешины, саженцы которых, как понял читатель, необходимо бережно устроить в самом центре круга из камней.

Н. Лукин в экспериментах установил, что наиболее эффективно перехватывают солнечное тепло фракции гальки размером от сантиметра до десяти. Автор изобретения также подсчитал, что стоимость каждого конденсатора вместе с плодовым деревом составит 8—10 рублей. На гектаре размещается 150—200 конденсаторов. Соответственно затраты составят около двух тысяч рублей. При столь минимальных расходах бесплодная каменистая пустошь превращается в высокопродуктивный плодовый сад. Когда он состарится, то место в тех же «горшочках» займут новые саженцы. Сад этот вечный! К нему не потребуются подводить каналы или привозить воду.

С конструкцией конденсатора влаги огородного типа я ознакомился на опытном участке в Душанбинском ботаническом саду, где на какое-то время Н. Лукину предоставили место для продолжения исследований.

Я увидел кусты помидоров полуметровой высоты. Они росли в три ряда на каждой грядке. Плоды, хотя и начали созревать, были мелкими.

— Да, мелкие, — перехватывает мой взгляд Николай Федорович. — Это можно считать недостатком. Ну, а как вы оцените их вкус?

Пробую одну из поспевших. Признаться, таких вкусных помидоров я никогда не ел.

— И еще одна особенность — эти помидоры могут долго сохраняться, — продолжает Н. Лукин. — Факт, как понимаете, немаловажный для транспортировки продукции из огородов Средней Азии на Север. Со мной в прошлом году произошел такой случай — забыл в рабочем столе дюжину помидоров. Обнаружил их глубокой осенью. Ни один из них не оказался порченным.

Как же устроен конденсатор влаги на огороде? Заглядываю в торец грядки и вижу под трехсантиметровым слоем земли полиэтиленовую пленку.

— Просто постеленная на почву прозрачная пленка — ловушка для тепла, — комментирует Николай Федорович. — Чтобы пленка стала ловушкой для пароводяной влаги, надо ее засыпать слоем земли. Последняя будет поглощать тепло и излучать его в пространство. Тепло же вглубь не пропустит слой полиэтилена. Весь участок огорода без просветов пленкой закрывать нельзя — задохнется почва. Поэтому роют канавки глубиной до тридцати сантиметров. Через их стенки под пленку в грядки и будет засасываться пар.

Таким методом Н. Лукин пробовал выращивать баклажаны, болгарский перец и весьма водолюбивую капусту. Все урождалось. Даже в лето, когда более пятидесяти дней температура воздуха держалась на уровне 38—40 градусов по шкале Цельсия. И всегда плоды оказывались отменного вкуса. Можно, показали опыты, выращивать так и хлопок. Но самой любимой культурой для исследователя оставались помидоры.

— Они стали для меня самой эффективной наглядной агитацией, — утверждает Николай Федорович. — Соберу пакетик помидоров и — в кабинет к какому-нибудь руководителю. Попробует он их на вкус. Удивится. Ну, а после дегустации легче заманить начальство и на опытный участок. Здесь дальше агитирую в пользу использования пароводяной влаги в народном хозяйстве. Чего-то, как видите, добился. А ведь было время, когда опыты приходилось вести даже подпольно.

Да, не все гладко шло в жизни бывшего фронтовика. Допекали его не только консерваторы, но и старые раны. Как-то понервничал — началась спонтанная гангрена. Пришлось ампутировать ногу. Но через какое-то время дала себя знать другая. В Ленинграде, в военно-медицинской академии предложили еще одну ампутацию.

Бывший солдат старается убедить генерал-майора медицинской службы: «Без двух ног мне совсем нельзя — профессия не позволит!». На это врач отвечает: «Ничего другого наука предложить не может». «Что делать?». Хирург: «Нам известны случаи, когда помогала бабка... Они, оказывается, бывают сильнее нас».

Николай Федорович бабку нашел в Казахстане. Заговорила она раны, дала мазь собственного изготовления. Нога зажила.

Однако работа без нервов не обходилась. И опять все сначала: открылись раны. Н. Лукин просит бабку прислать мазь. Не помогает. Пришлось к знахарке ехать. Опять вылечила, но ненадолго. Тут Николая Федоровича обуяла необузданная злость: «Бабка может заговорить, а я почему не могу?». И решил он заняться самолечением, а поскольку был атеистом, текст «заговора» составил соответствующим. Стал Лукин сам себе Кашпировским. От ушибения в ноге лучше зацелировалась кровь. Мази же, как выяснилось позже, годились любые. После сеансов самовнушения на пятый день исчезли боли, а недели через две зажили и раны.

Как человек ученый, Николай Федорович усовершенствовал и саму технологию «заговора». Свой текст он записал на магнитофон. С тех пор, как болезнь обострится, тут же включает технику. Правда, последнее время нога перестала о себе напоминать.

— Человек даже не подозревает, какой в нем резерв, — говорит Н. Лукин. — Боли у меня были страшные. Не мог спать. Спасала только работа. А в чудесное излечение я никогда бы не поверил, если бы сам с этим не столкнулся.

Интересуюсь, когда же Лукину пришлось вести «подпольные опыты». Оказывается, после завершения очередного этапа исследований он написал временные рекомендации по использованию результатов. Выводы исследователя показались тогдашним руководителям Среднеазиатского института лесного хозяйства слишком смелыми. Однако они не возражали против публикации самих рекомендаций, хотя требовали «убрать теорию». С этим Н. Лукин не мог согласиться. Последствия незамедлительно сказались — закрыли финансирование его темы.

Тогда-то энтузиаст продолжил эксперименты, как он выразился, подпольно. Для этого ему был предоставлен участок земли на гелиополигоне Физико-технического института Академии наук Таджикистана. Здесь Лукин продолжил испытание различных теплоизоляционных мате-

риалов для достижения заветного эффекта. Оказалось, можно использовать слой пенопласта толщиной сантиметр-два, древесные опилки, просто рыхление почвы.

Скажете: да ведь крестьяне применяют эти приемы с глубокой древности, и будете правы. Есть даже специальный термин — мульчирование.

Китайские крестьяне, например, еще много веков назад почву в садах, спасая их от засухи, покрывали слоем гальки.

Опыт веков надо осмыслить, дать ему теоретическое объяснение. Это и выпало на долю Н. Лукина. Да и в практических приемах, им рекомендованных, есть немало тонкостей, особенностей. В них-то и вся соль.

В последние годы жизнь в стране быстро меняется. Есть перемены и у Н. Лукина. Конечно, он ожидал большего. Свои надежды не теряет, связывает их с Законом о земле. Благодаря этому Закону крестьянин должен вновь почувствовать себя хозяином, а значит, в его интересах будет использовать все, что поможет трудиться для себя и общества с большей пользой.

А пока с внедрением разработок Николая Федоровича дела обстоят не совсем благополучно. Но расскажем конкретнее.

На основании проведенных исследований Н. Лукин в 1989 году передал в Госагропром и Госплан Таджикской ССР для производственных испытаний и внедрения в практику следующие разработки: способ выращивания помидоров на богаре; способ стабилизации влагоснабжения многолетних растений на богаре; полевой конденсатор парообразной влаги атмосферы, предназначенный для массового освоения каменистых и галечниковых земель под сады.

Как же прореагировали на эти предложения названные организации? Они, сославшись на Закон о социальности, отослали автора разработок непосредственно в хозяйство. А там? Если читатель предположит, что там предложенная технология была куплена, то ошибется. Руководители хозяйств посоветовали разработчикам взять в аренду землю и за арендную плату заняться внедрением новшеств! В результате малочисленная, технически слабо оснащенная группа научных работников оказалась обреченной на демонстрацию своего рода фокусов вроде выращивания влаголюбивых растений без полива на нескольких грядках или показ возможностей извлечения воды из воздуха для обеспечения питьем ...одного человека.

— На практике,— говорит с горечью Н. Лукин,— мы столкнулись с отсутствием интереса к освоению новых разработок у работников сельского хозяйства. В то же время мы видим огромные возможности для реализации предлагаемых разработок. Достаточно сказать, что в Средней Азии осуществление наших идей открыло бы реальные возможности для интенсивного освоения всех богарных земель, расположенных на высоте до трех тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, можно значительно расширить площади орошаемых земель за счет увеличения ресурсов поливной воды и разработки приемов более экономного ее использования. Как вы понимаете, все это не просто технические решения. Они имеют для региона большое социальное значение.

И это не все. Группа Н. Лукина предлагает, используя солнечную энергию для охлаждения конденсаторов влаги, создать установки питьевой воды в пустынях и степях. Потребность в таких устройствах у животноводов весьма ощутима.

В бассейнах горных рек микровзрывами можно увеличить трещиноватость скал, а где возможно и создать искусственные щебеночные покрытия. В результате усилится процесс конденсации водяных паров. Этому же будет способствовать и окраска каменистых обнажений по берегам рек в светлые тона водостойкими покрытиями. Подсчеты Н. Лукина показывают, что искусственное увеличение всего лишь на 20—30 процентов коэффициента отражения берегов позволит существенно снизить их нагрев солнечными лучами и получать дополнительно по два-три литра воды с каждого квадратного метра поверхности в сутки. Пересчитаем этот результат на квадратный километр каменистых пустошей вдоль горных русел и мы получим уже две-три тысячи кубических метров чистой воды!

У людей сомневающих сразу может возникнуть вопрос: не вызовет ли изъятие воды из атмосферы в одном месте ущерба в увлажненности соседних или отдаленных регионов?

— Нет, не вызовет,— отвечает Н. Лукин.— Представим, что мы из огромного бассейна взяли чайную ложку воды. Ее поверхность тут же выровняется. То же произойдет и в атмосфере — водяной пар, согласно законам физики, сразу же восполнит потерю за счет более равномерного своего распределения в воздушной оболочке планеты. Кроме того, изъятая из атмосферы вода не исчезнет бесследно, а лишь пройдет полезный для людей цикл влагооборота и вновь, испарясь, вернется в воздушный океан. При целенаправленных усилиях он сможет играть роль своеобразного мощного водовода, способного без труб, каналов и насосных станций доставлять из гидросферы в любом количестве и в любую точку планеты так всем необходимую воду.

— Что же нужно сделать для материализации этих идей?

— На первом этапе необходимо создать самостоятельное научное подразделение в составе 25—30 квалифицированных специалистов различного профиля,— предлагает Н. Лукин.— Эта лаборатория, технически оснащенная, послужит основой для будущего хозрасчетного научно-производственного объединения. Ему под силу будет решать крупномасштабные задачи, такие, как широкое внедрение водоводства на базе освоения парообразной влаги атмосферы.

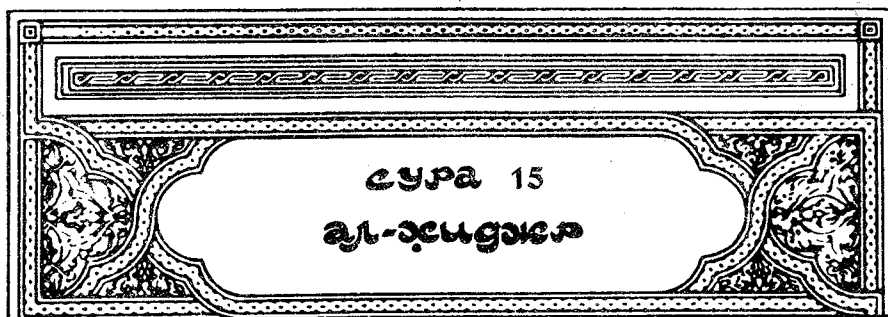
Мне очень хочется, чтобы мечта Николая Федоровича Лукина сбылась. Человечество в области водопользования пока поступает так же, как наши далекие предки. Но естественные запасы пресной воды безграничны. Уже явственно чувствуется палящее дыхание глобального экологического кризиса. Пора перестраивать мышление, переходить к новому уровню управления водным хозяйством, используя для этого смелые идеи, давно ждущие своего осуществления.

И, конечно, в нашем движении в будущее нельзя пренебрегать опытом предков. Это воистину бесценный капитал.

Обо всем этом я думал на одной из дорог Ферганской долины. Автобус с участниками экспедиции по Великому шелковому пути сделал остановку из-за технических неполадок. По примеру Н. Лукина я стал переворачивать камушки. Под каждым из них почва была сырой.

Продолжение следует.

Коран



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Алиф лам ра. Это — знамения книги и ясного Корана.

2 (2). Может быть, пожелают те, которые неверны, стать мусульманами.

3 (3). Оставь их, пусть они едят, наслаждаются, и надежда их отвлекает. Потом они узнают.

4 (4). Мы не губили селения без того, чтобы ему не было известного начертания.

5 (5). Ни один народ не опередит своего предела, и не отсрочат они.

6 (6). Сказали они: «О ты, которому ниспослано напоминание! Ты ведь — одержимый!»²

7 (7). Почему ты не придешь к нам с ангелами, если ты из праведных?»

8 (8). Мы не посылаем ангелов, иначе как с истиной, и тогда не будут они из тех, кому отсрочивается.

9 (9). Ведь Мы — Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем.

10 (10). И до тебя Мы посылали в народах первых³.

11 (11). И не приходил к ним никакой посланник, чтобы они над ним не смеялись.

12 (12). Так Мы вкладываем это в сердца грешников!

13 (13). Не веруют они в него, а уже прошел обычай с древними.

14 (14). И если бы Мы открыли им врата неба и стали бы они там подниматься,

15 (15). то сказали бы они: «Наши взоры опьянены, мы — люди очарованные!»

16 (16). Уже устроили Мы в небе башни⁴ и разукрасили их для смотрящих.

17 (17). И охранили Мы их от всякого сатаны, побиваемого камнями.⁵

18 (18). А если кто украдкой подслушает, то следует за ним ясный светоч.

19 (19). И землю Мы распростерли, и бросили на нее прочно стоящие, и произрастили на ней всякую вещь по весу.

20 (20). И устроили для вас на ней пропитание и для тех, кого вы не кормите.

21 (21). Нет вещи без того, чтобы у Нас были ее сокровищницы, и низводим Мы ее только по известной мере.

22 (22). И послали Мы ветры оплодотворяющими, и низвели с неба воду, и напоили вас ею, но не вы ее храните.

23 (23). Ведь Мы — Мы оживляем и умерщвляем, и Мы — наследники.

24 (24). И ведь Мы знаем ушедших вперед из вас, и Мы знаем оставших.⁶

25 (25). И Господь твой соберет их, ведь Он — мудрый, знающий!

26 (26). И Мы сотворили уже человека из звучащей⁷, из глины, облеченной в форму.

27 (27). И гениев Мы сотворили раньше из огня знойного.⁸

28 (28). И вот сказал Господь твой ангелам: «Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму».

29 (29). А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь».

30 (30). И поклонились ангелы все полностью,

31 (31). кроме Иблиса. Он отказался быть с поклонившимися.

32 (32). Сказал Он: «О Иблис! Что с тобой, что ты не вместе с поклоняющимися?»

33 (33). Сказал он: «Я не стану кланяться человеку, которого Ты создал из звучащей, из глины, облеченной в форму».

34 (34). Сказал Он: «Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями.

35 (35). И, поистине, над тобой — проклятие до дня суда!»

36 (36). Сказал он: «Господи мой! Отсрочь же мне до дня, когда они будут воскрешены».

37 (37). Сказал Он: «Поистине, ты — из тех, кому будет отсрочено

38 (38). до дня назначенного времени».

39 (39). Сказал он: «Господи мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, и собью их всех;

40 (40). кроме рабов Твоих из них, чистых».

41 (41). Сказал Он: «Это — путь для Меня прямой.

42 (42). Поистине, рабы Мои — нет для тебя над ними власти, кроме тех из заблудшихся, кто последовал за тобой,

43 (43). и поистине, геенна — место, им назначенное всем!

44 (44). У нее — семь врат, и у каждого врат из них — отдельная часть.¹⁰

45 (45). Поистине, богобоязненные — среди садов и источников:

46 (46). «Входите сюда с миром в безопасности!»

47 (47). и изъяли Мы злобу, что в их груди¹¹; братьями они на седалищах обращены друг к другу.

48 (48). Не коснется их там забота, и не будут они оттуда выведены.

49 (49). Возвести рабам Моим, что Я — Я прощающий, милосердный,

50 (50). и что наказание Мое — наказание мучительное!

51 (51). И возвести им о гостях Ибрахима.¹²

52 (52). Вот вошли они к нему и сказали: «Мир!» — И сказал он: «Поистине, мы вас страшимся!»

53 (53). Они сказали: «Не бойся, ведь мы радуем тебя мудрым мальчиком».

54 (54). Сказал он: «Неужели вы радуете меня, когда меня коснулась уже старость? Чем же вы радуете?»

55 (55). Они сказали: «Мы радуем тебя по истине, не будь же отчаявшимся!»

56 (56). Он сказал: «А кто отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших?»

57 (57). Сказал он: «В чем же ваше дело, о посланные?»

58 (58). Сказали они: «Мы посланы к народу грешному,

59 (59). кроме семьи Лута: мы спасем их всех,

60 (60). кроме жены его. Мы решили, что она — из оставшихся позади».

61 (61). И когда пришли к роду Лута посланники,¹³

62 (62). сказал он: «Поистине, вы люди неведомые».

63 (63). Сказали они: «Да, мы пришли с тем, о чем они сомневались.

64 (64). И пришли мы к тебе с истиной, и, поистине, мы — правдивы!

65 (65). Выйди же с семьей своей в части ночи и иди за ними, и пусть не оборачивается из вас никто, и идите, куда вам повелено».

66 (66). И решили Мы ему это дело, что тыл их будет отсечен на утро.

67 (67). И пришли люди города, радуясь.

68 (68). Сказал он: «Это — мои гости, не бесславьте же меня.

69 (69). И побойтесь Бога и не позорьте меня».

70 (70). Сказали они: «Разве мы не удерживали тебя от всего света?»

71 (71). Он сказал: «Вот мои дочери, если уж вы совершаете».

72 (72). Клянусь твоей жизнью! Ведь они в своем опьянении скитаются слепо.

73 (73). И схватил их вопль при восходе солнца.

74 (74). И обратили Мы верх этого в низ и пролили на них дождь камней из глины.

75 (75). Поистине, в этом — знамения для присматривающихся к знакам!

76 (76). И, поистине, это — на остающейся дороге!

77 (77). Ведь в этом — знамение для верующих!

78 (78). И, поистине, обитатели ал-Айки были обидчиками!¹⁴

79 (79). И отомстили Мы им, и оба они — на явном пути.

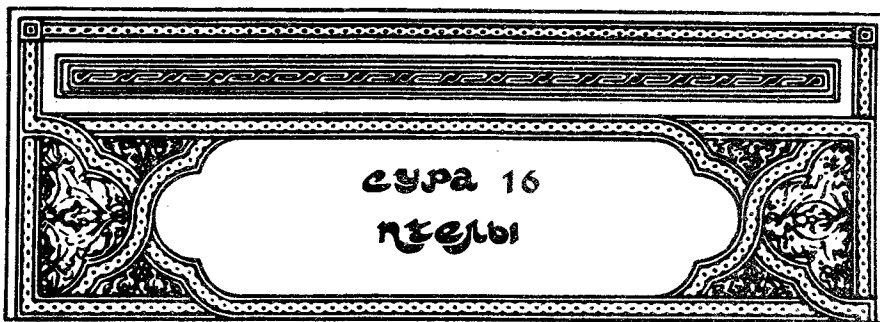
80 (80). И вот обитатели ал-Хиджра¹⁵ объявили лжецами посланных.

81 (81). И привели Мы им Наши знамения, а они от этого отвращались.

82 (82). И высекали они в горах дома в безопасности.

83 (83). И схватил их вопль на заре.

- 84 (84). И не избавило их то, что они приобретали.
 85 (85). Ведь создали Мы небо, и землю, и то, что между ними, только по истине, и ведь час непременно придет. Отвернись же красивым оборотом.¹⁶
 86 (86). Поистине, Господь твой — Он мудрый творец!
 87 (87). И мы дали тебе семь повторяемых и великий Коран.¹⁷
 88 (88). Не простирай же своих глаз к тому, что Мы дали в пользование их парам, и не печалься за них и преклони крыло твое перед верующим.¹⁸
 89 (89). И скажи: «Поистине, я ведь — только явный увещатель».
 90 (90). Как ниспослали Мы на делителей,
 91 (91). которые обратили Коран в части.¹⁹
 92 (92). И вот, Господом твоим клянусь, Мы спросим непременно их всех
 93 (93). о том, что они творили!
 94 (94). Рассеки же, как тебе приказано, и отвернись от многобожников!²⁰
 95 (95). Ведь Мы, поистине, избавили тебя от насмешников,²¹
 96 (96). которые устраивают с Богом другого бога, и потом они узнают.
 97 (97). И знаем Мы уже, что грудь твоя стесняется от того, что они говорят.
 98 (98). Прославь же хвалу Господа твоего и будь с поклоняющимися,
 99 (99). и служи Господу твоему, пока не придет к тебе несомненность!²²



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

- 1 (1). Пришло повеление Аллаха, не торопите же его! Хвала Ему, и превыше Он того, что они придают Ему в соучастники!²
 2 (2). Он ниспосылает ангелов с духом от Своего повеления тому из рабов, кому пожелает: «Увещайте, что нет божества, кроме Меня! Почитайте же Меня!»
 3 (3). Сотворил Он небеса и землю истиной. Превыше Он того, что они придают Ему в соучастники!
 4 (4). Он сотворил человека из капли.³ И вот, он — открыто враждующий.
 5 (5).— И скот Он создал; для вас в нем — согrevание и польза, и от них вы питаетесь.
 6 (6). Для вас в них — красота, когда вы их гоните на покой и когда выпускаете.
 7 (7). И переносят они ваши грузы в страну, которой вы бы не достигли без утомления самих себя. Поистине, Господь ваш — кроткий, милостивый!
 8 (8). И коней, и мулов, и ослов, чтобы вы на них ездили, и для украшения. И творит Он то, чего вы не знаете.
 9 (9). На Аллахе лежит направление к пути; и есть отступающие от него. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем вас всех.
 10 (10). Он — тот, который низводит с небес воду: для вас от нее питье, и от нее деревья, где вы пасете.
 11 (11). Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды; поистине, в этом — знамение для людей размышляющих!
 12 (12). И подчинил Он вам ночь и день, солнце и луну; и звезды подчинены Его повелением; поистине, в этом — знамение для людей разумных!
 13 (13). И то, что рассеял Он для вас по земле разных цветом; поистине, в этом — знамение для людей вспоминающих!
 14 (14). Он подчинил море, чтобы вы питались из него свежим мясом и извлекали оттуда украшения, которые надеваете. Ты видишь корабли, рассекающие его,⁴ чтобы вы искали Его милость,— может быть, вы будете благодарны!
 15 (15). И бросил Он на землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами, и реки, и пути,— может быть, вы пойдете по прямой дороге!—
 16 (16). и приметы, а по звезде они находят дорогу.
 17 (17). Неужели тот, кто творит, таков же, как тот, кто не творит? Неужели вы не опомнитесь?

18 (18). Если вы подсчитаете милость Аллаха, то не сочтете ее. Поистине, Аллах прощающ, милосерд!

19 (19). И Аллах знает, что вы скрываете и что обнаруживаете.

20 (20). А те, кого они призывают вместо Аллаха, не творят ничего, и сами они сотворены.⁵

21 (21). Мертвы они, не живы и не знают ничего,

22. когда будут воскрешены.

23 (22). Ваш бог — Бог единый. А те, которые не веруют в будущую жизнь, — сердца их отвергают, и сами они превозносятся.

24 (23). Нет сомнения, Аллах знает, что они утаивают и что они обнаруживают.

25. Поистине, Он не любит возносящихся!

26 (24). И когда говорят им: «Что же ниспослал ваш Господь?» — они отвечают: «Сказки древних».

27 (25). Пусть же они понесут свои ноши полностью в день воскресения и ноши тех, кого они сбили с пути без ведения. Дурно то, что они понесут!

28 (26). Ухищрялись те, которые были до них, и Аллах погубил их здание⁶ от оснований. И упала на них сверху крыша, и постигло их наказание оттуда, откуда они и не знали.

29 (27). Потом в день воскресения унизит их Он и скажет: «Где сотоварищи Мои, о которых вы препирались?» Скажут те, которым даровано ведение: «Поистине, позор и зло сегодня для неверующих!» —

30 (28). тех, которых ангелы упокояют несправедливыми к самим себе. Они приносят покорность: «Мы не делали зла!» Да, поистине, Аллах знает, что вы делали!

31 (29). «Войдите же во врата геенны, — для вечного пребывания там! Скверно пребывание возгордившихся!»

32 (30). И скажут богобоязненным: «Что такое ниспослал вам Господь?» Они скажут: «Благо!» Для тех, кто делал добро в этом мире, — добро. А жилище будущее — лучше, и прекрасно обиталище боящихся! —

33 (31). сады вечности, в которые они войдут, внизу которых текут реки; там для них то, что они пожелали. Так воздаст Аллах богобоязненным, —

34 (32). тем, кого упокояют ангелы благими! Они говорят: «Мир вам! Войдите в рай за то, что вы совершали».

35 (33). Неужели они ждут того, чтобы к ним пришли ангелы или пришло повеление Господа твоего? Так делали те, кто был до них. Их не обижал Аллах, но они сами себя обижали.

36 (34). И постигла их мерзость того, что они сотворили, и окружило их то, над чем они издевались.

37 (35). И сказали те, которые придавали Ему сотоварищей: «Если бы Аллах пожелал, мы не поклонялись бы никому, кроме Него, — ни мы, ни наши отцы, и не запрещали бы без Него ничего». Так творили те, которые были до них; а разве на посланниках (лежит) что-нибудь, кроме ясной передачи?

38 (36). Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества».⁷ Были среди них те, кого Аллах повел прямым путем, а были те, кому оказалось суждено заблуждение. Идите же по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!

39 (37). Если ты жаждешь их прямого пути, то ведь Аллах не ведет тех, кого сбивает с пути, и нет им помощников!

40 (38). И поклялись они Аллахом, величайшей клятвой: «Не воскресит Аллах того, кто умер».⁸ Да, по обещанию от Него истинному, но большая часть людей не ведает, —

41 (39). чтобы разъяснить им то, в чем они разногласят, и чтобы узнали те, которые неверны, что они были лжецами.

42 (40). Наше слово для чего-нибудь, когда Мы его пожелаем, — что Мы скажем ему: «Будь!» — и оно бывает.

43 (41). А те, которые выселились ради Аллаха,⁹ после того как их притесняли, — Мы водворим их в здешнем мире в прекрасное (место), а награда будущей жизни — больше, если бы они знали, —

44 (42). те, которые терпели и которые на своего Господа полагаются.

45 (43). Мы и до тебя посылали только людей, которым внушали, — спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете, —

46 (44). с ясными знаменами и с писанием. И послали Мы тебе упоминание, чтобы ты разъяснил людям, что им ниспослано, — может быть они подумают!

47 (45). Неужели же уверены те, которые ухищрялись во зле, что Аллах не заставит землю поглотить их или не придет к ним наказание оттуда, откуда они не знают?

48 (46). Или схватит их в их превращениях, и они не ускользнут?

49 (47). Или схватит их в страхе? Поистине, твой Господь — кроткий, милостивый!

50 (48). И разве они не видели то, что создал Аллах из разных вещей, тень у них склоняется направо и налево, поклоняясь Аллаху, а сами они смиренны?

51 (49). И Аллаху поклоняется то, что в небесах и на земле из животных, и ангелы, и они не превозносятся.

52 (50). Они боятся своего Господа над ними и делают то, что им повелено.

53 (51). И сказал Аллах: «Не берите двух богов,¹⁰ ведь бог — только один, и Меня бойтесь!»

54 (52). Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Ему — подчинение постоянное; неужели вы боитесь кого-нибудь, кроме Аллаха?

55 (53). И какая есть у вас милость, то — от Аллаха. Потом, когда вас коснется нужда, вы к Нему вопите.

56 (54). Потом, когда Он удалит от вас нужду, — вот, часть вас придает сотоварищей своему Господу,

57 (55). чтобы не верить в то, что Мы им дали. Пользуйтесь же, потом узнаете!

58 (56). И уделяют они тому, чего не знают, долю от того, чем Мы их наделили. Клянусь Аллахом, будете вы спрошены о том, что вы измышляли!

59 (57). И приписывают они Аллаху дочерей, — хвала Ему! — а им бывает то, чего они пожелают.

60 (58). И когда одного из них обрадуют девочкой, лицо его делается черным, и он удручен,

61 (59). скрываясь от народа от горечи того, чем обрадован: удержать ли это на унижение или сокрыть его в прахе? Плохо они рассуждают!

62 (60). Для тех, которые не веруют в будущую, — притча о зле, а для Аллаха — притча величайшая. Поистине, Он — велик и мудр!

63 (61). Если бы Аллах схватил людей за их несправедливости, то не оставил бы на ней никакого животного. Но Он отсрочивает им до определенного предела, когда же придет их предел, они ни на час не замедлят его и не ускорят.

64 (62). Аллаху они придают то, что сами ненавидят, и языки их возвещают ложь, что им — прекрасное. Несомненно, им — огонь, и они будут покинуты!

65 (63). Клянусь Аллахом, Мы посылали к народам до тебя, и сатана разукрасил им их деяния. Он их защитник сегодня, и им — наказание мучительное!

66 (64). Мы ниспослали тебе книгу только для того, чтобы ты разъяснил им то, в чем они разногласят, — прямой путь и милость для людей верующих.

67 (65). Аллах ниспослал с неба воду, оживил ею землю после ее смерти. Поистине, в этом — знамение для людей, которые слушают!

68 (66). Для вас и в (вашем) скоте — назидание. Мы поим вас из того, что у них в желудках между калом и кровью, молоком чистым, приятным для пьющих.

69 (67). И из плодов пальм и лоз вы берете себе напиток пьянящий¹¹ и хороший удел. Поистине, в этом — знамение для людей разумных!

70 (68). И внушил Господь твой пчеле: «Устраивай в горах дома, и на деревьях, и в том, что они строят;

71 (69). потом питайся всякими плодами и ходи по путям Господа твоего со смирением». Выходит из внутренностей их питье разного цвета, в котором лечение для людей. Поистине, в этом — знамение для людей, которые размышляют!

72 (70). Аллах создал вас, потом Он вас упокояет. Бывают среди вас и такие, что обращаются в гнуснейшую жизнь, чтобы не знать после былого ведения ничего. Поистине, Аллах — ведущий, мощный!

73 (71). Аллах дал вам преимущество одним пред другими в жизненном уделе. Но те, которым дано преимущество, не вернут своей доли тем, кем овладела их десница, чтобы они оказались в этом равными. Неужели они отрицают милость Аллаха?

74 (72). Аллах дал вам из вас самих жен, и дал вам от ваших жен и детей и внуков и оделил вас благами. Так неужели же в ложь они веруют, а в милость Аллаха не веруют?

75 (73). И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не владеет для них уделом на небесах и на земле ни насколько, и не могут они ничего.

76 (74). Не приводите же Аллаху притч. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!

77 (75). Приводит Аллах притчей раба — невольника, который не может ничего, и того, кого Мы наделили от Себя хорошим уделом, и он расходует из него тайно и явно. Разве они одинаковы? Хвала Аллаху! Но большая часть их не знает!

78 (76). И приводит Аллах притчей двух людей: один — немой, ничего не может, и он — тягость для своего владыки. Куда бы он его ни послал, он не вернется с добром. Разве же одинаковы он и тот, который побуждает к справедливости, стоя на прямом пути?

79 (77). Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление часа — как мгновение ока или еще ближе. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!

80 (78). И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими, что) вы ничего не знаете. И Он дал вам слух, зрение, сердца, — может быть, вы будете благодарны!

81 (79). Разве они не видят птиц, покорных в воздухе небесном; их поддерживает только Аллах. Поистине, в этом — знамение для людей верующих!

82 (80). Аллах дал вам в ваших домах жилье и дав вам из кож скота дома, ко-

торые вы легко переносите в день вашего выступления и в день вашей остановки; от шерсти и волоса их — утварь и пользование до времени.

83 (81). И Аллах дал вам из того, что создал, тень, и дал вам в горах убежище, и дал вам одеяние, которое хранит вас от жары, и дал вам одеяние, которое хранит вас от вашей ярости.¹³ Так завершает Он Свою милость вам, — может быть, вы предадитесь!

84 (82). А если они отвратятся, то на тебе — только открытая передача.

85 (83). Они узнают милость Аллаха, а потом отрицают ее, ведь большая часть их — неверующие.

86 (84). В тот день, как Мы пошлем от каждого народа свидетеля (против них), потом не будет дано никакого разрешения тем, которые не веровали, и не будет им милости.

87 (85). А когда увидят те, которые были несправедливы, наказание, оно не будет им облегчено, и не будет им отсрочки.

88 (86). А когда увидят те, которые придавали сотоварищей Аллаху, своих сотоварищей, они скажут: «Господи! Это наши сотоварищи, к которым мы взывали помимо Тебя». Но бросят они им слово: «Вы — лжецы!»

89 (87). И предложат они Аллаху тогда покорность, и скроется от них то, что они лживо измышляли.

90 (88). Те, которые не веровали и уклонились от пути Аллаха, — Мы прибавим им наказания сверх наказания за то, что они распространяли нечестие.

91 (89). В тот день, когда Мы пошлем в каждом народе свидетеля против них и приведем тебя как свидетеля против этих.¹⁴ И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего и как прямой путь, милосердие и весть радости для мусульман.

92 (90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь!

93 (91). Верно выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте клятв после из закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине, Аллах знает то, что вы творите!

94 (92). Не будьте таковы, как та, которая расстроила свою пряжу, после того как укрепила ее на нитки. Вы свои клятвы обращаете в обман между вами, потому что один народ многочисленнее другого. Аллах только испытывает вас этим, и Он разьснит вам в день воскресения то, в чем вы разногласили.¹⁵

95 (93). А если бы Аллах пожелал, Он сделал бы вас одним народом. Однако, Он сбивает, кого хочет, и ведет прямым путем, кого хочет, и будете вы спрошены о том, что творили.

96 (94). Не обращайтесь же своих клятв в обман между собой, чтобы не поскользнулась ваша нога, после того как стояла твердо, а то вы испробуете зло от того, что уклонились от пути Аллаха, и вам — великое наказание.

97 (95). Не покупай же за договор с Аллахом малой цены! Поистине, то, что у Аллаха, лучше для вас, если вы знаете!

98 (96). То, что у вас, иссякает,¹⁶ а то, что у Аллаха, остается. И воздадим Мы тем, которые терпели, награду их еще лучшим, чем то, что они делали.

99 (97). Кто совершил благое — муж или жена — и он верующий, Мы оживим его жизнью благой и воздадим им награду им еще лучшим, чем то, что они делали.

100 (98). И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого камнями.

101 (99). Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа.

102 (100). Власть его — только над теми, которые избирают его покровителем и которые передают ему сотоварищей.

103 (101). А когда Мы заменяем одно знамение другим,¹⁷ — ведь Аллах лучше знает, что Он ниспосылает, — они говорят: «Ты — только измыслитель!» Да, большинство их не знает!

104 (102). Скажи: «Ниспослал его дух святой¹⁸ от твоего Господа во истине, чтобы утвердить тех, которые уверовали, на прямой путь, и радостную весть для мусульман».

105 (103). Мы знаем, что они говорят: «Ведь его учит только человек». Язык того, на которого они указывают, иноземный,¹⁹ а это — язык арабский, ясный.

106 (104). Поистине, те, которые не веруют в знамения Аллаха, — Аллах их не ведет по прямому пути, и для них — мучительное наказание!

107 (105). Ведь только ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха, и они-то — лжецы.

108 (106). Кто отказался от Аллаха после веры в Него — кроме тех, которые вынуждены, а сердце их спокойно в вере — только тот, кто открыл неверию свою грудь, на них — гнев Аллаха, и им — наказание великое.²⁰

109 (107). Это — за то, что они возлюбили жизнь дольную пред будущей, и потому, что Аллах не ведет людей неверных.

110 (108). Это — те, у которых Аллах наложил печать на их сердца, слух, зрение; они — небрежущие;²¹ (109). Несомненно, что в будущем мире они — в убытке.

111 (110). Потом, поистине, твой Господь к тем, которые выселились после испытания, а затем боролись и терпели,— поистине, твой Господь после этого прощающ, милосерд,²²

112 (111). В тот день, когда придет всякая душа, защищая самое себя, и каждой душе полностью будет дано то, что она совершила, и они не будут обижены.

113 (112). И Аллах приводит притчей селение, которое было мирно, спокойно; приходило к нему его пропитание благополучно изо всех мест, но оно не признало милостей Аллаха, и тогда дал вкусить ему Аллах одеяние голода и боязни²³ за то, что они совершали.

114 (113). И приходил к ним посланник из них, и они обвинили его во лжи, и постигло их наказание, и были они несправедливы.

115 (114). Ешьте же то, что даровал вам Аллах дозволенным, благим, и благодарите милость Аллаха, если Ему вы поклоняетесь!

116 (115). Запретил Он вам только мертвечину,²⁴ кровь, мясо свиньи и то, над чем призывалось имя не Аллаха. А если кто вынужден, не будучи преступником и врагом,— то ведь Аллах прощающ, милостив!

117 (116). Не говорите о том, что описывают ваши языки лживо: «Это — дозволено, это — запрещено»,— чтобы измыслить на Аллаха ложь, поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь, не будут счастливы!²⁵

118 (117). Наслаждение короткое, и им — наказание мучительное.

119 (118). А тем, которые исповедуют иудейство, Мы запретили то, что рассказали тебе раньше. Мы их не обидели, но они сами себя обидели.

120 (119). Потом, поистине, твой Господь для тех, которые творили зло по неведению, а потом раскаялись после этого и исправили,— поистине, твой Господь после этого прощающ, милостив!

121 (120). Поистине, Ибрахим был имамом,²⁶ верным Аллаху, ханифом, и не был он из числа многобожников,

122 (121). благодарным за милости Его; избрал Он его и повел на прямой путь.

123 (122). И даровали Мы ему в здешнем мире благо, и, поистине, в будущем он — из числа праведных!

124 (123). Потом внушили Мы тебе: «Следуй за общиной Ибрахима, ханифа, и не был он из числа многобожников.»²⁷

125 (124). Суббота²⁸ назначена только для тех, которые разошлись о ней, и, поистине, твой Господь рассудит их в день воскресения, в чем они разногласили!

126 (125). Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препирайся с ними тем, что лучше! Поистине, Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо!³⁰

127 (126). И если вы наказываете, то наказывайте подобным тому, чем вы были наказаны. А если терпите, то это — лучше для терпеливых.²⁹

128 (127). Терпи же, ведь твое терпение — только с Аллахом, и не печалься за них и не будь в стеснении от того, что они ухищряются. (128). Поистине, Аллах — с теми, которые боятся, и теми, которые делают добро!»

Комментарии

СУРА 15

1. Сура хронологически относится к середине II мекканского периода (примерно 618 год),— прочитана в условиях обострения отношения мекканской знати к пророку Мухаммаду и его последователям — ко времени, известному в истории как «период блокады».

После того как около восьмидесяти человек из последователей ислама выехали в Эфиопию (Вторая хиджра в Эфиопию — конец 615 — начало 616 года), в Мекке осталась небольшая группа мусульман, систематически подвергавшаяся нападкам. Представители мекканской знати в 616 году неоднократно обращались к Абу Талибу — главе рода хашимитов — с требованием остановить проповеди его племянника или отказаться от покровительства ему, что дало бы им возможность самим расправиться с ним. Когда Абу Талиб категорически отказал притязаниям мекканских предводителей, собрались главы родов и подписали договор об объявлении бойкота роду хашимитов. Хотя члены рода хашимитов во главе с Абу Талибом вовсе не были сторонника-

ми проповеди Мухаммада, более того, не одобряли его действий, они тем не менее по закону родовой взаимовыручки взяли его под свою защиту. Представители рода хашимитов, оставив свои дома, со всех концов города собрались у дома Абу Талиба и стали жить рядом, установив палатки. Бойкот, по сведениям источников, продолжался более двух лет (с лета 616 до конца 618 года). Обстановка в Мекке до предела была накалена, Мухаммаду очень редко удается прочесть свою проповедь, причем в условиях исключительной конспирации.

Но бойкот не достиг цели. Несколько влиятельных людей, возглавлявших роды, решили покончить с этой обстановкой и взяли на себя гарантию неприкосновенности Мухаммада, чем и завершился бойкот. С конца 618 года до середины 619 (когда скончался 80-летний Абу Талиб и главенство в роду по возрасту перешло к Абу Лахабу — исконному врагу Мухаммада, который тут же лишил его покровительства рода) для проповеди Мухаммада создалась сравнительно спокойная обстановка. Но сура 15, судя по жесткости характеристик и установок, скорее могла быть прочитана в период блокады.

Название суры «ал-Хиджр» буквально означает «камень». Но здесь оно употреблено как обозначение города, находящегося в области расселения самудитов. Этот город назван у Птолемея — Аегра, у Страбона — Петра, в обоих случаях в значении «каменный город». Он был известен как столица Nabateйского государства, где господствовала арамейская культура, и служил перевалочным пунктом в торговле Византий с кочевыми арабами. После упадка арамейской культуры (после 106 года н. э.) основное население составляли арабы. Здесь находилось Византийское административное управление — так называемая «филархия». Развалины города Петра ныне находятся на юге Хашимитской Иордании в районе Вади Муса, недалеко от современного города Маан.

2. Одержимый — так мекканские идолопоклонники называли Мухаммада за его проповедь.

3. «В народах первых» — в значении «прежние народы».

4. Башни. Арабское слово «бурдж», во множественном числе «бурудж», здесь в значении созвездия Зодиака.

5. «Побиваемый камнями» (араб. раджим) — эпитет сатаны. И сейчас одним из элементов совершения хаджа (паломничества к Каабе и другим священным объектам в Мекке) является обряд бросания камешков в шайтана в долине Мина в окрестностях Мекки.

6. «Ушедшие вперед» и «отставшие» — подразумеваются прошлые и будущие поколения людей.

7. Здесь человек сотворен из «звучащей глины», т. е. из той, из которой гончар формирует посуду. Встречается в дальнейшем и другое выражение — «эссенция глины».

8. В аяте 27 не гениев, а джиннов сотворил бог и не из «огня знойного», а из «огня обжигающего». Тут араб. «самум» — знойный, обжигающий ветер пустыни.

9. Аяты 28—40 — наиболее подробное изложение диалога с Иблисом.

10. В аятах 43—44 впервые упоминаются 7 врат геенны и соответствующе 7 отдельных ее частей.

11. Изъятие злости из груди человека — характерное представление об избавлении человека от злости и корысти. По легенде, ангелы вскрыли грудь пророка и очистили его сердце от злости, когда ему было пять лет. Это нашло отражение в суре 94.

12. «Гости Ибрахима» — ангелы, которые пришли к нему с вестью о том, что у него родится сын, о чем было сказано в предыдущих сурах.

13. Аяты 61—77 — история Лута.

14. В аятах 78—79 упоминаются «обитатели ал-Айки». Ал-Айка — собственно арабское название того народа, который в предыдущих сурах назывался маджанитами, к нему был послан пророк Шуайб. Специалисты сомневались в историчности этого народа. Между тем в Торе неоднократно упоминается народ «маджанитяне» (Бытие, гл. 37; Числа, гл. 31; Судьи, гл. 6 и др.).

15. Под «обитателями ал-Хиджра» подразумеваются самудяне, легенда о которых подробно разъяснены в предыдущих сурах.

16. Буквальный перевод фразы «Отвернись же красивым оборотом» не совсем ясен. Речь идет о том, чтобы Мухаммад резко отвернулся от многобожников, бесполезно их наставлять, если столько увещаний не оказали на них никакого воздействия.

17. «Семь повторяемых» (араб. Саб'мин ал-масани) — известный в традиции исламской догматики термин, означающий, что 1-я сура Корана содержит в семи своих аятах семь основополагающих догм ислама и соответственно — содержания Корана. В связи с чем сура еще называется «Умм ал-китаб» — «мать книги», иногда «Умм ал-Кур'ан» — «мать Корана». Слово «повторяемых» связывается с тем, что семь аятов 1-й суры постоянно повторяются во всех ракаатах намаза.

18. Здесь в смысле — не обращай внимания на тех, неверующих, которые пользуются временными благами жизни.

19. В аятах 90—91 под «делителями, которые обратили Коран в части», подразумеваются иудеи и христиане, обвиняемые в игнорировании отдельных частей писания.

20. По строгому предписанию аята 94 становится ясно, о чем шла речь в аяте 85.

21. В связи с упоминанием в аятах 95—96 насмешников, которые насмеялись над Мухаммадом, в толкованиях упоминаются имена пяти мекканцев, особенно рьяно выступавших против пророка.

22. В аяте 98 арабское слово «фасаббах» переведено как начало отдельного предложения — «Прославь же хвалу Господа твоего». И потому получается отрыв этого аята от содержания аята 97. Но они в тексте объединены через союз «фа» и означают: если «грудь твоя стесняется» (т. е. когда тебе неприятно) от их разговоров, то ты занимайся восхвалением Господа, не обращая на них внимания. Продолжение смысла идет и в аяте 99 — продолжай поклонение (или служение) Господу до тех пор, пока не придет к тебе «несомненность» смерти, т. е. до последних дней своих.

СУРА 16

1. Хронологически сура прочитана в начале III мекканского периода, предположительно в 620 году. Пророк Мухаммад и его последователи находились в сложных условиях в Мекке, плана переселения в Медину еще не существовало. Цель проповеди — укрепление веры у последователей в ожидании улучшения положения.

2. В этот период мусульмане часто спрашивали Мухаммада о сроках наступления судного дня, от которого ожидалось наказание мекканской знати и облегчение положения мусульман. Каждый раз Мухаммад наставлял людей, что никто не может ускорить это.

3. Капля — араб. «нутфа» — капля мужского семени.

4. В аяте 14 — первое упоминание даров моря. Отдельные исламоведы, ссылаясь на такие места, утверждали, что эти части Корана не могли быть сочинены в Мекке. Но курейшиты имели связи не только с севером и югом Аравии, но и с племенами, жившими на побережье Красного моря и Персидского залива.

5. Те, которые «не творят ничего, и сами они сотворены» — имеются в виду идолы племенных богов.

6. «Погубил их здание» — в толкованиях трактуется как наказание многих народов, а исследователи допускали, что здесь имеется в виду легенда о вавилонской башне.

7. Здесь «Ат-Тагут» переводится как язычество, но в исламской традиции это идол, шайтан. Комментарии даны в суре 2.

8. Аят 40 переведен не вполне четко. Речь идет о тех, кто клянется, что Аллах не может воскресить людей после их смерти.

9. «Которые выселились ради Аллаха» — в толкованиях обычно трактуется как переселение в Медину. Однако, когда читалась эта сура, еще не было планов переселения в Медину, поэтому более логично предположить, что речь идет о переселенцах в Эфиопию.

10. Не ясно, о каких «двух богах» идет речь. Отдельные исследователи предполагают, что это намек на зороастризм, в котором признаются бог добра и бог зла.

11. «Напиток пьянящий» — как видно, пока еще нет строгого запрета на пьянящие напитки, запрет этот произошел, как отмечено в предыдущих сурах, в мединском периоде.

12. В первой части аята 82, по толкованиям, речь идет о жилищах из камня и глины, а дальше — о традиционных арабских палатках из кожи, которые легко переносятся во время кочевья.

13. Дословный перевод «от вашей ярости» не передает содержания. Речь идет об одежде для боя — военном снаряжении.

14. Фраза «в каждом народе свидетеля против них» — означает заступничество перед богом каждого пророка за свой народ, но далее пророк Мухаммад будет выступать заступником за все народы.

15. По содержанию аятов 94—97 чувствуется, что среди мусульман были случаи сомнения в вере, может быть, из-за сложности обстановки, а также из-за того, что мусульмане были слишком малочисленны в сравнении с мекканскими язычниками.

16. Аят 98 может быть рассмотрен как намек на то, что у отдельных мусульман уже иссякали терпение и выдержка.

17. Отмена одного аята другим имела место еще в Мекке, что, видимо, диктова-

лось обстановкой (известное в богословии ислама учение о «наске»), за что язычники обвиняли Мухаммада в «измышлении».

18. «Дух святой» (араб. рух ал-куддус) — по догматике ислама это понятие не связывается с представлением об ангелах, но здесь под духом святым подразумевается архангел Джабраил (Гавриил).

19. «Иноземный» (араб. аджами) — здесь впервые упоминается термин, ставший в дальнейшей истории ислама популярным, он стал употребляться применительно к языкам мусульман — не арабов, в частности, имелся в виду персидский язык.

20. По содержанию аятов 108—109 можно судить о том, что в этот период в Мекке среди последователей Мухаммада были случаи отхода от веры. В тяжелой обстановке в Мекке делается исключение тем, кто вынужденно отрицает Аллаха, но в душе продолжает верить.

21. «Небрегущие» — здесь арабское слово «гафилун» точнее было бы перевести как «беспечные».

22. Группа аятов 111—125 несомненно относится к мединскому периоду. Этот кусок, видимо, включен в мекканскую суру.

23. Перевод слова «хауф» как «боязнь» неточен. Во многих местах парно упоминаются голод и опасность (а не боязнь), как факторы, подстерегающие человека и от которых спасает Аллах.

24. О запрете крови и мяса свиньи было упомянуто раньше. Здесь впервые упоминается запрет мертвечины.

25. Из содержания аята 117 явствует, что установленные запреты осознавались не всеми, и на этот счет допускались самовольные суждения.

26. Фраза «Ибрахим кана умматан» не точно переведена как «Ибрахим был имамом», слово «уммат» в дальнейшей истории ислама получило значение «общины», а в данном случае оно близко к значению — «глава последователей бога» или «поклоняющийся богу», с чем связывается и значение следующего слова «ханиф», которое в то время имело значение «последователя единого бога». Тут следует иметь в виду то обстоятельство, что сам пророк Мухаммад проповедует новую веру как последователь пути Ибрахима, как восстановитель его религии.

27. Аят 124 четко определяет Мухаммада как последователя общины Ибрахима.

28. Упоминание субботы свидетельствует о начавшихся в Медине взаимоотношениях мусульман с иудеями.

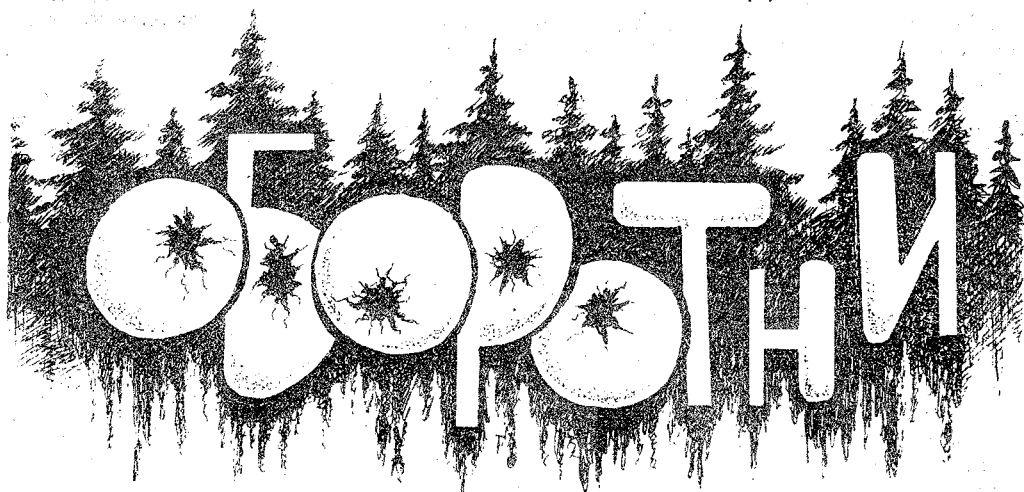
29. Здесь речь идет не о наказании, а о мщении, в том смысле, что если мусульмане хотят мстить врагам, то должны мстить только в ответ на то, что враги сделали им, т. е. враги должны понести наказание не более того, что заслуживают. А если мусульманин обойдется без мщения, то совершит богоугодное дело.

30. Аяты 126—128 — мекканского происхождения, здесь речь идет о мекканских язычниках, которые постоянно преследуют мусульман. А Мухаммаду предписывается терпеть и настойчиво продолжать свою проповедь.

Продолжение следует



Геннадий Головин



ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тигр замер. Полосатая шерсть вздыбилась, хищное кошачье тело напряглось. Он весь как бы подобрался, приготовясь к чему-то неожиданному. Впитывая звуки и запахи своей стихии, зверь уловил в них нечто тревожное.

Вокруг вздымалась девственная тайга, всюду дебри. Здесь вряд ли есть кто-то, способный противопоставить себя грозному властелину местной фауны. Но среди хаоса приглушенных таежных звуков хищник расслышал ритмичную поступь и тяжесть шагов, непривычную для обитателей дикого леса.

Выждав в оцепенении минуту-другую, тигр, мягко ступая, крадучись, двинулся к подножью скалистой сопки, будто преследуя дичь. Там, встав лапами на каменную глыбу, обнюхал воздух. Запах, что коснулся его тонкого чутья, был незнаком и опасен.

Сначала ничего не открылось взору хозяина тайги: лишь беспорядочное нагромождение валунов да поросли кедровника. Но вот дрогнула ветка, другая, и зоркий глаз тигра выхватил из окружающей природы силуэт странного существа... Человек!

Никогда полосатый не видел его, но сработал генетический код. Пригнув гибкое сильное тело, украдкой, прячась, двинулся человек в глубь тайги.

Тигр угрожающе оскалился, оттолкнулся от глыбы и скачками кинулся в чащу. Когда не знаешь, с кем имеешь дело, лучше уйти. Но собственная трусость разъяри-

ла зверя, грозный рык был тому подтверждением. Рык этот эхом прокатился по дремучим лощинам, достиг остроконечной вершины сопки, вспугнул восседавшего на ней орла-стервятника, заставил его взмыть в поднебесье. Закон тайги действовал безотказно.

Весеннее небо. Легкие кучевые облака. Орел, раскинув крылья, парит под ними, острым оком выискивая добычу, подмечая все, что творится внизу. А там, насколько мог видеть пернатый, распростерлась зеленая таежная щетина, полная загадок и тайн. И вот одна из них — мертвое тело в расщелине, не зверя — человека!

Человек. Широкоплечий, мускулистая шея, исхудавшее лицо, серые, почти светлые от усталости глаза, узкий лоб и волевой подбородок. Он шел, озираясь, прислушиваясь к каждому шороху, стараясь треском валежника не привлечь к себе внимания. Он, как и зверь, опасался встречи, и тоже с человеком.

Жилье уже находилось рядом. До слуха доносились его отзвуки: лай собаки, мычание коровы и какие-то звонкие удары, наверное, из сельской кухни. Человек остановился, прислушался. Затем, сняв с себя дерматиновую куртку, сложил вдвое, бросил на землю, присел на нее, прислонясь к стволу кедра.

Ему, девятнадцатилетнему Митьке Дрызу, сбжавшему из колонии, не верилось, что рядом родная Лузянка, что высокая ограда с двумя рядами колючей проволоки далеко и что не надо опасаться резкого окрика охраны. Он свободен!

После удачного побега Митька долго скрывался в таежных дебрях, держась подальше от жилых мест. Как затравленный зверь, избегал людей, ожидая погони. Питался чем бог пошлет: прошлогодними орехами, яйцами птиц, разоряя гнезда, поджаривая на вертеле птенцов. Спал где придется, воду пил из ручьев и луж. Он утратил ощущение времени, борясь за выживание. В него впились клещи, пугали дикие звери, мучил холод и не отступающий ни днем ни ночью страх. Одиночество превратилось в пытку. Порой, уткнувшись озябшим носом в колени, он — уголовник, сын бывшего уголовника, расстрелянного по приговору суда за зверское убийство своей жены, матери Митьки, тихой забитой женщины, плакал беззвучно и отчаянно.

Дальше так Митька не мог. И вот, после мучительных раздумий, решил податься в родное село. Была не была! А там... — хоть к черту на рога! И это не жизнь.

Село Митьки Дрыза стояло в глубинке таежного края. Вокруг необозримые просторы тайги, сопки да озера. Начальства в селе почти никакого. Из законников один только участковый милиционер, и тот жил в головном поселке за двадцать пять верст от Лузянки. В село милиционер навещался один, от силы два раза в неделю. Лузянские мальчишки, заведя его мотоцикл на дороге, успевали оповестить всех, что к ним «жмет на драндулете Потапыч».

Сельские мужики, занимаясь лесоразработками, находились подолгу на заимках или уходили на охоту, а бабам да старикам откуда знать, что в мире творится. К тому же, старая тетка, родная сестра Митькиного отца, готова была всегда принять Митьку, спрятать от властей, равно как и от посторонних глаз.

Итак, он решил идти в родное село. Идти наугад, надеясь на милость судьбы. Благо, что о Лузянке и о том, что Митька родом из этого села, никто в колонии не знал. Когда взяли его за убийство с ограблением в Хабаровске, документов при нем никаких не было. В детском доме, где он воспитывался с девятилетнего возраста, после того, как убежал от тетки, значился местом рождения их районный центр. Так что засады в доме тетки быть не должно.

Неожиданно Митька вскопчил. Сердце его учащенно забилось. Замер, напрягая слух. Ему почудились шаги. Прислушался, приложив ладони к ушам. До слуха долетел звук, похожий на птичий свист. Но вот минута-другая, и звук стал различим. Кто-то, насвистывая, беззаботно шел по тайге. Несмотря на испуг, Митька немало удивился — обычно таежники не гуляли по дебрям, как по городскому парку, вели себя крайне осмотрительно.

Затаясь в листве, Митька стал ждать. Человек приближался. Вскоре меж стволов замелькала фигура белобрысого парня в ватнике. В руках его был потертый чемодан. Посматривая вверх на кроны деревьев, странный пешеход насвистывал одному ему известную мелодию. Видно было — настроение у него хорошее. Он шел прямоком по бездорожью, с видом человека, направляющегося к поезду. В глухой тайге картина такая могла вызвать недоумение у кого угодно.

Митька следил за парнем из своего укрытия, волнение нарастало. Он все еще надеялся, что тот свернет в сторону. Но парень шел на него.

На дороге, из-за деревьев подступившей к самой обочине тайги, вынырнул лесовоз. В кабине тяжелогруженной машины, кроме водителя, никого не было. Неожиданно рябоватое лицо его вытянулось, в темных глазах мелькнуло удивление. Он пригнулся к лобовому стеклу и сбросил газ. Это отколь же такой? Будто из берлоги вылез... Интересно!

На обочине стоял парень. Кудлатый, подбородок и щеки в рыжеватой, давно не бритой щетине, в руках чемодан. Голосует, просит подвезти. Появление парня в столь глухом и далеком от жилья месте озадачило водителя. Он даже проскочил сначала метров пятьдесят вперед — не успел решить для себя, что делать, прежде чем нажал на тормоза. От резкого торможения тяжелый полуприцеп слегка повело юзом, двигатель заглох. Водитель открыл дверцу, высунулся из кабины.

— Давай шустрее! — крикнул он парню и махнул рукой. — Подвезу, паря, так уж и быть! — подхватил чемодан и сказал: — Одному скучно, тракт больно невеселый... Напарник, вишь, заболел. Тебе куда? — завел машину.

— А?.. В армию, — ответил парень, усаживаясь с водителем рядом. — Призвали вот... Добираюсь...

— В армию? — недоверчиво глянул водитель. — Тогда правильно я сделал, что остановился. — Включил передачу и тронул машину. — Только туда я тебя не смогу доездить, но вот к военкомату доставлю в лучшем виде.

Машина набрала скорость.

— Значит, служить? — И, не дожидаясь ответа, сказал: — Лично я свое отслужил десяток лет назад, — в голосе его прозвучало сожаление. Слова призывника произвели на него впечатление, тронули задушевную струнку. Вдохнул. — Эх, года мои, года! Мое единственное богатство. Закурить найдется? — Ему хотелось поговорить.

— Нет, — покачал головой парень, — все вышло, — и снова замолчал.

Водитель внимательно посмотрел на своего пассажира и, сняв одной рукой кепку с головы, достал из нее смятую пачку сигарет.

— Бери, — протянул попутчику. — Про запас держал, да по такому случаю пустить в расход можно... Ты как, с желанием идешь? — И сам зубами выгнул сигарету из пачки. — Или с кошками на душе? — Он чиркнул зажигалкой, прикурил и поднес огонек парню.

Закурили.

— С желанием, однако, — поспешно и не совсем убедительно ответил парень. — Кто же служить Родине без желания идет?

— Пожалуй, ты прав, паря, — согласился водитель и вдруг спросил: — Чего не у развилки стоял?.. Из тайги вышел, что ли?

— Угу... Кхы-кхы, — закашлялся парень, хватанув лишнего дыма. — Из тайги... Из Лузянки я. В обход, по дороге, далеко, а напрямик от нас всего восемнадцать километров. Мы так и ходим к большаку через тайгу, когда быстрее нужно, — голос его хриловатый, будто простуженный. Слова говорит резко, окончания не договаривает.

Водитель снова окинул его взглядом — засомневался, очевидно.

— А-а, теперь понятно, — кивнул. — Но ты мне, паря, документик свой все же покажь... Извини! Но, как говорится, доверяй, но проверяй, — и перебросил сигарету в другой угол рта. — В тайге всяк бродить может, тайга — она эвон какая!

— Документик? — переспросил растерянно пассажир, но спохватился, воскликнул нарочито весело: — Это можно! Документы всегда при себе, — расстегнув куртку, достал бумажник. — Вот смотри, паспорт, повестка из военкомата... Все чин по чину!

— Давай посмотрим, каков ты здесь молодец! — криво улыбнулся водитель, беря паспорт и краем глаза всматриваясь в фотокарточку. Снимок слегка потертый, некачественный.

Парень, отдав паспорт, отвернулся к окну, опустил стекло и выбросил окурочок. Разглядывай, мол, ладно... Мне-то что!

— Что-то ты светлый здесь какой-то? — водитель приблизил паспорт к глазам. — Вроде, как похож... и вроде нет. Белобрысый больно, — посмотрел затем на повестку, вернул вместе с паспортом. — Давний снимок?

— Я это... не сомневайся... — заулыбался, убеждая его, парень, — два года назад фотографировался, — спрятал документы в бумажник, положил в карман. — Ты вон тоже белеть начинаешь, — покосился он на волосы водителя, подернутые сединой. — Вот сфотографируюсь на военный билет, темнее стану... выгладеть.

— Это ты верно подметил, — усмехнулся догошный водитель. — Годы, они, брат, свое берут... Сначала темнее, потом белеем, так и живем, Яшка! Счастливым

ты парень, скажу я тебе!— снова вздохнул он, вспомнив свои молодые годы.

Разморенный теплом кабины, под монотонный шум двигателя и негромкий говор водителя, парень незаметно заснул, уткнувшись в угол.

В районный центр они прибыли под вечер. Городок невелик. Но и не Лузянка. Огней — море, музыка играет где-то, люди по тротуарам ходят. Водитель остановил машину. Некоторое время смотрел на сладко спящего призывника, не решаясь будить. А может, хотел еще раз взглянуть на свое прошлое? Вздохнул и затормозил парня.

— Вставай, солдат, прибыли!.. Этак службу всю и проспичь! Ну-ну, Яшка! Яшка заморгал сонными глазами, глянул по сторонам, сообразил, наконец, где находится. Затем вытащил из бумажника трешку, протянул водителю:

— Возьми вот... Больше не могу, нету лишних,— сказал без всякого стеснения. Водитель бросил взгляд на трешку, усмехнулся.

— Убери! С солдат не беру,— показал рукой.— Вон там, за углом, районный военкомат — дуй на полусогнутых!.. Да служи давай, как подобает нашему брату-таежнику.

— Ладно... Тогда, бывай!— парень спрятал деньги в бумажник, открыл дверцу кабины.— Я пошел...

— Счастливо, Яшка!— махнул рукой водитель.— Служи по-нашенски!

Когда лесовоз скрылся за поворотом, Яшка осмотрелся, будто опасаясь чего-то, затем, тряхнув чемоданом, направился к военкомату.

Навстречу ему шла небольшая компания. Стриженные головы, вольные жесты, призывники. Один брэнчал на гитаре, двое других держали за руки девчонок. Парни вели себя нагло, говорили громко, грубо, не выбирая выражений, не стесняясь присутствия подруг. А те и не думали возмущаться, смеялись по поводу и без, висли то на одном, то на другом, целуя каждого, визжали, отдирая от себя их цепкие руки. Видно было, компания тепленькая.

Проходя мимо Яшки, парни нахально оттолкнули его в сторону, прокричали прямо в лицо:

— Не пыли копытами, кореш! Уважай армию, сука!

Парень сжал увесистые кулаки, напряжился, готовый ринуться в драку, но тотчас сник, перетерпел. Преимущество явно не на его стороне, он это видел. Нежелание предстать в военкомате с «фонарями» охладило его гневный пыл. Компания прошла мимо. Однако на перекрестке улиц парни, взвихренные хмельным угаром, затеяли ссору с кем-то из прохожих. Началась потасовка. Вскоре послышался свист милицейского свистка. На шум драки бежал милиционер.

Парень не стал дожидаться конца и поспешил удалиться, не хотел быть свидетелем. К тому же вид милицейского мундира вызывал в нем невольный внутренний трепет, желание раствориться, исчезнуть. Страх охватил душу.

— Где тут у вас парикмахерская?

— Тут вот, сынок, не доходя до столба,— указала тетка.— Чуток левее...

Пошел, не поблагодарив даже. В парикмахерскую зашел кудлатый, вышел постриженным наголо, неузнаваемым. Настоящим призывником. Некоторое время, присев на чемодан, о чем-то думал. Затем решительно поднялся и направился в военкомат. У входа потоптался с минуту, будто в нерешительности, и открыл дверь.

В военкомате, кроме дежурного офицера, никого. И тот будто дремлет — голову на руки склонил. Яшка кашлянул, шаркнул ногой о тряпку.

— Явился я вот,— сказал осевшим голосом. Прокашлялся еще.— Куда мне?..— внутри холодок. Замер в ожидании ответа.

Офицер поднял голову, опустил руки, посмотрел без удивления, но с досадой.

— Давай повестку... Маяк будущий,— взял из рук парня листок, профессионально кинул на него взгляд, на повестку и отложил в сторону.

— Почему поздно прибыл?.. Комплектование с утра проходило,— сказал строго.— Паспорт давай...

— С Лузянки добираюсь я,— протянул паспорт, чувствуя непроизвольную дрожь в теле,— на попутках... Запоздал, выходит, не по своей вине...— голос срывается. Но офицеру все равно. Взял паспорт, полистал.

— Бурлей Яков Мефодьевич, так... Сейчас посмотрим, в какой ты команде,— стал рыться в бумагах.

Яшка, замирая, стоял в ожидании, будто замороженный, не сводил глаз с офицера. А тот и не торопился.

«Капитан,— отметил про себя Яшка.— Надо бы по званию обращаться, по-

военному... Вишь, какой строгий, прямо чучело в ремнях... Форменку-то выютюжил, аккуратный... А черта ль ему... светло, тепло...»

— Есть такой!— пробегая глазами по колонке фамилий, пробасил капитан.— И здесь крайний...

Парень встрепенулся.

— Чего, может, не так?— спросил нарочито простецки.— Я ж не виноватый...

Капитан поднял на него глаза. Помедлил, будто изучая, с кем имеет дело.

— Четвертая команда твоя, запомни,— сказал, как приказал, оцепеневшему парню.— Запиши... Медкомиссию пройти завтра, с опоздавшими.

— Запомню,— чувствуя, как холод отступает от напряженной души, дернулся тот.— Порядок, значит?

— Завтра к девяти часам на сборный пункт, это здесь, рядом,— объяснил капитан, откладывая списки.— Найдешь старшего, лейтенанта Слуцкого. Он тебя в строй поставит... Отправка послезавтра. Ясно?

— Ясно!— весело воскликнул Бурлей.— Будет исполнено, товарищ капитан!— И впервые осмотрелся.

«Как в конторе, типично... Вон картинок поналепили, будто их смотрит кто... Даже огнетушители повесили у двери».

— Только не вздумай,— офицер поднялся, провел пальцем по воротнику.— Ты, можно сказать, уже в армии. Понятно?

— Само собой,— осмелев, хмыкнул Яшка.— У меня с этим заматано, железно! Не сомневайтесь, товарищ капитан, прибуду, как стеклышко!

Капитан достал железную расческу, зачесал волосы. Дунул на зубья.

— Вот и хорошо... Свободен,— сказал и спрятав расческу в карман.— Иди.

— Свободен?— расширил глаза Яшка.— Спасибо.— И направился к выходу, чувствуя, как затекли ноги. Но громкий голос капитана заставил вздрогнуть и остановиться.

— Да! Ночлег у тебя есть?

— Чего?— Яшка насторожился.

— Где ночевать будешь?— офицер зевнул, раскинув в стороны руки, потянулся.— Ты чего, Бурлей, глухой?

— А-а-а!— поняв, успокоился Яшка.— Не-е, слышу... Есть... найду угол.

— На всякий случай запомни,— офицер снова уселся перед телефонами,— на вокзале для призывников место отведено. Если негде спать, иди туда. Обратись к военному патрулю — устроит...

Но Яшка уже юркнул за дверь.

— Обойдусь без патруля,— сказал вполголоса, выйдя на улицу, и вздохнул, будто груз с плеч сбросил. Вскоре он совсем растаял в сумраке малолюдного городка.

Военно-медицинскую комиссию Яшка проходил на сборном пункте вместе с другими опоздавшими. В низком, барачного типа доме в нескольких комнатах разместились военные медики.

— Жалобы?— первый вопрос врача к входящему призывнику.

— Нет покамест,— в ответ тот.

— Значит, здоров?

— А как же!

Перед кабинетом хирурга толпились голые. Среди них был и Яшка. Задержки особой не было, призывники вызывались по списку, заходили, выходили.

— Ну что, прощупали?— хихикал кто-нибудь, глядя на выходящего из кабинета.— Не оторвали?..

— Как можно! Чем же груши околачивать буду?

И раздавался дружный хохот.

Яшка, заложив одну ладонь под мышку и прикрыв стыд другой, кривил в улыбке узкие губы: «Пацанва, что с них взять!.. Не то что балду, палец покажи, хохотать до одури будут... Мне бы их печали!»

— Яков Бурлей,— вызвала медсестра, приоткрывая дверь.— Кто Бурлей?..

— А?— будто забыв свою фамилию, встрепенулся Яшка.— Здесь я!.. Что, можно?..

— Заходите,— вежливо пригласила та.— Что же вы такой медлительный?— строгим взглядом повела сверху вниз.— Представляйтесь доктору.

Яшка четким шагом, размахивая, как в строю, руками, приблизился к столу. Доктор, сравнительно молодой офицер, в белом халате и белой шапочке, сидел за столом, писал что-то, не поднимая на вошедшего глаз.

— Жалобы?— бросил он.

— Какие?— растерянно протянул Яшка.

Доктор кинул на него быстрый, цепкий взгляд.

— Геморрой?.. Переломы, ушибы?..

Яшка вопросительно покосился на медсестру.

— Это самое... Откуда?— пожал плечами.— Не имеется, конечно...

— Что за шрам на груди?

— А-а! С дерева упал...

Доктор встал из-за стола, подошел. Быстрыми и твердыми пальцами потрогал голову, ребра, руки. Заставил повернуться, нагнуться...

— Значит, жалоб нет?— уточнил недоверчиво.— Ни ушибов, ни переломов?

— Не-а!— мотнул головой Яшка.— Все шарниры на месте. И остальное тоже,— зыркнул на медсестру.

— К чему татуировку сделал?.. Задница не картинная галерея, разведчика из тебя уже не сделаешь... Крепок-то ты крепок, да уже с брачком...

— И сам жалею, шалости детства,— Яшка подмигнул медсестре, бросившей писать и уставившейся на него.

Доктор перехватил ее взгляд, заключил поспешно:

— Хорошо... Жалоб нет, годен!— и уже медсестре:— Машенька, следующего...

Яшка так же четко покинул кабинет хирурга.

Весь остаток дня он в числе других призывников находился на сборном пункте. Наконец все формальности были утрясены. Опоздавших развели по своим командам, вручили старшим.

— Бурлей Яков,— записал в блокнот русоволосый, интеллигентного вида, перетянутый португеей лейтенант.— Так!.. Будете пока в отделении сержанта Рахимова.— Вон стоит,— показал рукой и сам представился:— Я лейтенант Слуцкий, старший вашей команды...

«Интересный,— подумал с завистью Яшка.— Холеный... Глаза голубые и нос точеный... Талия, как у девицы какой... Руки нежные, к грубой работе непривычные...»

— Вопросы ко мне будут?— лейтенант смотрел куда-то поверх головы Бурлея.

— Не имеются,— вдруг с нахлынувшей неприязнью ответил Яшка.

— В таком случае, до завтра! Отправление в одиннадцать тридцать с вокзала. Прошу не опаздывать,— четко повернулся и легкой походкой удалился.

«Прошу, пожалуйста! Чистоплой холеный... Согнал бы с тебя этот лоск!»— в раздражении, сплюнув, подумал Яшка.

Поставя, он отправился в клуб, где показывали учебный фильм о правилах перевозки и следования по железной дороге техники и личного состава

— Подвинься,— толкнул он кого-то в темном зале. Сел и задремал, прислонясь спиной к стене, под жужжание аппарата и монотонный голос диктора.

На вокзал Бурлей явился последним. Майское солнце заливало станцию, играя веселыми бликами на стеклах привокзальных построек. На перроне толпились люди, царил оживление.

— Который час?— спросил у встречного.

— Однако одиннадцать,— глянул тот на часы.

«Ишь ты!— усмехнулся про себя Яшка.— По-военному шустрить начал, тютелька в тютельку поспел... Если так дело пойдет дальше, ефрейтором стану.— Обшарил окружающих глазами.— Покурить бы теперь».

И стал протискиваться сквозь толпу.

Слышалась музыка. Как и при всяких проводах, толпа суетилась, горланила, нетерпеливо ожидая своего часа.

«На знакомых не нарваться бы,— подумалось с трепетом.— У кого бы все же стрельнуть курево?» — остановился, поставил чемодан, осмотрелся.

«Ба-а! Какая встреча!— взор Яшки остановился на группе парней.— Никак свора кусучая?.. И те метелки с ними,— подумал так о девицах, похожих на болонки.— Вот оно... пути-дорожки сходятся...» — припомнил обиду, которую нанесли ему близ военкомата.

Ничем не выделяясь среди других призывников, парни стояли своей компанией, курили, тискали девиц. Те и впрямь, как болонки, повизгивали. Яшку они явно не хотели признавать, в упор не видели. А он и не страдал от этого. Поднял чемодан, протиснулся к ним.

— Мне бы в тайгу податься, блин,— тягучим тенором высказывал сожаления тощий, нескладный парень.— Упустил момент... Мать разнылась — иди в армию, там из тебя человека сделают,— сузил презрительно зеленоватые глазки, скривил губы.— Видел я эту армию... в гробу в белых тапочках!— сморщил нос и сплюнул сквозь зубы.



Рисунки Л. Максимова

«Тощий...злющий... жердь,— заключил Яшка. Потянул носом дымок сигареты.— Должок за ним...»— вновь поставил чемодан, придвинулся ближе.

— А я жалею, что рано из колонии вышел, сюда...— так же зло поддержал его другой: невысокий, шустрый, с черными глазами и почти сросшимися бровями.— Думал смыться подальше от позора... Родня у меня большая в Узбекистане, все честные, а я вором сделался... А в колонии житуха была! Несовершеннолетних пряниками кормили...

— Не лей бурду, Гашиш!— оборвал его тощий.— Слыхали уж... Выслуживался перед начальством, небось, языком на заду волосы причесывал!.. А теперь вот у сержанта, земляка своего, пряники зарабатывать будешь... Видел я, как ты ему вещмешок пер. Тошнота!— тощий скривился в ехидной улыбочке.

— Ну ты, шкура!.. Думай, что изрыгаешь!— чернявый не на шутку разозлился, сжал кулаки.

Яшка тотчас оценил ситуацию. Момент самый подходящий.

— Эй, кореш! Дай ему в пасть...— и нахально выдернул изо рта у тощего сигарету, оторвал обмусоленный конец, сунул себе в зубы,— я помогу...— взглянул на парней вызывающе, выпустил дым прямо в лицо ошеломленному такой наглостью тощему.

Тощий побледнел. Дернулся к прилпатенному незнакомцу.

— Да ты что, паскуда! Да я те...— грязно выругался для пущей остратки.

Прильнувшие к парням «болонки» взвизгнули, кинулись к тощему, пытаются удержать его.

— Не надо!.. Не тронь его, Тара!

На лице тощего отразилось сомнение, не хотелось показывать себя трусом, но и драку начинать нельзя, ведь уже армия.

— Отцепитесь вы! — оттолкнул повисших на нем девчонок. И уже без прежней уверенности добавил: — Я ему сейчас зубы пересчитаю!

Яшка скривился в наглой усмешке.

— Спокойно, шланг! За мной перышко не заржавеет, если что — так сразу. Он демонстративно затыкнул пару раз, щелчком отбросил окурочек и метко сплюнул под ноги парням. — Понял?..

Дружки тощего смотрели на все это с выжиданием, сразу смекнув, с кем имеют дело. А сам тощий Тара, удерживаемый девицами, сник.

— Ладно... Потом увидим... вместе щи хлебать придется, — это он уж так, для мирной концовки. Голос понизил и вырваться из рук подружек перестал. — Я это запомню... не думай...

— Валяй, сопля! — процедил сквозь зубы Яшка. — Только я тебе, корешок, этого не советую, — голосом насмешливым, не боязливым. — Здоровье можешь измотать... и вывеску себе попортить.

Взгляд тощего загорелся ненавистью. Но что ответить, не нашелся. На дружков это явно подействовало. Не стали и они ввязываться в ссору. И Бурлей понял, что одержал верх.

В это время прозвучала труба, и понеслась по перрону команда:

— По вагонам!

Люди засуетились, зашумели. Стали обниматься, целуясь, плача и смеясь одновременно. Яшка поднял чемодан и стал протискиваться к вагону.

— Сержант, — Яшка сунулся к Рахимову, стоящему поодаль, — который наш вагон... четвертой команды? Этот? А-а, тот, значит? Мне он больше нравится, — и направился к вагону, указанному сержантом. Но зайти в него не торопился, решил понаблюдать за компанией тощего.

Вокруг по-военному звучали команды, строго, почти жестко, чтобы призывников подстегнуть, организовать их и провожающих остепенить, а то ведь и в вагоны готовы были залезть.

— Первая команда, во второй вагон! — зычным голосом кричал какой-то капитан. — Шевелись! Остальные в сторону! Давай-давай! Живей!

Близ Яшки то же самое. Молоденький лейтенант Слуцкий громко, но в то же время деликатно:

— Четвертая команда, в шестой вагон! — а сам весь портупеей перетянут, с висящей на ней пистолетной кобурой, будто на фронт собрался. — Быстрей, парни!.. Торопись!..

А тут и майор, маленький такой, коренастый, в фуражке вдвое больше его маленькой головы. Из толпы вынырнул, поднатужился, побагровел, на носки даже приподнялся, чтобы выше показаться, и гаркнул:

— Прр-а... важающие... в сторону!

Но ожидаемого эффекта не получилось, петуха пустил, закашлялся даже. Знакомые парни медлили. Яшка хорошо все это видел, осмысливал. «Пауки ползучие, никак от девок отлипнуть не могут... А те — девочки общие, хоть сейчас на что угодно готовы, блохи постельные... Ну, слава богу, сержант подогнал!»

А парней и впрямь Рахимов подогнал окриком:

— Вам что, особое приглашение надо? А ну, марш в вагон! — голос у него громкий, по-восточному мелодичный, сам высокий, стройный, словом, красавец! Девки за таких полжизни готовы отдать.

Тоший, Гашиш и Сыч, как окрестил третьего, полного, похожего на сыча парня, Яшка, отодрали, наконец, от себя девиц, и те прижали платочки к глазам, осторожно так, чтобы макияж не испортить. Парни полезли в вагон. Тут и Яшка следом.

Оркестр заиграл прощальный марш. Поезд тронулся, заскрежетало что-то жалобно так, звякнуло, зашипело под вагонами. Перрон поплыл назад. Провожающие пошли рядом, побежали, махая руками, крича что-то, чего в общем шуме нельзя было разобрать. Поезд набрал скорость, унося парней, мальчишек по сути, в далекую даль.

В вагоне было шумно и суетно. Новобранцы льнули к окнам, пытались еще поймать взгляды дорогих людей, махнуть напоследок матери, отцу, девчонке. Яшка продирался сквозь возбужденных пассажиров, стараясь не отстать от своих новых знакомых. Но вот Тара, идущий первым, свернул в купе. Растолкал наиболее мелких ребят и швырнул спортивную сумку под полку.

— Оккупируй, братва! — приказал своим дружкам, и тут же тем, кого оттолкнул: — Брысь, мелочь пузатая! Хавира занята!

Полный-Сыч забросил баул на вторую полку.

— Место забито,— заикнулся кто-то из мелкоты. Три пары прищуренных глаз заставили его умолкнуть и ретироваться.

Гашиш уселся на нижнюю полку слева, у окна. Парня, сидевшего там до него, упряшивать не пришлось. Сам покинул купе.

— Еще кто здесь лишний?— теперь уже осведомился Яшка.— Слушай, друг,— пронзил взглядом паренька, мостившего себе местечко с краю,— сделай фокус, скройся с глаз! Я тут со своими корешами обоснуюсь,— кивнул на вылупивших глаза недругов.

Мостивший себе место скривился с недовольством, сузил и без того узкие глазки, повернулся к Яшке скуластым лицом.

— А ты кто такой? Начальник?— спросил голосом, похожим на скрипучую жилу, скривился.— Видали мы таких! Встречали и повонючее. Давай, шлепай мимо,— он выпрямился перед Яшкой с угрозой. Но лучше бы и не выпрямлялся, сразу на голову ниже того оказался. Силенки были явно не равны. Покуражился еще малость и полез на вторую полку, бормоча под нос:— Начальник нашелся... тоже мне...

— Так... значит,— удовлетворенно хмыкнул Яшка, заталкивая чемодан на самую верхнюю полку,— экипаж в сборе?— Ухарски выбил ладонями дробь по лжкам.— Можно сказать, порядок в танковых войсках!

Дружки помалкивали. Но Тара все же подал голос:

— Чего привязываешься? Хочешь бузу продолжить?.. Шел бы себе мимо...

— Ша-а, Тара!— развел руки в стороны Яшка.— Мы же из одной команды... Корешами будем... Не психуй!— и треснул ладонью по спине Гашиша.— Будь другом, наркотик, уступи уголок старшим — век помнить буду! Ну! Чего зенки пялишь? Не упусти момент отличиться...

Гашиш заулыбался. Сразу понял, что к чему. Сыграло в нем, сработало чувство самосохранения, словно предохранитель какой. Инстинкт, приобретенный еще в колонии,— уступить силе.

— Давай, брат,— просиял он так, словно только того и ждал,— для тебя специально держал! Место класс!— поднялся, пересел на край полки.

В купе зашел сержант. Быстрый, решительный, весь как напружиненный. В руках блокнот, карандаш.

— Фамилии!— глазами провел по лицам, будто пальцами прощупал.— Вот ты?— остановил взгляд на Яшке.

— Бурлей!— вскочил Яшка поспешно. Треснул головой о полку, пригнулся, сморщился, чем вызвал смех недругов.— Бурлей фамилия моя,— прикрыл ладонью уши на голове, потер.

— Так, Бурлей... записываю... Ты?

Тара с достоинством поднялся, вытянулся на все свои сто восемьдесят сантиметров, покачался, и впрямь как жердь, протянул тенором:

— Таранкин, эс, эф,— надменно покосился на Яшку.— Рядовой...

Рахимов уже смотрел на полного, тем же взглядом, с тем же вопросом.

— Пушин Алик,— отрапортовал тот пискляво. И заморгал белесыми глазками.— Тоже рядовой...

— Ну ты даешь!— захохотал Яшка.— А я-то думал, ты уже генерал, никак не ниже,— и вдруг оборвал смех, посмотрев на Пушина:— Чего вылупился, как сыч? Шутка это...

Пушин не выдержал тяжелого взгляда Яшки, отвел глаза.

— А я Шарипов Равиль,— заранее поднялся Гашиш и заискивающе добавил:— земляк...

— Хорошо!— пряча блокнот, обвел снова всех взглядом Рахимов.— Якши!— последнее для Шарипова.— Будем считать это вашим отделением на путь следования... Понятно?

— Так точно, сержант!— за всех гаркнул Яшка.— Мы понятливые...

Рахимов изучающе скользнул взглядом по лицу призывника.

— Старшим в купе назначаю вас,— сделал паузу, подумал, припоминая,— Бурлей... В другое купе не переходить, размещаться здесь.

— Есть, сержант!— вытянулся перед ним Яшка, бросив вниз руки, ладони по швам.— Будем, как суслики в норе, тут.

Гашиш тоже вытянулся, сказал по-узбекски:

— Якши!— И добавил:— Мы никуда не денемся, земляк... не переживай, уважаемый...

— Якши!— одобрил Рахимов. Затем Яшке:— В армии положено говорить «товарищ сержант». Привыкайте,— махнул рукой, садись, и отправился дальше.

Мимо купе прошла молодая проводница. Походка легкая, форма подогнана по фигуре, на светлых волосах беретка едва держится. Опалила парней томным взо-

ром, чуть заметно вильнула задом. И все это от пронизательного Яшки не ускользнуло. Другим же хоть бы что, далеки от женской дипломатии!

— А комод наш, командир отделения, значит,— разглагольствовал Гашиш,— придирчивый. Он еще из нас жилы вытянет, шелковыми сделает.

Яшка скривился насмешливо, не понравились ему слова Гашиша.

— А ху-ху не хо-хо?— спросил, наглово прищурившись.— Мы ведь тоже не лыком шиты... Нас голенькими руками не возьмешь!

Таранкина задело заявление Яшки. Он разжал, наконец, свои тонкие губы, процедил:

— Ты чего за всех распинаешься? Больше всех надо? Кто ты такой!

— Ладно, не шелести,— осек обиженного Тару Яшка.— Сунь язык в руку-вицу... Слышал, что я назначен здесь старшим? То-то!

— А-а, пошел ты!— отвернулся к окну тот.

Некоторое время они ехали молча. Надо было осмыслить все происшедшее, подумать, отдохнуть. То, что Яшка Бурлей надежно захватил лидерство, было уже для всех ясно.

Смеркалось. Сквозь мелькавшие за окнами деревья виден был оранжевый закат. На потемневшем небе поблескивали первые звездочки. Горбились таежные сопки. Панорама казалась дикой.

Ковыряя спичкой в зубы после ужина. Яшка разговорился. Как-никак, а он здесь старший, ему и слово.

— Эй, Сыч!— это он Алику Пушину.— Ты про Бурого слышал?..

Пушин еще ниже склонился к столику, дожевывая колбасу. Промолчал.

— Так слышал про Бурого или нет?— не отставал Яшка.— А, Сыч?

— Какой я тебе Сыч?— плаксиво протянул Пушин.— Меня кореша Пухом зовут, а о Буром я не слышал... Он что, родственник мне?

Яшка напустил на себя строгость.

— Запомни, Сыч, Бурый — это я! Шутить со мной не советую. Передай по шеренге! Повторять не буду,— это уже для всех, и прежде всего для Таранкина. Обвел парней вроде бы ничего не выражающим взглядом.— Вижу, все согласны... Ну, тогда якши!

— Якши!— заулыбался Гашиш.— Мы согласны,— произнес угодливо.

А Яшка продолжал:

— Теперь каждый из нас будет иметь свое... закодированное имя, ну, для порядка,— сделал паузу,— Бурый, как вы уже слышали, это я,— посмотрел на переставшего жевать Пушина.— Он Сыч...

— А меня Гашишем кореша прозвали,— встал Шарипов.— Мне анашу дружки как-то в посылке прислали... Я стал корешам объяснять, что это за штукавина такая, они в смех... Не анаша, говорят, а гашиш... Так и прозвали...

— Ладно, Гашиш,— утвердил Бурый. Повернулся к Таранкину.— Тебя...

— Тара... Таран,— буркнул тот.— Только мне на все это наплевать!

Бурый помедлил, будто раздумывая.

— Таран, так Таран... хрен с тобой,— посмотрел на четвертого, так и лежащего на своей полке.

Тот перехватил взгляд, решил, видно, не сопротивляться.

— Арбелов я, Фарис,— сказал с акцентом, улыбаясь.

— Значит, Арба!— не задумываясь, заключил Бурый.

Улыбка слетела с лица Арбелова, будто ее ветром сдуло.

— Почему это Арба?— спросил недовольно.

— Арба, и все... Я так сказал!— отрезал Бурый.

— Ладно... начальник,— протянул тот нехотя и отвернулся от Бурого.— Тьфу!

Но это Яшке, новоявленному Бурому, было на него плевать. Он и не заметил даже обиженности Арбы. У него, у Бурого, свой интерес.

— Держаться будем своей кодлой,— заявил, как будто все уже с ним согласились и клички новые приняты.— Так легче прожить в армии... Со мной не пропадете,— изобразил на лице улыбку.— В армии все по-другому, придется попластунски у чужих сапог елозить... Секете?

Все молчали. Лишь Арба обреченно махнул рукой.

— Секем... Трепись дальше.

— У меня все,— посмотрел на парней.— Кто против?.. Принято единогласно.

В купе опять воцарилось молчание. Никому не хотелось поддавать под диктат. Да жаль, инициатива была упущена. Бурый накрепко завладел ею.

Из напряженного состояния их вывело появление проводницы. Ладная фигурка молодой женщины, ее миловидное личико снова промелькнули перед взорами парней. Стриженные головы повернулись вслед.

— А ничего!— прищелкнул языком Бурый.— Картинка! Наедине с такой я бы не заскучал...

Проводница возвращалась. Шла теперь уже не так быстро, рассматривая что-то в каждом купе. Бросила служебный взгляд на верхние полки и далеко не служебный на парней. Улыбнулась, встретив взгляд Бурого.

— Чайку бы, милая!— подмигнул хитро Гашишу Яшка. И вслед проводнице.—Расцелуем...

Проводница приостановилась, взглянула на него с вызовом:

— Перебьешься, милый!— и, крутнув игриво задом, пошла дальше.

Сыч хмыкнул.

— Старовата для милой,— решил он.— Только амортизатором вихляет, как молодая...

— Послушай, кацо!— неожиданно подал голос из соседнего купе чернявый парень с кавказским профилем.— Ничего ты в женщинах не понимаешь! Это персик!— выразительно приложил пальцы к губам.— Ввах! Такой аппетит нагоняет!— передернул плечами.

— Гля, кавказец!— мотнул головой Яшка.— Ты как в нашу берлогу забурил?

Чернявый заулыбался, показывая два ряда белых крепких зубов. По его темным, слегка навывкате глазам было видно, что им владеет желание что-то этакое отмотчить.

— Командирован в Сибирь производить морозоустойчивых грузинов!

— И как, большое стадо получилось?— ехидно осведомился Таран.

— Нет пока, дорогой!— со смехом ответил кавказец.— Не успел, в армию побрили...

Проводница снова прошла мимо купе, быстро, торопясь в другой конец вагона. Но взгляд на Бурого все же успела кинуть. Кавказец легко вспрыгнул, встал на носки своих сильных стройных ног, развел руки в сторону и прошелся вслед ей в танце.

Парни захохотали.

— Ладно, принимаем тебя, Кавказец!— зачислил его кандидатуру в свою кодлу Бурый.— Будем корешами... Гони курево, перекурим это дело, раз обмыть нельзя!

Кавказец сел на свое место, достал из кармана пиджака позолоченный портсигар, потер его, любуясь, раскрыл, протянул новым друзьям.

— Закуривай, братава... все закуривайте! Не жалко хорошим людям!

К портсигару потянулись руки. Сигареты были тотчас разобраны.

— Роскошно живешь, Кавказец!— позавидовал Гашиш, разминая сигарету и поглядывая на портсигар.— Шиковая вещичка!

— От деда, по наследству достался, именной,— с гордостью сказал Кавказец.— Тридцать граммов чистого серебра!— потряс портсигаром.— Я его берегу как зеницу ока.

— Да, ценная вещь,— это уже Бурый, с завистью.— Смотри, не потеряй,— предупредил с намеком.— Кто найдет, не вернет...

— Не потеряю,— спрятал портсигар в карман Кавказец.— А если кто позарится, глаз вырву, перстень сделаю! Баш на баш!

— Ну-ну!— усмехнулся Бурый.

В купе снова зашел сержант. Бурый мигом сигарету в кулак.

— Кто курит?— повел взглядом Рахимов.— Я же запретил курить в купе! Чем дышать, если все задымят!

— Сержант,— начал Бурый, и тут же осекся, перехватив строгий взгляд.— Э-э... товарищ сержант! За кого вы нас принимаете?— в голосе послушание.— Да если я замечу... да я!— неожиданно уставился на Сыча и прошипел:— А-а! Так это ты общественный порядок колеблешь?— И, сделав движение фокусника перед лицом того, будто выхватил сигарету из полуоткрытого от изумления рта парня.— Вот, сержант... э-э... товарищ сержант!— и выбросил в окно.

— Да я...— возмутился было Сыч.— Да ты что?!

— Травишь нас дымом и еще лопочешь!— перебил его осуждающе Бурый. Гашиш засмеялся, подмаслил новому заводиле:

— Нельзя так, уважаемый! Бурый, то есть Бурлей правильно требует с нас. Что получится, если каждый так, а? Дымовая завеса, вот что.

Бурый присанился, получив поддержку.

— Товарищ сержант, порядок наведен, ручаюсь! Полагайтесь на меня, не подведу!— последние слова в сторону вошедшего в купе лейтенанта Слуцкого.

— Что, сержант, непорядок?— заулыбался Слуцкий, голос не строгий.— Шалят ребята? А мне кажется, на них это не похоже. Я им вот газеты свежие принес, пусть на сон грядущий политпросвещением займутся,— и протянул Бурому, как старшему (сразу определил), газеты.— На всех хватит.

Бурый даже подбородок вскинул, гордость почувствовал.

— Прочитаем, товарищ лейтенант! Я сам им, вслух...

— Ну вот и хорошо!— Слуцкий внимательно посмотрел на Бурого.— Я на вас буду надеяться... Нам толковые ребята нужны,— и пошел в соседнее купе.

— Отличаешься, Бурлей!— одобрил сержант.— Хваткий ты парень!

— Характер такой,— осклабился похваленный.— По-иному не могу,— Бурый бросил хитрый взгляд на парней.— У нас тут все такие!

— Ну-ну! Буду на тебя надеяться,— улынулся Рахимов. И снова официально:— Следите за порядком в купе... и чтобы не курить больше! Ясно?

— Так точно!— вытянулся Бурый по стойке смирно.

Когда сержант ушел, Бурый с усмешечкой оглядел дружков.

— Как я его! Сержанта?.. И лейтенант признал! Ничего... я их повожу нюхалом по штакетнику. Пусть знают, какие мы исполнительные...— Отобрал у Гашиша сигарету, закурил.

Гашиш обиделся, но промолчал.

— Ты, кроме наркобизнеса, чем еще можешь заниматься?— вопрос обиженному посыле очередной затяжки.— Что делать умеешь?

В ответ молчаливый взгляд Гашиша, настороженность других парней.

— Ну, машину водить,— наконец неохотно протянул Гашиш.— Тебе-то за чем, уважаемый?— взгляд на Бурого.— В колонии права дали...

— Так просто... На, докуривай,— Бурый протянул «бычок» хозяину.— Права, говоришь? Это хорошо! Таким, как ты, цены нет... Вот обоснуемся в армии, будешь у меня личным водителем. Я из тебя классного шофераю сделаю. Якши?

— Якши, брат!— повеселел Гашиш.— Я тебя к девочкам возить буду.

— Отбой!— раздается команда дежурного по вагону.— Отбой! Всем по своим местам! Спать!... Отбой!

В вагоне стихло. Вскоре послышалось сопение, сонное бормотанье и даже храп чей-то. Служба началась.

Монотонное покачивание, перестук колес — снотворное для здоровых. Даже дежурный склонил голову на руки, облокотясь на столик в последнем купе вагона. Тишина. Никого. За окном темень, лишь иногда наплывает свет от какого-нибудь придорожного фонаря, освещая на миг купе и спящих в нем парней.

Бурый приподнял голову, прислушался, огляделся. Как лежал в брюках с обнаженным торсом, так и стал спускаться со второй полки вниз. Наступил впотьмах на спящего Сыча. Сел рядом на его полку, чтобы обуться.

— Ты чего?— сонно спросил Сыч. Голову приподнял, глаза стараясь протирать, присмотреться.— Совсем, что ли?.. Спать не даешь...

Бурый, опасливо озираясь вокруг:

— Ты спи, спи, Сычонок, — положил ладонь на стриженую голову, погладил, пригнул с силой к вещмешку.— Бай-бай, дорогой!

Снова прислушался. Только сонное сопение. Встал, выждал чуть и пошел к туалету. Убедившись, что за ним никого, никто не следует, остановился у купе проводниц. За дверь тихо. Снова выждал мгновение, взялся за ручку, открыл дверь.

На нижней полке, прислонясь к углу, дремала проводница. Та самая. Бурый повернул ручку, защелкнул замок. Проводница открыла глаза, тряхнула головой, провела ладонями по миловидному лицу, спросила почему-то шепотом:

— Тебе чего?

— Тихо!— приложил палец к губам.— Дело есть.— Присел рядом с нею, потирая ладонью свою волосатую грудь.— Поговорить хочу.

— О чем это?— спросила строго, но не сердито. Поправила волосы, провела по тонким, выщипанным бровям.— Если ты, парень, пришел помогать, то ошибся адресом,— и отодвинулась.— Я не такая.

— Какая не такая?— в голосе Бурого переливаются игривые нотки.

— А вот не такая, и все! Мотай отсюда!— проводница не повышала голоса, и гонит парня вроде бы, и будто нет.

— Ах-ах!— Бурый уселся поудобнее, почти вплотную придвинулся.— Разве так принимают гостей?— склонился к женщине.— Чайком бы сначала напоила, как зовут сказала, а там бы и видно стало.

— Какой тебе чаек в полночь?— посмотрела на него удивленными и оттого огромными глазами.— Тоже додумался! Холодное уж все...

— А мы согреем,— с улыбочкой шепчет Бурый и кладет руки женщине на плечи.— Не откажи, уважь, милая... Никак почетный долг исполнять едем... когда это еще придется вот так, наедине с симпатягой, вроде тебя?— И за грудь пальцами.

— Шел бы ты!— будто рассердилась молодая женщина.— А то я не знаю, чего ты ночью приперся... какого чая тебе нужно... Напрасно стараешься!— но все это шепотком.— Тебе сказано, я не из тех, которых раз,— фыркнула в лицо Бурому презрительно,— и на матрас... Мне красивая любовь нужна, не такая вот,— сбросила, стряхнула его руку с себя,— и не с таким. Мотай, не то лейтенантика позову...

А Бурому что? Снова руку ей на плечи и губами к самому уху:

— Я-то, дурак, думал, такая красotka для защитника Родины всецело... себя не пожалеет ради повышения обороноспособности армии,— и к щечке мягко прикоснулся. И уже руками за талию, ниже пояса...

— Молокосос! Пусты!— гневно вскинулась проводница.— Отстань! Отлипни!..— уперлась руками в волосатую грудь, оттолкнула и — к двери.

— Ша, колючка!— прохрипел Бурый, задыхаясь. И снова руками сильными к себе, наверняка теперь уже. Встряхнул, успокаивая:

— Окошечко-то широкое... колесики стучат, не психуй, милая!— и на полку повалил, юбку задрал. Рукой из заднего кармана финку выхватил, лезвие выщелкнул и пред глазами поводил, посверкал остреньким.

Женщина обмякла, испугалась, глаза стали круглыми, лежит не трепыхается. А Бурый ей:

— Замри, самка... не останавливайся теперь!— голосом прерывистым, как при беге. Рванул блузку, груди обнажил и острием в соски колет.— Ты, влекущая, соображай, что к чему... жаль такую шкурку бархатную портить...

У той только глаза в потемках поблескивают. Телом дрожит вся.

Спешил парень. Быстро все закончил, возню эту. И расслабился, размяк. Давно такого не делал, можно сказать, чуть ли не впервые по-настоящему. Желание схлынуло, страсть улеглась, плоть ублажилась, а тут тебе и трезвая мысль пришла, а что как заявит? Сразу вскочил, брюки стал натягивать. И ей, разбросанной на полке:

— Не вздумай заложить! Не поверят, засмеют,— это он для остратки ей,— опозоришься только... Доказано научно—один мужик не возьмет силой бабу, если та заартачится...

Та села на лавку и к окну отвернулась. Молчком слушает.

— Не скули,— вдруг сказала с презрением. Приподнялась, юбку одернула.— Если вашего брата закладывать, нам ничего не останется!— оборотила лицо к нему, глазки серые прищурила — Слабак ты! Как петух, помял-помял и кудахчешь... Иди уж, не бойсь.— И снова лицо к окну.

Бурый даже опешил. Впервые, кажется, стыдно стало, вину свою почувствовал. Вот так оборот!

Подошел к двери, приоткрыл, выглянул — в вагоне спокойно.

Фу-у! От сердца отлегло. Обернулся к проводнице и уж совсем смело:

— Не шипи, ужиха! Условия не те... Дай адресок, не пожалеешь...

— Пошел ты! — по-настоящему зло прошипела проводница.— Найдутся и поспособнее... Мотай, тебе сказано...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Военный городок — это организм своеобразный. Здесь свои масштабы, свой ритм, своя жизнь. На сопках, что возвышались вокруг, виднелись антенны радиолокационные. Вокруг городка лес — тайга, и в ней несколько многоэтажных домов. Издали они, словно белые паруса в зеленом море. А столбы высоковольтной линии, что тебе корабельные мачты со снастями. Поодаль же строения поменьше, огражденные забором и проволокой. Техника стоит под масксетями, бараки тянутся, казармы солдатские, постовые вышки возвышаются. Внутри городка прежде всего строевой плац — без чего и жизнь не военная, и служба не служба. Но все начинается с КПП, контрольно-пропускного пункта. Даже любовь. Солдаты по этому поводу шутят, что путь к сердцу любимой лежит через КПП. Вот и весь военный городок.

— Раз-два, раз-два!— это уже из динамика над строевым плацем. Голос командира.— Какого черта шаг подсекаете?! Равнения нет! Где равнение? Не вижу!.. Раз-два...

На массивной трибуне, что сбоку плаца, сам полковник Болотов — командир полка.

— Капитан Рошин!— это опять Болотов в микрофон, командиру роты, марширующей на плацу.— Подтяните зад... Зад, говорю, подтяните у строя! Не строй, а кишка пожарная! Быстрее! Сто двадцать шагов в минуту... Раз-два, раз-два!

Топ, топ, топ...— отбивают многочисленные солдатские подошвы с железными набойками. Звуки эти отдаются в динамике, слышно далеко. Строй за строем проходят мимо трибуны солдаты. Автоматы на груди, сапоги начищены, грудь вперед, живот подобран, голова повернута в сторону трибуны.

Сам Болотов сегодня за проверяющего. Однако сдержаться не может, видя огрехи. Занервничал, как простой взводный, раскомандовался.

— Раз-два... Старшина! Почему отстает тот «клоп» на левом фланге?.. Подтянуть!— и потише начальнику политотдела, стоящему рядом:— Молодцы солдаты, стараются!

— Неплохо,— согласился тот и посмотрел на часы.— Подводят нас железнодорожники. Обещали доставить пополнение еще утром. Ан нет до сих пор!— приложил часы к уху, убедиться, идут ли.

— Стоит ли удивляться?— это уже заместитель командира с усмешкой.— Это же наш родной стиль!

Начальник политотдела с волнением:

— Да... я бы удивился больше, если бы они прибыли вовремя. Но и такое опоздание — не радость. Не случилось ли чего?

Зам веселым голосом, оптимистично:

— Доберутся!.. Администрация эшелона толковая, доставит в лучшем виде!

— Вы помните резонанс на доставку призывников в Среднюю Азию?— снова начальник политотдела.— Что там было?

— Как же!— опять весело зам.— Перепились, передрались в дороге,— срочные меры принимали...

— Ну и воспоминания у вас,— это без улыбки Болотов. Нахмурил свои кустистые брови, поскреб массивный подбородок. И опять в микрофон:— Капитан Роцин, пройти с песней!

Чеканя шаг, строй солдат приближался к трибуне. Грянула песня.

Мы против звездных войн! У нас недаром
наведены в зенит глаза радаров!

— Вот чертяки!— с восхищением Болотов.

Зам бросил взгляд в сторону штаба, двухэтажного здания цвета хаки, и командиру:

— Если я что-то смыслю, эшелон с пополнением прибыл... Дежурный будто стометровку сдает...

— Товарищ командир!— едва переводя дух, выпалил подскочивший дежурный.— Прибыли!.. На станции разгружаются... Ваша машина у штаба...

— Хорошо, капитан!— Болотов потер удовлетворенно руки.— Спасибо за весть!

— Строиться!— командовал маленький майор, начальник эшелона.— Строиться! Повзводно, в колонну по четыре! Начиная с головы поезда!

Вышел на середину. Вокруг суета, неразбериха. Призывники топтались, не зная, что им делать. То влево шарахнутся, то вправо, выискивая свое место построения. Сорвался с места, кинулся бегом, завидя Болотова.

— Все в порядке?— опередил его доклад Болотов.

— Так точно!— вытянулся начальник эшелона. Перехватив взгляд командира, стал заправлять за ремень помятую куртку.— Доехали без приключений. Все как один,— и сам доволен этим. Во взоре гордость.— Случаев пьянства не было...

— Похвально-похвально! Представлю всех к поощрению. Составьте списки...— посмотрел на начальника политотдела, добавил:— Отдадите в политотдел...

Прибытие командира полка взбодрило всех. Призывники наконец были построены. Администрация во главе.

— Посмотрим, кого вы нам доставили,— прошелся Болотов вдоль строя, всматриваясь в утомленные дорогой лица.— Больных нет? Похвально!— Он остановился перед строем.— Теперь соберите мне администрацию эшелона.— Спасибо скажу людям.

Майор кинулся исполнять. Вскоре перед строем призывников образовался новый строй, поменьше. Офицеры, прапорщики, сержанты, все, кто прибыл с призывниками. Болотов каждому — спасибо, молодец!— и руку пожал. Затем ко всем с вопросом:

— Ваши замечания?.. Так. Записывайте,— это уже офицеру, прибывшему с ним.— Просьбы?..

— Разрешите?— поднял руку лейтенант,— Лейтенант Слуцкий, замполит роты капитана Вольнова,— представился он.

Болотов подошел ближе.

— Я вас слушаю, лейтенант.

Слуцкий помедлил. Потом, стараясь авторитетнее, баском:

— Ко мне обратились призывники, пятеро их,— засмутился, сбился на свой обычный голос.— Просят зачислить в роту... в нашу роту, к Вольнову... Они земляки. Разрешите?

— Как они? Образцовые?

— Парни хваткие, что надо!

Болотов, поддаваясь энтузиазму молодого офицера, махнул рукой:

— Раз хваткие, пусть, Вольнову такие нужны... Разрешаю!

— Есть!— засиял улыбчивыми глазами Слуцкий.

— Вам, майор,— это Болотов уже начальнику эшелона,— сдать подвижной состав... Командирам подразделений вести людей в санпропускник. Все! Выполняйте!

Вскоре по пыльной дороге, строем, в гражданской пестрой одежде, с чемоданами, сумками и баулами двинулись призывники навстречу военной службе.

— Эге-ге!— крик из строя.— Братва, вижу поселок! Живем!— и сразу оживление. Уставшие парни преобразились. Отставшие подтянулись. Послышался смех, шутки.

— Гришка, запевай!— кто-то из призывников.

Маруся! Раз-два-три, калина...

затянул запевала, наверное, тот самый Гришка,

чернявая дивчина, в саду ягоды рвала!

это уже все вместе, хором. И ну бегом к санпропускнику. Строй рассыпался. — Рота, стой!— кричали сержанты.— Направляющим, приставить ногу!

Наконец угомонились. Остановились. Сели прямо на траву у бревенчатых стен санпропускника — ведь позади, ни много ни мало, пятнадцать километров пути. Устали зверски. Побросали ноши, стянули с мокрых тел рубахи. Фу! Лишь бы отдышаться.

— Братва, я думал, санпропускник это что-то!... А тут — простая баня!— несколько разочарованно протянул Сыч.— Из бревен, деревенская...

— Наверно, и парилка есть!— с предвкушением кто-то.— Эх, покайфуюем!

— Да-а! Пуд грязи и море пота смоем,— другой уже, со смехом.

Из бани, санпропускника, значит, медик в халате вышел, военный. Парней взглядом окинул и что-то капитану сказал, который рядом находился. Капитан кивнул, понял, дескать, и зычным голосом ко всем:

— В баню заходить по десять человек! Столпотворения не устраивать!— помолчал, добавил:— Гражданское оставлять здесь, в мешках, потом домой отправите... документы и ценности с собой!

— Чудак! Какие у солдат ценности?— сплюнул Таран, глянул на Бурого.

— Какие?— тот в ответ.— Деньжата, «бабки»...

— А-а! Этим не перегружены,— усмехнулся Таран.

Пока так разговаривали, и очередь до них дошла. Разделись прямо здесь, на поляне. Всю одежду в мешки засунули, на которых бирки болтались. Адреса на бирках написали, чтобы вещички домой переправили. Бурый свои шмотки почему-то в сторону отложил, выбросил, как ненужные. У входа в санпропускник им выдали хэбэ и сапоги, обмундирование значит, с которым и вошли в предбанник. Один смотрит на хэбэ и спрашивает:

— Это что, сейчас надевать будем или потом?

И тут же шутник в ответ:

— Потом-потом! В часть голяком пойдем, мимо девок по селу! Местные девчата на сорта начнут делить... у кого ярденее...

И снова грохнул хохот.

Обмундирование на лавки побросали, тазы в руки и напрямик в моечную. А там в пару все, как в тумане. Принялись баловаться, ну точно дети малые. Смеются, подшучивают друг над другом, водой плещутся.

— Петруха!— завопил один.— Ты что, задом гвозди дергаешь?

— А чего?— с недоумением закрутился на месте Петруха, словно бы пытаясь на свой зад взглянуть.— А чего?..

— Плоский он у тебя... что твои плоскогубцы..

— У-у, шалава!— Петруха беззлобно плеснул водой из своего таза прямо в разинутый от смеха рот шутника.

Средь всеобщего веселья и суматохи Бурый подсел к Тарану.

— Выйдем?— кивнул на дверь предбанника и стрельнул глазами по сторонам.

Таран поднялся. Вышли незаметно. В предбаннике никого. Все, кому положено здесь быть, на солнышке у бани дожидаются. Бурый в щель дверную посмотрел и громким шепотом Тарану:

— Возьми банку от противогаза... бабки собери... сослуживцам они ни к чему, на казенных харчах жить будут, а нам пригодятся... Шуруй, Таран, я на «смотке» постою!— и снова в щель посмотрел.

— Может, не стоит?— Таран будто заколебался, а сам уже трешки и пятерки в противогазную банку, в дырку просовывает.— Засекут ведь,— бормочет, но «работы» не оставляет.

— Давай-давай, по-шустрому!— ухмыляется Бурый.



Таран заткнул, наконец, резиновой пробкой банку и поставил под лавку, поодаль от своего хэбэ. А Бурый еще одну бумажку пятирублевую взял и бросил под деревянную решетку, себе под ноги.

— Ты зачем это?— не понял Таран.

— Так надо! Смываемся, живо!

В моечной они сели на свои места. А когда вышли, наконец, все в предбанник и оделись, сами себя не узнали в новеньком обмундировании. А сержант им:

— У кого размер велик или мал, говорите...

— Размер чего?— шутовски выкрикнул кто-то, еще не остывший от веселья.

А Бурый между тем незаметно так глаза скосил на решетку и, словно клад нашел, завопил:

— Товарищ сержант! Смотрите, деньги кто-то потерял.

Рахимов поднял пятерку и вскинул над собой в руке.

— Парни, чьи деньги?

Один растерянно:

— Мои, кажется,— шлеп, шлеп на себя по карманам.— Потерял вот нечаянно...

Сержант строго:

— На, заberi, да не теряй больше. Так можно и голову потерять... Какой же из тебя солдат!

После такого замечания сержанта никто больше не решился заявить о пропаже своих трешек и пятерок.

— Куда это мы летим, товарищ сержант?— глядя в иллюминатор на дикие места, проплывающие внизу, встревожился Гашиш.— Говорили, в какую-то роту, а везут на край земли! Мне это не нравится.

— Служба не девка, она и не должна всем нравиться, — ответил Арба, будто это он был сержантом.— Терпи, брат, потом в Узбекистане расскажешь своим, как у черта на куличках побывал.

— И даже еще дальше,— это уже добавил Рахимов, с улыбкой.— Летим в дальнюю роту, что в тайге, близ моря-океана...

Ребята приумолкли. Наверное, слова сержанта заставили многих призадуматься. Вертолет сделал круг над каким-то пятачком в тайге и приземлился. Вышли, осматриваясь.

— Фью-ю!— присвистнул Гашиш.— Увидали бы мои, заплакали... Куда тебя шайтан занес, сказали бы.

— А мне здесь нравится!— заявил Бурый, обозревая роту.

Плац как везде. Пара низких барачков — солдатские казармы. Напротив, через крохотный палисад, домик поаккуратнее — штаб. Далее, за проволочным ограждением, стоят какие-то машины, в пятнистый зеленый цвет выкрашенные, автопарк. С другой стороны, уже не за проволокой, еще один барак, покрашенный охрой, с белыми наличниками, это ДОС, дом офицерского состава. По окнам видно, зашторенным, с занавесками белыми, с цветами в горшочках. Да и песочница с грибочком разноцветным говорит о том. Пацан с девчушкой в песочнице играют. Взгляд дальше, на ближнюю сопку, антенны вращаются, словно в небо смотрят. И КПП — уж не без этого!

— Ничего!— повторил Бурый, и вовсе приободрившись.— Житуха, как и везде...

Другие были, очевидно, того же мнения.

Вертолет улетел. А из казарм, из штаба и других строений высыпали люди, в основном военные: солдаты, прапорщики, офицеры. К удивлению новобранцев, среди военных были и девушки, одеты как солдаты, во все защитное, только в юбках. Меж них одна такая, глаз не отведешь. Сама стройная, белолицая, глаза голубые, губы... Ах, губки! Русые волосы — под короткую стрижку, головка аккуратенькая, заглядение! На погонах лычки ефрейторские. Стоят все и на молодых солдат глазют, говорят что-то между собой, улыбаются. Бурый все это одним оглядом усек. И пока лейтенант Слуцкий в штаб ходил, он разговор об этом завел.

— Братцы, вот это кино! Да мы в рай попали! А рай не сарай, говорю — жить можно!

Гашиш тоже повеселел. Спросил с невинной улыбочкой у Рахимова:

— Товарищ сержант! А кровати у нас рядом стоять будут?— кивнул на девушек.

— Что ты, кацо!— поспешил с ответом Кавказец.— Кровати здесь двухъярусные, наверху мы, внизу они, девчата. Все по науке!

— Чудаки!— это своим фальцетом Сыч.— С такими только отличники Советской Армии спят...

Получилось вроде бы смешно, во всяком случае, парни рассмеялись. Но Рахимову это не понравилось.

— Отставить!— прикрикнул он на развеселившихся солдат.— Строиться! В две шеренги — стано-вись!

Молодые кинулись выполнять команду, а бывалые, у казармы, хохочут — то ли над шутками молодых солдат, то ли над ними самими. Особенно девчата, так и заливаются.

В это время из штаба вышли офицеры и Слуцкий с ними.

— Равняйсь!— подал команду Рахимов. Но, бросив взгляд на строй, потребовал:— Отставить! Рядовой Пушкин, убрать живот!

А кто-то из местных в шутку подсказал:

— В вещмешок спрячь его.

— Сми-и...рно!— оборвал смех Рахимов и двинулся навстречу офицерам с докладом.

Старший из офицеров, капитан по званию, принял рапорт сержанта и направился к строю. Слуцкий, словно копируя капитана, двинулся за ним. Капитан замер перед строем молодых солдат, помедлил секунду, затем неожиданно:

— Здравствуйтесь, молодцы!

Молодые солдаты не ждали такого от него, стушевались, ответили не сразу и недружно:

— Здра... жела... товарищ капитан!

Капитан поморщился.

— Диссонанс,— говорит.— Плохо! Но... ничего, научим,— и пошел вдоль строя, чтобы осмотреть каждого. А солдаты глядят во все глаза — изучают своего командира.

— Какой-то он резкий,— шепчет Кавказцу угрюмый солдат — сосед по строю.— Но строевик, сразу видно... Подтянутый!

— Злой, по-моему,— это Кавказец угрюмому соседу.— Как царский офицер. Даже щекой подергивает — это он нами недоволен.

Капитан вернулся, встал перед строем, фуражку с головы снял, пригладил рыжеватые волосы, снова надел. Повел серыми глазами и говорит:

— Будем знакомиться!.. Я — капитан Вольнов Николай Петрович, ваш командир роты.— Кивнул направо:— Мой замполит, вы его все знаете — лейтенант Слуцкий Олег Иванович...— И принялся называть остальных офицеров, которых привел с собой.— Это зампотех, а это взводный...

Все думали уже, что он о прапорщике забыл, а он нет:

— Это прапорщик Величко, старшина роты...

Солдаты даже встрепенулись. Животы старательно подтянули, грудь выпятили, со старшины глаз не сводят. Вот он какой! И вдруг — в хохот. Офицеры даже опешили. И старшина тоже. Но посмотрели в ту сторону, куда все солдаты глядели, и тоже заулыбались. На строевой плац сучка выскочила и кобелек за ней, повизгивает, все норовит сверху наскочить.

— Отставить смех!— это уже старшина. Сразу взял на себя командование. Смотрит на ротного.

Вольнов махнул рукой, не стал больше ничего говорить. Только одно выкрикнул:

— Старшина, принять пополнение!— и, кругом шагом марш, направился к штабу. Офицеры за ним.

Тут уж старшина принялся за дело. Заставил всех ремни подтянуть, да так, что дыхание сперло, пуговицы застегнуть, везде... и там тоже. Показал, как пилотки правильно носить. И повел в казарму.

Чеканным шагом прошли молодые мимо девчат. Те тоже выпрямились, по стойке смирно встали, а самая симпатичная, ну, та, что ефрейтор, еле сдерживая смех, ладошку к голове приложила и будто крылышком ею затрепыхала.

— Ух ты, какая!— не удержался кто-то из солдат в строю.

Казарма как казарма. Встретила парней ровными рядами аккуратно заправленных кроватей. Тишиной.

— Здесь вам жить не тужить,— объявил Величко.— Проходить курс молодого бойца, или проще — карантин. Когда примете присягу, вольетесь в роту,— и покрутил пшеничные усы.— Так что, жилье это временное.— С украинским говором добавил:— Располагайтесь, кому где любо, хлопцы!

Солдаты засуетились, кинулись захватывать места. Шум поднялся, толкотня. Величко не вытерпел, беспорядок он не любил.

— Э-э-э!.. Отставить! Що цэ такэ?.. Нэма порядку!.. А ну в строй, живо!

Снова построились. Величко молча прошелся перед «хлопцами», остановился, и Рахимову:

— От чертяки! Ничего сами не могут, мальцы еще... Займись этим, покажи им койки.— И к молодым, с укором:— Солдаты вы, али мамкины диты?

— Солдаты!— не очень дружно в ответ ему строй.

— Яки вы солдаты, цуцуня ще,— это он от расстройства на украинский перешел.— Когда автомат от двустволки отличать научитесь, тоди и солдатами станете... А зараз советую больше начальство слушать...

— Товарищ старшина!— тут же Кавказец.— Вы кто, к примеру, начальник или прапорщик?— без улыбки спросил, будто и впрямь не знал.

Солдатам того и надо, охотно рассмеялись. Величко, к удивлению, принял подвох за чистую монету.

— Я и есть ваш голова, начальник непосредственный,— важно так сообщил. И даже глянул на себя сверху вниз.— Вишь який я? Коренастый, бицепсы во! Два пуда одной рукой пятьдесят выжимов зараз...

— Учтем, когда грузить будем,— из-за спины Кавказца тихо так подал голос Таран.— Подъемный кран всегда пригодится...

Величко глухой не страдал, тут же отреагировал. Лицо свое грубоватое нахмурил, нос картошкой сделал, усами пошевелил и тоже негромко:

— Хлопцы, я умников дуже люблю... Но прошу помнить, работу вам определяю я и склерозу у мэнэ нэма.

И не поняли солдаты, шутит старшина или всерьез. А Бурый сразу сообразил, что к чему.

— Перестаньте базарить, парни!— это он на дружков перед старшиной, значит.— Старшина для солдата и начальник, и отец родной... Чего зубы скалите! Другой далеко, а он всегда рядом. Его слово закон!— И к старшине:— Верно, товарищ старшина?

Величко снова пригладил рыжие усы. Лыстрая стрела прямо в цель попала.
— Добре, хлопче!.. Правильно мыслишь, но дуже громко... Наша запевдь — больше знай, меньше излагай. Ясно?

— Так точно!— вытянулся Бурый.— Возьму на вооружение...

А старшина его этаким оценивающим взглядом на заметку взял. И Рахимову:
— Командуй парадом, сержант, делай, что я сказал: определи им места на койках, спать уложи после ужина,— посмотрел на часы.— Мне еще к ротному зайти треба...

И ушел.

Прибытие молодых солдат прибавило хлопот. Вольнов засиделся в роте, расписание для них с командирами взводов составлял. Домой вернулся поздно. И с порога жене:

— Видала? Молодежь прибыла!— сбросил портупею, снял куртку, стацил с ног сапоги, и в ванную — какую-никакую, с титаном. Оттуда уже:— Завтра с техникой буду знакомить, с ротой... Посмотрю на желторотиков, что они из себя представляют.

Из ванной вышел в халате. Уселся в кресло перед телевизором.

— Ужинать не буду!— крикнул жене на кухню.— Сыт я, Ирина. В солдатской столовой пробу снял... А вот от коньячка не откажусь!

— Сегодня без коньячка обойдешься,— жена строго в ответ.— Сам знаешь, как сейчас строго с этим. Вдруг тревога... или начальство заявится?

— Ни того, ни другого не предвидится,— поморщился недовольный решением Ирины Вольнов.— Могу я хоть дома расслабиться, а? Позволить себе это маленькое удовольствие?— Поднялся, подошел к бару, налил в рюмку коньяку, выпил.

— Достаточно,— забрала Ирина бутылку.

— Ну-ну, Ириша,— проговорил с обидой он.— Ты ж меня знаешь, завтра буду, как сталь: упругий и нестигаемый!— и уселся в кресло.

Ирина, приятная собой женщина, улыбаясь, заботливая, включив телевизор, подошла к мужу, присела на подлокотник кресла. Вольнов поцеловал ее.

— Красивая ты у меня...

Ирина вдруг смутилась, прикрыла свои карие глаза.

— Лыстись?.. Какая же я красивая?.. Полнеть начинаю, а мне всего двадцать семь,— и взгляд на экран. Там «Бурда моден» свои модели демонстрировала. А какие моды в тайге?— Эх, в Москву бы слетать!.. Ты не забыл, что твоя жена москвичка?

— Не забыл,— взял Ирину за руку.— Завтра подними в пять...

Ирина удивленно:

— Так рано, зачем?

— Аборигены рыбалку клевую обещали... Проскочу на Маюн по зорьке. Говорят, таймень озверел, на палец бросается, не то что на крючок,— повел взглядом по экрану. Манекенщицы крутятся, точно куклы заводные.— Да-а... Я и сам соскучился по цивилизации. Рыбалка только и развлекает...

— Но ты же сказал, что с молодыми солдатами заниматься будешь?— Ирина поднялась, поправила волосы, гася недовольство.

— Я иголкой, туда и обратно,— заверил Вольнов.— Успею, не волнуйся. Иголкой, понимаешь?

— Иголой-то иголкой! Да путь неблизкий, трудный, сопки да болота, сам говорил,— собрала посуду со столика.— Стоит ли рисковать? Можно и не вернуться вовремя...

Упрямство всегда раздражало Вольнова, чье бы то ни было, кроме своего.

— Не впервой!— сказал уже раздраженно.— А если не успею, Величко начнет.

Ирине это заявление не понравилось, уж слишком беззаботно оно. Ушла на кухню, и уже оттуда с иронией:

— Боевую технику тоже Величко покажет? Он что, мастер на все руки?.. А я у тебя прапорщик медслужбы, так, может, лучше мне доверишь это дело? Вольнов поморщился.

— Не волнуйся, говорю. Всему свое время... За два года все покажу, всему выучу, вымуштрую, не узнаешь. Асы станут!

Ирина вошла в зал, сказала невесело:

— «Вымуштрую»! Слово-то какое, нафталином пахнет!

Вольнов потянулся, раскинув руки. Надоели ему эти нравоучения.

— Мои люди, Ириша! Моя рота. Сделаю из них настоящих солдат!— Он поднялся.— Рота будет отличной, чего бы мне это ни стоило! А там очередное звание, военная академия. Столица!.. Не этот тебе, забытый богом, уголок.

Ирина приостановилась на миг, поставила вазу с цветами, посмотрела удивленно на мужа.

— Не пойму я тебя, Вольнов! Четвертый год живем... Когда шутишь, когда говоришь серьезно! Удобную позицию занял... И откуда у тебя это?.. Моя рота, мои люди, мой дом, моя жена!— Она переставила вазу к зеркалу, посмотрела на свое отражение.— У нас с тобой даже детей нет, общего мало...

И опять Вольнов поморщился:

— Что за меланхолия, Ирина? Какие дети? И это здесь, в тайге?.. Молока, и того нет в достатке!— Подошел к жене, обнял за плечи.— Вот поступлю в академию, тогда и о детях подумаем.

Ирина безнадежно махнула рукой.

— Детей сначала рожают, потом о них думают!— прижала кулачки к увлажнившимся глазам.

— Ладно... права,— сказал Вольнов и добавил:— Словом, завтра в пять!

Утро выдалось пасмурным. Над тайгой клубился туман. Горнист сыграл подъем, и на спортплощадку стали выбегать солдаты. Вольнова не было. Величко позвонил лейтенанту Савину, командиру взвода дежурному по позиции.

— Микола, ротного нэма?

— Он на рыбалке, Тарас... На Маюн уехал,— голос Савина из трубки.— Займись пока сам молодежью... Если задержится, веди сюда, Слуцкий с ними поработает.

— Понятно,— расстроился Величко, кладя трубку.— От чудило!

Подошло время занятий. И Величко, не дождавшись командира, повел молодых солдат по расположению роты, знакомя их с хозяйством. Начал со столовой.

— Здесь вы уже побывали. Так сказать, пристрелялись,— это он имел в виду ужин и завтрак.— Оцэ ваши столики... Каждый должен знать свое место и уметь без суеты занимать его. Чуэтэ?

— Но я сегодня ел за тем,— указал пухлой рукой Сыч.

— За тим смачнише будэ,— успокоил его Величко.

— А я знаю, почему нас отсадили от других подальше,— заявил вдруг угрыстый солдат.

— И почему же?— вскинул рыжие брови Величко.— Просвети...

— Да потому, что «деды» все лучшее себе забирают, а молодым шиш.— Солдат покрутил сложенными в кукиш пальцами перед чьим-то носом.

Величко хмыкнул.

— Враки усэ это, трепня! В нашей роте нияких «дидов» нэма.

— Найдутся!— это уже Арба встрял в разговор.— Нам об этом братва говорила до призыва еще. Те, кто уже отпахал в армии.

— «Отпахал!»— передразнил Величко.— Э-э, не нравятся мэни ваши разговорчики... Сказав — нэма нияких «дидов», и усэ тут! Я вам за такую хвилософию...— пригрозил пальцем.— Ходим дальше!

Возле медпункта Величко остановился. Отряхнул обмундирование, плотнее натянул фуражку.

— Это медпункт, мечта байбака!— усмехнулся.— Зато... як парочку вколов у заднее мисто... зараз уся линь сгинет...— открыл дверь, переступил порог.

— Разрешите в ваши апартаменты с компанией, Ирина Васильевна?

— Заходите, Тарас,— улынулась солдатам Ирина.— Здоровым всегда рады!

— Заходите!— махнул рукой солдатам Величко.— Это наша фея здоровья, Вольнова Ирина Васильевна,— представил он Ирину.— Можно сказать, профессор своего дела.

Гашиш склонился к уху Сыча:

— Уютное местечко, блин!

— Да-а,— запыхтел Сыч.— Просто дом отдыха для находчивого солдата... Надо маршрутик запомнить.

Ирина смутилась от слов Величко:

— Все шутите, Тарас?.. Больных у нас мало, все с пустяками: царапины да прыщи...

Величко кивнул на молодых солдат, приговорил:

— А чога з ими зробыться?.. Зараз ось яки шкилеты, а потим — богатыри!.. Благодарствуем, Ирина Васильевна, спасибо вам!— И солдатам:— Ходим дальше!

Вольнова догнала Величко.

— Тарас, а Николай еще не вернулся?

Величко покачал головой.

— Да вы не волнуйтесь, Ирина Васильевна.— И снова украинским говором:— У мэни з ними, з Николаем Петровичем, усэ договорено: я зачну, а вин потим будэ,— и поспешил за солдатами.

У клуба остановились. Величко разрешил курить.

— Только окурки бросайте в урну,— предупредил курящих.— Спалить не можно, дуже нужное заведение — солдатский клуб!— поднял многозначительно палец.

— Товарищ старшина!— обратился к нему солдат, похожий на студента.— А дискотека в клубе функционирует?

Величко зыркнул на него одним глазом, прищурив другой.

— Чого нэма, того нэма!.. Дискотека не аптека,— скаламбурил весело,— без нее обходимся. А вот танцплощадка имеется, в селе, в Ореховке...

— Далеко это?— спросил кто-то из солдат.

— Ни-и! Як за КПП, так, почитай, и село вже... Восемь верст всего-то...

Парни засмеялись.

На позицию пришли строем. По дороге даже песню спели:

«Мыла Марусенька белые ножки», это так, для бодрости. Величко сам запевал. Но потом строго оборвал песню.

— Отставить!— обычным таким голосом.— Взво-од!— это для того, чтобы на строевой шаг перешли.— Стой!— И пошел докладывать лейтенанту Слуцкому, уже поджидавшему их.

Лейтенант объявил:

— Я познакомя вас с боевой техникой...

— Ничего себе, боевая!— не поверил кто-то из солдат.— Ни тебе пушек, ни тебе пулеметов... даже...

— Правильно!— спокойно проговорил Слуцкий.— Ни пушек, ни пулеметов... Зато эти станции — самые умные детища радиолокационной науки! Они просто нафаршированы электроникой и автоматикой!..

Но вот и Вольнов появился. Заехал прямо на позицию, на санитарной машине, которая у него всегда для всего служила. Машина небольшая, в зеленый цвет покрашена. Солдаты ее по-разному называют: «мельницей», за то, что на зеленую мельницу смахивает; «таблеткой», за то, что лекарства развозит.

Выскочил из кабины прямо как есть — в резиновых сапогах, в плащ-накидке, и к строю.

— Здравствуйте, молодцы!— опять не по-уставному.

Солдаты, как и тогда, на строевом плацу, ответили недружно, вразнобой. Криво получилось, плохо.

— Старшина!— Вольнов уже строго к Величко:— Почему не научил приветствию?.. Это первое, с чего надо начинать!

Величко опешил даже. Вытянулся во весь свой невысокий рост перед ротным, глаза круглые сделал.

— Виноват, товарищ командир!..

Но Вольнов не дослушал его.

— Занятие на технике прекратить!.. Людей на плац, заняться отработкой строевых приемов без оружия!— строго глянул на Величко.— Научи их здороваться с командиром... У меня не детский сад!

Величко виновато:

— Командир, цэ ж нэ мое дило!

— Иглой, старшина! Иглой!— требовательно проговорил Вольнов.

— Есть, иглой,— без особого энтузиазма вновь вытянулся в струнку Величко.— Тильки... за моз ж жито, та мэнэ й побыто! Як у Мыколы Гоголя.

Он уныло повел солдат на плац.

Слуцкий смущенно смотрел им вслед.

— Здравствуй, Олег Иванович!— поприветствовал Вольнов Слуцкого.— В небе порядок?

— В небе чисто,— невесело ответил Слуцкий и посмотрел вверх.

— Это самое главное, комиссар!— наигранно бодро произнес Вольнов и тоже посмотрел на небо.

Помолчали. Разговор не клеился.

— Не круто ли, командир?— спросил, наконец, Слуцкий.— Не поймут нас люди... То одно, то другое!— сделал паузу.— Чувствуется, ребята заинтересовались, а тут вдруг...

— А тут вдруг явился командир, и все прахом пошло!— подхватил Вольнов.— Это хотел сказать?

— Хотел сказать — крутой разворот, командир...

Неожиданно что-то громко загудело, тревожно, призывно.

— «Ревун»!— всполошился Вольнов. Так он называл звуковой сигнал оповещения.— Объяви боевую работу, Олег!— и кинулся к станции. Антенны завращались быстрее, начался поиск воздушных целей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Командующий, генерал-лейтенант Марутов прибыл на командный пункт по тревоге. В любой момент могло произойти ЧП, нарушение воздушного простран-

ва страны. Два неопознанных самолета находились в небе. Его присутствие на КП было обязательно.

— Товарищ командующий,— подскочил к нему с докладом дежурный,— в небе те же самые!..

— Опять хулиганят?— возмутился Марутов.— Посмотрим...— взял в руки микрофон.— Полковник Болотов, доложите обстановку в воздухе!

Внешне командующий выглядел спокойно: на волевом лице его не было и тени волнения. Он не терпел поспешности, несущей суету, а подчас и растерянность, и сам делал все уверенно. Перевел свои немного блеклые глаза на экран. Вся воздушная обстановка как на ладони. Пригладил седеющие волосы, провел рукой по морщинистому лбу, по щеке, как бы сгоняя усталость. Он был чуть выше среднего роста, плотный. Генеральская форма молодила его.

— Я жду, Болотов, что там у вас?

Болотов знал свое дело. Он выждал две-три минуты, разобрался и доложил:

— Товарищ командующий, неопознанные самолеты находятся на удалении нескольких километров, курс не меняют...— и назвал некоторые данные вероятных нарушителей.

— Принято!— Марутов посмотрел на часы. Оставались считанные секунды. Он прикрыл глаза и представил себе, как с аэродромов в это время взлетают истребители — перехватчики, как поднимаются сигарообразные туловища зенитных ракет, как ускоряют свой круговорот зеркала антенн радиолокационных станций и обшаривают небо. Открыл глаза, снова взглянул на экран. Напряженность нарастала по мере приближения чужаков к границе.

— Включить подсветку!— команда руководителя поиска. Голос уверенный, деловой.— Убрать помехи!

— Есть!— четкий ответ исполнителей.— Есть!

Марутов перевел взгляд на подчиненных. Среди них были и девушки. В их веденье находились средства связи. Одетые в военную форму, они выглядели подтянутыми и потому особо привлекательными в этой строгой армейской среде.

— Самолеты на развороте!— послышалось из селектора.

Командующий не сводил глаз с экрана. Ему был знаком этот маневр. «Все то же самое,— подумалось непроизвольно.— Запрограммировано у них, что ли?.. Копируют сами себя, приучают нас мыслить стандартно».

— Самолеты удаляются!— снова из селектора. И тут же голос полковника Болотова:— Товарищ командующий, наблюдалось касание госграницы... Без пересечения. Огня не открывали...

Марутов не ответил. Он решал эту задачу. Напряжение спадало медленно, на смену приходило размышление.

— Третья попытка нарушения за месяц... Что бы это значило?— сказал заместителю, сидящему рядом с ним.

— А что, если пугнуть?— не очень уверенно предложил зам.

— Каким образом?— вопрос заместителю.— Стоит нашим истребителям подняться в воздух, как они уходят.

— Железные у вас нервы,— вздохнул зам.

— Скорее, как струны,— ответил командующий.

— В воздухе самолетов не наблюдается!— доложил дежурный офицер.

Марутов взял снова микрофон в руки и, помедлив, объявил:

— Всем отбой! Дежурному на контроль исполнение.— Положил микрофон, посмотрел на зама, сказал:— Проверьте прибытие, прием и размещение молодого пополнения в частях.

Первые армейские будни давались нелегко. Подъем! И начиналась карусель: туалет, зарядка, завтрак, занятия... и так далее, и так весь день. К вечеру еле ноги передвигали. А про отбой и говорить нечего: едва головы касались подушек... Спали без сновидений. А утром... казалось, только что прозвучала команда «отбой», как дневальный, словно петух ранний, орет во всю глотку: «Рота-а... подъем!» И снова карусель...

Зато сколько радости, когда стали прилетать первые письма!

— Сапунов!— кричит ефрейтор Гулькин, почтальон, помахивая над головой счастливого письмом.— А ну, сбаций рок!

— Да не умею я, ну... это самое,— мямлит Сапунов, а у самого ноги сами в пляс идут, письмо-то ведь из дома.

Все получали письма. Гашишу даже посылку из Узбекистана прислали. Только Бурому никто не писал. Когда почтальон появлялся, уходил, хотя и замечали дружки, что с завистью смотрит он на их радость.

— И тебе напишут...— попытался как-то Таран ободрить приятеля.

Но Бурый не обрадовался его словам, даже, как показалось, с испугом глянул на него.

— Не напишут,— сказал то ли зло, то ли с обидой Тарану, теперь уже лучшему дружку своему.— Некому писать... Одна бабка, и та на ладан дышит... Да мне и не нужно...

Но видели дружки, что всякий раз, когда приходила почта, Бурый весь как-то напрягался. И даже волновался.

Одну из посылок Гашиша раскрыли своей «кодлой» за сараями на хоздворе. Вернее, за банькой, она в самом дальнем углу, близ леса стояла. Почему там? Да потому, что знали уже о содержимом ее. На самом дне, под сушеными дынями, под сладостями национальными, лежала грелка резиновая.

— Это дуслар, дружки мои, постарались,— улыбался Гашиш, достав сосуд, столь необычный для спиртного.

В грелке, слегка раздутой, переливалась жидкость, не булькала, а мягко так, неслышно.

— А что, если запах Хохол учует?— спросил с тревогой Сыч. Хохлом они старшину называли.

— Этого нельзя допустить,— согласился Бурый.— Нам надо проявлять себя только в лучшем свете... не то доверия не станет. Сразу за ноздрю и потянут...

— Э-э, уважаемый!— стал успокаивать приятелей Гашиш.— Дуслар не зря старались, они у меня догадливые, орешков вон сколько прислали, никакого запаха не будет, даже собака не учует. Пей смело! Я ручаюсь...

Распили. Закусили сладкими дынями сушеными, орешками. Повеселели.

— Вот это житуха!— закатил в миг окосевшие глаза Арба.— Век бы служил с тобой, Гашиш, корми — пой меня так!..— ругнулся матом, этак ласково выругался, от удовольствия, значит.

Размякли, раскисли парни, разобрало их.

— Эх, сюда бы еще девочек!..— пискнул Сыч.

— Да ты ведь страшен как черт!— поддел его Кавказец.

— Зато у него есть кое-что... За это девочки еще больше любят,— подмигнул Сычу Бурый.

Парни грохнули. Расшумелись они, но разум не потеряли. Помнили, что за пьянку может нагореть. Ушли в лес подальше и проспали там до ужина. Еле разыскали их. Соврали сержанту — заблудились, мол, извини. Обошлось, поверил Рахимов.

А денки летели. Вот уже и форма на них военная сидит получше, поплотнее, и выгорать под солнцем начала. Строевым научились ходить. Здоровались теперь хором с капитаном так, что тот лишь улыбался, довольный.

День принятия военной присяги выдался теплым, ясным. Молодые, в парадной форме, с автоматами, начищенные, наглаженные, ремнями затянутые, стояли в строю, как именинники. Лица строгие такие, а в душе праздник.

На торжество это прибыло и высокое начальство: из батальона, из полка. Много собралось народу вокруг строевого плаца. Цветы в руках, улыбки. Любят люди свою армию, солдат своих! Даже пионеры пришли из Ореховской школы-восьмилетки. Музыка из динамика на всю округу. Пограничники, с ближней заставы, вместе со своим командиром, капитаном Шустовым, приятелем Вольнова, притопали. Празднично, что и говорить!

Бурый из строя за всем этим наблюдает. Впервые в такой ситуации оказался, и сам не думал, что такотреагирует, аж комок к горлу подступает, сердце тает. Тыфу ты, слабак!— рассердился он на себя за впечатлительность. Дружки его, похоже, в таком же состоянии, лица у них и радостные, и растерянные.

— Сми-ир-на!— оборвал его размышления Вольнов. На этого тоже приятно посмотреть: красивый, желтым ремнем перетянут, аксельбант нацепил, и даже медаль одна под солнцем сверкает. За что медаль-то, интересно?

— Для принятия военной присяги!..— торжественно так кричит, мурашки будто кожу обсыпают.

Стали по одному к столу выходить, строевым шагом, как учили. Стол красным сукном накрыт, на нем папка такого же цвета, а в ней — текст присяги.

Дошла очередь и до Бурого.

— Рядовой Бурлей!— выкрикнул командир взвода лейтенант Савин.— Для принятия военной присяги... выйди из строя!

Бурый, как и все, точно заведенный, двинулся к столу. Отчитал текст, чувствуя комок в горле, вот он, не исчез, мешает, и положил папку на стол. Расписался. Пожал ему руку Савин, и снова в строй.

Что больше всего запомнилось Бурому, так это — торжественный обед. Кормили, как на убой: сытно, вкусно! Музыка, цветы, столовая чистая, на окнах шторы новые. Повара во всем беленьком, в отличие от будней. И сам Величко облачился

в белую куртку, на рукаве у него красная повязка — «Дежурный по столовой».

— Ну як, хлопцы, гарный обед?— спросил, улыбаясь чуть ли не на все тридцать два своих крепких зуба.— Повара постарались для вас, бисовы диты!

А Бурый ему:

— Это вы постарались, товарищ старшина! Без вас был бы квас!— и преданно ему в глаза посмотрел.

Величко только довольно хмыкнул, усы покрутил, признак хорошего настроения у него — и пошел к другому столу.

В этот день они впервые вышли за КПП. У каждого в кармане увольнительная. Настроение приподнятое. От выходной формы одеколоном пахнет.

Шли по проселку, вокруг разнотравье, запах цветов. Затем по лесу, воздух — аромат, куда одеколону! За лесом сопки виднелись. Красотища! Пейзаж, словом.

Однако Бурому не до пейзажа.

— Восемь верст киселя хлебать до Ореховки!— глянул он недовольно на Кавказца.— Не возрадуешься. Как, кацо?

Тот другого мнения. Идет легкой походкой, будто пританцовывая. Глазами черными сверкает, орлиным носом аромат вдыхает.

— О, дорогой!— театрально так.— Восемь километров?! По ровной дороге?! Среди цветущего леса?! Да для горца это один кишмиш! Одна нога здесь, другая там... в Ореховке,— Кавказец стремительно выбросил руки вперед, затем вправо, затем влево, на носки ботинок приподнялся и засеменял, засеменял, затанцевал, значит, по-своему, по-кавказски.

Гашиш засмеялся, тоже попробовал. Но у него — по-узбекски больше получилось: головой этак покачивал и кистями рук плавно, почти нежно вращал.

А чуть впереди дружков Бурого другая группа шла. С ними Рахимов. Гашиш перестал танцевать и головой кивнул в их сторону:

— Смотри, как земляк мой чешет, не утонишься. Вот скорпион!

Сержант не услышал, конечно, далеко был, да и песню там кто-то запел под гитару.

В Ореховку пришли, когда заря небосвод выкрасила. На небе колорит неуловимый, а луга дурманом опьяняли. На танцплощадке уже всю танцевала молодежь. Здесь и сельские, и военные, свои и пограничники. Оркестр тоже смешанным был. Электрогитарами «командовали» два солдата, за ударника сидел гражданский парень, у микрофона девушка пела. Танцевал кто как умел. Всю силу свою эмоциональную вкладывали в танец, стараясь выдержать ритм. Забавно так! Но приятно.

У бетонного бордюра стояли девушки в военной форме. Те самые. А среди них и красавица Тамара Сурина. Имя ее Бурый позже выяснил. Бедовые девчата!

— Смотри!— подтолкнул Бурого Таран. Он первым увидел их.— И Томка с ними! Руби к ней, пока не заняли!

— Где?— Бурый завертел головой, будто стереотрубой, глазами рыскающая.— А-а, вижу!— Сорвал с головы фуражку и Тарану:— Держи... пойду — Томочку ангуживать...

Кавказец засмеялся.

— Ангажировать, дорогой!— Бурого поправил, значит.

Бурый оскалится, изобразил улыбку на лице, ответил:

— Заткнись, кацо! Не хуже тебя русский знаю,— и направился к девушкам.

А те смеялись в это время, шептались о чем-то своем. Бурый подошел сзади, Тамару за руку схватил, потащил за собой.

— Томчик, хляй за мной,— специально для нее на жаргоне,— сбцаем по-черному!

Но та оказалась посмелее, чем он думал. Руку выдернула с усмешкой и отвернулась.

— Ты чего, целую из себя строишь?— оцетинился Бурый.— Для чего на танцы пришла?

— Да уж не для того, чтобы тебя ублажать! — сказала спокойно Тамара.— Отстань! Зачем пришла, мое дело. Тебя это не касается.

Девчата, окружавшие ее, в хохот. Бурый даже опешил от такого.

— Научись сначала вежливости, салажонок!— одна из девушек ему.— Здесь не строевой плац... здесь не командуют...

Но Бурый быстро пришел в себя. Стал шута из себя корчить, стал упрашивать Тамару. Чувствовал, что дружки в затылок глазами целятся.

— Я же пошутил, кончай ломаться,— и опять к ней, за руку берет.— Идем... Душа по тебе тоскует, не откажи, умру...

Тамара снова руку прочь.

— Бурлей,— сказала строго,— оставь меня в покое, не пойду я с тобой!

Бурый почувствовал — не овладеть ему ситуацией, но как отступить, когда привлек он уже всеобщее внимание.

— Товарищ ефрейтор!— подступил к Тамаре с другого бока.— Может, я всю жизнь ждал этого момента... Может, судьба моя решается...

— Разрешите вас пригласить?— это Рахимов к Тамаре подошел, догадываясь, видно, в чем дело. На Бурого с вызовом посмотрел.

У Тамары на лице мгновенно улыбка засияла. И пошла, начали они танцевать. К другим девушкам тоже стали подходить парни, всех разобрали, пока Бурый в трансе был.

Расстроился он, сел на бордюры, отвернулся от танцующих.

— Какой монумент!— подошел к нему Кавказец.— Ты ли это, кунак?

Бурый обернулся, процедил сквозь зубы:

— Иди ты! Без тебя тошно...

— Дорогой, это еще цветики!— рассмеялся Кавказец, похлопал Бурого по плечу, пошел приглашать девушку.

Бурый скис было, но тут неожиданно для него девчонка подскочила. Вертячая такая, волосы в кудряшки завитые, носик пуговкой, глазки рыжие. Дотронулась до его спины и словно пропела:

— Скучаете?... Что-то я вас раньше не видела... Новенький?

Бурый — калач тертый, сразу смекнул, к чему она все это. Осмотрел ее критически: ноги не кривые, полновата, правда, но в общем...

— Ладно!.. Пошли уж,— согласился, словно она его пригласила. Встал.

А ей того и надо. Заулыбалась и руки ему сразу на шею.

— Пошли,— говором местным, слегка картаво.

Бурый поискал глазами Сурина. Видела ли, как он нарасхват идет?

Рахимов взял Тамару под руку, повел в сторонку.

— Закат красивый какой, правда?!

— Красивый,— опустила глаза Тамара, едва глянув на закат.

— Побродим?

— Побродим.

За селом звучала песня, тихая такая, мелодичная, девичья. Шли молча. В сердце у каждого радостная смута, голос выдает волнение. Давно желали встречи, тянулись друг к другу. А вот пришел момент, и засмутились, опасаясь спугнуть что-то хорошее, чего грубо касаться нельзя. Потому и начал Рахимов издали, исподволь.

— Не нравится мне этот Бурлей,— сказал как бы с досадой.— Хочет исполнительным казаться... так и лезет на глаза... Есть в нем что-то такое... Не пойму его никак.

Тамара слушала Рахимова с лукавой искоркой в глазах, подзадоривала:

— Товарищ сержант, уж не ревность ли это?

Рахимову понравился вопрос, но не поддался он. И опять свое:

— Да нет... Как бы вам сказать... какой-то напористый он, точнее, нагловатый, как танк наезжает, когда ему что-нибудь надо...

Тамара вновь лукаво хмыкнула, возразила:

— Напористость не худшее мужское качество,— голос у нее певучий.— Кое-кому именно этого качества и недостает...

Рахимову и такое слышать приятно. Посмотрел на Тамару с нежностью, но и этот намек оставил безответным, пока, конечно. И снова о Бурлее:

— Но вот Велико его ценит. В пример другим ставит... Странно!

Тамара притихла. Так и бродили, не касаясь главного.

— Красиво, не правда ли?— это она спросила, помолчав.

— Красиво,— ответил он.— Я люблю бродить один, для меня это удовольствие...

— А я люблю делить это удовольствие на двоих,— опять она лукаво.— Понял?— незаметно на «ты» перешла.

— Теперь и я не смогу один...

Стемнело. На прозрачном небе замерцали звезды. Лишь за дальней кромкой тайги все еще светлела полоска заката.

Но красотами ночи любовались и другие. Поодаль от того места, где бродили Рахимов и Тамара, послышался смех. Вот ветви кустарника дрогнули, зашелестели листьями, двое выскочили на тропинку. Прильнули друг к другу. Она обвила шею парня руками, повисла на нем, целуя.

— А ты ничего!— голос Бурого.— Я-то думал...— и снова прильнул к губам девушки.

Новая его знакомая не сопротивлялась. Ободренный ее уступчивостью, Бурый стал тискать девчонку, мять груди, засунув руку под кофточку. Она лишь игриво хихикала.

— Ишь ты какой!— воскликнула, наконец, девица, будто застеснялась.

— Какой?

— Еще даже как звать не спросил, а уж за цыпки тянешь...
Бурый развеселился.
— Для того и пончики, чтобы руки к ним тянулись!— и опять за свое.
Та и не думала обижаться. А он оторвался от нее и как бы между прочим справился:
— Так как же зовут тебя?
— Клавкой...
Бурый поморщился с пренебрежением. Переспросил:
— Кла-вкой?.. Больно по старинке!— Задумался.— Лучше так, Клавинья!
Нет... Клавенс!.. Как?
Клавка даже глаза опустила. Приятно ей стало. Вымолвила:
— Ничего... Классно...
— О! Так и буду звать тебя,— подтвердил Бурый.— А ты где живешь, Клавенс?
Клавка хихикнула. Бесцеремонность парня, видно, нравилась ей.
— Никак в гости набиваешься?— спросила и показала рукой:— Тут, неподалеку... Но у меня мамка больно лютая...
Бурого это не смутило. Он привлек к себе Клавку и заверил:
— С мамкой... это мы мигом уладим, не сомневайся.
— Хотя бы сказал, тебя-то как?.. А то в гости собираешься, а кто такой — не говоришь.
Бурый сузил глаза, огляделся, словно хотел убедиться, что их не подслушивают, затем тихо произнес:
— Имя у меня под кодом...
— Под чем, под чем?— не поняла Клавка.
— Под кодом, говорю!— громко повторил он.— Под секретом, значит. Я — человек государственный, на особом положении нахожусь... Не каждому можно знать мое имя. Поняла теперь?
Клавка посмотрела на парня, не понимая, всерьез или шутит.
— Ну а мне-то как тебя называть?— спросила шепотом.— Кодом, что ли?.. Имя уж больно какое-то собачье.
Скривился Бурый, не понравилось.
— Глупая ты, Клавенс!— сказал насмешливо.— Ладно, называй... Ну, скажем, Бурым...
Тут Клавка не удержалась, закатилась смехом.
— Бурым?! У нас в тайге медведь такой водится! Шатун один, что зимой не спит, люди его боятся...
Сравнение это задело Бурого.
— Ладно, ну его, медведя,— понял он, что у новой подруги с юмором тугова-то.— Пошли!— потянул Клавку за руку.— К тебе... хата нужна, пойдём...

Добротный бревенчатый дом Клавки стоял на отшибе. Окна его были освещены. Вокруг густые заросли кустарника, маскировка и только.

— Крепкий дом,— одобрительно заключил Бурый.

Клавка приложила палец к губам. Прошептала:

— Чи-и!.. Мамка еще колготится, вдруг услышит!..

Замерли, лишь дыхание слышно. Из темноты леса, подступающего к дому, появилась вдруг тень, в отсвете окна. Переваливаясь, шел кто-то по тропинке. Насторожились, всматриваясь,— это мужик пьяненький. Приблизился к ним, посмотрел удивленно, не понимая. Бурый схватил Клавку за руку и — в заросли с нею. Только их и видел мужик. Ветви за ними сомкнулись, покачиваясь, да валежник под ногами затрещал, и смолкло все.

Мужик постоял, покачался, поднял руку и погрозил пальцем.

— Ну-ну!.. Меня не проведешь, — сказал хрипло, повернулся и к дому направился. — Хмы! Эка заноза!..

У окна он остановился, постучал скрюченным пальцем в раму, позвал хозяйку.

— Тетка Маруха!.. Слышь-ка, тетка Маруха!..

В окне появилась женщина. Грузная, на голове платок узлом. Посмотрела глазками заплывшими из-под нависших бровей на позднего гостя и сердито ему:

— Чего хрипишь, лиходея? Гуляй себе, гуляй!— и скрылась опять в хате.

Мужик приподнялся, стараясь заглянуть вовнутрь.

— Тетка Маруха, слышь-ка?— снова позвал хозяйку.— На твою Клавку, кажись, медведь напал... в кусты поволок... Слышь, сучья трещат?— и закачал головой, захихикал себе под нос. Затем поднял голову, крикнул погромче:— Бурый — зверюга, говорю, деву твою заломал. Слышь?!

Из приоткрытого им окна донесся голос хозяйки.

— Сам напал... сам пушай и обороняется!.. Тебе-то чего?

Мужик приосанился, прокашлялся, голосом льстивым так к ней:

— Угости огурчиком, соседка... Внутрях жжать, слышь?

Голос хозяйки из окна, но уже не так строго:

— Жжать-жжать!.. У всех жжать! Житья от вас нету... Слышал, нынче указ какой вышел по такому делу?.. Спасу от вас, алкашей, нету!

Мужик был согласен с доводами тетки Марухи. Он смиренно выслушал ее, покачал головой, почесал затылок и опять запросил молящим голосом:

— Ну посоотрадай, соседка!.. Уступи огурчик... жжать внутрях.

Поняв, что от мужика так просто не отделаться, хозяйка опустила передник, махнула рукой, сказала со вздохом:

— Ладно... Что с тобой поделаешь?.. Клади трешку,— пожаловалась:—Огурчики-то нынче не дюже уродились, в трубу можно вылететь...

Мужик засуетился обрадованно, руку в карман сунул, достал деньги и на подоконник положил. Сам приподнялся, голову задрал, как пес, ждущий кости, и с нетерпением стал всматриваться в глубь комнаты. Пухлая рука тетки Марухи схватила трешку, а через минуту поставила на подоконник граненый стакан, наполненный самогонкой. Сверху на стакане лежал огурец. Мужик с жадностью принял желанное. Затем, перекрестясь, опрокинул в рот самогонку, сморщился, крикнул и сплюнул. Поглядел на огурец, понюхал — и тоже в рот. Погодя чуть, будто нехотя, поставил стакан на подоконник и нетвердым шагом пошел прочь от избы.

У кустарника мужик остановился, прислушался, хмыкнул и канул в темном лесу.

— Ушел,— послышался громкий шепот из кустарника.— И откуда, пьянчуга, взялся-то?.. Ну, будет тебе!.. Холодно...

— Ты лежи... лежи, — голос Бурого. И вдруг решительно: — Все... идти надо, а то не успею на поверку, самоволку пришьют...

— Когда придешь?

— Не знаю... Может, на днях...

— Дорогу найдешь?

— К тебе-то?.. Да если и забуду, каждая собака укажет,— Бурый, без дипломатии в голосе. Затем:— Не ной!.. Пусти...

Последние слова его заглушил треск кустарника, и сам Бурый выскочил на тропинку. Посмотрел по сторонам, поддернул брюки, стряхнул ладонями налипшую листву и побежал к дороге.

Заслышав шум, из окна дома высунулась тетка Маруха, позвала дочь.

— Клавка!.. Ты где?

Оправляя измятую юбку, из зарослей вышла Клавка.

— Да иду, не кричи!

Тон дочери рассердил тетку Маруху.

— Опять нового кобеля приваживаешь?.. Сучка ты такая. Лошак дознается, шкуру с тебя, с живой, съмет. Довиляешь хвостом!

Клавка повернула голову, томно посмотрела туда, где провела с Бурым приятные минуты, и пошла к дому.

— Плевать мне на твоего Лошака!— сказала матери, проходя мимо окон.— Его уж, наверное, уекли, куда следует...

— Тише ты, дура!— испуганно шикнула на дочь тетка Маруха и поспешно закрыла створки окна.

Утро выдалось серым, пасмурным. Ночью прошел дождь, и влажные следы его еще не успели просохнуть. Над рекой стеился туман. По ухабистой дороге ползла, пробуксовывая, переваливаясь с боку на бок, санитарная машина. Рядом с солдатом-водителем сидел капитан Вольнов. Одет он был как заправский рыбак. Рыболовные снасти и два крупных тайменя лежали на полу машины.

Вольнов нервничал. Без конца раздраженно поглядывал на часы и ругал нерасторопного своего шофера.

— Сонная тетеря ты, а не военный водила!.. Дуй иглой!

Солдат молчал. Делал свое дело.

— Главной сегодня мероприятие проводит с нами, а мы здесь телемся! Черепаха ты, Савкин...

Савкин был невозмутим. Крутил баранку, не обращая внимания на нервозность своего командира. Вольнова это еще больше подогревало.

— Из-за тебя полковник Болотов стружку с меня снимет... и штаны заодно!

— Не из-за меня, из-за рыбехи,— уточнил Савкин.

— Что-о?— не сразу сообразил Вольнов.— Что ты сказал?

Водитель скосил глаза на капитана, нехотя повторил:
— Не из-за меня, это самое... сымут с вас, говорю...
— Ну и ну!— подскочил на сиденье Вольнов.— Он меня еще поучает!
Машины трянуло.
— Ну-ка сворачивай на эту дорогу,— показал капитан на заросшую колею, уходящую в сторону.— Спрявим чуть...
Однако Савкин возразил:
— Не можно, товарищ капитан. Сыровата больно, сядем...
Ну тут уж Вольнов расвирипел окончательно.
— Сворачивай, говорю!.. Кто здесь командует?
— Да вы командуете... Кто ж еще?— не меняя тона, солдат ему.— Сворачивать, так сворачивать.
Он повернул машину. Дорога эта, на первый взгляд, показалась лучше, ровнее. Машина пошла быстрее. Вольнов даже заулыбался, довольный.
— Ну, что я тебе говорил? Не дорога, стеклышко!— воскликнул, глянув на Савкина.— И короче намного!.. Жми иглой!
Водитель прибавил газу. Неожиданно машину занесло юзом и колеса зарылись в топь. Как ни старался парень вырвать машину из трясины, ничего у него не получилось. Чем сильнее он газовал, тем глубже зарывались колеса. Обессилев, он откинулся на спинку сиденья и спокойно сказал:
— Приехали!.. Вот вам и короче.— И добавил:— Короче, чем на кладбище, нет дороги...

Опомнясь, Вольнов закричал:
— Давай задний ход!.. Иглой! Чего развалился?
Савкин попытался выполнить и это требование командира. Машина снова взревела, дернулась задом и намертво села в жидкий грунт.

Вольнов слинял в лице, безнадежно махнул рукой:
— Амба! Взыскание обеспечено! И все из-за тебя, ас несчастный!
— Из-за рыбехи, товарищ капитан,— упрямо повторил солдат.
Вольнов прервал его.
— Хватит болтать!.. Думай лучше, что делать теперь?
— Загорать придется, товарищ капитан.
Вольнов чуть не взвыл с досады, услышав такое.
— У! Сниму с машины!— пригрозил водителю.— Ну, чего сидишь? Где твоя солдатская смекалка?.. Делай же что-нибудь!.. Иглой!
Савкин задумался. Что-то надо было делать. Неожиданно он поднял голову, метнул лукавый взгляд на командира, заулыбался.
— Есть иглой, товарищ капитан!— изменив меланхолии, вскрикнул он и выпрыгнул из кабины.— Сей момент! Ждите!— и прямо по грязи побежал через дорогу к лесу.

Вольнов удивленно смотрел ему вслед.

Пара волов, на одном из которых восседал солдат-водитель Савкин, медленно тянула на веревке санитарную машину. Под копытами животных чавкала жижа. Солдат покрикивал на волов.

— Цоб-цобе!.. Да чтоб вы поиздыхали, каракатицы ползучие!— Он старался хоть этим облегчить переживания своего ротного.— Ну, еще малехо...

В кабине, за рулем, Вольнов. Будто ледоколом, раздвигал он машиной комья грязи, подминая придорожные пожелтевшие стебли. Взгляд удрученный.

— Я, товарищ капитан,— это уже солдат Вольнову,— вспомнил, что здесь близехо хуторок... Мы прошлым летом за молоком к хозяевам заезжали?.. Девушка еще у них тогда гостила... Помните?.. Ха! Я даже попытался обнять ее пониже талии... Пощечину влепила. Вот девка, мне бы ее в жены!.. Как, товарищ капитан?

Вольнов, будто очнулся, головой встряхнул, на солдата уставился.

— Мне бы твои заботы, Савкин!

На дороге показался грузовик. Из кабины выглядывал Величко.

— Товарищ командир!— закричал он, подъезжая.— Я за вами... Полковник послали... Болотов...

Вольнов даже рукой рубанул по воздуху, будто саблей махнул.

— Так и знал!— выпалил с досадой. На Величко с гневом посмотрел, как будто он виноват был.

Величко только вздохнул сочувственно.

— Садись на мое место!— приказал старшине.— Вытаскивай «таблетку»,— так он называл «санитарку»,— а я, иглой, на твоём «автобусе» помчу!— Вылез из кабины и к грузовику. Проходя мимо сидящего верхом на быке солдата, остановился, глянул с негодованием, закричал старшине:— А этого джигита с моей машины

снять! Мне шофера из молодых подбери... толкового! Слышишь?..

— За что, товарищ капитан?— недоуменно Савкин ему.— Я же как мог...

Но Вольнов уже заскочил в кабину грузовика и шоферу:

— Жми иглой в роту!



Отделался Вольнов легким испугом. Болотов отчитал своевольника, но взыскания накладывать не стал.

— Твое счастье, Вольнов,— сказал,— что мероприятие перенесено на среду!.. Главного срочно в Москву вызвали, не то заварил бы кашу. Рыбак!

Вольнов с облегчением вздохнул. Слава богу, пронесло! И заверил:

— В прах рассыплюсь, впредь не подведу вас, товарищ командир! С рыбалкой покончено, амба!

— Ну... ладно...— поморщился Болотов,— учти, скоро итоговая проверка... Надеюсь на тебя. Понял?

Тем временем прапорщик Величко вел беседу у себя в кладовой.

— Рядовой Бурлей, ты хорошо знаешь солдат своего призыва?.. Есть умеющие машину водить?— оценивающе посмотрел Величко на Бурого.— Щоб пращивать на ней гарно?

Бурый, смекнув, что настал его час, старался вовсю.

— Знаю точно, у одного водительские права имеются!— отчеканил он.

— У кого именно?

— У рядового Гашиша... э-э, виноват, Шарипова, товарищ старшина!

— Шарипов солдат с ленцой...— с сомнением в голосе сказал Величко.— В медпункте частенько ошивается хлопец... Як бы выкрутасничать не стал? Его рискованно сажать на «таблетку», самого ведь возить будет.

— Товарищ старшина!— заторопился заверить его Бурый.— Шарипова беру на себя! Он у меня про лень забудет, лучшим водилой станет.

Величко наморщил лоб. Ему не очень нравился кандидат на командирскую машину. Однако, поразмыслив, решился.

— Лады! Кличь його до мэнь.— И по-русски:— Пошлем его на сборы водителей в полк. Ясно?

— Ясно, товарищ старшина!— выкрикнул Бурый обрадованно, срывая голос.

К итоговой проверке готовились, как к свадьбе. Вольнов старался. Повсюду кипела работа: красили все, что только можно покрасить, чистили оружие, технику, приводили в порядок территорию.

— У меня такое впечатление, что в тайге медведь сдох,— говорил угрястому «студент».— Скоро ротный заставит нас траву красить в зеленый цвет.

— Может, он в генералы метит?— в ответ угрястый.

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом,— сказал «студент».— Но еще хуже тот командир, который только об этом и мечтает. Он же с нас весь жир сгонит, одни кости оставит.

— Э-э, дорогой!— это уже Кавказец вклинился в разговор.— Наш ротный большим начальником станет!..

— Откуда ты знаешь?— с сомнением посмотрел на него Сыч.

Кавказец захохотал.

— Да потому, дорогой, что он не слишком умный...

Солдаты тоже рассмеялись.

— Умный или не умный, но полковник его любит, заранее обо всем предупреждает: когда комиссия нагрянет, когда что,— опять «студент».— Так и дурак в люди выбьется.

Работы чередовались с занятиями. Особенно нелегко приходилось солдатам на строевом плацу. По два часа гоняли их взводные по бетонному настилу. Ноги огнем горели.

— Может, хватит на сегодня, товарищ лейтенант,— ныл Сыч, обливаясь седьмым потом.— До каких пор шагать будем?

— Пока ноги до задницы не сотрем,— отшучивался Савин.

Но зато проверку сдали на «отлично». Хотя один курьезный случай едва не испортил все дело. Произошло это на стрельбище. Все шло как по нотам, но тут подполковник, проверяющий, вдруг спросил у Величко:

— Товарищ старшина, а почему этот солдат не в строю?— и показал на рядового Тюрина, помогающего старшине снаряжать магазины, зануду такого.

Величко растерялся даже и по-украински ему:

— Пидручник мий, пидсобяе мэни...

— Я вижу,— перебил его проверяющий.— А имеет ли он допуск к боеприпасам?.. Приказом проведен?— дотошно так спросил и на Вольнова при этом глазом.

А Вольнов возьми да скажи:

— Так точно, товарищ подполковник!..— думал, не проверит.

Но не тут-то было. Подполковник подозвал Тюрина и говорит ему:

— Выверни-ка карман,— наверное, подглядел, что Тюрин туда два боевых патрона положил.

Тот вывернул. Подполковник забрал у него патроны, а после докладную настрочил. И опять полковник Болотов скидку сделал. Только Тюрин «крайним» оказался, убрал его Величко из помощников своих, а ротный взыскание объявил за сокрытие патронов, хотя Тюрин и клялся, что сам хотел их сдать старшине после стрельбы.

Вот так и обошлось все. Вскоре и морозы подступили. Из рта пар идет, а руки к металлу прилипают. Хорошо Бурому, тот теперь у Величко доверенным лицом стал, вместо снятого Тюрина в кладовой роты хозяйничал.

С первым снегом на зимнюю форму одежды перешли: шапки-ушанки надели, утепленное нижнее белье, шинели.

Однажды Величко сказал Бурому:

— Бачу, хлопец ты швыдкий, старательный... Сегодня банный день у личного состава, а мэни дуже пидперло, родня в гости нагрянула, треба ублажить их... Останешься за меня... Вот сменное бельишко. Грязное отложишь в стирку, потом сдадим... Здесь мочалки, мыло... Гляди, щоб усэ по уму зробь!

Бурый сразу все понял. В душе оркестр духовой, но внешне будто часовым на посту стоит, на лице ни один мускул не дрогнул.

— Сделаю, как требуете, не сомневайтесь, товарищ старшина!— вытянулся, как будто боевое задание получил.

— Гарно, хлопче! — одобрил старшина. Покрутил свои усы и ушел к гостям. Но сержанта Рахимова успел предупредить, что рядовой Бурлей на вечерней проверке может не присутствовать, в связи с баннным днем.

Тетка Маруха допоздна занималась своими делами. Но когда все было переделано и она уже готовилась ко сну, в дверь кто-то постучал. Глянув испуганно на занавески, за которыми была смежная комната, она перекрестилась, зашептала молитву. Затем поднялась и, ворча под нос, пошла к двери. Стук повторился.

— Иду-иду! Чего ломиться? Так и дверь с петель сорвать можно. Кто там? — прислушалась, узнала и тон тут же сменила. — А-а! Это ты, сынок? — Дверь открыла, впуская гостя, «запела» ласково: — Заходи, заходи... Шинельку съмай... давай повешу. Клавка-то заждалась уж...

Бурый вошел, занося с собой клубы морозного пара. Протянул хозяйке сверток.

— Я тебе тут полотенца принес, мыло и простыню новую... по случаю достал.

Тетка Маруха с довольным видом приняла сверток.

— А рукавичек на меху не достал, сынок?.. Руки стынут... так бы и погрела когда...

Бурый отшутился:

— Твоя работа ювелирная, рукавицы для этого дела помеха одна. Да и на дороге они не валяются... Смогу, принесу, не смогу, не взыщи, — подул на озябшие пальцы, спросил: — Клавка-то дома?

— Где ж ей быть?.. Дрыхнет вона, помощи от ее никакой... Сама все валандаюсь, для нее ведь стараюсь... Замаялась, — глянула на занавески, потом на Бурого. — Ты бы хоть вразумил девку. Тебя, небось, послушается.

— Фу-у, холодрыга! — передернул плечами Бурый. — Хорошо еще, какой-то мужик до села на розвальнях подкинул... А Клавку твою вразумлю, шелковой станет, — и подсел к столу.

Тетка Маруха поставила перед ним кружку с самогоном, закуску. Знала, что нужно парню с мороза-то. Бурый выпил залпом.

— Я ненадолго... могут хватиться, — сказал он, закусывая. — Ты шлепай к себе в контору... Клавка дверь запрет потом...

— Ухожу-ухожу! — засуетилась хозяйка. — Калитку не забудь за собой защелкнуть... и рукавички изыщи уж для старой. Ну... будь!

Бурый допил самогон, поднялся из-за стола, направился к клавкиной спальне. На постели, разметавшись, лежала Клавка. Бурый разделся и полез под одеяло. Клавка испуганно открыла глаза, вскрикнула. Но, узнав дружка, обвила его шею руками.

— Пришел? — изгибаясь кошкой, замурыкала она. — Дай погрею...

— Нет времени, я в самоволке... торопиться надо, — и подмял ее под себя.

Клавка заметалась вдруг на постели, испуганно посматривая на дверь. И опасения ее сбылись. Когда нежились они уже, притихшие, усталые, дверь от сильного удара распахнулась, и в спальню ввалился мужчина. Большой, косматый, неопределенного возраста. Встал на пороге и зарычал, точно зверь дикий:

— А-а-а, твари! Спаровались!

На постели произошло короткое замешательство. Клавка Бурого от себя оттолкнула и в чем мать родила кинулась в угол комнаты, истошно вопя:

— Маманя-а!.. Лошак... маманя-а!

Бурый тоже было хотел вскочить, но Лошак вскинул руку с ножом, в один прыжок оказался у постели и зашипел:

— Лежать, паскуда!.. Убью! — И Клавке: — Дешевка!.. Променяла мужа на мента?.. Замочу, стерва!.. Вы думали, Лошак слинял?.. В колонию забурил?.. А вот вам! — поводит он кулаком. — Я еще прежде помочу вас всех, гадов!

Бурый сник, тараща глаза, ничего не понимая, а Клавка завывала еще громче:

— Не убивай, Лоша! Не убивай!.. Не хотела я, не по своей воле... мамка велела!

Тетка Маруха выглянула из-за двери, прицыкнула на дочь:

— Цыц, дура!.. Я тебе чего говорила?

Но Лошак прервал ее.

— Пшла вон, старая стерва!

Тетка исчезла. Лошак опустил руку с ножом, спросил Клавку:

— Мамка, говоришь?.. Или передок свербит, удержу нет? Шалава!

Клавка передернулась от страха. А Лошак подошел к стулу, на котором лежал халатик, подцепил его ножечком и швырнул ей.

— На, прикрой фюзеляж, метелка продажная... и сгинь отсель! С тобой особо разберусь. А сейчас мне с этим ментом покалякать надобно, — кивнул на Бурого.

Клавка мигом выскочила из спальни. Лошак тем временем огреб в охапку

обмундирование Бурого, бросил на стол, залез в карман куртки и вытащил военный билет. Раскрыл.

— Рядовой Бурлей,— прочитал врястяжку.— Ха! Бурлей, значит?— оглядел Бурого с усмешкой.— На... портки натяни, командир дерьмовый, говорить будем,— и бросил ему брюки.— Надо бы с тебя мокроту спустить... да ладно, погодим до поры.

Бурый торопливо надел брюки, потянулся было за курткой.

— Не торопись шибко, командир,— Лошак отодвинул куртку. Снова военный билет рассматривать принялся.— Ха! Присягу принял,— усмехнулся с издевкой,— в законе, значит?.. Шустряк! Все успел: и присягу принять, и девку захомутать...

— Успел, как видишь,— скривился, изображая улыбку, Бурый.

— А ты помолчи... Послушай, что я скажу.

Бурый подсел к столу, достал пачку сигарет, закурил. Лошак тоже закурил из его пачки, затем позвал тетку Маруху.

— Эй, старая! Поди сюда!

— Иду, Лоша, иду, милоч,— тотчас появилась хозяйка.— Чего тебе, дорогой? Лошак, не глядя на нее, потребовал:

— Неси выпить... да не свою химию! Давай фирмовую,— посмотрел на по-нурого солдата и вдруг зычно захохотал.— Я с молочным братом по такому случаю раздавлю флакончик.

Бурый с ненавистью уставился на Лошака.

— Верни военный билет,— процедил он сквозь зубы,— иначе разговора не получится.

Лошак казался довольным, он видел, как напугал Бурого, понявшего, наконец, в какую историю он влип.

— Врешь, командир! Есть о чем покалякать, есть!— заявил он и с силой воткнул нож в крышку стола.— За то, что с женой моей путался, должен ты расплатиться.

Бурый скривился, будто лимон откусил.

— Трепись Емеля, твоя неделя,— проговорил он едва слышно.

Но Лошак не отреагировал на это.

— Чем будешь расплачиваться, сам выбирай,— продолжал он, уже почти весело,— то ли шкурой своей... то ли еще чем.— Помолчал.— Дорого не запрошу, я нынче добрый.— Но могу и раздумать! Возьму да и порешу тебя вместе с этой стервой, не погляжу, что женой мне доводится,— кивнул на дверь, за которой скрылась Клавка.

Бурый зыркнул на него и сказал с ехидством:

— Да не жена она тебе. Таких мужей у нее... Шалава она безотказная, как винтовка пехотная.— Хмыкнул:— Всех не порешишь...

Лошаку это не понравилось.

— Правильно говоришь, командир,— глянул на Бурого с угрозой.— Только застал-то я тебя... и твоя шкура висит на волоске,— он выдернул нож, поднес его к горлу Бурого.— Соображай...

— Пугаешь?— прошипел Бурый, невольно откинув назад голову.

— Понимай, как хочешь. Только документик твой я при себе оставляю покуда... Принесешь магазин боевых патронов и...— Лошак кивком указал на добротные сапоги Бурого,— сапоги, как у тебя, сорок четвертый размер, получишь его назад. Нет, не получишь... Думай, командир, дело выгодное.

Бурый побагровел. Однако деваться некуда. Кивнул, соглашаясь.

— Ладно, принесу... отдай документ... Патроны не сразу, а сапоги принесу... Давай. Я травить не люблю, не сомневайся.

Лошак подумал, взвешивая сказанное Бурым, скривился. Однако нож от горла убрал.

— Нет уж!.. Когда принесешь, тогда и документ, и...— указал кивком на дверь,— стервь эту, Клавку, в придачу отдам. Понял?— И сунул билет Бурого в карман своего серого потертого пиджака.— Это залог,— усмехнулся хитро.

Вошла тетка Маруха. Поставила на стол бутылку водки и закуску.

— Вот, Лоша, все, как просил, милоч,— промолвила заискивающе.— Кушайте на здоровьишко, гостюшки дорогие...

Лошак махнул на нее рукой.

— Смойся, старая!— И разлил водку по стаканам.— Давай, за знакомство...

Бурый взял свой стакан. Выпили.

Лошак поднялся и направился к двери. У выхода задержался.

— Сообщишь через тетку Маруху... Чем быстрее, тем лучше,— сказал и предупредил:— Закладывать не советую. Из-под земли достану... усек?

Окончание следует.



Живопись бухарцев

За последние пять-шесть лет на страницах республиканской периодической печати появлялось не так уж мало статей о творчестве художников Бухары. Искусствоведы говорят даже, что в Бухаре появилась своя школа живописи. Что ж, такое утверждение, думаю, не лишено оснований. Мы имеем дело с художниками, чье творчество проявляется в постоянной пульсации, поиске нового, углублении ранее найденных приемов.

Повышенный интерес к пейзажу проявляется в картинах Азима Хазратова. В лучших его работах много воздуха, он любит изображать небо: то оно чистое и прозрачное, то насыщено грудями облаков. Художник избегает перегруженности полотен. Если в ранние произведения он вводил группы или одиночные фигуры людей, то в последних его картинах присутствие человека почти вытесняется пейзажами. Таковы картины «Сельский пейзаж» (1989), «Серебристый день» (1989), «В кишлаке» (1989). Природа в них — главное действующее лицо.

В картине «Уходящий старик» (1989) использован мотив открытой двери — немой вопрос: что будет с этим домом, из которого вышел почтенный старец, одетый в национальную одежду? Что ждет наш мир, если из него уйдут старинные традиции, жизненный уклад? Этот вопрос повисает в воздухе. Картина окрашена чувством тревоги, тревоги за мир, в котором мы живем.

Азим Хазратов, не взирая на модные течения, придерживается реалистического способа воплощения замысла. Его картины тщательно проработаны в деталях. Внешне они вполне реальны, но эта реальность наполнена ощущением таинственности и несет в себе духовную информацию, какой не почерпнешь из картин, просто фиксирующих окружающую среду. Здесь мы имеем дело с фантазией художника, с его сложным внутренним миром.

Картина «Крест художника» (1986) скомпонована таким образом, что небо с нагромождением облаков различных оттенков занимает большую часть полотна. Справа внизу — пустой мольберт. Он — как приготовленная для распятия крестовина. Вот художник поставит на него чистый холст, и тут начнется крестный путь творчества. Образ-символ в картинах этого художника занимает одно из ведущих мест.

Общий тон удивительных полотен Зелима Саиджанова можно определить, как гармоническое сочетание экспрессии и декоративности. Персонажи картины «Жаркий день» (1988) — старик с красным жестким лицом и взволнованный юноша — живут в пространстве активных и протворечивых эмоций.

На полотне «В зоопарке» (1990) давит ярко выраженное декоративное начало, идущее от росписей Афрасиаба или ассирийских рельефов. Интерес к пластике древневосточного искусства несомненен. Художник легко оперирует очертаниями фигур, стремясь всякий раз по-другому пластически выстроить образ. Картина делится на три плоскости. В центре орнаментированный тигр желтого цвета с темно-фиолетовыми узорами, сверху пеликан, внизу мать с ребенком. Эти три плоскости динамичны и очень активны по цвету.

Стремление одну плоскость пересечь другой (как признается сам автор) характерно не только для этой картины, но и для холста «Будни дома и модель в мастерской» (1990). «Хочу добиться условного пространства, закодировать информацию», — говорит художник.

Интересна картина «Арбакеш» (1989). Сюжет ее уходит корнями в детство художника, когда в Бухаре было мало машин, зато хорошо помогала в хозяйстве арба. Фигура арбакеша на полотне увеличена, пропорции лица искажены. Арба, запряженная двумя осликами — на фоне условно изображенной Бухары. Быт бухарцев, история древней культуры — этим живо интересуется художник. Неторопливо, в духе ритма

жизни старого города, крутятся жернова мысли, перерабатывая накопленный материал в порой фантастические оригинальные композиции.

Новое направление мы наблюдаем в творчестве Дюмона Пака. Настойчиво проявляется в последнее время его интерес к китайской символике и философии. От проблемных полотен, осмысливающих современную историю («Злой гений», 1989) он уходит в область познания смысла символики иероглифов, изучает философию Дальнего Востока, в которой черпали вдохновение многие европейские художники. Появляются такие картины, как «Птичий сон», «Полеты во сне и наяву», «Японка».

На происходящие в стране перемены художник откликнулся несколькими полотнами. Его волнует тема личности и истории («Эпоха», 1989; «Злой гений», 1989), проблема творчества в современной жизни («Памятник», 1989; «Безумный всадник», 1989). Последнюю работу он решает путем выбора отвлеченного поэтического мотива-ассоциации.

Ярко эмоциональной творческой личностью представляется мне художник Музаффар Абдуллаев. На первый взгляд кажется, что картины ему даются легко и просто, но вскоре убеждаешься в обратном. Полотна его очень разнообразны по колориту, абстрактны, но всегда очень гармоничны. Это та гармония и поэтическая красота, которая непреодолимо влечет к себе. Художник пишет картины, как правило, сериями, они, как крупные музыкальные произведения, не одночастны. Так абстрактные композиции, условно названные № 1, 2, 3, 4, отличаются друг от друга настроением и колоритом.

Эти четыре очень разных живописца и еще ряд художников Бухары, о чьем творчестве не позволил рассказать объем статьи, скоро будут представлять бухарскую живопись на выставке в Лондоне.

Что-то покажет эта выставка, как воспримут нашу живопись в далекой Англии?

В. ПАК.

О НАШИХ АВТОРАХ

ИСФАНДИЯР (Маткаримов Испандьер Кимсанович) родился в Маргилане в 1946 году. Закончил Ферганский педагогический институт и Литературный институт имени Горького. Работал учителем в школе, сценаристом на киностудии «Узбекфильм», заместителем главного редактора издательства «Еш гвардия».

Автор книг повестей и рассказов «Знойная пора», «Ласточки Сослана», «Разбудите меня с рассветом», «Клятва», «Судья» и других произведений. Лауреат премии Ленинского комсомола Ташкентской области. Член Союза писателей СССР.

БУТИН Эрнст Венедиктович родился в Свердловске в 1943 году. Учился во ВГИКе и Литературном институте имени Горького. Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Север», в коллективных сборниках.

Автор книг «И день тот настал», «Суета сует», «Золотой огонь» Югры». Член Союза писателей СССР.

НИКИТЕНКО Тада Петровна родилась в Оренбургской области в селе Тимашево. Работала в Главташкентстрое, ездила с геологическими экспедициями, была радиожурналистом.

Произведения Тады Никитенко публиковались в альманахе «Молодость», журнале «Звезда Востока», в периодической печати. Является автором повести «Настя» в сборнике прозы «Серебряный колодец», повести «Яблоко для Елены».

СТУЛОВСКИЙ Андрей Владиславович родился в Ташкенте в 1962 году. Окончил биологический факультет Ташкентского государственного университета. Работал в Институте зоологии и паразитологии АН УзССР, в настоящее время аспирант Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова АН СССР.

Печатался в газетах «Фрунзевец» и «Комсомолец Узбекистана», журнале «Молодая смена», в альманахе «Молодость».

ГОЛОВИН Геннадий Федорович родился в Ташкенте в 1938 году. Закончил Оренбургское зенитное артиллерийское училище и Военную академию противоздушной обороны. Служил в Белоруссии, на Дальнем Востоке, в Монголии, в Туркестанском военном округе, имеет звание полковника. Повесть «Оборотни» — первое произведение автора.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 7.08.90 г. Подписано к печати 28.08.90 г. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95.
Уч-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 212028. Заказ № 3767. Цена 1 рубль.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.